

Ж О В Ы И  
М И Р

Ж О В Ы И  
М И Р

1961

7

1961

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 7

Июль, 1961 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕФИМ ДОРОШ — Сухое лето. 1960	3
ЭМ. КАЗАКЕВИЧ — При свете дня, рассказ	52
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ — Новые стихи	80
ВЛАДИМИР ФОМЕНКО — Память земли, роман. Продолжение	84
Н. КОРЖАВИН — Из лирики	125
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ — Большая руда, повесть	128
Е. ДРАБКИНА — Повесть о ненаписанной книге. Окончание	191
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
С. ТИТАРЕНКО — Ленин о программе партии	231
П. ВОЛИН — В обжитых стенах	237
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Ю. БУРТИН — Быть хозяином!	247
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Левин. «Не от локтя, а от плеча». — И. Дедков. Мишка и его сверстники. — Л. Левицкий. Современная книга об историческом романе. — Р. Орлова. С болью — о человеке.	258
<i>Политика и наука</i>	
И. Миндлин, кандидат исторических наук. Теория и практика коммунистического воспитания. — Ник. Смирнов-Сокольский. Подвижники книги. — А. Мельников. Дневник матери. — А. Таланов. Честность служит компасом.	271
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва



---

---

ЕФИМ ДОРОШ

★

## СУХОЕ ЛЕТО

1960

**С**ередина июля в Райгороде. Утро. Неделю назад, когда я приехал сюда, было не очень жарко, но с каждым днем жара все усиливалась, из горячего воздуха как бы улетучивалась влага, воздух становился все суше и суше, и сегодня с утра пахнет уже вянущими травами и листвой, пересыхающей землей...

В углу нашего двора, в тени забора, между мощными растениями ежи, выметнувшей уже свои щеточки над торчащим кое-где в еже конским щавелем, кружит, будто планируя, длинная, с синим тельцем стрекоза. Забор выгнулся, валится к нам на усадьбу, позади него виден белый от солнца двор и старое, ушедшее в землю строение, должно быть бывший господский каретник, с осевшей посередине ржавой крышей.

Человек в коротковатых новых брюках идет соседним двором.

Михаил Васильевич, у которого я живу, вышел поглядеть огурцы на грядках — нет ли где цветущему? — стоит на крыльце в старческой задумчивости. Увидев соседа, он вдруг оживляется, кричит: «Больно далеко ноги просунул!»

В шестом часу пополудни, в просторном своем, разлетающемся, белом от стирок парусиновом пиджаке, с пучком высокой, чуть ли не по плечо ему, выдранной с корнем ржи, весь раскрасневшийся, чрезвычайно чем-то расстроенный и даже сердитый, явился из Любогостиц, от Ивана Федосеевича, приехавший со мной нынче сюда Андрей Владимирович, мелиоратор.

«Вот, — говорит он, — извольте полюбоваться! Хороша?»

Рожь и впрямь на диво — рослая, крепкая, с твердой толстой соломой, с крупным тугим колосом, чуть уже посеревшая. Андрей Владимирович рассказывает, что к Ивану Федосеевичу приезжала сегодня областная общественная комиссия по проверке выполнения социалистических обязательств и что председатель или заместитель председателя этой самой комиссии, Жугин, возмутился тем, что Иван Федосеевич до сих пор не выполнил указания обкома о незамедлительном силосовании всей ржи.

Жугин — человек известный, председатель знаменитого колхоза, давний Герой и многолетний депутат; впрочем, колхоз его давно уже ничем не знаменит, да и чем он прославился в свое время, сказать сейчас трудно. И вот этот человек, исконный крестьянин, понуждал другого крестьянина скосить на силос рожь почти восковой спелости. Он обвинял еще Ивана Федосеевича в том, что тот «не борется за увеличение на-

доя<sup>1</sup> молока», и при этом приказывал выгонять коров на молодой однолетний луг, засеянный райграсом пастбищным, овсяницей и тимофеевкой.

Однако Иван Федосеевич сказал, что силосовать такую рожь считает преступлением. Жара уже ей не страшна, тем более, что посеяна она на осушенном торфянике, где даже сейчас, в засуху, довольно влаги. Поэтому он даст ржи созреть, уберет ее чередом, причем косить станет вручную, чтобы и сантиметра соломы, то есть клетчатки, не потерять, и будет зимой с концентратами — с зерном, мукой, отрубями, — будет и с соломой. Что же до пастбы в молодых лугах, то и это, сказал Иван Федосеевич, вредная глупость — это же не отава, которая отрастет, коровы только выьют луг, и порядочного травостоя здесь уже не будет.

Конечно, Иван Федосеевич прав.

Но почему же обком вынес такое решение?

Государство теперь не заготавливает в здешних местах зерно, и вот руководители нашей области, рассудили мы с Андреем Владимировичем, решили, должно быть, что не нужен им стал хлеб, если они за него не отвечают, лучше уж скосить его зеленым и козырнуть количеством заготовленного силоса.

И еще одно соображение приходит нам в голову.

Месяца через два у нас тут отмечают некую дату и к этому юбилею, конечно, готовят сейчас цифры — и по силосу и по молоку, — ради чего и однолетний луг стравят коровам.

Ивана Федосеевича, впрочем, ничем этим не взять.

Он сказал Жугину, когда тот стал грозить ему всякими карами, что подчиняется не ему, а колхозникам, которые одни только могут его снять, и попросил не мешаться в дела колхоза. Тогда Жугин принялся обвинять нашего друга в том, что он зазнался, и это звучало весьма комично, потому что у Жугина вся грудь в орденах, тогда как Иван Федосеевич за тридцать лет удостоился лишь какого-то министерского значка.

Помнится, еще весной просил я Николая Семеновича добыть для Дарьи Васильевны, нашей хозяйки, семян сельдерея, чтобы она посеяла с полгрядочки. Однако обязательнейший Николай Семенович сделать этого не смог, и вот сейчас, придя к нам, он стал объяснять, что во всем городе — в семенном магазине, и в «Сортсеменовощи», и в сельскохозяйственном техникуме — семян сельдерея не оказалось. Не нашлось их и в здешних колхозах. В техникуме, правда, было немного, но их уже посеяли и могли дать только два-три растеньица. И тут мы принялись вспоминать весь длинный перечень пряных растений, кои возделывались здесь прежде: базилик, эстрагон, майоран, иссоп, чабер, калуфер, Melissa, рута...

\* \* \*

Должно быть, еще рано. Ни звука, ни шороха не доносится с улицы, даже собак не слышно. На сеновале пахнет сухим деревом гонтовой кровли и сеном, в котором каждая травинка издает свое особое благоухание. В черном треугольнике стены краснеет полукруглое слуховое окошко. Андрей Владимирович говорит, что оно похоже на встающее солнце.

<sup>1</sup> Откуда это взялось, что вместо естественного для русского языка «удой» стали употреблять уродливое канцелярское словечко «надой»!

Форма слуховых окон в виде половинки круга очень старая, древняя. В иных случаях это небольшое полукружие, прорезанное в тесовой стене чердака. Бывает, впрочем, что размеры полукружия довольно велики, и с наружной стороны оно обложено чередующимися короткими и длинными плашками — как бы лучами солнца. В этих слуховых окнах есть что-то языческое. Мне припоминаются не то китайские, не то ацтекские глиняные жаровни с вырезанными в их стенках фантастическими чудищами, которые, когда в жаровне разведен огонь, должно быть, багрово ярятся.

Пароходик неспешно идет озером, пошлепывает по воде плицами колес. Солнце палит нестерпимо, к поручню борта, к решетчатым деревянным диванчикам на верхней палубе нельзя притронуться — так они горячи, — а от воды тянет прохладой. Пассажиров сейчас немного, почти все они ушли вниз, в каюту. Только женщина лет за сорок и девушка — вероятно, мать и дочь, — черноволосые и загорелые, остались на спляшем солнцепеке. Одеты они одинаково, как сестры или подруги, обе в соломенных шляпках с большими полями, в темных и легких платьях, но одна уже чуть огрузнела, а другая стройна, подтянута. Они о чем-то оживленно разговаривают, и по отдельным долетающим до меня словам речь их представляется мне образцом интеллигентной русской речи, в которой какое-нибудь простонародное «казать» звучит с той же естественностью, что и книжное «инстинктивно», как в великолепном пушкинском языке: «Себя казать, как чудный зверь, в Петрополь едет он теперь...» Вспоминаются некоторые мои здешние знакомые, молодые люди, по преимуществу девушки, интеллигенты, если судить по диплому, — с какой безмятежной уверенностью они произносят: «Ложь сюда».

В Угожах, когда мы идем с парохода, кто-то из нас спрашивает, где тут лучше искупаться, и одна из женщин, дочь, весело отзывается: «Лучше места нет, чем на нашем Никольском лугу!» Вслед за матерью она сходит с горячей булыжной мостовой, которая тянется вверх, к кирпичным лабазам у въезда в село. Обе они, разувшись, спускаются к зарослям сусака, ломают собранные зонтиком розовые цветы, перепрыгивают через канаву на сырой прибрежный луг, идут напрямик среди сочных темных трав к Никольскому концу. Значит, они здешние, учительницы, я думаю.

Перед вечером центром города, распространяя крепкий запах коношни, бежит неторопливой мелкой рысцой табун еще не старых, гладких, но запущенных лошадей. Некованные копыта глухо погромыхивают по мостовой. Гикают, трясясь на неоседланных конях, погонщики.

По обеим сторонам улицы — перед аркадой гостиного двора и возле ампириных портиков торговых рядов — стоят любопытствующие прохожие. Остановились машины, автобус. Лошади трусят мимо, их гонят на базу Заготскота, на передержку, пока не освободится место на мясокомбинате.

\* \* \*

Позднее воскресное утро. Жара. Сухо.

Напротив гостиного двора, на тротуаре, возле магазина спортивных товаров, человек пятнадцать — все больше молодежь — распаковывают только что купленные велосипеды, проверяют их, пробуют, и всюду валяется развернутая жгутообразная коричневая бумага, и остро пахнет каляной этой бумагой, лаком, и звенят звоночки, сияет краска, никель.

По дороге в наш областной город сворачиваю в Любогостицы.

Пустынная и прохладная квартира Ивана Федосеевича, большие уютные комнаты с оштукатуренными голубоватыми стенами. Сам он

сумрачен, озабочен, ходит, чуть согнувшись — сидеть ему долго нельзя, рассказывает он, лучше ходить или лежать. Мы не делились с февраля, кажется, когда он только что вышел из больницы после автомобильной катастрофы. У него было сотрясение мозга, был поврежден позвоночник, и врачи настоятельно рекомендовали ему с год не работать. Но он пренебрег советами врачей, хотя и любит говорить при случае, что завод, чья машина сшибла автобус, в котором он ехал, решением суда обязан выплачивать ему ежемесячно вплоть до выздоровления полный его оклад. Тогда, на исходе зимы, он выглядел напряженным, связанным в толстом и жестком своем гипсовом панцире, поверх которого неуклюже пялился пиджак. Мы говорим с ним об этом, он оживает, поспешно идет в боковую узкую спальню и, подняв одним пальцем, показывает мне легкий, выпуклый, построенный из кожи и блестящих металлических пластинок доспех.

Я заговариваю об Андрее Владимировиче, который по поручению своего института снова хлопочет в здешних областных организациях о постановке каких-то опытов на осушенных землях. Иван Федосеевич молчит. Потом он вдруг устало говорит, что у нас тут на экономическую сторону не обращают внимания.

Мне вспоминаются вчерашние лошади, как их гнали на базу...

Я рассказываю о лошадях Ивану Федосеевичу, и он говорит со вздохом, что уже предлагал товарищам подумать, подсказать кому следует, не нужны ли эти лошади Китаю или Болгарии, там они бы еще поработали с пользой, а здесь они лишние, да и с кормами нынче будет плохо.

Вечером побрызгал редкий дождик и перестал.

\* \* \*

И сегодня нет росы. Сквозь сухие, несколько пряные запахи сгорающих трав и листьев и пересохшей земли пробился вдруг далекий и сильный, еще более сухой запах где-то загоревшихся торфяников.

Должно быть, от жары в городе появилось некое вредное насекомое — нечто черненькое, что устраивается сысподу на листьях сирени и тополя, покрывает их паутиной, чем-то пачкает, и листья желтеют, свертываются, падают. На асфальте и на спекшейся земле много сухих листьев.

Мимо городского театра, заняв всю булыжную мостовую, понуро движется стадо мелкорослых бычков и коровенок, подгоняемое конными пастухами, — почти телята; или это такие заморыши! Пыль. Тяжко пахнет скотиной. Коровы измучены, должно быть, давно не поены и не кормлены.

Вспомнилось, как Михаил Васильевич рассказывал, что на бойне полно таких вот годовичков, они не только томят, но и дохнут. И осенью я чуть ли не каждый день наблюдал, как под крики дюжих молодцов на лошадях, теснясь и оступаясь на скользком от грязи булыжнике, бежали замороженные, с острым крестцом и подобранным выменем коровенки.

Велик ли надобен ум, чтобы покупать только откормленный скот и не морить его на длинных и скудных, как библейский исход из Египта, перегонах между колхозным двором и предубойным корпусом мясокомбината?

\* \* \*

В автобусе новость — кондуктор продает местную газету.

Усаживаюсь покойно на тугой и прохладный еще пружинный диванчик, разворачиваю чуть пахнувший керосином лист, и со второй страни-

цы, из-под фотографии, на которой дородный пожилой мужчина держит речь перед внимательными слушателями, из-под крупного заголовка «Быть хозяином своего слова», как бы стремительно увеличиваясь, в глаза мне кидаются режущие строчки об Иване Федосеевиче, который «непростительно сорвал обязательства первого полугодия по продаже государству молока».

Я тут же вспоминаю, как Иван Федосеевич, когда я был у него недавно, в разговоре сказал, что он и не подписывал этих обязательств, так как лежал в больнице, да и не подписал бы ни о чем. Он объяснил мне тогда, что может производить и продавать государству столько-то молока и при этом, за вычетом стоимости кормов, нормально оплачивать труд колхозников, увеличивать стадо, ремонтировать и строить животноводческие постройки. Каждый же килограмм молока сверх этого пока что приносит такой-то убыток. Я тогда еще подумал, что, если бы все здешние колхозы имели по такому же стаду дойных коров и надаивали с каждой коровы приблизительно столько же молока, сколько в Любогостицах, не нужно было бы и это обязательство.

Статья, которую я читаю, вместе с фотографией и сатирическими рисунками, обличающими некоего ораторствующего на трибуне, а затем уснувшего в своем кресле бюрократа — то есть моего приятеля Ивана Федосеевича, — статья эта занимает целую газетную страницу и представляет собой отчет о выступлении председателя областной общественной комиссии Жугина на заседании бюро райкома партии. Я смотрю на фотографию немолодого, плотного, видать расчетливого крестьянина и не верю, чтобы он, обвиняя Ивана Федосеевича в том, что тот «больше ценит лук как наиболее доходную, по его мнению, культуру», всерьез полагал, будто можно вести хозяйство, не сообразуясь с выгодой.

Я размышляю об Иване Федосеевиче, который вот уже более четверти века удачливо руководит самым богатым здешним колхозом и почти всегда виноват перед начальством, потому что все делает по-своему.

Выйдя из автобуса и едва ступив на горячий, мягкий и податливый асфальт, натыкаюсь вдруг на Семена Семеновича, второго секретаря райкома, на которого сразу же и обрушиваюсь...

Семен Семенович, встретив меня дружелюбной улыбкой, мгновенно становится серьезным, строгим, со всей решительностью заявляет, что вы, мол, не подумайте, что это линия, кого же нам и критиковать, если не Ивана Федосеевича, он, мол, крепок, силен, не лежачего же бить!

Да и не возражал он на бюро, когда его критиковали, и с молоком у него действительно запущено, а он и не скрывает, что повышать удои дальше колхозу невыгодно, не хочет покупать концентратов и сам же везде и всюду об этом говорит.

Рассказывая мне об этом, Семен Семенович с какой-то рассеянностью и пренебрежением, я бы сказал, с превосходством наторевшего в неких высоких делах человека произносит слово «невыгодно», а когда говорит, что Иван Федосеевич «не хочет покупать концентратов», то это последнее выглядит ребячливостью, вздорной несообразностью.

Как бы заключая наш разговор, он энергично, коротко, не допускающим рассуждений тоном замечает, что это всем известно, что молоко обходится колхозам дорого, однако обязательства надо выполнять.

Все же я решаю возразить, что хозяйство можно вести лишь исходя из экономических факторов, что это только во время войны позволено ни с чем не считаться — выиграть бы только сражение...

И еще я говорю, что вот он здесь человек недавний — до него сколько было секретарей! — а я отлично помню, как восемь или девять лет на-

зад Ивана Федосеевича, которого нынче упрекают в том, что он предпочитает «невыгодному» молоку «выгодный» лук, обвиняли в почти прямо противоположном, в том, что он не хочет расширять площади под луком. Иван Федосеевич оправдывался тогда тем, что на каждом килограмме лука, при тогдашних заготовительных ценах, колхоз теряет один рубль. Сколько выговоров получил он тогда, сколько раз стыдила и унижала его наша газета, а разрешилось все знаменитым сентябрьским Пленумом ЦК, после которого были повышены цены на лук и овощи.

Семен Семенович заторопился по своим делам.

\* \* \*

Улица разделена по всей ее длине резкой ступенчатой линией света и тени, как на пейзажах Сарьяна, но только свет скорее белый, чем оранжевый, и тень не лиловая, а синяя. В тени, едва видная под огромным ворохом березовых веников, бредет, пошатываясь, старуха. Веники свежие, пахнут чуть привянувшим листом. Андрей Владимирович замечает, что ивановские веники считаются лучшими, их режут под Иванов день — березовый лист об эту пору еще мягок, но уже достаточно крепок.

\* \* \*

Все так же сухо и жарко. Небо с утра дымчатое, сизое. Прежде времени летит паутина. Синеватые перья лука на грядках как бы покрыты белым налетом, и среди них много торчком стоящих, раздувшихся по середине глянцевиных стрел, с которых сощипнуты начавшие завязываться семенники. В кустах смородины чернеют крупные, чуть пыльные, горячие ягоды. Земля накалена. Сильно пахнет горящим торфом. Тихо.

Моторки звенят и рокоцут на озере...

Николай Семенович со слов домашних рассказывает, что заходила тут знакомая колхозница, рассказала, как приезжал к ним уполномоченный, требовал, чтобы немедленно косили рожь и скармливали коровам. — Удой надо поднимать. Однако колхозники не согласились: эдак, говорят, мы без хлеба останемся. Хоть и засуха, рассудили колхозники, но коров мы сейчас как ни то прокормим, все-таки им есть что пощипать, а уж о высоких урожаях думать нечего. С тем и уехал уполномоченный.

То ли он такой уж невежда, этот уполномоченный, рассуждаем мы с Николаем Семеновичем, и не знает, что косить рожь на зеленый корм выгодно пораньше, когда можно чем-нибудь еще занять освободившуюся землю — картофелем, свеклой, — то ли он труслив и опасается возражать начальству, то ли он равнодушный человек, то ли совести у него нет...

\* \* \*

В тени деревьев, возле ограды сквера, встречаю вдруг Ивана Федосеевича. И машина его здесь же — в холодке. Он только что из парикмахерской, обветренное его лицо свежо румянится, белеет из-под сдвинутой назад кепки бритая голова. На нем смятый коломянковый костюм, он опирается на палку и чуть привалился к ограде сквера — привалился, должно быть, оттого, что поврежденный позвоночник болит, но со стороны это выглядит некоторой небрежностью. Двое молодых людей, почтительных и расторопных, докладывают председателю, что коров пока что не принимают и с лошадьми еще не все ладно. И он негромко рассказывает им, как и что надо сделать, чтоб и коров взяли и лошадей. Молодые люди уходят, можно положиться, что все будет в порядке.

Иван Федосеевич объясняет мне, что один из молодых людей — заведующий животноводством, ветеринар по образованию, а другой — помощник заведующего. Он говорит, что «сбрасывает» сейчас всю лишнюю, малопродуктивную скотину, так как травы уродились плохо — засуха,

сена будет мало, и надо оставить на зиму столько скота, сколько прокормишь.

Положение и впрямь тяжелое, в сущности угрожает бескормица, но Иван Федосеевич спокоен, ровен, деловит, действует применительно к трудным нынешним обстоятельствам, чтобы не нанести хозяйству урона, чтобы с наименьшими потерями вывести его из-под надвигающейся беды.

Наискосок от сквера, возле которого мы стоим, резко белеет на солнце угол двухэтажного дома районных учреждений. Поведя глазами в ту сторону, Иван Федосеевич с усмешкой вспоминает, как товарищи наши сперва тревожились, что район не выполнит обязательств по мясу, не даст двух с половиной планов, а теперь уж они опасаются, как бы совсем не остаться без скота.

Взгляд Ивана Федосеевича и вовсе веселеет, он вдруг не то чтобы напоминает мне, скорее спрашивает, помню ли я, как у Льва Толстого в «Войне и мире», когда жители и войска покидают Москву, Растопчин, полагавший, что это его усилиями существует все подвластное ему народонаселение, в час разразившейся бури ощущает себя бесполезным, слабым человеком, а корабль народа тем временем идет своим громадным независимым ходом. «Председатель колхоза и то зачастую подвластен обстоятельствам,— рассуждает Иван Федосеевич,— не может их изменить и применительно к ним ведет хозяйство. Теперь вот засуха, надо к ней примениться».

Он рассказывает о том, что я уже знаю: как он отказался силосовать рожь, пускай она вызреет — при этом он показывает на пальце, сколько выгадает соломы, если не станет убирать комбайном,— и еще он говорит, что решил немедленно косить клевер, какой он есть, иначе клевер сгорит, и у них в колхозе уже давно косят, а траву в поёмных лугах покуда трогать не надо, как бы ни наседали начальство, потому что в пойме еще есть влага, трава еще может расти, пусть растет...

Недавно, рассказывает Иван Федосеевич, ездил он в областной город, был в облисполкоме, у председателя, просил, чтобы «инвалидскую» лесопилку (то есть принадлежащую артели инвалидов) передали межколхозной строительной организации, чтобы и луг «инвалидский» возле озера, гектаров семьдесят там, отдали соседним колхозам, а заодно уж прирезали к Любогостицам смежную с их полями городскую, точнее горторговскую, землю. Председатель вызвал заместителя, и они согласились с Иваном Федосеевичем; о земле, сказал председатель, будет решение, а насчет лесопилки заместитель тут же позвонил, чтобы артель продала ее, и это вполне законно, так как и артель и колхозы — кооперация.

Иван Федосеевич говорит, что он посоветовал председателю облисполкома ликвидировать какую-нибудь из двух одинаковых по сути организаций — горторг или райпотребсоюз, оставить одну, пускай торгует и в городе и на селе. Председатель возразил, что это никак нельзя: цены в райпотребсоюзе выше, чем в горторге. Иван Федосеевич тогда сказал, что разницу в ценах можно оставить, и привел в пример рабочий поселок и соседнее с ним село, где один и тот же товар в разной цене.

Я не могу не высказать своего удивления тем, что у нас до сих пор существуют цены городские и сельские и что в деревне товар продается несколько дороже, чем в городе, вовсе не из-за транспортных расходов, как это видно на примере с рабочим поселком и соседним селом. Я говорю, что это несправедливо, и мой приятель соглашается со мной.

Наклонившись ко мне, он доверительно сообщает, что в городе и в деревне цены будут одинаковые<sup>1</sup>. С тою же доверительностью он говорит,

<sup>1</sup> Иван Федосеевич оказался прав: цены на многие товары в деревне снижены.

что некоторые области в скором времени будут упразднены, будут созданы края из экономически тяготеющих друг к другу областей — например, Верхневолжский, центром которого станет наш областной город.

Я давно заметил, что Иван Федосеевич питает страсть к такого рода разговорам, любит обсудить, как наилучшим образом устроить жизнь.

\* \* \*

Асфальт, и кирпичные стены домов, и железные крыши излучают сухой жар — кажется, волосы шевелятся и вот-вот начнут тлеть. А в здешнем кремле, в чертежной у Сергея Сергеевича, архитектора, реставрирующего кремль, холод и полумрак. Поблескивают оконные стекла, за которыми зеленеют деревья. Стены здесь такие толстые, что на подоконнике можно было бы поставить и стол и стул, оттого здесь так прохладно летом и такая теплынь стоит зимой.

Я взял в музее старую книгу о мерянах — первых здешних насельниках. Пока что единственное, что я мог бы сказать о них, это привести блоковскую строчку: «Чудь начудила, да Меря намерила...» И Сергей Сергеевич знает едва ли больше. Однако мы толкуем с ним о том, какими они были, меряне, одиннадцать веков назад обитавшие на нашем озере Каово.

Они были мелкорослы, черны и добродушны, почти фантазирует Сергей Сергеевич. Мне же они представляются скорее светловолосыми и росту порядочного, а в остальном я согласен с собеседником — меряне были добродушны. И медлительны, добавляет Сергей Сергеевич.

«Вы знаете, как они были неторопливы, — усмехнувшись одними глазами, говорит Сергей Сергеевич. — Покамест мерянин выговаривал слово, можно было выйти и вернуться: У-у-ж-бо-ла-а... У-у-р-с-ко-ла-а-а...»

И происходит чудо.

Сергей Сергеевич произносит давно знакомые, привычные названия здешних сел то медленно, протяжно, однако отчетливо: «Бре-е-ем-бо-ла-а», то с тою же отчетливостью, но отрывисто, коротко: «Шоп-ша».

Я слышу звучание мерянской речи.

Восьмой час вечера. Становится вдруг темно, туча надвигается с северо-востока. Резко, порывами дует ветер. В той стороне, где туча, полыхают молнии и гром гремит. А вокруг все затянуло мглой. Но дождь так и не пролился. Местные жители говорят: «Озеро не пускает!»

\* \* \*

Возле единственного молочного магазина огромная очередь.

Я хорошо помню, как в пятьдесят пятом или пятьдесят шестом году, когда у нас в районе чуть ли не вдвое против пятьдесят третьего увеличился удой молока, открыт был этот магазин. Не то чтобы он так уж был необходим — райгородский житель молоко берет на рынке, где и поторгаться можно, и перепробовать чуть ли не у всех молочниц, в магазине же его покупали больше всего те, кто и вставать привык не рано и не дорожит каким-нибудь гривенником. Однако обитатель Райгорода магазином был чрезвычайно доволен. особенный же интерес выказывал к некоему незнакомому напитку «кефир», до которого, правда, охотников было не много, но о котором в то лето толковали по вечерам на лавочках у ворот. И бывало, что рынок давно опустеет и все улицы вокруг, а на дверях магазина мотаются две подвешенные на веревочка картонки: «Есть свежее молоко», «Есть кефир».

А теперь вот очередь.

Происхождение очереди легко понять, если пройти на рынок.

Года два назад в молочном ряду не сосчитать было столов. Куда ни глянешь, матово серебрятся бидоны, белеют фартуки и нарукавники и влажные тряпицы. Звякают мерные кружки, глухо постукивают деревянные ложки. Запах остуженного, прямо с погреба свежего молока мешается с запахом молока топленого, с жирными и кисловатыми запахами варенца, простокваши, сметаны, творога. Молоком торговали колхозницы, колхозы, некоторые горожанки. Цены, конечно, определялись колхозами, но и колхозницы не очень дорожились, потому что каждую ждала работа.

Так было года два назад.

Сейчас, широко распространяясь, так как места хватает всем, неколебимо стоят за двумя или тремя столами знающие себе цену молочницы. Возле каждой толпятся люди. Если какая-нибудь из молочниц торгует сметаной, то к полулитровым этим баночкам сразу тянется несколько рук.

Райгородский житель все это объясняет короткой фразой: «Коров не велят держать!»

Рыжие тропинки в зеленой еще траве у нас во дворе. Воздух недвижим, горяч и как бы поблескивает. Тени почти нет. Потянул ветерок со стороны огорода, и вдруг сладко запахло горячей спелой малиной.

Среди ночи я просыпаюсь от неожиданной свежести и шума. Льет дождь — судя по звуку, какой возникает, когда капли ударяются о крышу сеновала и о землю, дождь редкий, но крупный. Льет он час, два...

\* \* \*

Утром земля все такая же сухая, словно дождь приснился.

Пока еще не жарко, Михаил Васильевич прогуливается перед своим домом, заложив руки за спину. Земляной тротуар разметен. Над канавой торчит не успевшая пропылиться щеточка скошенной травы. В конце улицы, возвышаясь над крышами, белеет Дмитриевский монастырь — его стены, и башни с шатровыми готическими беседками, и ампирный собор, увенчанный исполинским куполом. От монастыря, с конечной остановки, только что отошел автобус, дважды остановился, чтобы подобрать замешкавшихся пассажиров, и покатил «в город». Пыль улеглась. Михаил Васильевич ищет, с кем бы поговорить. Тут к своему дому, что стоит наискосок от нашего, подкатывает на велосипеде Александр Иванович, работавший прорабом в кремле и года три назад вышедший на пенсию.

Михаил Васильевич осведомляется, как поживает сосед. «Часом с квасом, порой с водой», — отвечает Александр Иванович. В свою очередь и он спрашивает, каковы дела у Михаила Васильевича. Тот машет рукой: «Все только в расход выводи». Затем добавляет: «Сердце-то у меня кончается, видать». Александр Иванович приводит в пример вошедшую в поговорку расторопность райгородца, который и смерть обойдет, на что Михаил Васильевич, согласившись, замечает с усмешкой, что райгородцы «на полу спали и то не упали». Он выговаривает соседу, зачем тот не обкашивает канаву (осенью вода не пройдет), и сосед, обещав обкосить, восклицает: «Ленивому только размяться!» Голенастая девочка в коротком платьице бежит через дорогу. Михаил Васильевич, кивнув в ее сторону, неодобрительно говорит: «Как снеток». Александр Иванович приглашает Михаила Васильевича пить чай, тот благодарит — напился уже. «А ты перепей», — предлагает Александр Иванович; но Михаил Васильевич решительно отказывается: «Свой живот дороже». Слушать Михаила Васильевича и Александра Ивановича — истинное наслаждение.

Разгорается жаркий день, небо затягивается дымкой, все так же сильно и сухо пахнет горящими торфяниками. Я ищу в словаре, каким бы словом назвать нынешнее лето — сухое, засушливое, сухменное...

К слову «сухмень» приведены следующие тексты из летописей.

«Бысть ведро и жары велици и сухмень чрез все лето, и пригоре всяко жито и всяко обилие, и озера и реки засхоша, болота же выгореша, и леса и земля горела». «Того же лета сухмень бысть, загарухутся болота и борове». «...И въздух куряшеса и земля горяше».

Накалившаяся земля у нас во дворе и колеблющийся, убегающий все вверх и вверх воздух отвечают этим последним словам — «горяше» и «куряшеса». В одну из таких засух четыреста лет назад, чтобы предупредить возможность пожара, было предписано: огня бы в городе не было, а ести б все варили за городом, и береженье от лиха держати великое.

Если бы пошел дождь, да хороший, дня на три, картошка была бы спасена. Ни травам, ни пшенице, ни овсам дождь уже не поможет. И лук нынче будет мелкий, ему недостало влаги, чтобы налиться. А поздняя капуста может поправиться. Только и разговору, что о дожде.

И в наши дни, как в летописные времена, если нет дождя, то «пригоре всяко жито и всяко обилие» — в этом одна из главнейших особенностей сельскохозяйственного производства и то коренное обстоятельство деревенской жизни, которое побуждает шапку снять перед крестьянином.

Как же неуместны и бестактны сейчас пестрые фанерные щиты, еще зимой выставленные в центре города и в городском парке, с их безграмотными рисунками, пронзительным сочетанием цветов и нескромными, крикливыми надписями, призывающими убрать богатый урожай, надоть баснословное количество молока и продать государству два с половиной плана мяса.

\* \* \*

Вечереет, однако все еще жарко.

Освещенная солнцем пыльная булыжная мостовая глухой привокзальной улицы. В дальнем конце улицы зияет бесцветное, светящееся небо с прочерченными в нем криво столбами. Оттуда, широко разбредаясь по мостовой, идет стадо. Впереди идут похожие на белых чертей козы. Среди коз, суетясь и кидаясь из стороны в сторону, бегут серые, ступенчато остриженные овцы. Позади всех шествуют коровы.

А на середине мостовой и на четырех углах перекрестка стоят женщины, некоторые с детьми, девчонки, мальчишки-подростки. Девушки почти все босые, длинноногие в своих коротких и тесных ситцевых платьишках, низко вырезанных, обтянувших загорелое тело. Загар у них желтоватый, позволяющий вообразить солнечный берег и теплую воду озера. А у женщин загар грубый, с ветром, кожа лоснится, на них пыльные нитяные чулки, глухие мешковатые платья или темные юбки с линялыми майками, местами прилипшие к потному телу. Девчонки переговариваются, смеются, почесывают пальцами одной ноги щиколотку другой, им не стоит на месте, и они перебегают друг к дружке. А женщины молчаливы, расплывшиеся и худощавые, они стоят одинаково тяжело, расслабив мышцы...

Все эти люди встречают стадо. Завидев свою корову, козу или овечек, они кличут их, и те еще издалека начинают пробираться на зов — овцы при этом радостно блеют, а коровы почему-то недоуменно мычат. Потом каждый гонит свою животину домой — бывает, через весь город.

Прежде было не так. Прежде пастухи пригоняли скотину в те концы города, где живут ее владельцы, чуть ли не до ворот каждого. Однако с недавних пор прогон скотины городом постановлением горсовета запрещен.

Можно предположить, что это сделано, так сказать, из соображений эстетических. Но в нашем городе только центральные улицы заасфальтированы, и вдоль тротуаров высажены цветы, все же окраины летом первобытно зеленеют. Да и центром гонят у нас гурты на мясокомбинат, что вполне естественно для сельскохозяйственного городка и едва ли может оскорбить самый требовательный взгляд, была бы скотина хорошо упитана.

Возможно, впрочем, что товарищи из горсовета запретительной мерой своей имеют в виду пресечь некие собственнические поползновения, положить конец предпринимательству, побороть пагубу любостяжания.

Плоским, выбитым скотиной пустырем, мимо бесконечных серых заборов, то выгнувшись наружу, то завалившихся внутрь, я выхожу на высокую, накатанную до синевы автомобильную дорогу и возвращаюсь в город. Слева от дороги, в некотором отдалении, все в дымке, и оттуда тянет горящим торфом. Сильно пахнет горящим торфом и в городе. Запах этот как бы застоялся в сумеречных, не освещенных еще улицах центра, между неостывшими стенами домов, над которыми чуть светятся в темном небе главы собора, звонницы и надвратных церквей в кремле.

\* \* \*

Утро пасмурное, прохладное, небо в редких, темных с серыми просветами тучках, и все тот же сухой запах горящего торфа. Временами проглядывает солнце, однако не жарко. Поднимается ветерок. Похоже, что погода ломается, жара сваливает. А дождя все же нет и нет.

Весь день прохладно, изредка — солнце.

Часу в одиннадцатом ночи в тишине уснувшего городка слышен одинокий, металлически-звонящий высокий звук — моторка идет озером...

\* \* \*

И опять нежаркое утро. Небо в легких тучках. По временам срывается ветер, и солнце заходит за тучу, свет меркнет. Но солнце снова проглядывает, день постепенно разгорается.

В четвертом часу пополудни отправляемся в Ужбол.

Солнце слепит, и в то же время прохладно от ветра, но, как только ветер утихнет, охватывает жаром. От автомобильной дороги уходит вправо, излучиной, так хорошо знакомое нам опрятное булыжное шоссе. На нем почему-то никогда нет пыли, каждый камень его — то серый, то сиреневый, то желтоватый — отчетливо различим. Шоссе идет к железнодорожному переезду, который всегда возникает как-то вдруг, в конце излучины, с полосатым своим шлагбаумом, старинным фонарем, тесно посаженными елочками вдоль полотна и красной будкой. Возле будки стоит с флажками немолодая уже, видная девушка с ясным лицом и улыбчивыми глазами, племянница нашей давней знакомой, Натальи Кузьминишны, — «сиротка она, постоянно в работе, и одеться не во что, где уж ей было выйти замуж!» Девушка машет нам рукой, поднимает шлагбаум, и вот уже стрелой до самого Ужбола, темнеющего садами на склоне горы, стремится прямое здесь шоссе.

Пруд у въезда в село пересох, в черной истоптанной впадине с белеющим повсюду гусиным пером блестит мелкая лужа, посреди которой стоят на полузатонувшем плоту босые ребятишки, тычут палками в

вязкое дно, но плот не двигается, перекосившись, все больше погружается в воду.

На склоне бугра перед домом Натальи Кузьминишны желтеет сгоревшая мурава и остро пахнувшая ромашка с зеленоватыми шариками цветов. Коротко нарубленный хворост уложен в штабеля сбоку дома. На двери замок, но красные дворовые ворота приоткрыты — хозяйка, видать, в саду.

Большая, пышнотелая и круглолицая девица, розовая, веснушчатая, — как оказалось, незнакомая нам племянница Натальи Кузьминишны, студентка, — собирает вишню, а Наталья Кузьминишна сидит на меже, тетешкает младенца. Я спрашиваю ее, все ли она с внуком: «В полотье-то он в городе был, — отвечает она, — у той бабки».

Жарко. Пронизанные солнцем вишенки пылают в темной листве. Перепачканная красным соком девица, несколько разомлевшая, потная, спускается с поскрипывающей стремянки, высыпает из маленькой корзины в большую крупные, как бы чуть сплюснутые, почти черные глянцевиные ягоды.

На черных сухих грядках лежит пониклое луковое перо, сизое, с конца совсем желтое, а торчащая из окаменевшей земли репка еще мелка. И картошка, видно, горит. «Она бы еще поправилась, кабы дождь, — перехватив мой взгляд, замечает Наталья Кузьминишна, — а лук уже не нальет».

Она предлагает нам пойти прогуляться, пока они тут управятся с вишней, да и Андрей скоро прикатит из своей РТС, и Эльвира придет с медпункта, развяжет ей руки, возьмет молодца...

Я спрашиваю ее, не странно ли ей, что она бабушка.

«Не то что странно — страшно!» — отвечает Наталья Кузьминишна.

Идем задами, горячей пыльной дорогой, глубокой, как русло реки.

Дорога ведет в гору; по краям ее, над красноватым обнажением, торчит сухая желтая пижма, а выше, на склоне, пижму оплел остролистый вьюнок с розовыми граммофончиками цветов, пахнущих пылью и миндалем.

Нас обгоняет немолодая изможденная женщина, торопливо оглядывается, кланяется, поспешно идет дальше. На плече у нее серп: должно быть, она идет жать траву для коровы. Голенища разношенных резиновых сапог на ходу хлопают по ее худым икрам, обвислая трикотажная юбка линялого свекольного цвета сидит на ней криво, и кофточка драная, и платочек, небрежно обмотанный одним концом вокруг шеи, грязноват.

Да ведь это же Катя, дочь покойного шорника Федора Дмитрича! Куда девалась ее миловидность, ямочки на щеках и подбородке почти детского лица, смешливость, задор, все то, что так привлекало в ней лет пять назад, когда она появлялась по вечерам со своим велосипедом возле нашего дома, перед клубом, позвякивала звоночком, разговаривая с парнями. Через год она вышла замуж, говорили, неудачно. Мужа она «взяла в дом», да еще вдовца с ребенком. Однажды, напившись, он полез зачем-то к мотоциклу, стоявшему во дворе, причем с папиросой, и спалил двор и дом тестя. Федора Дмитрича, по счастью, не было уже в живых.

У Кати ребенок и больная мать на руках, работает она тяжело, а муж пьет, поколачивает ее и уже дважды уходил — оба раза к Соне, которая, рассказывали, жила с ним открыто, как с мужем, и еще всем говорила, что не может понять, чем это он Катьке не угодил. И мать ее, тетка Лизавета, будто бы возмущалась: «Такого мужика браковать!» Впрочем, мужичонка этот и у Сони не зажился: в первый раз он через месяц вернулся к жене и во второй раз прожил не больше месяца...

Сзади неслышно подходит тетка Аграфена со сложенной дерюжкой и серпом на плече: вероятно, тоже идет за травой. Имея в виду Катю, она замечает: «Правду говорят, горе только рака красит». Я говорю, что и Катю жалко и Соню, — быть может, Соню даже больше. Аграфена быстро вскидывает глазами, но ничего не говорит. Я объясняю ей, что у Кати все же было какое-то счастье — сватовство, свадьба и ребенок у нее знает отца, а у Сони, обманутой ее дружкой чуть ли не в девятнадцать лет, мальчишка и в глаза не видел отца, и как же она обделена судьбой, если польстилась на этого пьянчужку. Она ведь понимала, что деревня ей не простит, однако решилась принять чужого мужа. Аграфена сдержанно говорит, что уж конечно деревня ее осудила.

Мы поднимаемся все выше и выше.

Тишина. Зной. Воздух колеблется и блещит. Душно пахнет горячей пижмой, и полынью, и пыльными травами, и унавоженной землей огородов. Огороды лежат по левую руку, за длинной, как бы суставчатой изгородью. На огородах все прополото и не так уж высохло. Низко нависая над грядами, то здесь, то там стоят вишенники, пламенеющие обильной вишней.

И вот уже, кажется, ногами ощущаешь, как высока земля.

Оглядываюсь, и сердце останавливается от давно знакомого и всякий раз удивительного зрелища простершейся внизу необозримой котловины: дымчато синеющих по всему окоему лесов; желтоватых нив и серых пашен, прямоугольниками лежащих на косогорах; лугов, и болот, и заросших кустами пустошей в низинах; деревень и сел с их силосными башнями и колокольнями; зеркального в этот час озера и дивного городка на берегу с его сверкающими на солнце маковницами, дымящими трубами фабрик и темными садами, среди которых едва видны крыши и стены домов.

Аграфена замечает, что славно было бы, если бы те, кто строил село, поставили его поперек горы, одним посадом — пей чай и любуйся...

Она сворачивает в сторону, к заросшему лебедой полю, прощается и говорит, что пошла в огурцы, — и верно, среди лебеды можно различить свежие еще плети и обильно желтеющие цветы. Если бы прополоть, пожалуй, был бы урожай. «Один-то раз их полотно, — объясняет Аграфена, — да начался сенокос, и теперь уж не до них». Я спрашиваю, а как вообще обстоят дела в колхозе, и она, ни слова не сказав, махнула рукой.

Обратно мы возвращаемся селом. Мы идем в тени изб, напротив которых, в загородках из высоких тонких кольев, пестреют цветы — георгины, золотой шар, ноготки... Между иными избями, под сеткой, натянутой на колья в виде шатра, копошатся белые, так называемые «инкубаторские» цыплята. Гуси, нехотя поднявшись, идут прочь с дороги.

На завалинке своего дома сидит знакомый старик, Павел Иванович. Кажется, он еще больше постарел, черты лица как бы стали крупнее, в бороде появилась желтизна, — сидит в очках, читает газету. И голос у Павла Ивановича стал будто тише. Он спрашивает, почему редко приезжаем и мало гостим. На вопрос, как он живет, отвечает, что хорошо, дождей только нет, сохнет все, а так ничего, хорошо... И ни слова о том, как скучает по покойной своей старухе, чему все село дивится. Не сказал он и про то, что недавно схоронил старшего сына, видного и уважаемого в городе работника, управляющего банком, говорят, скончавшегося в страшных мучениях.

Перед самым ее домом встречаем Соню — Соньку, как зовут ее все в Ужболе. Она словно стала меньше и худее, загорела как-то пятнами. Вся она пропылилась, должно быть устала, однако весело объявила, что только что приехала из областного города, куда ездила с вишней, а те-

перь вот идет купаться на верхний пруд и что мы еще, конечно, увидимся. Эта ее веселость, я знаю, не деланная, а истинное состояние духа.

На крыльце нашем сидят девочки, приходившие сюда каждый день, когда мы жили здесь постоянно, — Нина и Галя. Положительно они стали хороши, выросли, посерьезнели. Нина просто красавица, большеглазая, с прямым носом; у нее темный румянец и глаза темные. А Галя — беленькая, глаза у нее светлые, волосы все такие же выцветшие, теперь она заплетает их в косу. Большие, в черной оправе очки придают ее скуластенькому, со вздернутым носом лицу недетскую степенность. И говорит она рассудительно, негромким ровным голосом. Нина кончила семилетку с отличием, теперь учится в городе, живет в интернате, как, впрочем, и Галя. Вышедшая на крыльцо Наталья Кузьминишна рассказывает про Галю, как она помогает матери на ферме, а уж по дому и говорить нечего: «Каки ведра таскает!.. Каки ведра!..»

Все переменялось в доме Натальи Кузьминишны — и в избе и в горнице, куда я по обыкновению заглянул. Почти вся мебель новая, поблескивает лаком, цветным или рельефным стеклышком, и какая-то она мелкая, щеголеватая, то с фигурным узором, то с точеной балясинкой — произведение наивной фантазии районного промкомбината. В избе мебель сдвинута к стенам, тяжелые старинные лавки вынесены, как объясняет Наталья Кузьминишна, чтобы ребенку было просторно. Всюду валяются яркие пластмассовые игрушки и книги — по механизации сельского хозяйства, всякого рода руководства для охотников, вузовские учебники. Высоко над кроватью белеет лист ватмана, прищипленный кнопками к бревнам стены, на котором крупно, черным жирным карандашом написаны формулы дифференцирования и интегрирования: Андрей, младший сын Натальи Кузьминишны, механик РТС, вот уже второй год учится в заочном институте.

Я с любопытством смотрю, как Эльвира, невестка Натальи Кузьминишны, рослая, сильная, однако тихая и застенчивая, готовит ребенку морковный сок. При этом она листает какое-то пособие по детскому питанию, то ли из свойственной молодой матери неуверенности, то ли из желания, чтобы все было «культурно». Эльвира — фельдшерица, она заведует медпунктом в Урсколе.

«Какая я ходильница!» — говорит Наталья Кузьминишна, когда я выговариваю ей, отчего она не заходит к нам, бывая в городе. А то еще как-то, в ответ на мое замечание, почему она не дает о себе знать, не пишет, она возразила: «Какая я писальница!» У нее удивительно свободное обращение с языком, как у детей, которые приспособливают слова к своим, я бы сказал, потребностям. Это не от малограмотности, здесь нет того уродования слова, к какому прибегает человек, когда оно ему внове, когда он его не понимает, это именно детское. И еще здесь какой-то особый талант, нередкий среди райгородцев. Несколько дней назад, например, Капа, воспитанница Михаила Васильевича, имея в виду нечто безнадежно устаревшее и потому совсем уж непригодное, никчемное, сказала пренебрежительно: «Допотопия».

Я спрашиваю Наталью Кузьминишну, какие новости в колхозе, и она с некоторой нарочитой сдержанностью говорит, что ничего не знает, так как из-за болезни на работу теперь не ходит, это надо спросить тетку Полю, та хоть и вышла из годов, а бывает всюду, иной раз еще и работает.

Перед самым нашим отъездом из Ужбола, часу в девятом вечера, опять встречаем Сою. Умытая, переодетая и посвежевшая, она идет в клуб. Русые ее волосы, местами выцветшие, чуть подвитые, аккуратно

уложены, и только над левым ухом, как прежде, как всегда, лихо устремившись назад, словно летит широкая прядь. Конечно, много деревенского моралиста смутят некоторые поступки Сони или ее несколько свободное обращение с фактами, но я никогда не посчитаю ее ни распутной, ни сплетницей — просто она немного фантазерка и очень хочет быть счастливой. А как она доброжелательна и какая безотказная работница — маленькая, худенькая, сколько навозу выгребла она из конюшни, сколько мешков перетаскала на себе, сколько груза перевозила на лошади!.. И мальчишка у нее на диво хорош. И потом она ведь подлинное дитя своего села, никуда отсюда не уедет, хотя жизнь ее здесь сложилась тяжело. Как она скучала в Москве, когда ей пришлось прожить зиму у больной тетки! А в Ужболе ей все интересно, до всего есть дело.

«Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России...»

Эти слова Ленина не идут у меня из головы весь вечер. Уже тяжело больной, Ленин продиктовал их стенографистке 30 декабря 1922 года. Ленин имел в виду то обстоятельство, что не вмешался с достаточной энергией и резкостью в вопрос о так называемой автономизации, то есть о вступлении советских республик в РСФСР на началах автономии. Суть, конечно, не в самом вопросе, решенном почти сорок лет назад, а именно в этих простых словах. С тех пор как я узнал их, они представляются мне самым сильным выражением чувства ответственности руководителя перед народом. Иной сказал бы о своей вине перед историей. Другой признался бы, что виноват перед идеалами, которым служил... Ленин говорит о рабочих.

Сегодняшняя поездка в Ужбол вызвала в памяти эти его слова.

Конечно, это очень приятно, что Эльвира и Андрей живут хорошо и, хотя есть у них свое хозяйство, не вынуждены бывают, надрываясь, делить время между огородом, базаром, коровой или козой и главной своей работой. Они получают за эту свою работу столько, что могут жить спокойно, употребляя досуг и на приготовление заданий института, и на то, чтобы воспитывать ребенка сообразно с гигиеническими требованиями. Но ведь фельдшерница и механик, при всей насущной необходимости этих профессий, всего только обслуживают главного работника на земле — ту же Катю, или Соню, или Аграфену... Почему же эта самая важная в деревне работа, грубо говоря, не кормит, и все свободное от нее время каждый колхозник в Ужболе отдает обработке усадьбы, уходу за коровой, поездкам с товаром в город, — тут не то что учиться, ребенку нос некогда утереть!

Я вспоминаю все, что мне известно о здешнем колхозе, и то, как три года назад в райкоме партии тогдашний первый секретарь Василий Васильевич Пирогов, гордясь своей расторопностью, рассказывал мне, как ловко он сумел забрать у ужбольских «мужиков» Николая Леонидовича Ликина, уважаемого ими председателя, понудив их выбрать Романа Глебушкина, чему они по неистребимой злокозненности своей сопротивлялись.

Позднее, уже в самом Ужболе, мне рассказывали об этом длившемся с утра до полуночи собрании. Проводил его сам Фетисов, в ту пору еще председатель райисполкома. Он измучил колхозников всякого рода замечаниями «в порядке ведения», многозначительными репликами, грозной речью и несколько раз отменявшимся голосованием. И когда распаренные, ошалелые люди вывалились наконец из прокуренного клуба на ночной мороз, то многие из них не могли взять в толк, за кого же они проголосовали.

Год спустя Романа Евстафьяча Глебушкина пришлось освободить от обязанностей председателя колхоза — он был изблечен в покупке кра-

денного шифера, которым собирался покрыть только что построенный им собственный дом. Обстоятельства, при которых это случилось, долгое время развлекали не только жителей Ужбола, но и всей округи. Дело в том, что Роман Евстафьич — попросту сказать Ромка, потому что тридцатидвухлетнего этого мужика только районное начальство да еще теща величали по имени-отчеству, — был от рождения удивительно косолап. А вечером перед самой покражей выпал снег, и утром вокруг остатков шифера на складе строительных материалов можно было видеть среди прочих следов отпечатки ног топтавшегося здесь странного существа, каждая из которых устремлена была навстречу другой. Милиционеры даже не стал спускать собаку: в районе был только один человек с такими ногами — Ромка Глебушкин.

После Глебушкина и без того не маленький ужбольский колхоз, в который входило пять деревень, по настоянию райкома объединен был еще с двумя такими же колхозами, причем чрезвычайно запущенными, а председателем райком, так сказать, рекомендовал некоего молодого агронома, человека сугубо городского, точнее — столичного, ко всему еще слабого здоровьем. Молодой этот человек был единственным сыном не то генерала, не то адмирала. Должно быть, когда он поступал в сельскохозяйственный институт, родители полагали, что работа на свежем воздухе укрепит его здоровье. На собрание он приехал в собственной, сияющей черным лаком большой машине. Не знаю, как в других селах, а в Ужболе никто против нового председателя особенно не возражал, и не потому, конечно, что люди поверили в хозяйственные способности деликатного горожанина. Многим колхозникам было уже все равно, кто станет у них председателем. Другие же, в особенности женщины, отнеслись даже с некоторым сочувственным любопытством к болезненному генеральскому сыну и к его родителям, которые так его жалеют, так жалеют, что эвон какую машину купили.

Еще когда председателем был Ромка, я слышал, как в Ужболе говорили, что теперь в селе пошла растащивка. Конечно, воровали немногие, да и по мелочам — охажу травы, возвращаясь с покоса, или ведро картошки, когда ее копали. По-крупному, рассказывали, ворует один председатель, в подтверждение чего приводились следующие резоны: во-первых, он сразу же построил себе большой дом; во-вторых, до тридцати двух лет он оставался холостяком, а теперь вдруг высватал молодую деву; в-третьих, всем известно, что еще смолоду, работая кладовщиком, он поворовывал, на чем и попался однажды. Так или иначе, но в Ужболе установилось то порочное обыкновение, о котором как-то при мне с горечью сказал пожилой, выдавший виды крестьянин: в колхозе нашем жить нельзя, а возле колхоза — преотлично.

Ничего тут не мог поделывать и новый председатель.

В пятьдесят третьем году, когда вся деревенская жизнь переменялась и в Ужбол пришел работать Николай Леонидович, у обитателей села пробудился было интерес к общественному хозяйству. Но три года спустя, когда райком послал Николая Леонидовича в Усолы, для жителей Ужбола, как и для колхозников из других здешних деревень, колхоз снова стал чем-то посторонним. И не только из-за того, что на трудодень, по обычаю прежних лет, опять почти ничего не причиталось, хотя председателю своему колхозники платили не меньше, чем получает хороший инженер. Была здесь еще и та причина, что сперва им в председатели навязали человека, которого с юных его лет никто в селе не принимал всерьез, к тому же нечистого на руку, а потом, тоже не спросив, объединили с какими-то дальними, чужими деревнями, где иные из них сроду не бывали.

Правда, о новом председателе ничего худого в Ужболе не говорят. Ему словно прощают и то, что весной он сулит бог знает сколько, а осенью, в расчет, получать нечего. Не обижаются на него и за то, что он никогда не бывает ни в поле, ни в бригадах и повидать его, если есть нужда, можно только в конторе, в строго определенные им для приема посетителей дни и часы. К образованному агроному здесь установилось то добродушное, однако не совсем уважительное отношение, которое в южных наших областях крестьянин выражает обычно тем, что применительно к молодому мужчине употребляет местоимение среднего рода — «оно».

Я не обольщаюсь. Я хорошо понимаю, что Василий Васильевич, занимающий теперь руководящую должность в области, и в мыслях не считает себя виноватым за положение дел в Ужболе. Да если бы и считал, никогда не признался бы в этом, разве только начальство напомнит. Но даже и тогда он стал бы говорить о своей вине только в общей форме, причем обязательно во множественном числе: мол, допущены были нами ошибки...

\* \* \*

На берегу озера, у самой воды, растет сочное травяное растение. Оно растет как бы пучками, возвышаясь над чахлой травкой. Длинные стебли его мягко изогнуты. Единственный лист на конце каждого стебля похож на наконечник стрелы. Растение так и называется — стрелolist.

Озером едва движется лодка, два человека на ее корме, нагнувшись, должно быть держат концы сети, а третий, голый, вытянувшись во весь рост на носу, бьет по воде длинным шестом. Сперва человек на носу ударяет по воде с одной стороны лодки, потом — с другой; он делает это не торопясь, размеренно, с рассчитанной силой, и можно догадаться, что он молот.

Лодка сидит низко, она кажется очень длинной. На гладкой оловянной воде озера и лодка и люди в ней выглядят черными, плоскими.

Человек с шестом пугает рыбу шумом, гонит ее в невод.

Вероятно, так рыбачили еще меряне.

\* \* \*

Седьмой час вечера. В центре города, в той его части, где торговые ряды, рынок, лабазы и склады, где земля замощена булыжником или покрыта асфальтом, стоит духота, пыль, поднятая случайной в этот час грузовой машиной; из каких-то сырых закоулков разит аммиаком, селедками, гнилью... Народу здесь — ни души. Автобус ходит пустой.

Но чуть отойдешь отсюда, вступишь в пределы главной нашей улицы — Ленинской, которая тоже вся сплошь залита асфальтом, и сразу же ощутишь предвечернюю свежесть. Липы и тополи, посаженные здесь, кажется, не так давно, успели уже разрастись. Посеянная вдоль тротуаров трава, и цветы в траве, и гряды с огурцами и помидорами во всех здешних дворах в свою очередь «извлекают из атмосферы углекислоту и обогащают ее кислородом». Однако и на Ленинской сейчас почти никого не увидишь.

Малоллюдно и в соседних улицах, с густой травой над канавами, с торчащими чуть ли не посреди улицы аккуратнo окученными кустиками картофеля, с сиренью и боярышником за каждым забором, с цветущими геранями в низких окнах, с запахом воды, если улица неподалеку от озера.

Только возле водоразборных колонок толпится народ.

Наступил час поливки — время, когда все жители города, буквально всех возрастов и состояний, поливают огороды и цветники перед домами.

И так каждый вечер.

Капа рассказывает, что в парке часов до десяти никого нет, лучше и не ходи, только часам к одиннадцати соберется настоящее гулянье: польют гряды, напьются чаю и отправятся в парк — молодежь, конечно.

А люди пожилые, вообще семейные, посиживают у ворот, провожают взглядами идущую мимо разряженную и надушенную молодежь, потом, когда улица опустеет, вдосталь посудачат, надышатся ночным воздухом...

Но сейчас до этого далеко.

Девятый час пошел. Красное солнце садится в пыльном небе.

\* \* \*

На кухне у нас, спиной к занавешенному газетами окну, сидит женщина лет тридцати с небольшим, соседка. Она сидит, скинув тапочки, обхватив ножки стула сильными загорелыми ногами. На ней розоватое платишко, она широка в бедрах, грудь не очень развита, лицо продолговатое, с чуть выпуклыми скулами у самых глаз, довольно узких. Жидкие пепельно-желтые волосы ее гладко причесаны. На лице, шее и голой руке, цветом своим напоминающих необожженную глину, лежит пробившийся через газету свет горячего послеполуденного солнца. По своей внешности и по обстоятельствам жизни женщина эта принадлежит к очень распространенному здесь типу.

Я знаю ее много лет. Она живет наискосок через дорогу.

Она работает уборщицей в больнице, а муж — истопником. У них трое детей. Она энергична, хозяйственна, держит корову. Она не только доит ее, ходит за ней и продает молоко, но и корм сама припасает, обкашивает канавы, усадьбы соседей — конечно, она платит им за это, — каждую былинку тащит в дом. Этого сена, понятно, не хватает, и она еще куда-то ездит за сеном, должно быть к лесникам, что и дорого и нелегко. Но без коровы было бы еще труднее жить. Главная прибыль в том, что дети досыта пьют молоко.

И вот теперь соседка рассказывает резковатым своим голосом, что вчера отвела корову на бойню. Сено сейчас дорогое, и она опасается, что нынешнюю зиму ей корову не прокормить. Она бы еще, может, попробовала, но только замучилась провозить корову в стадо и встречать. И на полдни ведь надо сходить. А это — три километра туда да три обратно...

Я не располагаю статистическими данными о владельцах коров в нашем городе. Но я убежден, что по преимуществу это такие вот многосемейные и малооплачиваемые рабочие и служащие, пенсионеры. И этих-то людей, не бездельников, обремененных детьми и домашними заботами, заставляют пройти пешком каждый день по меньшей мере десять—двенадцать километров.

\* \* \*

Разгорается жаркий день, небо затягивается дымкой. Мы едем с Иваном Федосеевичем в древнее село Пожарское, которое прежде входило в наш уезд, а потом стало районным центром и отошло к соседней области.

До Усолов к проживающей в этом селе свекрови едет бухгалтерша из Любогостиц, и когда нам встречаются усольские машины с сеном, Иван Федосеевич говорит своей верной помощнице, что надо будет завтра отправить тонн двадцать сена в поставку, пусть подготовит документы, и тут же диктует: из Стрелецкой бригады вывезти столько-то тонн, из Васильковской — столько-то... Бухгалтерша негромко замечает, что это будет уже не двадцать, а двадцать пять, на что Иван Федосеевич машет рукой: «Ладно, пускай!» Он рассказывает, что Благовещенский, начальник сельскохозяйственной инспекции, звонит ему каждый

день, требует, чтобы сдавал сено. «Я уж ему говорю, — усмехается он, — ты кто — инспекция или уполминзаг?» Он принимается жаловаться мне, что инспекция наша, чем ей думать о развитии сельского хозяйства в районе, выколачивает поставки...

Мы едем с краю речной долины, посреди которой широко разбрелись стада. Иван Федосеевич, озирая пастбища, не без горечи говорит, что ведь никто не подумает, откуда взялось, что девять лет назад, когда Стрелецкий колхоз, где со дня основания он был председателем, объединился с Вёксой, Меленками, Николо-Перевозом и Любогостицами, то было во всех колхозах шестьдесят коров, а теперь на этой земле — триста.

Конечно, размышляю я, если начальство беззаботно, нетрудно ходить у него в баловнях — сдай до последнего хвоста всю скотину, до зернышка хлеб, но каково противостоять и соблазну легкой славы, и каждодневным обвинениям в так называемой антигосударственной практике!

Иван Федосеевич нетерпим к шуму скоротечных кампаний. Они мешают сосредоточить внимание на коренных проблемах здешнего сельского хозяйства. Он талантлив, индивидуален и не скрывает этого под постной личиной — впрочем, подлинная индивидуальность не станет скрываться, не сумеет. Всем этим Иван Федосеевич вызывает по меньшей мере раздражение, а то и ярость мелких людишек, которые опекают его, постоянно чему-то учат и зудят, зудят...

Меж тем колхоз Ивана Федосеевича самый богатый в районе — постройками, машинами, скотом, и земля и скот здесь дают наибольший в наших местах доход, и больше всего продуктов государство получает именно отсюда, и колхозники зарабатывают здесь больше, чем в других колхозах.

Даже у людей, расположенных к нему, мой друг слывет в некотором роде чудачком. Однако не пора ли признать, что своеобычность его, неуступчивость, пренебрежение многими, по сути своей мешанскими, условностями есть не что иное, как преломившиеся в ярком крестьянском характере черты большевистской принципиальности, стойкости, самоотверженности.

Я полагаю, не учить надо Ивана Федосеевича, а у него учиться.

Впереди, возвышаясь над канавами, белеет булыжная дорога.

Слева от дороги, на пригорке, круглится и рядками уходит вверх мелкая, на высокой кочерыжке, лопушистая капуста, едва только начавшая завиваться; между вялыми ее листьями сквозит сухая земля. Иван Федосеевич замечает: «А это уж неумно сделали — капусту на горе посадили, могли бы догадаться в низинке посадить, возле воды». Я спрашиваю, чья это земля, и он говорит, что была колхозная, а теперь они к совхозу присоединились. Тем временем справа от дороги открывается обширная низменность с зеленым болотцем или заросшими берегами озера в ее центре. «Вон там бы и посадили», — рассуждает Иван Федосеевич. Затем, словно размышляя вслух, он говорит: «И я нынче глупостей наделал». Но каких, не говорит, а я не спрашиваю...

Все так же сухо и пыльно вокруг, но вот впереди нас дорогу пересекает резкая линия, за которой земля стала темнее. Она вся покрыта здесь засохшими комочками, которые образовались от завернувшихся в пыль капель. Комочки эти, как брызги, раскиданы во все стороны, с такой силой била о землю вода. На обочинах, среди черной грязи, блестят лужи.

Мы въезжаем в деревеньку. Вдоль дороги чернеют остовы трех совсем недавно сгоревших изб. Обгорелые бревна лоснятся, поблескивают,

от них еще тянет дымком. Нынче ночью, должно быть, здесь прошла гроза.

Деревня и вообще-то небогатая, избенки ветхие, а тут еще несчастье. Я говорю об этом Ивану Федосеевичу. Он усмехается, рассказывает, как несколько лет назад здешние мужики получили государственного лесу на постройку, продали его, деньги пропили и остались в старых домах.

Некоторое время ехать лучше — после ночного дождя не так пыльно.

Иван Федосеевич называет каждую деревеньку и село, мимо которых мы едем, рассказывает, чем они примечательны, и какое он имел к ним отношение, и где была церковь, теперь сломанная, и когда выстроили школу или скотный двор... Он называет и те поселения, которых давно уж нет, земля здесь заросла, и только по лопухам и лебеде можно определить, что тут стояли дома. Он говорит: «Плохо еще то, что и секретарь райкома и председатель райисполкома совсем не знают, что было прежде в тех местах, где они работают, даже не интересуются знать». У него-то самого, я давно это понял, очень сильна связь и с прошлым и с будущим. Он чувствует время, его движение, свободен от нехитрой страсти, вызванной мелким честолюбием, увидеть еще при жизни дело свое завершенным. Он понимает всем существом, что и после него будут люди, будет жизнь, как это было и до него, и надо лишь как можно лучше делать свое дело.

Часа в четыре въезжаем в Пожарское.

Зной и воскресная послеобеденная тишина — глухая, сонная. Горячая, разбитая булыжная мостовая на площади, где перекрещиваются две главные здешние улицы, два старинных тракта. Приземистые торговые ряды с железными дверями и ставнями закрытых уже лавок. Торгует лишь булочная, где густо пахнет свежим ржаным хлебом. Бывшие лавки и трактиры угадываются повсюду, во всех этих угрюмых, с толстыми стенами купеческих домах, по большей части двухэтажных, каменных или с бревенчатым верхом.

Белая пыль лежит на мостовой, на жесткой траве под окнами домов.

Возле перестроенного из ампирной церквки Дома культуры пестреют рекламные фанерные щиты. Поодаль еще одна церковь, постарее, с колокольной, верх которой переделывается — над деревянным каркасом невысокой шатровой кровельки торчит маленький, покрытый бронзовым порошком шпиль с пятиконечной звездой. Иван Федосеевич высказывает предположение, что здесь обосновались пионеры. Что же до соседнего трехэтажного желтого дома, новенького, будто только что освободившегося от лесов, построенного совсем неплохо, если взять во внимание здешнюю глушь, то Иван Федосеевич принял было его за школу, однако оказывается, что тут помещаются руководящие районные учреждения, и он коротко замечает: «Зря!»

Людей на площади мало, они какие-то разморенные, не то стоят, не то бродят, и среди них, среди пыли и зноя, синеют нестерпимо голубые в своих легких летних рубашках три или четыре милиционера, не на посту, а так — гуляют после обеда, как и весь прочий народ.

Тридцать лет назад Иван Федосеевич работал в этом селе председателем только что организованного тогда колхоза. Ему интересно посмотреть, что же стало здесь с тех пор, и он предлагает мне прогуляться.

Прямая улица спускается от площади в поля.

Два мотоциклиста катают своих дородных, раскрасневшихся жен, — подпрыгивая на неровностях булыжной мостовой, они пронесются с треском до выезда из села и возвращаются обратно. Перед одним из домов стоит «газик» автоинспекции. Другой «газик», кинопроката, стоит перед другим домом. Двое парней в пестрых распахонках и девушка

(все в черных очках) вылезли из этого второго «газика», идут к зеленоющему по ту сторону дороги, в конце улицы, молодому парку. Посреди парка поблескивает в зеленых берегах большой пруд с лодочной станцией. «Этого не было», — говорит Иван Федосеевич о парке и пруде, и в голосе его мне слышится удовлетворение. «И этого не было», — говорит он снова, но уже сердито, и показывает на отошедшую в сторону улочку. Он говорит, что не было и вот этого, и этого, и этого дома — многие из них старые, перевезенные из окрестных деревень. Выходим в поле, здесь хотя и жарко, но дышится легче, над желтеющей рожью, в солнечном и как бы дымном небе мерцает у горизонта белая колоколенка соседнего села. Когда мы идем обратно, мимо все тех же машин кинопроката и автоинспекции, Иван Федосеевич невесело роняет: «Этим вот и кормятся... Кино... Инспекция...»

Отправляемся в другой конец села.

Здесь та же горячая пыль и лопухи с лиловатым репьем.

Иван Федосеевич рассказывает, что вот здесь была контора колхоза, а потом переехали вон туда, здесь он стоял на квартире, там вот жил секретарь ячейки. «Почта и тогда здесь же была», — говорит он, показав на двухэтажный деревянный дом, крыша которого вся в провалах.

Возле многих обывательских домиков зеленеют огороды, теснятся густые вишенники, просторно стоят среди гряд яблони с вымазанными известкой стволами. Иван Федосеевич говорит, что прежде садов было мало.

Мы рассуждаем о том, чем же все-таки кормится здешний житель. С огородов и садов много не наживешь — на месте продать почти некому, а до Райгорода километров сорок, до областного города — все сто. Живут, надо думать, зарплатой, мало ли тут учреждений, есть, вероятно, и промкомбинат. Огородишко же и коровенка или коза дают пропитание.

Пустынная луговина с коновязями.

А дальше, посреди захламленного дровами и обрезками дерева пустыря, тянутся старые, промышленного типа здания — так и есть, промкомбинат, где делают, должно быть, телеги, кузова для грузовых машин, мебель... На краю пустыря стоит еще какое-то старое-престарое кирпичное зданьице, закоптелое, с мелкими и тусклыми стеклами окон. Иван Федосеевич вспоминает, что здесь у него была электростанция, она освещала все Пожарское. Теперь сюда провели высоковольтную линию. Он оживился вдруг, оглядывается по сторонам, как будто что-то ищет, говорит, что тут где-то, возможно, стоят еще построенные им двор и телятник.

И верно, на дальнем краю пустыря, впереди начавшего поспевать ржаного поля стоит длинный, несколько рассевшийся деревянный скотный двор с некогда белеными, облезшими кирпичными столбами и высокой, напоминающей мансарду железной крышей, давно не крашенной, проржавевшей, с распахнутыми дверями в ней, ведущими на сеновал. Видно, что двор ни разу как следует не ремонтировали, — можно предположить, что в здешнем колхозе за тридцать лет председателей переменилось порядочно.

Такие дворы возводились в помещичьих экономиях. Я говорю об этом Ивану Федосеевичу. Он соглашается и замечает: «Рисовать-то больше не с чего было». Рядом с двором стоит и телятник. «Гляди-ко, — с явным удовольствием говорит Иван Федосеевич, — и телятник цел!»

Потом мы идем с ним позади торговых рядов, где грудами свалены пустые ящики и бочки из-под селедок, проходим мимо двухэтажных белых каменных домов с вывесками учреждений и еще мимо домов,

деревянных, одноэтажных, но тоже с вывесками, и мой приятель говорит: «Все село в вывесках!»

Тридцать лет назад Пожарское было отторгнуто от Райгорода, преобразовано в районный центр и даже передано в другую область, хотя с Райгородом его связывают естественные, сложившиеся в течение столетий связи. В Райгороде — ближайшая крупная железнодорожная станция, там два техникума, педагогическое училище, несколько промышленных предприятий по переработке продуктов сельского хозяйства, которые в свое время создавались в расчете и на здешний картофель, цикорий, лен. Наконец, даже в ту пору, когда не было ни телефона, ни автомобилей, Пожарское с его округой было доступно влиянию райгородской администрации.

Однако же люди, учредившие здесь район, всем этим пренебрегли, и едва ли я ошибусь, если скажу, что исходили они из наивного предположения, будто административные меры, а не экономические факторы будут способствовать процветанию окрестных колхозов.

Иван Федосеевич говорит, что во всех местных учреждениях, деятельности которых вызвана существованием района, работает человек триста служащих. Они ежегодно получают миллиона два заработной платы.

Мне вдруг приходит на ум, что наиболее доступным обозрению результатом работы этих людей можно посчитать вывески бесчисленных канцелярий, занимающих бывшие трактиры и лавки, несколько новых улиц, застроенных трехконными домиками, в коих проживают по преимуществу «шабашники», да еще вот этот дом районных учреждений.

«Тут можно будет школу открыть», — решает Иван Федосеевич.

Приятель мой нисколько не сомневается, что район этот, как это происходит сейчас со многими другими, подобными ему, будет ликвидирован.

Мы уезжаем из Пожарского, и я спрашиваю Ивана Федосеевича, почему, не проработав здесь и года, он ушел из колхоза и оставил эти места. «А меня сняли, — говорит он. — Исключили из партии и сняли с работы». Я собираюсь задать следующий вопрос, но Иван Федосеевич, предупредив его, объясняет, что из партии он был исключен за утерю бдительности и потворство вражеским элементам, выказанное им, когда чистили колхоз.

Тогдашний секретарь райкома, рассказывает он, затеял чистку колхоза и потребовал исключить Еремея Голого и Якова Костянтиныча, поскольку первый из них кулак, известный торговец, а второй — бывший стражник.

Иван Федосеевич против этого решительно возражал.

Он говорил, что Еремей Голый всю гражданскую войну провоял на стороне красных, где потерял здоровье, и по этой причине, когда вернулся домой, не мог работать в своем хозяйстве. Не имея в семье других работников, так как он не был женат и была у него только старуха мать, Еремей стал поторговывать мелочишкой на базаре. В колхоз он вступил сразу и очень этим доволен, потому что здесь ему дали работу по его силам. А Яков Костянтиныч, — мой приятель выговаривает имя Константин так, как его произносили русские люди, если судить по летописям, в давно прошедшие времена, — Яков Костянтиныч хотя и служил в стражниках, зато он выдающийся ветеринар и вообще замечательный в колхозе работник.

Яков этот военную службу отбывал в кавалерии, где и выучился на ветеринара. После службы, не найдя себе лучшего занятия, он по молодости лет пошел в стражники, состоял в этой должности в Усольской

волости до самой революции, ничего плохого никому не сделал, потом работал в своем хозяйстве. Когда начались колхозы, он сразу и с охотой вступил в колхоз, показал себя здесь просто-таки неоценимым человеком. Лошадь ли заболит, корова или овечка, Яков Костянтиныч займется, не жалея ни времени, ни сил. «Для наших коров, овец и лошадей,— закончил Иван Федосеевич свою речь на том памятном собрании,— Яков Костянтиныч — сущее благословение».

Тут встает секретарь ячейки, судья, довольно вредная бабенка, по словам моего приятеля, и предлагает: за утерю бдительности и потворство вражеским элементам исключить его из партии и снять с работы...

«В партии-то меня восстановили,— говорит Иван Федосеевич.— А сюда возвращаться я не захотел».

Он предлагает ехать домой другой дорогой, и мы сворачиваем вправо, на мягкий проселок, то поднимающийся в гору, то идущий с горы, розовый в свете предвечернего солнца.

Потом уже, дома, я прочитал в описании нашего уезда, что «местность эта хотя и обильна болотами, однако не являет собою однообразного зрелища. Увенчанные селениями холмы, рощи, близко стоящие друг к другу села и деревни придают здешней округе весьма оживленный вид».

Справа от нас тянутся серые, отдающие желтизной, низкие и редкие овсы. Пшеница краснеет вдалеке. А слева, под бесцветным солнечным небом, лежит приозерная котловина — как бы выцветшие пыльные поля, слепящее белесое озеро и едва различимый городок на другом его берегу.

Земля, по которой мы едем, увалами уходит вниз, мягко спускается к озеру. Здесь, наверху, она жесткая, сухая, поросла реденькой сгоревшей травкой. Иван Федосеевич говорит, что на месте этих бедных пастбищ был лес, громадный лес, в детстве он ходил сюда за грибами, за ягодами. Местами увалы распаханы под пар, похожий сейчас на золу, и кое-где здесь полукружиями, грудками чернеет торф: словно его везли и растеряли дорогой. В торфе иногда топорщится серая солома, значит и навоз сюда вывозили. «Для сводки»,— угрюмо замечает Иван Федосеевич. И опять идет невесть чем занятое поле (или это заброшенная пашня?), где среди низкорослой бурой травки сочно, свежо зеленеют кустики хрена.

Я догадываюсь, что мы едем землями самого большого здешнего колхоза «Родина», организованного года три назад чуть ли не из пяти или шести колхозов. Как бы в подтверждение моей догадки, Иван Федосеевич говорит, что и он поторопился последний раз с укрупнением. «Больно велико хозяйство,— рассуждает он,— самому уж всюду не поспеть. Да вот начальство все торопит с объединением, все нажимает. Им бы только слабый колхоз с рук сбить, больше они ни о чем не думают».

Мы едем теперь выпуклым от обширности своей скошенным клеверником, где далеко друг от друга одиноко стоят стога. «И у меня так-то»,— замечает Иван Федосеевич. Я спрашиваю, а как на бывших болотах, где несколько лет назад он раскорчевывал кусты, и он говорит: «Там-то лучше».

Встречаются участки лука, едва зеленеющего в лебеде, и другие, где лук пропололи, но перо у него пониклое, желтое — он сгорел.

Иван Федосеевич опять говорит про инспекцию, что она превратилась в заготовительный орган и районное начальство думает только о заготовках, а подумать о том, чтобы наладить орошение,— это некому. Между тем здесь много речек, и осушительные каналы есть, и озеро рядом. Никакого труда не составляет иметь на всякий случай оросительную си-

стему, чтобы в засушливые годы поливать главнейшие здешние культуры: лук, цикорий, картофель, капусту, помидоры, морковь, огурцы... И тогда тут можно заниматься земледелием без риска. Вздохнув, он замечает, что если еще несколько дней не будет дождя, то все пропало, если же погода переломится, пройдет хороший дождь, картофель и цикорий спасены.

И еще, словно самому себе в утешение, он говорит, что у них в колхозе сильно развито животноводство, поэтому свои четыре миллиона они все равно возьмут. Правда, в прошлом году было около пяти. Загибая пальцы, он подсчитывает, сколько выручит за свинину, сколько за говядину, сколько за молоко. Выходит, роста не будет, но и разница невелика.

Вдруг он веселеет, то и дело вертя головой, показывает на простершиеся вокруг поля и луга, примыкающие к открывшимся впереди Угожам, и восклицает: «Вон тут я пахал мальчишкой!.. Здесь у нас покосы были».

Сегодняшняя поездка, сколько я понимаю, предпринята не ради одних воспоминаний, но из присущего Ивану Федосеевичу постоянного желания что-то повидать, сравнить нынешнее с минувшим, поразмыслить над увиденным, вообще быть в движении, жить на своей земле...

\* \* \*

На соседней с нами усадьбе, так тесно засаженной огурцами, помидорами и морковью, что ступить некуда, весь день копаются в грядках пожилая женщина. Сын ее мастерит из старья временную, засыпную, хибару. Два года назад расторопный этот малый купил стоявший здесь полуразвалившийся дом, где жил и умер одинокий старик, большой любитель цветов. Старик занимал ими всю усадьбу, но у нас это не очень прибыльное дело, и не то чтобы поддерживать дом, он и сам еле держался на ногах. Дом почти весь сгнил, покупатель сломал его, прошлое лето собрал с усадьбы большой урожай овощей, а теперь вот помаленьку начал строиться.

Воздух раскален и недвижим. Звенят кузнечики. Пахнет укропом, огурцами, томатным листом, обильно поливаемой каждодневно, сейчас горячей, жирной землей. И топор тюкает, молоток постукивает, взвизгивает пила.

Я спрашиваю Михаила Васильевича, всегда ли было у него так на усадьбе — две молоденькие липки в углу у ворот, вишенки, кусты смородины и малины, довольно нелепо посаженные почти посреди двора, лох и чахлая яблонька перед ними, несколько грядок в глубине, вдоль забора?

Михаил Васильевич говорит, что прежде и этого не было, незачем было сажать. Огурцы, и картошка, и вишня были дешевые... Березы росли перед домом, так он их срубил: там до черта было птиц, не давали спать.

\* \* \*

Девять часов утра, солнце, но еще не очень жарко.

В приемной и в кабинете первого секретаря райкома все окна распахнуты настежь. Открыты и двери, потому что уборщицы таскают в кабинет стулья: на двенадцать здесь назначено какое-то совещание. Сквозняка все же нет. С ослепительно освещенной улицы доносится запах дыма.

Мы разговариваем с Александром Сергеевичем, здешним первым секретарем, об Иване Федосеевиче. У меня до сих пор еще не было случая сказать ему, как неправильно, по глубокому моему убеждению, поступает районная газета, постоянно критикуя председателя из Любогостиц.

Александр Сергеевичу, должно быть, лет тридцать пять. Человек он, на мой взгляд, неглупый, честный, с очень спокойным и ровным нравом. Он и разговаривает, не повышая голоса, но живо. Я не знаю его так хорошо, как звал Василия Васильевича и Алексея Петровича, работавших здесь до него секретарями, однако испытываю к нему искреннюю приязнь.

Он не спорит со мной, напротив, он даже как будто соглашается с тем, что я говорю, потому что принимается рассказывать, как обком и областная газета критиковали недавно здешний райком за мягкое отношение к председателям колхозов, против чего он решительно возражал. Он считает, что окрик, команда, разговор сверху вниз — это не партийный стиль. И вообще райком не военный штаб, а партийный комитет, куда люди идут с открытой душой, для хорошего товарищеского разговора, а председатель колхоза не солдат, да еще в старом понимании этого слова.

Незаметно разговор переходит к вопросам хозяйственным.

Александр Сергеевич рассказывает, что область нажимает с силосованием, при этом в пример приводится пригородный Святославский район, где и траву засилосовали, и всю рожь. Но ведь без сена, рассуждает он, колхозам остаться нельзя. Как ни хорош силос, а нужно еще и сено. Если выпадут дожди, чего следует ожидать, вырастет отава, ее можно будет засилосовать — на сено она все равно не идет. Нельзя оставить хозяйство и без зерна. В Святославском районе, там совхозы, они на государство надеются, а здешним колхозам никто концентратов не даст. Нет, косить рожь на силос никак нельзя. Силосовать надо мешанку, клевер, кукурузу, что и делается своим чередом.

Мне по душе рассудительность Александра Сергеевича и то, что в разговоре нашем он не прибегает к тому доверительному тону, каким дают понять собеседнику, что его приобщили к некоей высшей политике, не напускает на себя и той многозначительной отчужденности, которая позволяет вообразить, что ты пробавляешься как бы расхожей, доступной каждому правдой, тогда как ему известна правда особенная, — иначе сказать, ничем не походит на сидевшего в этом же кабинете Василия Васильевича.

Прежде чем уйти, я спрашиваю, кивнув на поставленные в несколько рядов стулья, о чем будет совещание. Александр Сергеевич говорит, что по вопросам искусственного осеменения. Признаться, меня оторопь берет. Куда же это годится, чтобы в самую страду, да еще в такое сухое лето, собирать среди дня всех председателей колхозов с заведующими фермами и секретарями партийных организаций и обсуждать с ними такую далекую все же от очередных забот проблему! На мой взгляд, если уж и собирать сейчас совещание, так только для того, чтобы сообща обсудить, какие есть возможности сбереечь скот в предстоящую трудную зиму.

Но областное начальство, я думаю, решило наискорейшим способом улучшить поголовье скота, и райкому, особенно после недавнего приезда общественной комиссии, пришлось заняться искусственным осеменением.

Все же я остаюсь при сложившемся у меня с некоторых пор впечатлении, что Александр Сергеевич весьма дельный партийный работник, не администратор, хотя случается, что он не тем занят, чем надо бы, не главным в жизни деревни, — во-первых, он ориентирован бывает неправильно, во-вторых, из-за каждодневной изнурительной суеты, мотни, расходования себя по пустякам...

Неподалеку от рынка, на углу людного перекрестка, стоит женщина, держит в поднятой руке обмякших от жары, свисающих с ладони тем-

ных, с голубоватым брюшком шурят. Шукой сейчас торгуют с рук повсюду, не таясь. Ловится она в огромных количествах, чуть ли не весь город занят этим промыслом. Говорят, что так как нет дождя, погода ясная, тихая, то на воде хорошо видна пена, возникающая над тем местом, где стоит шука. Тут-то ее и берут — острогой, сачками, что будто бы запрещено.

В толчее перед рыночными воротами повстречался с Иваном Федосеевичем. Он чем-то озабочен, рассеян. Не поздоровавшись, говорит, что в Оренбургской области, слышно, урожай хорош. Надо послать туда людей за соломой, прессовать ее, грузить, а здесь организованно распределить между колхозами. Он уже кой-кому из начальства об этом сказывал. Сунув руку, проговорив: «Ну, мне некогда», он уходит.

Что ж, он прав, хотя и станет эта солома в копейку.

Под старыми тополями, что стоят напротив стадиона, торопливо идет Александр Сергеевич, сияя и в тени белой своей рубашкой. Он идет легко, почти вприпрыжку, в обутых на босу ногу спортивных туфлях. Только полчаса прошло, как мы расстались с ним, а он уже успел побывать дома и возвращается в райком. Оказывается, он ходил за документами, необходимыми для прописки, а теперь спешит в милицию — недавно он переехал в новую квартиру. А ведь мог бы послать кого-нибудь, подумалось мне: шофера, секретаршу... Александр Сергеевич, как я понимаю, совестлив.

\* \* \*

Вдоль заборов у нас во дворе растет борщевик, его мелкие изжелта-зеленые цветочки собраны зонтиком и высоко подняты над большими, узорчато вырезанными листьями. Кое-где над перистыми листьями бегают зонтики болиголова. Пчелы и осы, покружив, впиваются в цветы.

Мохнато цветут тимофеевка и ежа сборная, щеточки которой совсем распушились. Высокой этой травой зарос весь угол под забором. Среди ее широких остроконечных листьев неподвижно висят длинные синие стрекозы — крыльев их не видно, они прозрачные. А рядом круглятся темные, с отчетливым белым узором трилистники клевера; лиловые головки его цветов выглядят шерстяными. И в клевере полно пчел и ос.

Кто-то бросил, должно быть, в этом углу горсть семян.

Как удивительно хороши сеяные травы!

Можно ничего не понимать в сельском хозяйстве, однако достаточно взглянуть на тот же болиголов, или купырь, или конский щавель, чтобы ощутить в них нечто нечистое, сорное, тогда как вид вот этого клевера, и тимофеевки, и ежи побуждает с уважением произнести: культура!

Близко к вечеру. Весь город занят поливкой. Стоят очереди возле водоразборных колонок, из кранов которых тонкой струйкой, завиваясь, течет вода. Черпают воду из мелких уже прудов. Воду несут в ведрах — в руках или на коромысле, — ее везут в больших флягах и в баках на тележках. Стали возить воду и из озера... Поистине, страда.

Часов одиннадцать ночи, а все душно. Собаки лают. Озером, должно быть, доносит музыку из городского парка. Поют моторки — кажется, всю ночь гудят они и звенят на озере. То ли это рыбу ловят, то ли воруют тростник, косить который строжайше запрещено местным охотничьим обществом, но который, однако же, очень хорош на подстилку корове.

\* \* \*

Местная газета с шумом пишет «о снижении надоев», настоятельно требует повисить их, для чего рекомендует улучшить массово-воспитательную работу среди доярок. И ни слова о том, что стоит засуха.

Между тем, если уж шуметь, так о засухе, о бескормице.

Да и не шуметь нужно, а спокойно, со всем народом обсудить, что нужно сделать, чтобы сохранить зимой скот, где и как добыть корма.

Боюсь, что даже и в нынешнее сухое лето много травы все же пропадет: в лесах, по межам, в канавах, где-нибудь между кустами — мало ли где. А слабые колхозы, так те даже хорошие угодья не выкосят. Вот когда пожарные меры хороши, я бы сказал — необходимы. Собрать бы сейчас умных людей, вроде Ивана Федосеевича, все обсудить и подсчитать: сколько оставить в зиму скота, сколько ему потребуется сена, какие, до последней лужайки, существуют в районе сенокосы. Слабым колхозам помочь, чтобы и травинки не оставить. Те же места, где колхозу косить невыгодно, где кое-какое сенишко может добыть лишь один человек с косой, — такие места отдать исполу колхозникам и горожанам, у кого есть коровы.

\* \* \*

На усадьбе рядом с нашей и на следующей, позади нее, две женщины обирают огурцы, надламывают лук, попутно выдирают траву и громко переговариваются. Разговор главным образом о дожде — нет дождя, нет и нет, а вон там-то, говорят, был и вон там была страшная гроза, а у нас нет, только засинеет, брызнет чуть — и все, ушли тучи. Женщина, что помоложе, принимается рассуждать о луке: «А мне агроном сказывал — я спрашивала — чернушка уже расти не будет, она поспеет, ее и поливать не надо». «Это что же, чернушка?» — осведомляется другая женщина, старуха. «А что из семечка!» «Что из семечка, — глубокомысленно заявляет старуха, — расти уже не будет. Этот лук уже вырос, он уж не растет».

\* \* \*

И опять наступил жаркий день. Часам к одиннадцати начинают донимать слепни. Появилось много всякой пакости вообще. Пауки затягивают паутиной каждую веточку, каждый угол, — обычно ее смывают, должно быть, дожди, разрушают ветры. Перед глазами мелькают какие-то микроскопические, почти прозрачные мошки, которым, надо полагать, благоприятствует жара. И на растениях вредители, и воздух полон летающей нечисти.

А вечер — прохладный, и ночь свежая.

\* \* \*

Сегодня с утра небо в перистых облаках — говорят, к дождю.

Часа в четыре вдруг начинает погромыхивать, затем порывами налетает ветер, несколько раз сверкнуло и ударило совсем рядом — и полил дождь. Дождь льет сильный, частый. Наконец-то можно вздохнуть.

Дождь льет с полчаса.

Дарья Васильевна наша куда-то уходила, пришла — от нее по-осеннему пахнет сырой одеждой; рассказывает, на сантиметр промокло землю.

Наступает ранний, тихий и прохладный вечер, с низкими тучами, со стелющимся низко дымом из трубы паточного завода. Дым нефтяной, черный, как сажа, рваный, он стремительно летит наискосок через улицу.

Гуляем с Николаем Семеновичем по дендрарию сельскохозяйственного техникума. Мы видимся с ним теперь редко. Из неистребимой любознательности своей он пристал к археологической экспедиции, которая копает первобытные могильники на берегах летописного озера Клещина. Николай Семенович, хотя он и специалист по растениям, особенно по травам, отлично знает почвы, вообще геологию, и археологи ему рады. Помимо раскопок, он увлечен еще и самим озером, потому что здешние

озера — это тоже его страсть, и в часы, когда молодые археологи отдыхают, он предпринимает длительные вояжи вдоль берега. В одну из прогулок он обгорел до того, что кожа с него сползла, и сейчас ходит розовой. Домой он приехал всего на день — как, бывало, работник, говорю я, бельишко сменить. Однако, узнав, что послезавтра я собираюсь в Козьмодемьяны, он не может противостоять искушению и говорит, что поедет со мной.

Мы проходим с Николаем Семеновичем мимо коллекции пряных растений, с каждым годом все убывающей. Тмин вот остался, сельдерея, кориандр... Пожалуй, и все. А надо бы иметь здесь все те пряные и лекарственные растения, которые возделывались некогда в уезде. Восемьдесят лет назад на первой уездной сельскохозяйственной выставке были представлены крестьянские хозяйства, занятые производством так называемых трав и кореньев, кои употребляются в медицине, парфюмерии, кондитерской и вообще пищевой промышленности. Выставлены были как самые растения, так и семена, которые тоже выращивались на продажу. Занимались этим по преимуществу богатые хозяева, и дело это было настолько выгодным, что они, не имея достаточно надельной земли, раздавали семена хозяевам победнее, от которых принимали потом готовую продукцию. Почему бы сейчас не заняться пряными растениями, почему бы не богатеть колхозам, подобно тому, как богатели предприимчивые здешние мужички?

\* \* \*

Машину Ивана Федосеевича и на большом расстоянии не спутаешь с другой — не только из-за ее цвета, почти белого, так выщелена первоначальная серая окраска, но еще и потому, что передок у машины, и без того высокой «М-24», после какой-то аварии и последующего ремонта победно задран. Иван Федосеевич сидит прямо, облокотясь лишь на дверцу, стекло которой почти всегда опущено, смотрит вперед...

Час еще ранний, а приятель мой успел уже побывать в лесу.

Он рассказывает, что по дороге на свою делянку завернул в колхоз к знакомому председателю. Председатель этот прежде работал в другом колхозе, довольно известном, а потом почему-то перешел сюда, вроде бы поднять отстающий. Впрочем, как я понимаю, не ради этого начал он рассказывать. Все дело в том, что председатель жаловался Ивану Федосеевичу: худо, мол, бедность, не с чего начинать, нечем поднять хозяйство... «А сам живет в лесу!» — восклицает Иван Федосеевич.

Приятель мой любит лес, как мог любить его только русский крестьянин из не очень богатых лесами, но все же и не сплошь безлесных центральных наших губерний; не из-за красоты его, и не из-за свежего воздуха, не из-за ягод или грибов, собирание которых суть занятие бабье, ребячье, и не из-за дичи тем более, потому что истинный землепашец к охотнику относится с пренебрежением. Русский крестьянин потому любил лес, что отсюда он брал осиновыя, еловые, а то и сосновые бревна на избу, и жерди, и сляги... Лес поставлял ему липу на корыта и чашки, дуб на кадушки, ободья, оси; лыко на лапти и мочалу; ивовый прут на корзины и корье для дубления; бересту для дегтя, березовые ветки на веники, а баклуши на ложки... Да разве все перечтешь!

Ивану Федосеевичу ни лапти, разумеется, ни деревянные ложки с чашками не нужны, и не дегтем он интересуется, а тавотом. Лес у него идет на столбы для электрической линии, на стропила, балки, потолочные накаты, полы, рамы и двери в зданиях, по преимуществу кирпичных. А любит он лес, как любили его в стародавние времена, когда и телега была на деревянном ходу, и избу ставили без единого железного гвоздя.

Отвлечись от своего рассказа, он принимается рассуждать о лесах,

принадлежащих колхозам, и о лесе государственном. В государственном лесу, говорит он почтительно, чистота, порядок. Рубишь, как мы, например, так тебя заставляют все убрать за собой, вывезти и уничтожить; ни щепки нельзя оставить, ни веточки. А в колхозном — мусор и хлам. Кто бревно вырубил, тот все за собой так и бросает.

Иван Федосеевич вспоминает о председателе, который жаловался на бедность, и возвращается к началу рассказа. Он говорит, что в колхозе у этого чудака не только огромный лес, но и лесопилка есть. Вот он ему и посоветовал срубить столько-то там бревен, нарезать тесу — хоть елового, хоть соснового, — вывезти в город, продать, и станут у него сразу деньги, оборотные средства, будет с чего начинать жить.

«Надо нам с вами в лес съездить», — говорит он в заключение.

Тут же он замечает, что и в Симу давно бы надо меня свозить. Он быстро спрашивает: «Знаете почему?» По-видимому, он убежден, что я не знаю. Я отвечаю, что в Симе умер Багратион. «Правильно», — соглашается он с некоторой снисходительностью. Он снова спрашивает, а почему, собственно, Багратион умер в Симе и где он похоронен. Признаться, я мешаюсь. Тогда он с превеликим торжеством принимается объяснять, что Сима принадлежала князю Борису Алексеевичу Голлицыну, с которым Багратион был дружен, и когда его ранили при Бородине, то он приказал отвезти себя к своему другу, на руках которого и скончался. Похоронили Багратиона сперва в самой Симе, потом, по приказу Николая Первого, перевезли на Бородинское поле, а в Симе то место, где была могила, оградил решеткой.

Мне припоминается, как однажды, рассказывая о своих Стрельцах, Иван Федосеевич, гордясь своей осведомленностью, спросил меня, знаю ли я, что деревня эта принадлежала Остен-Сакенам и что одна из Остен-Сакенов будто бы выведена Львом Толстым в «Войне и мире»...

У Ивана Федосеевича удивительное чувство истории. Он как бы всем существом своим ощущает, как история русская, великая наша литература тесно связаны с землей, на которой он живет, составляют одно целое с его собственной, райгородского крестьянина, жизнью.

\* \* \*

В Козьмодемьянах пустынно, пыль завивается на мостовой.

Крепостные стены и башни древнего здешнего монастыря, с бойницами и варницами, желтоватые, увенчанные высокими зелеными шатрами, господствуют, освещенные солнцем, над обширной площадью с похожими на комоды кирпичными домиками, над зеркально блистающей в низких берегах, круто изогнутой рекой, над разбежавшимися во все стороны слободами.

Магазины полны тканей, обуви, есть лимоны, абрикосы, какое-то албанское вино. А покупателей почти не видать, потому что из деревень приезжают в исстари заведенный здесь базарный день — в воскресенье.

Заведующая книжным магазином жалуется, что ни один человек не подписался на Есенина, а прислали ей сорок подписок.

Книжный магазин большой, светлый, выбор книг огромный.

Правда, заведующая производит впечатление человека не очень культурного, случайного в книжной торговле. Оказывается, она недоучившийся агроном, несколько лет назад ушла с третьего курса нашего сельскохозяйственного техникума. Она узнала Николая Семеновича и говорит ему, что теперь уже жалеет, зачем бросила техникум, — тут она пустяки получает, а вот агрономам нынче эвон сколько стали платить!

Козьмодемьяны отстоят от Райгорода на девятнадцать километров и прежде входили в наш уезд. Здесь нет ни железной дороги, ни перерабатывающих предприятий, ни чего-либо другого, что могло бы оправдать

возникновение этого подобия города. Районный центр не располагает никакими экономическими рычагами, способными воздействовать на местное сельское хозяйство. Он учрежден здесь лишь ради канцелярии, и расходы по ее содержанию в конечном счете несут окрестные колхозы.

В такого рода городке, бытие которого определяется канцелярией, едва ли возникнет та деятельная творческая среда, которая формирует интеллигента не по диплому, а по глубинной сути. Человек, по счастью, не способен заниматься никому не нужным делом, так уж он устроен, но только один взбунтуется, бросит бесплодное занятие, а другой из-за инертности своей опустится, станет считать, что живет преотлично, поскольку у него и огород, и свинья, и живая копейка зарплаты идет.

Длинные деревянные мосты с измочаленной поверхностью толстых досок, один вслед за другим, но только под некоторым углом, протянулись через круто изогнутую здесь речку и ее старицу, через всю пойму. Ветер морщит воду, и местами она темнее зеленых берегов. Запахи нагретых болотных трав и воды и горячего дерева мостов врываются в машину. А на выезде, где булыжная дорога лезет в гору среди изрытых песчаных склонов, ветер поднимает вдруг колючую желтоватую пыль — все четыре стекла машины мгновенно устремляются вверх.

Слева, за долиной реки, над повернутыми в разные стороны плоскостями крыш и клубящимися между ними деревьями, отчетливо рисуется на холме светлая монастырская стена с башнями, большими и малыми; остроконечные башенные шатры и сферические купола мешаются с прямоугольниками надвратных церквей, с пучками их луковок, с тяжелыми главами храмов за стеной. Справа же, на косягах, желтеется чуть ржавая рожь и несколько белесый овес, поспевшие в одно время.

Булыжник сменился темным и жарким асфальтом, по обеим его сторонам, в некотором отдалении от канав, стоит лес. Мы съезжаем с шоссе, давим колесами пересохшую, с сизым налетом травку, едем проселком.

В лесу полумрак и яркие пятна солнца. Воздух здесь сухой, горячий, но дышать легко. Пахнет накалившимся деревом, смолой, отцветающими травами. Белеют метелки вейника наземного. Над чистенькими зубчатыми листочками повисла теплая и душистая ягода земляники. На малине остались только зеленовато-коричневые еще, твердые ягоды. Повсюду много травы, но едва ли ее сумеют выкосить.

Становится светло. Вокруг просторно стоят длинные, тонкие и гибкие березки с пучками ветвей и листьям далеко вверх; они выгибаются, медленно покачиваются из стороны в сторону. В траве розовеют срубленные накося пеньки. Зеленые свежие елочки топорщатся у подножия голых белых стволов. Березник этот недавно расчищен. Обрубленные жерди сложены неподалеку. Позади них, теснясь, растут такие же высокие, тонкие березы, они так же покачиваются, но только слитно, всей чашей. И хотя они белые, как бы светятся, там сумрачно. Здесь же много свету, и освещенные солнцем елочки золотятся.

Николай Семенович говорит, что так бывает всегда. На еловой вырубке сперва поднимается березка, а уж под ее защитой идет ель. Березы ее согревают зимой, пока она маленькая. Потом елке становится тесно, береза угнетает ее, тогда приходит человек, расчищает березник.

По прошествии времени, размышляю я, березы поматереют, будут срублены, снова встанет здесь ельник, как вот этот, где мы идем...

Красноватые, в бесчисленных сучках стволы строевой ели высятся по бокам тропинки, уходят в стороны, и каждый ствол виден отдельно. Остроконечные вершины выглядят почти черными, небо блистает между

ними белыми и синими пятнами. В темной хвое вершин полно светлых шишек. И вся земля между стволами, высланная прошлогодней коричневой хвоей, закидана шишками, сухими, начавшими раскрываться, потрескивающими под ногами. Тропинка освещена солнцем, хвоя на ней совсем оранжевая, а шишки — объемны. Паутина свисает кое-где с сухих веток, обросших седоватым, с прозеленью, лишайником. И ни травинки нигде.

Николай Семенович рассказывает о работе археологов, вспоминает прошлогоднюю экспедицию, когда найден был костяк первобытного человека, похороненного с собакой. Он называет и время, к которому следует отнести могильник, но мой интерес к прошлому не распространяется на столь отдаленные эпохи, и я тут же забываю эти его слова. Я думаю о том бескорыстном стремлении к знанию, которое определяет всю жизнь Николая Семеновича начиная с того далекого дня, когда он, деревенский мальчик, впервые открыл букварь (я не могу не вспомнить при этом картины Богданова-Бельского). Разносторонность моего доброго знакомого можно посчитать дилетантизмом, любительством, и я не вижу здесь ничего дурного, напротив — эти черты, присущие в прошлом русским интеллигентам, на мой взгляд, должны стать у нас всеобщими. Иван Федосеевич однажды сказал о некоторых молодых специалистах, что диплом для них всего лишь продовольственный аттестат. Между тем, хотя далеко еще до того, чтобы человек получал по потребностям, знание уже доступно каждому, и не для того только, чтобы дело было в руках, а простого удовольствия ради.

В Райгород мы возвращаемся часам к пяти. В начале шестого поднимается ветер и наползает тучи. Погромыхивает вдаль. Между крышами недалеких домиков синее легкая дымка, светлее нависшей над ней тучи. Должно быть, где-то горит болото, и ветер пригнал оттуда дым.

Потом ветер унимается, льет негромкий дождь.

Михаил Васильевич рассказывает, почему-то неодобрительно, что попу Якову, недавно умершему, сегодня сорок дней; приехали попы из Покровской церкви, увезли оставшиеся после покойного два мешка книг. Я иной раз встречал отца Якова, было ему, должно быть, за восемьдесят. Был он невысок ростом, сильно сутул, по глаза зарос бородой, медленно передвигал согнутые в коленях ноги, шаркая тяжелыми сапогами. Он слыл хорошим огородником, говорили, знает разные секреты, овощи у него всегда были отборные, чистые, даже середь зимы. Если бы не то, что все называют его «отец» и «поп», я бы и в мыслях не имел считать духовным лицом этого угрюмого, можно сказать — земляного, старика.

Яков был иеромонахом здешнего Дмитриевского монастыря, где исправлял должность главного садовника. Когда монастырь упразднили, он, не снимая с себя сана, перешел жить к постоянной своей сожительнице, обитавшей неподалеку в собственном доме. Он прожил здесь сорок лет, копал гряды, собирал прекрасные урожаи овощей, ни с кем не делись своими знаниями. Любовница его давно умерла, отказав ему дом, и он продал его, выговорив себе право доживать здесь до смерти. Покупщиков он обманул. Они полагали, что вместе с домом покупают и землю, но Яков на их претензию отвечал, что по советским законам земля не продается.

Об этом последнем Михаил Васильевич рассказывал всегда с неодобрением и сегодня рассказал, пофыркивая: ишь, хитрый какой поп!

Я слушаю старика и думаю о том, что прежде, много лет назад, прошедшее казалось мне отделенным от настоящего прямой резкой чертой. Теперь я склонен думать, что так бывает только в учебниках истории

да еще в памяти народной, а в ж и в о й ж и з н и — это словосочетание я вычитал у Ленина — сменившие одна другую эпохи соединены как бы зубчатым швом: современное уходит в минувшее, а минувшее доживает среди нас...

\* \* \*

Часа в четыре утра, должно быть, начало крупно накрапывать, потом все пуще и пуще, и вот уже льет спорый, частый дождь, с ленивым, неблизким громом по временам. Дождь стучит по крыше, с шипением падает на землю, в траву, в гряды. Окно сеновала открыто, виден серый воздух, со двора тянет сыростью, которая мешается с запахом молодого сена.

Потом все светлеет, светлеет. Завеса дождя, истончившись, становится прозрачной. Дождик едва льется, а к восьми часам перестает.

Повсюду сыро, пахнет мокрыми травами и землей, и все какое-то мглистое, ярко светится лишь кое-где на высоком стебле желтый цветок осота, и капли блестят на огуречных листьях, с каждой вишенки на дереве свисает крупная капля воды. Но дождь, видать, был небольшой — ведро под водосточной трубой стоит не совсем полное.

Дарья Васильевна спрашивает: «Не хотите воды поточной умыться?» Такого я еще не слышал. С детства я привык слышать — «дождевая». Говорят еще: «капельная». А тут — «поточная».

День устанавливается тихий, довольно жаркий, однако не такой, как предыдущие, можно предположить, что жара и впрямь сваливает.

Заходит ненадолго жена Кирилла Федоровича, председателя из Угож, среди прочего говорит, что вот созывают всякие совещания, а никто не думает, чем станут кормить скотину зимой. Потом мы разговариваем о разных разностях, после чего она говорит, что сейчас режут и режут, и колхозники и горожане, все с мясом, а ведь что же это будет, так и без скота можно остаться. И опять, после всяких разговоров, она возвращается к тому, что сидит в ней, должно быть, занозой. С колхоза требуют, говорит она, сдай да сдай сено — хоть и называется «закупки», а все равно «сдай». Наш-то колхоз сколько уже сена сдал, а теперь в Оренбургскую область посылаем людей покупать солому...

Мне думается, что в словах этих есть самое, в сущности, главное — здравый смысл. Я не знаю, куда идет сено, поставляемое государству здешними колхозами. Времена кавалерии минули. Коль скоро это так, то не выгоднее ли оставить сено колхозам, чтобы государству получить его переработанным в молоко или мясо, особенно в нынешний засушливый год.

В башне у Сергея Сергеевича сидит приехавшая из областного города девушка, тоже архитектор и реставратор, Лиза. Разговор идет о мерянах. Лиза рассказывает со слов знакомых археологов, как они, раскапывая мерянские и славянские могильники, находили погребения, в которых среди славянских вещей встречались мерянские, — например, какие-нибудь глиняные сосуды с мерянским орнаментом. Археологи полагают, говорит Лиза, что это девушка принесла в семью славянина приданое.

Домашнее слово «приданое» звучит очень убедительно.

Меря отдавала своих дочерей за сыновей славянских, а юноши ее, вероятно, брали за себя славянок, и хотя славян поначалу здесь обитало не много, победила их культура, язык — Меря становилась Русью...

Вечер. Красноватая половинка месяца как бы в дымке.

\* \* \*

Зной несколько спал, однако все так же пахнет сгоревшими травами и листвой, а утром — дымом. И пыль такая же, и мусор на горячем булыжнике мостовой возле рынка, и вонь от стены у остановки автобуса.

С Иваном Федосеевичем, которого только что встретил, разговариваем все о том же — о невыгодности производить молоко. Государство платит колхозу за литр молока рубль десять копеек. А оно обходится дороже, особенно когда надо давать коровам концентраты и корнеплоды, чтобы была высокая удоимость. Но государство больше платить не может, оно много теряет на масле. Розничная цена масла в среднем двадцать семь рублей за килограмм, а на производство одного килограмма требуется двадцать пять литров молока. То есть только сырье стоит двадцать семь рублей пятьдесят копеек. Повысить же цену на масло нельзя, это было бы несправедливо по отношению к городу.

Прежде, рассуждает Иван Федосеевич, когда существовал план сдачи молока, было иначе. Колхоз выполнит план, даже несколько перевыполнит, остальное же молоко продаст горторгу по два рубля двадцать копеек за литр минус десять процентов торговой скидки. Вот эти-то деньги — прибыль от молока — позволяли повышать удоимость, увеличивать стадо коров...

Теперь поставок нет, отменили их, и это правильно. Государство покупает, а колхоз продает, и каждая сторона при этом считается с выгодой. Но только у нас здесь в районе ничего этого нет, остались поставки, хотя называют их — закупки. Составляются обязательства, и количество молока, которое колхоз должен продать, указывается в них такое, что ничего не остается для продажи по более выгодной цене.

Иван Федосеевич, в который уже раз объясняет мне, что нипочем не подписал бы такие обязательства по молоку, какие ему навязали, да вот в больнице он тогда лежал, на беду, без него распорядились.

Он говорит, что со свининой его ведь не надо подгонять, свинины он без всяких обязательств продает много, потому что цена подходящая. И принимается подсчитывать, сколько голов держит колхоз, во что обходятся корм и оплата труда свиначок, прибавляет еще несколько на всякие прочие расходы и вычитает все это из общей суммы выручки, после чего действительно остается изрядная прибыль. Он рассказывает, что с таким же количеством людей производил меньше свинины, а теперь увеличил поголовье и еще увеличит — счет при этом идет тысячный. И свиначки, говорит он, зарабатывают прилично — от семисот до тысячи...

Я вспоминаю, что как-то читал статью министра о специализации сельского хозяйства по зонам и что в этой статье как раз доказывалась невыгодность свиноводства в здешних местах.

Тут подходит мой автобус, и мы прощаемся с Иваном Федосеевичем.

Разговор о себестоимости молока нейдет у меня из головы. Я понимаю, что здешние колхозы должны иметь возможность продавать часть молока по более дорогой цене, иначе молочные фермы будут убыточными. Однако множественность цен, в частности две цены на молоко, а зачастую и третья — рыночная, — представляется мне, хотя и далек я от экономических наук, явлением уродливым. Выход тут может быть только один: молоко должно обходиться нашим колхозам дешевле. И так как, по разумению моему, самое дорогое сейчас корма, то надо добиваться снижения их стоимости. В одних условиях дешево станут одни корма, в других — другие, но всюду это зависит от плодородия земли, и, чтобы увеличить его, необходимы деньги и время. До той поры и будет существовать множественность цен на молоко.

В комнате по-степному чуть пахнет донником. Всего-то сухая веточка его торчит в пучке давно высохшего пырея, мятлика и овсяницы, еще прошлым летом заткнута за электрический шнур на стене. Мы бродили тогда с Николаем Семеновичем по окрестным лугам и обочинам дорог, деревенскими улицами, и я брал у него, как мы называли это, уроки ботаники.

Я вспоминаю услышанное мною впервые от Николая Семеновича определение: «Луг — мать поля». Некоторое несоответствие в роде несколько не умаляет силу этой, я бы сказал, выстраданной народом формулы.

Сдается мне, то же самое читал я у Энгельгардта.

Листаю знаменитые письма «Из деревни». Года четыре назад, когда после многих лет они были переизданы, в Райгород поступил всего один экземпляр. По счастливой случайности он достался мне. Я тогда подчеркивал и по сию пору не утратившие остроты места. Среди них и вот это:

«В нечерноземной полосе количество посева обуславливается количеством навоза, какое можно накопить, количество же навоза обуславливается количеством корма, количество корма обуславливается количеством сена... Это количество сена обуславливает у нас, так сказать, всю суть хозяйства, от него зависит количество скота, количество высева, количество хлеба, мяса, сала, молока... Другим мериллом для определения величины запашки служит еще возможность убрать народившийся хлеб в тот короткий срок, какой имеется для этой уборки».

Что до этого последнего правила, то в нашем районе, кстати сказать, оно никогда не соблюдалось и не соблюдается. В прошлом году, например, у нас тут ушло под снег семьсот гектаров картошки. Послушаешь, как весной здешнее областное начальство подбадривает народ — «давай, давай!» — и подумает: то ли оно заручилось согласием сил небесных в полном составе прибыть к нам сюда на уборку, то ли ему доподлинно известно, что климат переменится, то ли не надеется оно дожить до осени.

И не количеством навоза или вообще удобрений обуславливается у нас в Райгороде величина запашки, но одной лишь волей того же начальства. Выходит, что хозяйственный крестьянин прежних времен, который, когда недоставало навоза, оставлял часть земли непаханной, чтобы не тратить зря времени и сил, но зато уж под посев вывозил его столько, сколько требуется, и с хорошо удобренного этого поля получал урожай не меньший, но больший, нежели получил бы со всей площади при имевшемся у него количестве навоза, — выходит, что неграмотный этот крестьянин действовал весьма разумно.

Разуму учила крестьянина нужда.

Относительно же того, что от количества корма зависит количество скота, так Василий Васильевич, бывший здешний первый секретарь, управляющий теперь сельским хозяйством всей области, держался прямо противоположного убеждения. Он заявлял, что надо заводить скот, а уж это обстоятельство заставит заняться кормами. Смотрел он при этом строго, и в голосе его чудилось металлически звучащее «так надо». Впрочем, иногда он позволял себе ослабить напряженность поощрительным упоминанием о мужичках, давая понять, что ежели скота станет много, так этот наш, нечего греха таить, ленивый, но смысленый мужичок расстарается добыть корму. Отец Василия Васильевича, замечу, был столяром, дед — пахарем.

\* \* \*

Невысокий, сухонький, бритый, с коротко остриженными седыми волосами старик лет семидесяти, Максим Герасимович, переплетчик. Жена у него полная, с круглыми плечами, улыбающаяся. Живут они в

маленьком ветхом домике. Усадьба обнесена не успевшим еще потемнеть сквозным забором, весьма изящным, собственноручно сделанным Максимом Герасимовичем из обрезков горбыля. Огород и у него есть, как у каждого здешнего жителя, но с первого взгляда видно, что овощи они с женой выращивают не на продажу, а для себя — немного картошки, немного помидоров, огурцов, моркови, свеклы, луку.

Максим Герасимович остроумен и вежлив, но сдержанно, нет в нем острословия и галантерейности райгородского жителя из старых — бывшего приказчика, полового, мелкого лавочника. В нем сильно развито чувство собственного достоинства. Максим Герасимович, я думаю, гордится своим ремеслом, в котором он превеликий артист, каких, увы, уже не сыщешь.

Со мной, как всегда, если он в городе, пришел Николай Семенович. Он спрашивает Максима Герасимовича, не приходилось ли ему слышать о том, как лет пятьдесят с лишним назад отказался драться на дуэли с одним из офицеров местного гарнизона известный здешний купец, историк нашего края, и не знает ли он всех обстоятельств этого нашумевшего тогда дела.

«Как же,— говорит Максим Герасимович,— преотлично знаю. Я еще тогда учеником был и относил им,— при этом он полностью называет имя, отчество и фамилию купца,— для ихней библиотеки переплетенные у нас книги».

Николай Семенович, подавшись вперед, поощрительно такает.

«Прынцип, изволите ли видеть, был у них,— принимается рассказывать Максим Герасимович.— И пятый год, прошу учесть, был еще памятен».

Не торопясь, учтивости ради прибегая к вводным словам, почти вышедшим нынче из употребления, он рассказывает, как однажды в ресторане, перед самым закрытием, почтеннейший из официантов, коего в тот день были именины или некий юбилей, обходил с подносом столики, и публика одаряла его деньгами — кто серебряный рубль кинет, кто кладет бумажную трешку, у кого золотая пятерка выпорхнет. Положил свою лепту и просвещенный купец. Должно быть, рублей шестьдесят уже набралось. Официант наш таким побытом подходит к столику, за которым сидит офицер. А тот, вроде бы и не взглянув даже, легонько эдак делает ручкой — и капитал с подноса брызг во все стороны. Офицер же небрежным жестом бросает «катеньку». Тут наш историк и пустил в его адрес громогласного подлеца.

Офицер, конечно, вызывает купца на дуэль. А у того «прынцип» — считает, варварство... Пускай, говорит, подают мировому, как водится в цивилизованных странах. Офицеру, по ихнему обычаю, уходить из полка.

Однако придумал он коварный план.

Купец, хотя и привержен был ученым занятиям, все ж таки раз в день, перед обедом, заходил в лавку, чтобы приказчики бога не забывали, после чего в собственном своем экипаже, как говорится, поспешал ко шам.

Тут-то его и подкараулил завзятый тот дуэлянт.

Был он на коне, в руках по этому случаю плетка, и принялся он гнать нашего историка в роскошном его экипаже от Каменного моста, что надо рвом возле кремля, до пригородной усадьбы, где историк имел обитание. Он мог бы и пешего его достать, но эффект, изволите ли видеть, был бы совсем другой, поскольку набежал бы народ и все обернулось бы протоколом в участке. А тут, словно на некоем ристалище, изумленная публика взирала с тротуаров, как мчится вдоль пустой улицы изве-

стный всему городу экипаж, и не отстающий от него всадник благословляет седока плеткой.

В тот вечер и на другое утро офицер ожидал к себе секунданта купца. Но события приняли иной оборот. Вскорости ему стало известно, что купеческим кучером подана на него в мировой суд жалоба об избиении.

И пришлось ему с позором оставить полк.

Мы покидаем дом Максима Герасимовича, напутствуемые, как всегда, предупреждением не ушибиться о притолоку. Старик провожает нас до калитки, стоит, взявшись обеими руками за фигурные концы тесинок, кланяется, приговаривая: «До приятной встречи... До приятной встречи!..»

\* \* \*

Солнце сегодня не очень яркое, по временам оно заходит за облако, день стоит нежаркий, тихий, глухой. В лесу, где мы остановились по дороге в областной город, сухо, жесткая уже, сгоревшая трава косматится повсюду, на обтерханных, пополам с крапивой кустах — мелкая и сладкая малина.

На обратном пути ненадолго заезжаем к Ивану Федосеевичу.

Он показывает баньку, поставленную им невдалеке от дома, чтоб матери было близко ходить. Банька — рубленая, под серой рубероидной кровлей, загляденье банька. Встала она ему тысячи в четыре без малого, да и то потому, что лес он купил дешево, по случаю, — вышло так, что лесник для себя самовольно срубил, а у него отобрали и продали желающим.

Собственно, лес Иван Федосеевич мог купить по сходной цене в колхозе, на что имеет право каждый работающий честно колхозник, если он собрался строиться. Но он этого не сделал, точно так же как не стал получать с колхоза деньги за то время, что пролежал в больнице, — все высудил с завода. Он объясняет это тем, что пример был бы дурной, это каждый чуть что, станет претендовать, чтоб колхоз ему платил. Тогда я осведомляюсь: а если заболит колхозник, платят ли ему? Иван Федосеевич говорит, что платят, начисляют трудодни. исходя из среднего заработка. И старикам, говорит он, выдается пособие, и женщинам по беременности...

У меня нет оснований не верить моему приятелю. Но все же мне думается, что не должно бы социальное обеспечение колхозников зависеть от председателя или даже от всего правления, в сущности, быть делом их совести, — справедливости ради надо бы установить тут общие, обязательные для всех правила.

\* \* \*

Малый, который строит хибару рядом с нами, оказывается, совсем молодой, недавно только в армии отслужил, еще не женатый. Он работал конюхом в горкомхозе, но сейчас уволился, с утра и до ночи занят на своей постройке, а мать обихаживает огород. Он и не собирается нигде работать, пока не построятся. Живут они с матерью продажей овощей. Они и в прошлом году засадили всю усадьбу, всего больше огурцами, а нынче есть и лук и морковь. Хватает на продажу, и едят, и в зиму останется. За старый дом, говорят, малый заплатил десять тысяч, но лесу ему едва хватило на хибарку, остальное — дрова. Следовательно, платил он за усадьбу, за землю.

И не нужны мне никакие статистические данные о сельском хозяйстве нашего района, я и так знаю, что дела у нас обстоят плохо, коль скоро небольшой участок земли в городе может стать основой благополучия здорового малого, пусть на время, однако бросившего из-за него работу.

\* \* \*

Михаил Васильевич достает вареную колбасу из-под ящика на земляном полу в сарае, разглядывает — а она на срезе чуть посерела — и говорит: «Колбаса-то задумалась!» Он всегда говорит так о продукте, который как бы еще только тронулся в порчу, но к употреблению вполне пригоден.

\* \* \*

Утро довольно прохладное, тихое, покойное, как это бывает в провинции летом в воскресенье. Негромкий, вразнобой, колокольный звон. На соседних усадьбах переговариваются женщины — выпальвают траву, собирают огурцы... И небо в дымке, и запах гари с торфяных болот.

Звякает щеколда калитки. Во двор входит большая плечистая девушка, широколицая, с пышными, мелкозавитыми, почти белыми волосами, в коротком и тесном синем платье, оставляющем открытыми загорелые руки и ноги, — Света, младшая сестра Люды, окончившая нынче наш техникум.

С Людой меня познакомил прошлым летом Николай Семенович. Она тогда работала агрономом в соседнем районе. Позже, осенью, я узнал, что она уехала в одну из областей южнее Москвы, в ту пору весьма прославленную. Я как раз проезжал теми местами на исходе нынешней весны, заглянул в совхоз, где работала Люда, и застал у нее Свету, с которой тоже был знаком. Она проходила здесь производственную практику.

Я пробыл с сестрами всего лишь час, не больше, вокруг были посторонние люди, и мне не пришлось поговорить с ними о том, что волновало меня в те дни, да и сейчас продолжает волновать. Мне приходилось слышать тогда от разных людей, будто бы руководители той области, объявив о баснословных успехах в производстве мяса, обманули партию и правительство. Говорили всякое, каждый о своем, ему известном. Многие из тех, с кем я разговаривал, имеющих к животноводству только то отношение, что они потребляют мясо, резонно заявляли, что если в области так успешно выращивают скот, почему же и мосла говяжьего нигде не купить. Иные утверждали, что для выполнения непомерных обязательств, навязанных колхозам, председатели завозили скот из других областей, причем обходился он дороже, нежели за него причиталось получить. Наконец, были толки и о том, что изрядное количество якобы проданного государству мяса существует лишь на бумаге, потому что областные руководители не постеснялись пустить в ход так называемые пустые квитанции.

Не то чтобы я рассчитывал проверить правильность всех этих слухов у двух молодых девушек, из которых одна работала агрономом года полтора с небольшим, а другая и вовсе была практиканткой. Да и без какой-либо проверки многое было уже тогда очевидным, — к слову сказать, у въезда в областной город можно было видеть обширные поля, где школьники сажали напоказ выращенную в торфяных горшочках, следовательно очень дороговую, кукурузу.

Сестры жили в деревне, среди людей, изо дня в день делающих крестьянскую работу, они и сами участвовали в этой работе, которая предельно конкретна, материальна и основывается на том, что от худого семени здесь не ждут доброго племени, и мне хотелось услышать именно их суждение о той шумихе, какая свирепствовала вокруг простого дела — пахать пашню, ходить за скотиной, причем меня интересовала, разумеется, не экономическая оценка всей этой спекуляции, но нравственная.

Однако поговорить мне тогда с сестрами не пришлось.

И вот сейчас, после нескольких обязательных при встрече фраз, мы принимаемся рассуждать со Светой на тему об очковтирательстве, без которого и у нас, в здешних краях, если судить по некоторым глухим слухам, кажется, тоже не обошлось. Свету, да и меня, пожалуй, занимает, так сказать, механизм этого дела, то есть то, как же это можно несуществующее мясо, или молоко, или зерно выдать за якобы существующее.

Прежде всего, думается мне, помогает этому канцелярия, то есть сочиненные для регламентации человеческой деятельности бумаги, какие вносят в естественные отношения между производителем и потребителем материальных ценностей некую условность, я бы сказал, иллюзорность.

Ведь совсем еще недавно, например, колхозам разрешалось взамен хлеба сдавать зеленый горошек, вместо яиц — солому, причем было принято считать, что государство получило не горошек и солому, но хлеб и яйца.

Не знаю, как сейчас, а года три назад существовало установление, согласно которому сельская кооперация некоторые промышленные товары продавала лишь в том случае, если покупатель продавал кооперации известное количество сельскохозяйственных продуктов. И вот мне рассказывал один мой приятель, полковник, бывший рабфаковец, коммунист с начала двадцатых годов, как он приехал к родителям в деревню, зашел однажды в лавку, где работала его сестра, и увидел, что некий гражданин, купив стоявший здесь бак с медом, сейчас же продал его обратно, получив таким образом право приобрести какой-то нужный ему товар, кажется, валенки. Полковник удивлен был до чрезвычайности, принялся расспрашивать сестру, и она рассказала ему, как этот самый мед принес ей единственный в округе пасечник, которому понадобилась имевшаяся в лавке вещь, как решено было продать мед населению, поскольку в этих местах его не заготавливали, и как смывленный деревенский житель сразу же сообразил, какую он может извлечь здесь выгоду. И все были довольны. Потребитель рад был возможности купить без хлопот необходимый товар и не жалел об убытке, понесенном на разнице между покупной и продажной ценой меда. Кооперация же постоянно получала на этой сделке чистый барыш, да еще могла похвалиться количеством заготовленного в селе меда, неизменно возраставшим.

Случай этот может показаться всего лишь забавным, однако механизм, сотворивший его, сумевший превратить какой-нибудь пуд настоящего меда в сто или даже больше пудов меда, никогда не существовавшего, — механизм здесь тот же самый, что и в следующей, куда по крупнее, истории.

Рассказывают, что в области, о которой сейчас речь, однажды оставили на передержку некое количество скота. Иначе сказать, купленный в колхозах скот, быть может из-за того, что загружен был мясокомбинат, или же потому, что в мясе не было нужды, пушен был покуда в нагул. Явление обыкновенное, и не надо быть специалистом, чтобы понять его естественность. Суть только в том, что скота этого и в природе не было.

То есть возможно, что по прошествии положенного времени в колхозах должны были народиться телята, которые, вырасти они до нужных кондиций, могли быть проданы государству. Но руководителям области не терпелось представить себя с той стороны, что у них и эмбриональные те бычки и телушки уже сегодня многопудьем своим попирают землю. Было условлено, будто колхозы продали государству скот. На будто бы лугах паслись будто бы коровы. Когда же пришло время, этих со-

творенных из чернил коров забили, но только мясо не стали никуда отправлять, а продали местному населению.

Была здесь все же одна реальность — деньги. Я не знаю, как расплачивались с председателями колхозов за якобы купленный у них скот, но только стоил он меньше того, что полагалось выручить за проданное в розницу мясо. И вот эту-то недостающую сумму пришлось внести колхозам.

Эту последнюю историю я Свете не рассказываю. Девушка и без того взволнована всеми этими разговорами об обмане государства, она силится понять, какие причины побудили людей, которых она уважала, потому что с детства привыкла уважать их должности, стать обманщиками. Света и в мыслях не держит обвинить их в каком-либо корыстном расчете. Поэтому, должно быть, уставив на меня несколько растерянный и вопрошающий взгляд, она нетвердо говорит: «Может... так надо?» И тут же, оживившись, словно радуясь своей догадке, она уже уверенно пускается в рассуждения о том, что все это делается, конечно, с расчетом, чтобы в других областях, прослышав про замечательные успехи прославленной области, стали работать лучше, и таким образом весь этот как бы обман, глядишь, обернется на общую пользу.

Свете еще нет и девятнадцати лет. Ей чуть обидно отказаться от столь хитро и самостоятельно возведенного построения. Однако для меня не составляет труда убедить ее в том, что только правдой можно добиться успеха и что неправда, скажем — в хозяйственной деятельности, разрушает не одну лишь экономику, но и человеческие души, а это всего опаснее.

Девушка даже рада, я думаю, что освободилась от обременительной необходимости сознавать, будто некоторым избранным людям позволено творить ложь и выдавать ее за правду. Но тогда она должна примириться с мыслью, что «такие люди», как она выговаривает не то чтобы в осуждение им, скорее сокрушаясь о них, — что «такие люди» могут быть бесчестными.

Уходит Света в некотором смятении. Это объясняется еще и тем, что разговор об очковтирателях для нее не такая уж отвлеченность. На днях она уедет работать в деревню, и кто знает, какой попадетсЯ ей председатель колхоза, не станет ли он понуждать ее, чтобы она писала в сводке, будто не убранный еще хлеб уже убран, и составляла акты о том, что ненадоенное молоко выпито приехавшими убирать этот хлеб рабочими.

Мне припоминается, что и бывший наш секретарь, Василий Васильевич, как об этом рассказывают, будто бы всерьез полагал, что район произвел молока куда больше, чем сдано было фактически, потому что население выпило-де какое-то количество, — словно это выпитое здесь у нас молоко государство может продать, сделать из него масло, сыр...

Пока я разговаривал со Светой, Василий Васильевич вообще не шел у меня из головы, так как это от него я часто слышал только что неуверенно произнесенное девушкой утверждение: «Так надо». Не то чтобы я соотносил с этими его словами какие-либо преувеличения в цифрах выполнения планов — нет, кроме слухов о выпитом молоке, которое якобы хотели числить проданным государству, фактов на этот счет я не имею.

Убежденность Василия Васильевича в том, что существуют две правды, казовая и потаенная, проявилась однажды с откровенностью почти наивной. Несколько лет назад местная газета напечатала статью Николая Семеновича об эффективности некоторых способов возделывания у нас кукурузы. Статья не понравилась одному из областных руководи-

телей, который с прямолинейностью чуть ли не военной посчитал, что обсуждать тут нечего, сеять надо. Василий Васильевич поспешил распорядиться, чтобы газета тотчас напечатала другую статью, где бы в рассуждения не вдаваться, первую же объявить ошибочной. И одновременно с этим он вызвал к себе Николая Семеновича, сказал ему, чтобы он не огорчался, так, мол, надо.

Я думаю, так оно обыкновенно и случается, что руководитель, полагающий, будто могут существовать две правды, будто это и есть политика,— что такой руководитель и обращает себе на пользу наималейшее несовершенство того или иного установления, предписания, циркуляра, то есть всей той канцелярии, без которой в большом нашем хозяйстве не обойтись.

Вечером я читаю Ленина, его доклад Десятому съезду партии о замене разверстки натуральным налогом, и мне встречается одно место, которое я когда-то знал, но забыл, а оно идет к нашему разговору со Светой.

«...Мы должны ставить дело во всей нашей пропаганде и агитации начистоту,— говорил Владимир Ильич.— Люди, которые под политикой понимают мелкие приемы, сводящиеся иногда чуть ли не к обману, должны встречать в нашей среде самое решительное осуждение».

\* \* \*

Весь день гроза ходила вокруг города, но так и не разразилась.

Только в седьмом часу вечера около кремля пролился короткий дождик. Небо над озером чистое, даже рядом с кремлем в темных тучах зияют ослепительно синие просветы. А прямо над кремлевскими главами и чуть сзади, словно это горит где-то, клубятся быстрые, колышущиеся из стороны в сторону тучи — от аспидного цвета и до желтоватосерого. На фоне туч резко белеют барабаны церквей, выпукло круглятся их маковицы — золотая на одиноко стоящей церкви в глубине кремля, зеленые на пятиглавых церквях справа, серебряные на церквях и соборе слева. И еще сияют, повертываясь из стороны в сторону, поскрипывают бесчисленные золотые прапорцы на красных шатрах башен и на зеленых кровельках дымников...

\* \* \*

Скоро уж десять лет, как я бываю в Райгороде, а все не устаю радоваться здешней речи. К родственникам Михаила Васильевича, у которых и без того тесно, приехала гостья, по поводу чего старик заметил: «Еще одна насельница!» Капа встречает опоздавшую подругу укоризненным восклицанием: «Эх ты... чадушко!» Недавно меня спросили: «Как собаку-то вашу манят?»

\* \* \*

Небо с утра дымчатое, местами дымка почти незаметна, сквозь нее холодновато светит солнце. День стоит нежаркий, все освещено рассеянным светом, все линии смягчены, нет теней. Перед закатом низко в небе проступил белесый, с как бы смазанными очертаниями диск.

В городе хотя и прохладно, но сухо, пыльно.

А у нас, едва я открыл калитку, в лицо ударил острый травянистый запах. И дым от самовара, поставленного на земле, стелется над грядами.

Всю ночь сеется мелкий дождик, стучит о крышу сеновала.

\* \* \*

Дождь и на рассвете топчется вокруг сеновала, шумит на крыше из щепы, уймется и снова припустит. Снизу, со двора, пахнет мокрой травой.

Вчерашняя дымка распространилась на все небо, приобрела плотность, опустилась ниже и стала сеяться дождем. Дождь спорый, грибной. Он неотумоимо падает и падает на землю, частый, с некоторым шипением. Теперь грибы пойдут. И картошка, говорят, поправится. А капусте дождь уже не поможет, ее червь съел. Зато отава отрастет, на что надеялся Александр Сергеевич, секретарь райкома. Для озимых же дождь — сущее благо, страшно было подумать, что станут сеять в горячую и сухую землю.

К обеду дождь перестает. Становится холоднее.

Тихо. Пасмурно. Однако кое-где небо чуть светлеет.

И опять вдруг срывается дождь, мелкий, быстрый, он льет с тихим шуршанием. Потом он утихает, а через некоторое время снова начинает лить, но теперь уже почти не видной моросью. Затем он опять перестает и вдруг, после короткого затишья, тяжело, с шумом обрушивается на землю.

Так весь день.

Смеркается рано. Дождя нет. Самовар уже стоит на столе.

Нежданно-негаданно приезжает Иван Федосеевич. Следом за ним появляется и Николай Семенович. У Николая Семеновича чутье на интересного собеседника, а тут еще мы с ним как-то поспорили — вообще он превеликий спорщик, — какая из церквей старше постройкой — в Николо-Перевозе или в Ново-Никольском, и кому же, как не Ивану Федосеевичу, который живет в тех местах и всем на свете интересуется, разрешить наш спор.

Иван Федосеевич, в чем я и убеждал Николая Семеновича, говорит, что церковь в Николо-Перевозе старинная, построил ее еще князь Голицын, при Екатерине, а Ново-Никольская, действующая, та — новая церковь, на его памяти уже построена, и строил ее Аристарх Аристархович, тамошний крестьянин, наживший большие капиталы на откорме каплунов — кастрированных петушков. Аристарх Аристархович и терочные заводики имел — делал картофельную муку, — и декстриновые, но главное все-таки — петушки.

У старика Аристарха было три сына. Один жил в Москве, второй — в Питере, и были они как бы торговыми агентами фирмы, заведовали тамошними лавками. А третий жил в Саранске. Почему он там поселился, сказать трудно. Это ведь про здешних бойких мужичков — старики говаривали — бог сказал, что они, дескать, его апостолы, во все концы света посланы...

Третьего сына старика Аристарха звали Кириллом. Был у него крестник, сирота, тоже Кирилл, которого он взял к себе в услужение. Иван Федосеевич, уже в советские годы, дружил с ним, и от него-то он узнал и про Аристарха Аристарховича и про Кирилла Аристарховича с его братьями.

Кирилл Аристархович в городе Саранске был городским головой и соборным старостой. У него была земля в уезде. Он скупал в огромном количестве яйца, буквально миллионами штук, которые сохранялись в больших бетонных ваннах залитые жидкой известкой, отчего они без всякого для себя вреда могли лежать сколько угодно. Получит он из Питера или из Москвы телеграмму от братьев. — высылай, мол, партию яиц, — сейчас же их достают из известки, упаковывают и шлют. Перед большими праздниками братья требовали битых гусей, и Кирилл Аристархович отправлял их огромными партиями. А отцу, в Райгород, вагонами шел овес.

Бывало, рассказывал крестник, вдоль улицы, в гору, где возле собора

стоял дом Кирилла Аристарховича, ранним осенним утром выстроятся возы с овсом. Возов триста—четыреста соберется. Кирилл Аристархович, встав поутру, идет в собор, а народ огрудит его, спрашивает, какая нынче будет цена. «Погодите, братцы,— скажет Кирилл Аристархович,— помолюсь вот богу, чайку попью, тогда и о цене поговорим».

Это он время выгадывает, рассуждает Иван Федосеевич. Покуда он помолится да покуда чаю напьется, в голове у него все и сложилось. Выходит на крыльцо и объявляет: столько-то копеек мера. И начинают мужики сыпать. А рассчитывает их сам Кирилл Аристархович, кладет на счетах, кому сколько следует. Иной грамотный мужик скажет: мне вроде бы копейка еще причитается. А он ему: копеечка твоя на божий храм пошла.

Отправляется этот овес самому Аристарху Аристарховичу. Старик повсюду накупит молодых петушков и раздаст по деревням, по всей округе — кому пятьсот, кому тысячу... И овса дает: ты пятьсот взялся выкормить, тебе такое-то количество овса, ты — тысячу, тебе такое-то...

Три недели петушков кормили вольно, зерном, другие три недели — принудительно. Смелют овес, наделают из теста катышков, достанут петушка из клетки и пихают в него катышки. Всего шесть недель кормили.

Михаил Васильевич прибавляет к этому, что и требушиной кормили, вообще сбоем. Наварят этого голя и запихивают петушкам в горло. Еще он говорит, что старик Аристарх покупал у них в лавке исключительно французский коньяк «Депре-179» (или «119», я тотчас же забываю цифру).

Я говорю, что это ведь живая страница из истории отечественного капитализма. И почему Кирилл обосновался в Саранске, так сказать, в колонии, откуда он вывозил дешевое сельскохозяйственное сырье, понять нетрудно. Точно так же легко понять и то, почему сам Аристарх оставался сидеть дома, как бы в метрополии, организовав здесь переработку сырья.

Николай Семенович любопытствует узнать, что случилось с сыновьями старика Аристарха. Иван Федосеевич говорит, что про всех сказать не может, а с Кириллом произошло вот что. Пришел к нему однажды приказчик и потребовал ключи: власть-де переменялась и от новой власти вышло распоряжение все имущество у него отобрать. Кирилл Аристархович перечить не стал, попросил только лошадей доехать до Рузаевки, до станции. Приехал он в Райгород и всю жизнь работал сортировщиком яиц в райпотребсоюзе, пока не ушел на пенсию. Возможно, он и сейчас жив, коли не помер.

Разговор заходит о старых промыслах, которые, если бы их снова завести, значительно увеличили бы доходность здешней земли. Вспоминают, конечно, и пряные растения, и семеноводство редкостных этих трав и корней, поставленное здесь еще Петром, и мятное масло, про которое мне каждый раз объясняют, что варили его в серебряных котлах. Говорят и про терочные, тоже давным-давно заброшенные, отчего и не хватает постоянно картофельной муки, а от них еще и та польза, что отходами — мезгой — можно свиней кормить. Выгодно было бы и каплунами снова заняться, если от этого дела и церкви ставили. и целая округа этим жила — Кураковщина.

Иван Федосеевич говорит, что у них там чуть ли не у каждого сохранились еще домики с клетками, куда сажали петушков. Отдельно для меня он добавляет, что не по князьям, как некоторые говорят, а по курочкам называется та сторона Кураковщиной. В этом есть резон, потому что народ в утратившее смысл слово всегда вкладывает новое, понятное ему содержание, а промысел, которым кормились в тех местах чуть

ли не сто лет, мог затмить владевших некогда тамошней землей князей Куракиных.

Когда я возвращаюсь домой, проведив гостей, в отдалении, в конце уходящих к озеру улиц, виден голубоватый легкий туман. Озеро лежит за ним беспокойное, оно темное, серо-зеленое, какое-то жестяное.

Всю ночь с перерывами льет дождь. Только и слышен его мягкий шум. С улицы на сеновал тянет холодом. От холода, быть может, ни земля, ни травы не пахнут; или это все запахи перешиб запах воды!

\* \* \*

Бревенчатая стена сарая и забор вокруг двора мокрые, черные, и в этом прямоугольнике резко зеленеет промытая трава. А выше — серое небо. Так и бросается в глаза, когда я выхожу во двор, — черное, зеленое, серое...

Дождя нет весь день, однако воздух влажный. Земля мокрая, в лужах. Неяркое солнце по временам закрывается легкими тучками.

В шестом часу вечера у поворотка на старую Суздальскую дорогу встречаю Шарова, который лет семь назад, когда Андрей Владимирович работал здесь на опорном пункте, был у него шофером, а теперь возит Николая Леонидовича, председателя колхоза в Усолах. Николай Леонидович, к которому я еду, оказывается, отбыл в Оренбургскую область покупать солому. Он покупает ее для всего района. У него там и машины и люди. Солому прессуют, свозят к железной дороге и отгружают к нам в Райгород.

Раз уж я в этих местах, решаю заехать в Павлушино, деревеньку здешнего колхоза, где у меня есть знакомые — Клавдия Степановна и Вера, мать и дочь. С самой зимы собираюсь к ним в гости, да все не соберусь.

Вечереет. Сырой, в редких лужах проселок чернеется на плоской зеленой земле. Метрах в семистах от большой дороги стоят первые дома деревни. Деревня протянулась двумя посадками. Перед каждой избой, несколько отступя, так что остается широкий прогон, устроена загородка из кольев, где пестреют простенькие цветы. Кое-где высятся огромные старые ветлы.

Позади изб тянутся неогороженные усадьбы, где нет и одного кустика, а дальше — плоские поля с низкой линией горизонта. Поля уже темны, на усадьбах, на высоких грядах желтеется выданный лук, а в бороздах торчат зеленые султаны кормовой свеклы. С одной из усадеб спешит Вера — невысокая, в резиновых сапогах, в ватнике и в переднике поверх него, в теплом темном платочке, один конец которого обмотан вокруг шеи.

Вера говорит, что мать в колхозе дерет лук.

На крыльце, будто приклеенное, лежит светлое ряднышко.

Вера приглашает в дом, и мы поднимаемся по выкрашенной коричневой масляной краской лестнице с точеными балясинами. Лестница ведет в сени, голубые от масляной краски. В открытую дверь видно, что изба тоже голубая, — такая теперь пошла мода. Над лестницей, покоясь одним своим краем на перилах, ограждающих проем в полу, а другим — на специальной планке, прибитой к стене, стоит большой коричневый ларь, поблескивающий плотной краской. Вера объясняет, что чулана у них нет, вот и пристроили так мучной ларь, в нем два отделения — для белой и ржаной муки.

Изба в три окошка, одно из них напротив чела печки, от угла которой тянется к нему ситцевая занавеска, достигающая пола. Точнее сказать, здесь две занавески: одна спускается с потолка, примерно на метр, а другая, длинная,— под нею, и все это похоже на театральные занавес. За длинной этой занавеской — рукомойник, и самовар, и горка с посудой и припасами, а что закрывает короткая, верхняя, я куда не знаю.

Сама изба глядит парадно, она сияет будто отлакированными стенами и полом, изразчатой печкой с лежанкой, белыми салфетками и накидками — на высокой кровати, на комод, на швейной машине, на верхнем крае зеркала, даже на коробочке репродуктора. Правая стена занята большими фотографиями в одинаковых рамках. На первой фотографии отец Веры — красивый малый, погибший на войне. Рядом с ним — мать, которая удивительно хороша несколько тяжеловатой, пышной красотой. А там — бабушка, покойная сестра, умершая девчонкой, брат в форме сержанта артиллерии...

Вера ставит самовар, рассказывает деревенские новости, спрашивает про общих знакомых, ахает, выговаривает, почему до сих пор не приехал. Она говорит, что сейчас «смотается» на велосипеде за матерью — пока я ехал деревней, я видел у каждой двери велосипед, — но тут в дом вбегает сама Клавдия Степановна, оповещенная ребятишками. И вот уже они вдвоем, обе крепкие, круглолицые, доброголовые, принимаются хлопотать, словно у них полна изба гостей, и не устают рассказывать, выспрашивать... На столе появляется нарезанная большими ломтями белейшая кулебяка с рисом и яйцами, и помидоры, и малосольные огурцы, и рыбные консервы. Оглядев стол, Вера спрашивает, нащипать ли свежих огурцов. Мать отвечает: «Нащипи». Вдруг они спохватываются, что яиц не сварили, и опускают их в самовар. Ставится наконец водка и наливка — «белое» и «красненькое»...

Женщины на некоторое время исчезают. Они появляются нарядные, в цветных платьях, похожие на сестер. Вера сняла платок, причесалась, сидит простоволосая. А Клавдия Степановна, сняв темный платочек, хочет повязаться шелковой, в цветах, косынкой, но Вера не разрешает — нечего по-старушечьи повязываться! — она набрасывает косынку на плечи матери.

За чаем, за рюмочками с церемонным чоканьем и обязательными «со свиданьем», «за ваше здоровье». разговор идет о неуродившем нынче луке — сторона здесь луковая. Луку мало, мелкий он, а огурцы хороши, да садили их, жалко, только для себя. «Все-таки ничего, проживем, — в один голос говорят мать с дочерью, — обязательно в Москву с товаром поедем».

Они показывают, сколько уже луку у них на печи.

Лук лежит на шите, под который подбиты брусья, чтобы лук не спекся. Сейчас сушится весь лук, а потом товар пойдет в подполье, на печи же останется семенной. Шит зимой будет с внешнего края поднят, утверджен на специальной подпорке, так что под ним и спать будет можно, ногами внутрь, головой наружу. Но для всего семенного лука здесь места не хватает. Этот лук ведь не только для себя, он на продажу идет. Весной его много берут на посадку. В избе устроено еще одно хранилище, за той короткой занавеской, что спускается с потолка.

Вера приподнимает занавеску и показывает мне утвержденные на перекладинах ивовые маты, куда на зиму будет положен семенной лук.

Хотя дом этот и невелик, однако удивительно складно устроено в нем все, что необходимо для жизни и работы двух его обитателей.

Клавдия Степановна тем временем рассказывает, почему семенной лук нельзя хранить в подполье. Если этот лук держать в холоде, объяс-

няет она мне, то он, когда его посадят, даст стрелку. Я все это давно знаю, однако слушаю внимательно, и не из одной вежливости.

Точно так же, скажем, как я не могу считать сочинения римлян о сельском хозяйстве только лишь практическим руководством, так и нашу народную агрономию, выработанные поколениями правила, касающиеся ухода за скотом, обработки и хранения продуктов земледелия, устройства хозяйственных построек, я не могу не отнести к изустной поэзии.

Лук из подполья, продолжает рассказывать Клавдия Степановна, идет на чернушку, это маточный лук. В иных местах, да и здесь некоторые так делают, чтобы лук зазяб, его закапывают в снег — положат в начале зимы на землю и прикроют снегом. Обычно же, когда посадят матку, ее поливают холодной водой. Все для того, чтобы стрелка была...

А вот этого я не знал, и чем-то эти приемы обработки маточного лука напоминают мне современную яровизацию, хотя я и не специалист.

Я не помню, по какой причине, разговор заходит о том, почему мать с дочерью держат козу, а не корову. Клавдия Степановна говорит, что прежде, когда дети были маленькие, у нее была корова, она ее пополам с соседкой держала — это у них часто бывает, что держат корову на двоих. Потом дети подросли, одевать их надо было, она и отказалась от коровы. Дети уже большие, без молока проживут, а держать корову начетисто. Молочным здесь у них не принято торговать — она произносит, как все райгородцы, «молосным», — это, считается, не товар. А хлопот с коровой не оберешься, пасти ее негде, да и сена где взять.

Клавдия Степановна говорит, что у нее, правда, заработано сено, в сенокос она выезжала с косцами на пожню, работала в бригаде поварихой. Там они и жили все, на пожне, некоторые даже с детьми.

Она принимается с увлечением рассказывать, как варила, и что варила, и как в других бригадах были жалобы, что мясо не наваристое, и как приезжал к ней сам председатель, Николай Леонидович, просил покормить его, и она налила ему шей, как всем, и он спросил, хорошее ли мясо, дает ли навар, и она отвечала, что хорошее. Тогда он сказал, что тоже так считает, потому что покушал и все вкусное, после чего поехал к тем, которые жаловались, — а ведь мясо было одно и то же!

Рассказывает Клавдия Степановна неспешно, однако без пауз, плавно, даже чуть нараспев. А у Веры речь быстрая, слова как бы наскакивают у нее одно на другое, голос звучит высоко, звонко, она то и дело перебивает себя самыми восклицаниями — удивленно или ужасаясь.

Вера тоже говорит о своей работе. Она кладовщица. На складе у нее весь колхозный хлеб. И концентраты. И всякие там веревки, хомуты. Бывает, иной мужик — шофер либо возчик, — пока везет, норовит украсть. Но ее не обманешь и не купишь, она пишет, сколько есть в личности.

Я замечаю, что мать и дочь друг к дружке обращаются на «вы», о себе каждая из них говорит во множественном числе — «мы», когда же одна рассказывает про другую, то уважительно именуется — «они».

Разговор заходит о зарплатке. В колхозе денежная оплата.

Вера говорит, имея в виду мать, что «они» получают 180 рублей в месяц, конечно, летом, когда есть работа, а «мы» — 250 рублей, и круглый год. Она тут же уточняет, что на руки-то выдают половину — «им» 90 рублей, а «нам» 125. Остальные обещают в конце года. Она незлобиво шутит: может, еще с нас будет причитаться. Год вишь какой! Клавдия Степановна добавляет, что хорошо зарабатывают доярки и свиарки. У них и по 600 выходит в месяц, и по 700, и по 800 — от выработки.

Значит, те двадцать с чем-то соток земли, какие отведены, в сущности, под огород, по преимуществу и дают возможность матери с до-

черью хорошо одеваться, всю неделю есть белые пироги, иметь на случай в доме вино — и «белое» и «слатенькое», — конфеты, консервы, не говоря о прочем.

Я хорошо знаю Николая Леонидовича и то, какой запущенный колхоз он принял три года назад. И я понимаю, что не его здесь вина, если недостаток, позволяющий принять нежданного гостя так, словно к его приезду готовились, обеспечен не заработком в общественном хозяйстве, а доходом с усадьбы. Тут еще пока что беды особенной нет. У меня есть основание предполагать, что покой и лад этого дома объясняются не только характером хозяек, но и общим состоянием умов и отношениями между людьми, установившимися в колхозе. А это не так мало, и с помощью этого можно сделать все. Однако сознает ли здешний председатель, что низкий заработок людей, работающих в поле, сравнительно с заработком таких же колхозников, но только работающих на животноводческих фермах, — обстоятельство весьма тревожное, потому что причина этого в невысоком плодородии земли!

Поздним, темным и дождливым вечером я покидаю Павлушино.

\* \* \*

День устанавливается нежаркий, тихий и светлый.

По невысокому и узкому валу, между двумя рядами корявых, некогда обрезанных тополей, ветки которых гибкими хлыстами взметнулись ввысь, движется большой воз с только что накошенной отавой. Могучий коммунхозовский конь легко катит его, сзади, покуривая, идут два коща. И так великолепно пахнет сырой, истекающей соком травой, конюшней, махоркой.

Вал, происхождение которого мне не известно, возвышается над обширной топкой луговиной. В конце луговины, такие же ярко-зеленые после недавних дождей, как и она, стоят, будто вырастая из нее, старинные крепостные валы с выступившим здесь вперед бастионом. Позади валов виднеются крыши центральной части города, стены и главы кремля.

Начинает припекать.

В городском парке на берегу озера, куда я прихожу, народу почти никого. Дорожки разметены, от цветочных клумб тянет сладковатой прелью, которая мешается с запахом сухих листьев. Озеро чистое, светлое, все в переливающихся, блистающих пятнышках. Хорошо виден противоположный берег: Усолы, Угожи, чуть выше — Ржищи... Под угожским берегом едва голубеет пароход, он становится различим, когда отваливает.

Точно так же, только несколько левее, оттуда, где из озера вытекает недлинная река, тысячу сто лет назад шли сюда, к стоявшему где-то здесь на берегу мерянскому поселку, первые ладьи новгородцев.

С тех пор, надо думать, началось в этих местах земледелие.

И все-таки Иван Федосеевич неправ, вдруг приходит мне в голову, незачем заводить у нас тут орошение, во всяком случае сейчас, когда и без того много забот. Даже в нынешнее сухое лето хорошо уродилась рожь, и картошка теперь будет. Если бы привести в порядок луга, осушить, раскорчевать и засеять травами заболоченные кустарники, доставило бы и сена.

Это ведь о здешней стороне, почвы которой хотя и небогаты, однако не знают засухи, о земле, невыразительно именуемой географами «нечерноземной полосой», в восторге воскликнул неизвестный древний поэт:

О светло светлая и красно украшенная земля Русская!

Мне кажется, уместны тут будут и следующие слова академика

Д. Н. Прянишникова, о которых мне как-то говорил Андрей Владимирович и которые я разыскал, возвратившись домой, и переписал сюда:

«...Нам теперь предстоит обратить внимание на тот климатический район и на те почвы, на которых Западная Европа исключительно построила свое интенсивное хозяйство, а именно: на нечернозем, не знающий засухи и способный при удобрении давать устойчивые урожаи датского типа, т. е. 30 ц зерна с гектара (200 пудов с десятины)».

Начав читать Прянишникова, я уже не могу оторваться, потому что, если иметь в виду только лишь сторону агротехническую (а есть еще и организационная и другие), в его работах содержится ответ на главный вопрос — как поднять здешнее наше сельское хозяйство.

Прянишников рассказывает о применении торфа на Севере, особенно в Шенкурском уезде, где сплошь пески, и утверждает, что шенкурцы остались бы без хлеба, если бы не торф. Благодаря торфу хлеб там так родит, что некий крестьянин, пришедший однажды к агроному за советом по поводу удобрения, имел основание сказать: «Ведь мне не стоит из-за 100 пудов спину ломать, мне надо 200 пудов с десятины получить!»

Но торф сейчас в нечерноземной стороне применяется повсеместно.

Когда секретарем райкома у нас был Василий Васильевич, кстати сказать, даже учившийся у Прянишникова, так ежегодно в феврале или в марте объявлялись месячники по вывозке торфа, с печатанием сводок, с вызовами на бюро, с подведением итогов — словом, шуму хватало!..

К сожалению, от такого применения торфа пользы никакой, а вреда много. Во-первых, берут его отовсюду, лишь бы выполнить план, а то, что он, скажем, кислый и только испортит пашню или что цена ему из-за отдаленности торфяника чуть ли не сотня за тонну — это мало кого заботит. Во-вторых, копают его зачастую так по-варварски, что вдоль и поперек расковыряют болото, которое, если бы его несколько осушить, могло бы стать прекрасным кормовым угодьем. В-третьих же, и это самое страшное, вывозят торф прямо на поле, где и разбрасывают кое-как, отчего потом принимаются расти ничем не истребимые сорняки.

У академика Прянишникова речь совсем о другом.

Он рассказывает, что шенкурцы на зиму набивают скотные дворы торфом аршина в полтора высотой, а сверху кладут солому, и коровы тем самым становятся как бы аппаратом, который до самой навозницы перетаптывает солому и торф, смачивает экскрементами, заражает торф недостающими ему бактериями, чем и вызывает в нем необходимое брожение.

Но ведь за это же ратовал и Алексей Петрович, секретарь Райгородского райкома партии, начавший здесь работать вскоре после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года и отозванный спустя два года в обком.

По природе своей человек негромкий, не то чтобы медлительный, просто медвежеватый, чему причиной и некоторая грузность фигуры и большие ноги, Алексей Петрович, бывало, как только зайдет у нас с ним речь о навозе, о том, что не хватает подстилки, решительно поднимется, начнет выдираться из узкого пространства между креслом и столом, да так и застрянет — протянув руку ладонью вверх, станет рассказывать. Он покачивал при этом рукой, растопырив и чуть согнув пальцы, и мне начинало казаться, что он взвешивал на ладони этот самый, за долгую зиму под копытами коров хорошо перемешавшийся и с навозом и с соломой торф. Алексей Петрович говорил, что торфяная подстилка — надо только сверху солому стлать, иначе коровы в грязи утонут, — что она позволяет при том же самом количестве скота удвоить и утроить коли-

чество навоза, не понижая, а повышая количество деятельного азота в нем.

Тогдашний наш секретарь хорошо понимал, что колхозники и без него знают пользу навоза — хотя такое применение торфа здесь не известно, — и если они все же плохо навозят поля, то по той простой причине, что в то время во всем нашем районе, за исключением трех или четырех колхозов, колхозникам за их работу получать было почти нечего.

Вот почему, рассудив с председателем, как и что следует тому сделать, Алексей Петрович тут же спрашивал, а что получит при этом колхозник. Он всегда советовал простые, понятные самой незамысловатой бабе формы материального поощрения. И когда, например, поспевала рожь, то он говорил, что надо бы каждой жнее, которая выйдет жать такого-то числа, тотчас же, не дожидаясь обмолота, выдать столько-то снопов от убранных ею количества хлеба, на другой день — меньше, на третий — еще меньше...

Алексей Петрович никогда не противопоставлял интересы государства интересам колхозников, и наоборот. Он считал, что если государству будет какая-либо выгода за счет колхозника, то в скором времени она обязательно оборотится во вред, точно так же, если колхозник станет выгадывать на государстве, то на нем же в конечном счете это и отзовется. Другими словами, интересы у государства, у колхозников — общие.

И какое бы дело ни предпринимал секретарь — дела все были, правда, на взгляд неброские, какие и бывают у обыкновеннейшего партийного работника в рядовом сельском районе, — никогда не выходило так, чтобы он примеривал это дело на себе, как новое платье: хорош ли он в нем?

Отчасти поэтому, отчасти же из врожденной хозяйственности простого человека не затевал он в районе разорительных для колхозов предприятий, чего, к сожалению, не скажешь о сменившем его Василии Васильевиче.

Василий Васильевич, агроном с высшим образованием, агрохимик даже, что очень важно для нечерноземных наших мест, где все решает удобрение, нисколько не считался с главнейшей стороной любого хозяйства — экономической, хотя постоянно занят был вопросами экономики.

В районе у нас только и слышно было, что хозяйственный расчет и денежная оплата, — на эти темы созывались конференции, читались лекции, писались статьи и брошюры. Создавалось впечатление, будто колхозы существуют ради этого цифротворчества, а не ради того, чтобы производить хлеб, овощи, молоко и мясо, то есть средство превращалось в цель. Начальство, например, благоволило не к Ивану Федосеевичу, хотя колхоз его и производил наибольшее в районе количество товарной продукции, а к Кириллу Федоровичу, у которого и свиньи дошли в колхозе, и купить там государству было мало чего, но зато он сам изобрел некую сложную систему хозяйственного расчета и оплаты труда, с какой и по району ездил, и по области, и даже в Москву в научно-исследовательский институт.

Убыток, правда, был еще не так велик, время только терялось.

Потеря времени, благоприятного еще и тем, что государство, располагая целинным хлебом, не заготавливало в наших местах зерна, с помощью которого следовало развивать здешнее животноводство, тем самым увеличивая и выработку навоза, — потеря времени и разорительное в большинстве случаев укрупнение колхозов, когда пять или шесть в свое время укрупненных хозяйств объединялись в одно, тысяч на десять гектаров, — все это привело район к нынешнему состоянию.

\* \* \*

Снова весь день стоит жара, в городе пыльно, всюду навалены опавшие листья, ветерок переворачивает на тротуарах обертки от мороженого и растоптанные бумажные стаканчики, а в поле и в лугах зной этот и напитавшаяся водой земля гонят и гонят в рост клубни картофеля и траву.

Иван Федосеевич рассуждает о том, что современный многоотраслевой колхоз по сути своей есть гигантски увеличенное и отчасти механизированное натуральное хозяйство, и это одна из причин малой его доходности. В одном колхозе никогда не найдется таких земельных угодий, которые позволяли бы с одинаковой выгодой производить зерно, картофель, цикорий, зеленый горошек, лук, все виды овощей и еще молоко и мясо, говяжье и свиное. А ведь он все это производит. Меж тем на землях, которыми сейчас владеет колхоз, в старое время зерна не сеяли, потому что место неподходящее, ровное и низкое, а для зерна нужен склон. Затем, говорит он, сколько же надо иметь разного рода орудий и специалистов, чтобы заниматься всем на свете. Дорого это и хлопотно. Если исходить из экономических законов, надо, чтобы земля, и орудия производства, и навыки людей — все служило одному. Да так оно почти и было здесь прежде. Он принимается перечислять, чем занимались деревни, входящие сейчас в тот или иной колхоз, — здесь, например, где он сейчас живет, производили картофель и цикорий. Конечно, теперь возможности другие. В колхозе есть луга, на осушенных болотах можно выращивать и кормовые корнеплоды и кукурузу с мешанкой на силос, — значит, надо заниматься и производством молока. Часть картофеля надо перерабатывать здесь же на картофельную муку, и мезга тогда пойдет скоту. От широко поставленного животноводства будет вволю навоза. Да не будет, все это уже есть, освободили бы его только от невыгодной обязанности заниматься всем. И организацию труда в полеводстве он бы перестроил, предельно упростив.

Он берет средний здешний урожай, и выходит, что один этот колхоз легко может ежегодно продавать государству столько картофеля и цикория, сколько сейчас продает весь район, и заработок людей, работающих в полеводстве, резко повысился бы, они получали бы тысяч по семи в год.

Это только сперва, а там производительность станет расти.

\* \* \*

Из большой тучи, остановившейся над городом, хлынул ливень. Серое, серебристое небо вокруг тучи излучает свет. И дождь как бы светит — прямой, сильный, он состоит из множества отдельных сияющих капель.

Белая вода льется прямыми толстыми жгутами из желобов.

Один раз, но очень сильно, с треском, ударил гром.

А когда ливень перестает и снова появляется солнце, весь город мокрый, со всего льется вода и все блестит. На каждой травинке — крупная блестящая капля, блестят и курятся железные крыши...

Вот так жил наш Райгородский район в сухое лето 1960 года. О том, что принес ему следующий год, я надеюсь рассказать читателям в дальнейшем.



---

ЭМ. КАЗАКЕВИЧ

★

## ПРИ СВЕТЕ ДНЯ

*Рассказ*

1

**Н**аступал час рассвета. Утренняя серость постепенно, но с каждой минутой все напористее и быстрее вползала во все щели, проникала в темные подворотни, слизывала густые тени с порогов и стен. Прямоугольные пространства заполнились еще неопределенным туманом, вовсе не напоминавшим о солнце, но этот туман понемногу светлел, белел, розовел и вдруг, неожиданно задрожав, зажегся желтыми солнечными лучами на оконных стеклах верхних этажей.

Это повлекло за собой целый ряд новых звуков и картин. Ранний храбрец автомобиль зафыркал в ближнем дворе. Донесся протяжный гудок отдаленного завода. Захлопали форточки. Зашаркали шаги. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. Продрогший за ночь милиционер гляделся в маленькое зеркальце и поправлял русую челку — при свете утра он оказался девушкой. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья.

Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок — старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только фуражка — обычная дешевая рабочая кепка, по-видимому, совсем новая, — была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту, и лицо человека — скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами — из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности.

Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Большая машина, поливающая мостовую, прошла мимо, обдав его водяной пылью. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой шоферу. В этом движении чувствовалась свобода — однако не развязность городского жителя, а скорее независимость исходившего тысячу дорог солдата.

Даже в том, что он шел не по тротуару, а по мостовой, даже и в этом, пожалуй, сказывалась солдатская закваска, привычка к хождению строем, к ощущению себя не единицей, а частью колонны, для которой тротуар — слишком тесное место.

Хотя человек был несомненно неместный — его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке — и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности: воен-

ная привычка к перемене мест выбила из него, как и из большинства бывших солдат, следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Было похоже, что кто-то подробно растолковал ему путь следования, и он — из спортивного, быть может, интереса — не задавал ни милиционерам, ни ранним прохожим никаких вопросов.

Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлежность к деревне, была приветливость: он здоровался с ремонтными рабочими, уже собиравшимися к своим «объектам», вежливым и веселым: «Здравствуйте».

В этом слове и, главное, в том, как оно произносилось, можно было распознать и просто естественную приветливость русского деревенского человека, и особое уважение к труду рабочих, подновляющих не какие-нибудь дома, а дома столицы, Москвы — предмета гордости и мечтаний миллионов сердец в различных дальних углах обширнейшего из государств.

Так он прошел всю Кировскую улицу и вышел на площадь Дзержинского. Тут, на этой площади, к которой сходилась множество широких и узких улиц, можно было бы и спросить, как идти дальше, но, постояв с минуту в задумчивости, человек перешел на противоположный тротуар, перерезал наискосок еще улицу, поплутал в каких-то переулках и очутился на другой площади. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше, но внезапно заметил в очертаниях площади и в простирающейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел мавзолей Ленина и тогда понял, где находится. Он весь похолодел, ибо, зная, что Красная площадь существует, и в подробностях зная все, что на ней расположено, он тем не менее был огорошен тем, что все здесь на самом деле именно такое, каким оно представлено в кинофильмах и на тысячах виденных им рисунков, фотографий, картин и газетных заставок. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так же как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых — Красную площадь — он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так. Чтобы сюда билеты продавали, что ли.

— Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов, — сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав.

Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут двадцать, наконец повернул направо. У Охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. А идти ему следовало до площади Пушкина, чтобы затем, повернув по бульвару, дойти до нужного переулка.

Однако было слишком рано стучаться в дом. Поэтому Слепцов, не заворачивая в переулок, сел на бульваре на скамейку. Здесь он вскоре незаметно задремал.

Когда он проснулся, было уже часов девять. Все кругом изменилось до неузнаваемости. Пустынные гулкие улицы, широко и свободно лежавшие под нежаркими утренними лучами солнца, превратились в шумливый и пестрый человеческий улей. Гул и топот, жужжание и цоканье, человеческие голоса и короткие сигналы автомобильных сирен наполнили все на этой огромной ярмарке, стремительной, пританцовывающей, то и дело вскрикивающей, всхрапывающей от удовольствия, от любования собственной огромностью, собственным многоголосием и разнообра-

зием. Это все было настолько неожиданно, что у Слепцова зарябило в глазах. В состоянии радостной растерянности прошел он сквозь строй нянек с детьми с бульвара в переулок, а там — к тому двору, который был ему нужен.

То был обычный московский двор среди многоэтажных стен большого кирпичного дома. Но и здесь люди любили цветы и траву. Посредине двора был устроен маленький садик с клумбами, на которых уже не было цветов, однако оставалась зеленая травка. Этой травке Слепцов подмигнул, как доброму знакомому и союзнику среди кирпича, стекла и асфальта.

Окинув взглядом бесконечное множество окон и балконов, Слепцов вдруг заволновался. Он застегнул шинель на все крючки и направился к дому, к одному из подъездов, возле которого на низкой скамеечке сидела старушка в белом платочке, в очках и вязала чулок. Нехитрое и древнее занятие ее живо напомнило Слепцову деревню, и он поэтому обратился к ней запросто:

— Скажи-ка, бабушка, где тут Нечаева проживает?

Старушка подняла на него строгие глаза, но медлила с ответом, разглядывая пришельца довольно бесцеремонно. Слепцов слегка улыбнулся и осведомился:

— Не оглохла, бабушка?

Бабушка была готова рассердиться на него за непочтительный вопрос, но тут заметила пустой рукав и, сразу же погрузнев и подобрев, сказала:

— Иди, голубчик, вон туда, напротив, в шестой подъезд и подымись на третий этаж.

Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь открылась.

## 2

На пороге стоял бледный мальчик лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика; лицо солдата приобрело беспомощно-нежное выражение.

— Стало быть, я Андрей Слепцов,— сказал он наконец. Его голос заметно дрожал.— Вот какое дело.

Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же выжидательно и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил:

— Тебя Юрой зовут?

— Да,— сказал мальчик, удивившись.

— Да, Юрой,— уже веселее заговорил Слепцов.— Я тебя узнал. Еще бы не узнать... А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видел.— Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал: — Что же ты так плохо гостей принимаешь, даже в дом не позовешь? А я, можно сказать, почти неделю все еду да еду. Издалека, значит. Из Сибири. Слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич...

Мальчик неуверенно сказал:

— Пройдите, пожалуйста.

Он отступил в глубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской. Тут помеща-

лись буфет с посудой, стол, небольшая кровать и этажерка с книжками, школьными тетрадками и глобусом. На покрытом клеенкой столе стоял стакан чаю, лежал кусок хлеба, желтел на блюде кусочек масла. Очевидно, звонок Слепцова оторвал мальчика от завтрака. Слепцов окинул взглядом стол и сказал:

— Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама?

— Мама ушла на службу.

— Ольга Петровна, значит, на службу ушла? — переспросил Слепцов, с видимым удовольствием называя мать мальчика по имени-отчеству и как бы лишний раз доказывая этим свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал. — Так, так... Ну что ж, придется подождать. — Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность, что никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка бросив шинель и кепку, он уселся на стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровели, и он спросил: — Как учимся?

Мальчик ответил несколько уклончиво:

— Ничего. — Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, и он, перебив себя, добавил: — Две тройки. А все остальные пятерки.

— Понятно, — сказал Слепцов. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил после короткого размышления не упрекать его за тройки. Он только повторил: — Понятно. — И добавил: — Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным, одним словом сказать — советским.

Мальчик слабо улыбнулся поучению солдата — в этой улыбке сказались некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мыслей провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась, и, выказав несомненную тонкость в понимании затаенных мыслей, он недовольно и сурово посмотрел мальчику прямо в глаза, отчего Юра смутился и принялся за завтрак.

Пока он, сидя в неловкой позе, медленно пододвигал к себе чай и хлеб, Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле — здесь было уютно и полутемно, — глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение и искал в повороте головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. И находя их во всем, а главное во взгляде, несколько рассеянном и печальном, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время. А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издалека человека к столу, а на столе всего в обрез, и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой и на стакан чаю не хватит, — все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе — ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден, — размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку и посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал:

— Садитесь, пожалуйста. Мы позавтракаем вместе.

Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел, у него будто камень с души свалился. И, заметив в нем эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул:

— Хотя я и не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь! Только уж не обижайся, я и свои харчи к твоим прибавлю.

Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки, один другого аппетитнее и жирнее. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связки копченой и вяленой рыбы и полосы жареного мяса.

Мальчик смотрел на все это и не верил своим глазам. Потребовалось трехкратное приглашение Слепцова, чтобы Юра принялся за обильную пищу, ненормированную, жирную, острую и притом еще пахнущую дальними дикими пространствами, где рыбу не покупают в магазине, а ловят в больших реках, а мясо достают с помощью ружья и ножа. Юра опьянел от еды и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своих горестей и радостей, в том числе обиду на учительницу географии, несправедливо ставившую отметки, подробности своей ссоры с приятелем, неким Федей, историю разных находок и пропаж и многочасовых прогулок в одиночестве или стаей, с ленивым глазением на уличную жизнь большого города, с сованием носа во все уличные перепалки и во все раскрытые окна нижних этажей.

Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил:

— Кем ты желаешь быть? — И тоном все сильного человека, от которого зависит все, добавил: — Ты не тушуйся, скажи.

Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юре все сильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком-истребителем. Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту — обычную, хотя и тщательно скрываемую, лелеемую в дальних тайниках души сладкую мечту всех мальчиков, много болевших и физически слабых, но в то же время (может быть, именно поэтому) очень самолюбивых: быть силачом, притом самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почестей и славы. Он был бы готов согласиться на то, чтобы никто на свете не знал о его силе — до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости: большие обижают маленького, сильные — слабого, злые — доброго, богатые — бедного, многие — одного.

Глядя исподлобья на Слепцова и отмечая про себя нежность слепоцкого взгляда. Юра тем не менее не решился рассказать сибиряку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. При этом он с практичной и печальной мудростью ребенка, редко в своей жизни евшего досыта, подумал, что, если бы у него каждый день был такой завтрак, как сегодня, он и в самом деле мог бы стать силачом. В связи с этой мыслью ему пришло в голову, что он слишком увлекся чужой едой; и, вместо того чтобы потянуться за очередным куском рыбы, он, помедлив минуту, откинулся на спинку стула.

— В школу, что ли, пора? — спросил Слепцов.

— Нет, я во второй смене, — ответил мальчик. — Мне нужно уроки доделать.

— Правильно, — согласился Слепцов. — Я тебе мешать не буду. Ты делай, а я здесь в уголке посижу.

Однако сел он не сразу. Он медленно обошел всю комнату, изучая предметы обстановки внимательными глазами. Увидев на стене два женских портрета, он спросил, кто эти женщины, а узнав, что одна — знаменитая ученая Мария Кюри, а другая — знаменитая артистка Комиссаржевская, поглядел на них с уважением. Затем он полистал настенный календарь, повертел глобус и наконец уселся в то же мягкое кресло в уголке. Здесь он искусно закрутил одной рукой с помощью колена ци-

гарку махорки, но подумал, что в комнате курить, вероятно, не полагается и следовало бы выйти покурить на улицу или хотя бы в коридор. Но было лень вставать. Юра медленно и старательно писал. Стенные часы с резьбой приятно и долго прозвенели. Слепцова опять стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу, но с каждой минутой все больше сказывалась усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиханном людьми вагоне, и Слепцов наконец уснул — второй раз за утро.

## 3

Слепцову приснилось, что он сидит в устланном соломой окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Слепцов внимательно смотрит на бледное, усталое лицо Нечаева, на его мокрую, набухшую шинель. Длинные ресницы Нечаева опущены, они влажны от дождя, нежно перепутаны и приклеены к подглазьям. Слепцов должен разбудить капитана, потому что обязан сообщить нечто очень важное. Он мучительно вспоминает, что именно он обязан сообщить, и не может. Но вдруг он слышит рядом с собой детский плач, и тогда он почему-то вспоминает, что должен был сказать капитану Нечаеву. Он должен был ему сказать, что исполнил его предсмертное завещание — приехал в Москву, к его семье, и передаст ей все, что обещал передать. И тут Слепцов во сне вдруг спохватывается, что Нечаев-то сидит рядом живой и, следовательно, не мог еще сказать ему предсмертных слов. И Слепцову становится страшно, и он хочет разбудить Нечаева, но боится, что если он его разбудит, то Нечаев сразу умрет, раз он уж и так умер. Во сне Слепцов понимает, что все это какая-то «мура», несусветица, и ему приходит в голову, что, может быть, Нечаев не умер, а Слепцову только снилось, что комбат умер и, умирая, просил побывать в Москве у его семьи; и даже то, что война кончилась, Слепцову тоже только приснилось здесь, в окопе. И Слепцов опять чувствует всю запутанность ситуации, но никак не может из нее выпутаться. Но что действительно кажется совсем реальным, то это плач ребенка рядом. Слепцов по этому поводу удивляется — как здесь очутился ребенок, может быть, где-то поблизости скрываются беженцы, бездомные. Слепцов глядит поверх бруствера и видит невдалеке маленькое городишко, пестрый, с желтыми и розовыми домиками, явно нерусский — вероятно, один из тех венгерских городков с труднопроизносимыми названиями, которых Слепцов немало навиделся, перед тем как вражеская разрывная пуля раздробила ему руку.

В этот миг ресницы Нечаева вздрагивают и с трудом отлепляются от лица, Нечаев открывает свои большие глаза и взглядывает на Слепцова взглядом неторопливым, всевидящим и как бы очень успокоенным и довольным.

Слепцов, похолодев, проснулся. Детский плач наяву оказался еще громче, чем во сне. Но Слепцов еще некоторое время находился в обаянии сна, и когда наконец очнулся окончательно и понял, где находится, его сердце жарко сжалось от никогда с такой силой не испытанного чувства счастья.

Юры уже не было. Не было на столе и его тетрадей. Сибирская снедь, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газетой, была придвинута к тому углу стола, который был ближе других к Слепцову. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума. То была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Женщина держала девочку перед собой на ладонях полувытянутых рук — одна ладонь под головкой, другая под поп-

кой — и слегка ее покачивала, голенькую, полненькую, кричащую и с остервенением совашую себе в рот маленькие кулачки с похожими на лепестки крохотными пальцами.

Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила:

— Издалека, что ли?

— Издалека,— ответил Слепцов и спросил в свою очередь: — Чего она у вас надрывается?

— Не пойму. Уж и так и этак...

— Может, есть хочет?

— Не-е... Недавно ела. Срыгнула даже. Може, животик болит, кто ее знает. Бессловесная ведь.

Слепцов подошел к младенцу. Девочка, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив десны чистейшего розового цвета. Трудно было даже поверить, что за мгновение до того она плакала так надрывно, словно ее маленькое сердце до края переполнилось всеми горестями и несправедливостями нашей океанной планеты. Слегка возгордясь своим успехом и преисполнившись по этой причине особой нежности к девочке, Слепцов почмокал губами, пощелкал языком, поворачивал глазами — одним словом, энергично пустил в ход все небогатые двигательные возможности человеческого лица; он был готов пожалеть, что у него нет длинных ушей, чтобы ими похлопать. Младенец продолжал улыбаться с бессознательно-покровительственной миной, словно знал, что все эти ухищрения делаются ради него; и казалось — он улыбается уже через силу, только с целью поощрения столь больших стараний.

— Пойдешь ко мне?— спросил Слепцов.— А? Пойдешь? Иди ко мне. Не заплачешь?

Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось ей особенно забавным. Нянька, между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльце, закутала девочку, снова уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно:

— Тебя бы няней. Ишь как смеется!

— У меня на детей приворотное слово есть,— деловито объяснил Слепцов.

Нянька широко раскрыла глаза и села на стул.

— Ну? Врешь.

— Вот тебе и ну. Погляди мне в глаза. Огоньки видишь?

Нянька с некоторым почтением посмотрела Слепцову в зрачки, увидела в них светлые отсветы окон и неуверенно сказала:

— Вижу будто.

— В них-то все и дело. А теперь я скажу слово, а ты повтори, и если запомнишь, то у тебя дитё всегда будет спокойное и довольное. Слушай. Секешфехервар.

Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо:

— Секешфехервар. Секешфехервар.

И сам улыбнулся: это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта.

Она уже поняла, что он шутит, однако шутки его, притворно серьезная мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. Она впервые посмотрела на него не как на странного посетителя, неизвестно по какому делу приехавшего, а как на приятного и видного со-

бой мужчину. И она перешла с «ты» на «вы», стала жеманно выговаривать слова, неестественно похихатывать, глядеть на него уже не прямо, а искоса, с тем примитивным, но, в сущности, милым кокетством, какое было в ходу в ее деревне, и все хотела, но не решалась спросить, есть ли у него семья.

Вдруг она всплеснула руками.

— Ой, горе мое! Очередь не пропустила ли в булочной?! Вам все сёше, хёше, а тут хлеба может не хватить. Я мигом. Не скучайте.

Она искоса бросила на него последний зазывный взгляд и убежала. Хлопнула дверь, другая, и стало очень тихо, даже тише, чем в деревне. В деревне лает собака, вхохчет курица, мычит корова, а здесь было беззвучно-тихо, как может быть тихо в пустынной городской квартире на малопроезжем переулке днем, о ту пору, когда дети в школах, а старшие — на службе.

Слепцов, оставшись в одиночестве с девочкой на руках, или, вернее сказать, на руке, устроился удобнее в кресле. Ему хотелось курить, но он не стал тревожить задремавшего младенца и только приговаривал:

— Сейчас твоя мамка вернется, хлебца принесет из очереди свеженького, молочка тебе даст, тогда мы закурим, выйдем, значит, в коридор, культурно, чтобы на тебя дымом не пыхать.

Он запел вполголоса диковатую колыбельную, созданную каким-то человеконенавистником для запугивания маленьких детей:

Анадысь на дворе  
Чтой-то грохотало,  
А как вышел я на двор —  
Оно перестало...  
У-у-у, у-у-у...

Девочка задремала, затем проснулась, заплакала было, но, опять увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться, и при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному, на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова беззубо и розово улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умиленно:

— Девочка. Девочка. Маленькая девочка.

И он подумал, что маленькие девочки приятнее и нежнее мальчиков — у него-то самого было двое мальчишек, и он относился к ним с нарочитой грубоватостью, чтобы «не мягчели зря». А с девочкой он был бы гораздо ласковее. Он не мог бы быть с ней грубым, думал он теперь.

«Мамка» все не приходила. Девочка лежала спокойно, с открытыми глазами.

— Какая ты будешь? — спросил Слепцов. — Скажи, пожалуйста. — Он вскинул вверх глаза, посмотрел на портреты знаменитых женщин и, сделав движение подбородком к строгому лицу Марии Кюри, спросил: — Вот такая, как эта? — Он сделал такое же движение подбородком по направлению ко второму портрету и опять спросил: — Или же вот как та?.. Скажи. Чего же ты не говоришь? Не тушуйся, девочка. Маленькая девочка.

Но вот брякнул замок, звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки.

— Вот и мамка твоя, — сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь.

Но когда дверь открылась, вошла совсем не «мамка», а она, Ольга

Петровна Нечаева, — рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате, а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать — рука была занята, кресло было низкое и глубокое, — Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами.

## 4

Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека, но именно то, что незнакомец держал малютку на руках (девочка пускала пузыри и хватала его за подбородок), немного успокоило Ольгу Петровну: вор вряд ли стал бы нянчить младенца в чужой квартире. Ольга Петровна решила, что незнакомец — односельчанин или приятель Паши. Однако он был человеком с улицы и поэтому никак не годился в няньки по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтому она подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила:

— Где Паша?

Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый.

— Мамка ее? — переспросил он. — Она в очереди. Хлеб получает... Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может, знаете... Может, слышали... верней, читали мою фамилию...

— Как читала? Где читала? — недоуменно спросила Ольга Петровна, тем временем быстро закутав ребенка и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя.

— Я по поручению моего командира, Виталия Николаевича Нечаева... прибыл из Сибири. Как обещал ему. Хотя позднечко, но прибыл. Раньше никак не мог, уж извините, долго после ранения лечился...

Ольга Петровна замерла над ребенком, потом выпрямилась, обернулась и медленно пошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг — вероятно, оттого, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг неприлично для себя засуетилась, заволновалась.

— Садитесь, садитесь, — сказала она. — Да, да... Превосходно... Я сейчас... Минуточку.

Она вышла будто бы по хозяйству, а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя. В то же время она, несмотря на свое внезапное волнение, продолжала механически делать свои обыденные дела и находила в этом некое успокоение. Она сняла через голову и повесила в шкаф на плечики свое платье и вместо него надела, сняв с соседних плечиков, пестрый халат с короткими рукавами. Затем она пошла в кухню, зажгла керосинку и поставила на нее эмалированный чайник. Сменила заварку в фаянсовом чайнике. Сложила в миску грязные стаканы для мытья.

Понемногу она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной, и в трубку говорила уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придающими ее разговору своеобразную прелесть.

— Да, да. Кормлю ребенка, — сказала она. — Нельзя ли наш разговор отложить на завтра? У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра.

Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой от-

метила, что ей трудно вернуться обратно в столовую, к одnorукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и пошла в столовую.

— Садитесь,— сказала она с оттенком приказания в голосе, застав Слепцова на прежнем месте посреди комнаты. Ее взгляд упал на мясо и рыбу, по-прежнему лежавшие на краешке стола, и она, улыбнувшись без нужды, а только так, для того чтобы имитировать непринужденный разговор, добавила: — Вижу, вы тут уже успели позавтракать.

— Да, мы тут вместе с Юрой,— пробормотал Слепцов сконфуженно, и в его глазах пробежало выражение жалости, почему-то кольнувшее Ольгу Петровну, как упрек.

Она сказала деловито:

— Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич...

Лицо Слепцова сразу стало просветленным и торжественным.

— Да,— сказал он.— Он скончался на моих руках и просил... поручил мне... я ему дал слово. И вот я прибыл.

Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, как ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата — солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Ольга Петровна села на тот стул, на котором утром сидел Юра — между девочкой и солдатом,— положила на стол крест-накрест свои белые полные руки с золотистыми волосиками и сказала:

— Я вас слушаю.

Слепцов медленно заговорил:

— Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довести до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была плохая, в ухабах, и ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось нести его на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе, его у нас все любили, и солдаты и офицера. Командир дивизии тоже: чуть что, какое важное задание — сразу капитан Нечаев... К слову сказать, после его смерти уже — а умер он, вы, наверно, знаете, второго мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, в праздник,— денька через два пришел приказ о присвоении ему звания майора. Так что, если у вас в бумагах не указано про это, то надо сказать в военкомате — может, пенсия будет поболее... Любили его за честность, за душевность... Да вы-то знаете, не чужой ему человек... И в бою он был спокойный. Может, был бы жив, если бы не честность его да храбрость: его не раз хотели у нас забрать — то в армию, в отдел кадров, то в оперативный отдел в корпус — человек образованный и к тому ж боевой командир. Но он не хотел, отказывался. Еще за неделю до последнего боя командир дивизии при мне его звал в свой штаб. «Ты интеллигент,— говорит он ему,— ты совестливый, всегда хочешь примером солдату быть, лезешь вперед, как безумный... Убьют тебя. Переходи ко мне». А товарищ Нечаев засмеялся и говорит: «Интеллигентов так редко хвалят! За это одно я здесь останусь». А командир дивизии ворчит: «Разве я тебя хвалю? Я тебя ругаю, а ты думаешь — хвалю...» Оба они были интересные, как сойдутся — такое наговорят...

В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела — как бы та не накинулась на нее за то, что бросила ребенка на чужого дядю и развела уже после получения хлеба тары-бары с соседскими няньками. Но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней. Более того, не желая, чтобы Паша с ней заговорила, она еще ближе подвинулась к солдату и несколько раз настойчиво повторила:

— Продолжайте, продолжайте.

Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.

— Продолжайте,— повторила Ольга Петровна, но, когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала: — Подождите. Я отлучусь на несколько минут по хозяйству.

## 5

Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог, шли с потушенными фарами вереницы грузовиков, вились среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи, саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав, дождь стучал по капюшонам плащ-палаток; дождь и вёдро, зной и стужа, ночевки в лесу на елочном лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов — все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнем месте, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями — такими же, как он, инвалидами в колхозной чайной.

Между прочим Ольга Петровна была уже не в халате, а в черном закрытом платье, но солдат не заметил этого переодевания, а если и заметил, то не уловил его нарочитости.

— Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз,— начал Слепцов свой рассказ,— еще в сорок первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в действующую армию. Бросили нас под Москву в контрнаступление — только не в то большое, зимнее, а раньше, когда немец был еще в силе, а мы только изредка огрызались, как могли. И вот тогда собрали много сил на одном участке и бросили против немца... Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге — побитые кони, много побитых коней, и ямы от бомб. Однако идем мы, а рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант — не наш, а попутчик,— курит все время, шинелишка худая, сапоги кирзовые.

Из чего эта кирза делается — это никому не известно; вещь хотя и неказистая, а прочная, держится долго, зато уж если поползет на нитки, то расползается быстро. А у этого старшего лейтенанта голенища крепко поползли... Лицо у него худое, темное, и в очках он.

И вот мы идем и замечаем — не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем — и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он — того, не ест. И стало нам его жалко, особенно когда заметили мы, что он не курит, а курильщик, видно, отчаянный.

И вот старший из нас, Черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо приглашает: «Пойдемте, дескать, покушайте с нами». Старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, и дальше пошел он с нами как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим — он уже там, и он и есть наш командир батальона. Прислали же его из другого полка, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой день ему орден Красного Знамени вручили.

Обрадовался он мне и Черепанову, как родным: главное, говорит, за махорку спасибо. «Это был поступок!» — говорил он нам (он так иногда говорил, и мы все тоже приучились так говорить, и это стало как высшая похвала в нашем батальоне).

Товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова—связным. Жизнь пошла такая — ни сна, ни отдыха, дни и ночи перемешались. Продвинулись мы на шесть километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, и товарища Нечаева — даром что всего лишь старший лейтенант — назначают командиром полка. Я дежурил у телефона и получил этот приказ и передал комбату, и он хотел уточнить, как и что, но тут порвалась связь. И товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой, и вот приходим мы в полк.

Приходим мы в полк и спускаемся в землянку. А в землянке лежит майор — командир полка, раненый, и бредит он на полный голос, отдаёт в бреду команду и разные приказания, и весь горит, а врачей и санитаров нет, никак их не дозовешься. Я охрип тогда, вызывая кого-нибудь из врачей по телефону. Товарищ Нечаев перевязал командира полка, как мог, и все сидит возле него, мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, да про его силы, да про его задачу, а тот ничего не видит и не слышит, а штаб полка вместе со своим начальником и со всеми картами и документами отрезан противником и сидит обороняется где-то в деревне, за три километра.

И вот налаживаем мы связь с двумя батальонами, и только третий батальон никак не отзывается, и велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Вылезаю я из землянки на свет божий и вижу: кругом все разбито и раскромсано и даже деревья и те разбитые. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись, по проводу к роще и вдруг вижу — в роще останавливаются машины, и оттуда выходят генералы и офицера. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка, и велит мне проводить его туда. Откозырял я, как сумел, и веду его обратно, к нашей землянке. И думаю, что веду генерал-майора — одну звезду имеет на петлицах, — а потом смекаю, что звезда-то больно велика. И весь шалею: никак Маршал Советского Союза. Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну.

Вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал и командир дивизии — полковник идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и командира дивизии, которого знал раньше, и рапортует, причем не очень громко, по-граждански больше, чем по-военному. Я даже подумал, что он не понял, кто перед ним. А маршалу это, должно быть, не понравилось, и посмотрел он на товарища Нечаева так пронзительно, что все испугались. Был он очень крут, и его боялись все командиры. И вот он спрашивает: «Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?» «Не знаю», — отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить, в чем дело, и показывает на раненого командира полка, который тяжело стонет в углу на соломе, но маршал не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом и снова спрашивает: «Почему высотка, про которую докладывали, что она взята, у немцев? Очки втираешь, сукин сын?»

И тогда наш командир полка старший лейтенант Нечаев вдруг говорит: «Вы на меня не кричите».

И так он это спокойно сказал! У меня сердце зашло. А маршал — тот задрожал от этих слов, и все думали, что сейчас он старшего лейтенанта застрелит, и впрямь его руки стали по воздуху шарить, как будто ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза и сам был такой ясный, спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки уважал человека за то, что тот его не испугался. А коман-

дир дивизии, полковник, человек большой храбрости в бою, но перед начальством известный трус, молчал, хотя обязан был разъяснить, в чем дело.

Тогда-то наш Черепанов, тот самый старик добровolec, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит: «Да он же командиром полка всего полчаса...»

Маршал повернулся, но, увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову и опять к товарищу Нечаеву: «Слушай, командир полка. Видишь эту высотку шестьдесят один, пять? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь — получишь Героя Советского Союза. Не возьмешь — будешь расстрелян».

И наш командир на это ответил: «Хорошо». И улыбнулся. Ей-богу!

Маршал повернулся кругом и вышел, генерал и командир дивизии ушли за ним.

А мы остались. Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу: он все улыбается. Меня даже в пот бросило.

## 6

Гораздо позже, ночью, когда мы пробирались к третьему батальону — а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее, — где-то в открытом поле мы прижались к земле, чтобы покурить, и я спросил у Виталия Николаевича: «Почему вы улыбнулись тогда?» Он подумал и ответил: «Мне его жалко стало». — «Кого жалко?» — «Маршала жалко». — «Маршала?» — «Да, ему плохо, ему хуже, чем нам. Он отвечает за все, за весь фронт. Видели, какие у него глаза красные? Какой у него рот горький?» Так он и сказал: «горький рот» — я хорошо это помню, вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было; я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: «горький рот», эти слова мне понравились, такие они были необыкновенные... Ну, я признался Виталию Николаевичу, что на глаза и рот маршальский не смотрел и даже, по правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот и глаза, а смотрел на его звезды на петлицах (погон тогда не носили), на его мундир. А Виталий Николаевич — он умел не на поверхность смотреть, а в душу... Что же я вам это говорю? Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать...

Уехал, значит, Маршал Советского Союза, остались мы в землянке — товарищ Нечаев, Черепанов, да один лейтенант из первого батальона (пришел узнавать что да как), да полковой инженер. А майор, командир полка, вижу я, притих. Умер. И товарищ Нечаев снял с него планшет с картой и глядит на карту, потом бежит куда-то с Черепановым, возвращается с танкистом в черном шлеме — недалеко, оказалось, танкетка стоит — и велит лейтенанту привести взвод солдат. И тот приводит, и вместе с танкеткой они отправляются на выручку штаба. И мне он велит исправить связь, и я бегу и исправляю, и когда возвращаюсь — его еще нету, а недалеко слышатся разрывы гранат и выстрелы. Потом он возвращается вместе со всем штабом. И штаб приходит ни жив ни мертв, с сундуками, бумагами и полковым знаменем в чехле. И распоряжается товарищ Нечаев без криков, но все его слушаются. Знают все, что завтра этот старший лейтенант в рваных сапогах будет Героем Советского Союза или же будет расстрелян. И ему все быстро подчиняются и смотрят на него с особым уважением. И вроде бы жалеют его и как бы виноватые перед ним стоят.

А потом он велит мне принести воды умыться. Достаяю я воды, приношу. Умывается он холодной водой. Предлагаем мы ему поесть — не ест. Поужинали все, а он нет; он офицеров штаба рассылает в роты

и батальоны, а сам тоже идет и берет меня с собой. И ночь мы не спим, лазаем по окопам; и он спешит, перебрасывает взвода, и орудия, и минометы с места на место; и солдат спрашивает про немцев и про их огневые точки, а особо он беседует с артиллеристами, заботится насчет снарядов и насчет пристрелки. И я его спрашиваю: «Вы, наверно, крепко военное дело изучали?» А он засмеялся: «Нет, говорит, я инженер, а по званию старший техник-лейтенант, случайно ротой стал в бою командовать — в тот момент никого поумней меня рядом не нашлось... Видишь, говорит, какую карьеру сделал: неделю назад — техник-лейтенант, сегодня — командир полка... А завтра...» Тут он замолчал и молчал долго. Я тоже, конечно, молчал.

В третий батальон было невозможно пробраться. Речка, низина, немцы всю ночь стреляют по ней из пулеметов. Полежали мы, покурили, потом поползли. А уже начинает светать, время идет. Что делать? Товарищ Нечаев полез в речку, и мы по грудь в воде час пробирались среди камышей, медленно, чтобы немцы не услышали плеск. И обратно тоже так.

Возвратились мы, было уже светло. Думал я, поспим часа два, потом наступать. Я-то действительно поспал немного, а командир не спал, все распоряжался да с начальником штаба приказы писал. Как проснулся я, вижу: встает он с места, перекладывает из вещмешка в карман гимнастерки запасные очки и говорит начальнику штаба: «Сиди здесь, командуй, разговаривай с начальством по телефону, докладывай ему обстановку, а я пойду. Сам поведу полк высоту брать».

Взял он меня и Черепанова, и мы пошли. И когда мы поднялись на возвышенное место и увидели перед собой большак и железнодорожную насыпь с разрушенным полустанком, а за железной дорогой ту самую высоту, шестьдесят один запятая пять, — холмик с редкими березками, — и увидели наших людей, медленно шедших к большаку небольшими кучками, и артиллеристов, тащивших «сорокапятки» на прямую наводку, — в этот момент Виталий Николаевич приостановился и сказал: — Хорошо бы — убили. Жена и сын не будут опозорены.

И понял я, что он опасается, что не сможет полк взять ту высоту. Сил действительно было у нас мало. Главный удар наносил второй батальон. Товарищ Нечаев на эту ночь усиливал его за счет других двух батальонов. Этот батальон стал как бы штурмовой группой, а остальные два, малолюдные, только поддерживали его огнем.

Постоял товарищ Нечаев и пошел, а мы — за ним.

Может быть, немцы что-нибудь пронюхали — у нас-то всю ночь было беспокойно, роты передвигались для создания ударного кулака, — стрельба была сильная, но товарищ Нечаев шел вперед во весь рост. А я человек необстрелянный — когда рядом рвалась мина, я, конечно, падал на землю и вливался в нее, как клеш. Был я неопытный, притом с женой и детьми думал, да и маршал мне расстрелом не грозился. А старик Черепанов — тот тоже не ложился, не кланялся снарядам. И оба ждали. пока я встану, но не упрекали меня, молчали.

Когда же мы пришли во второй батальон и дело уже подходило к девяти часам, началу атаки, и мы с товарищем Нечаевым и командиром батальона — тоже старшим лейтенантом — вышли на большак, где в обоих кюветах накапливался батальон для атаки, товарищ Нечаев вдруг оборачивается, манит меня пальцем и говорит: «Тут вот оставайся, тут и будешь. Будешь следить за связью со штабом полка и с соседом справа».

И жмет он мне руку крепко. И понимаю я, что он меня жалеет и не хочет брать с собой в атаку и потому придумал мне такое поручение,

хотя вначале толковал, что я потащу за ним связь. Но не в силах я был ему возразить и по слабости человеческой обрадовался, так как боялся смерти и думал про свою семью. А для успокоения души думал: «Командиру виднее». Черепанову он тоже велел остаться, а когда Черепанов стал ему перечить, он сделал вид, что рассердился, и сказал: «Выполняйте приказание». Однако Черепанов, как я потом узнал, все-таки ушел с ним.

Высотку мы взяли. Я-то этого не заметил, так как тащил свои телефоны в землю, как крот, а все кругом гудело, и убитых было много. Уже на той самой высотке узнал я, что мы ее взяли и что товарищ Нечаев был ранен в плечо и руку. Мне рассказывали, что все поздравляли его со званием Героя, а он смеялся, отмахивался. И верно, поздравления были прежде времени. Все наше наступление продолжалось еще три дня, а потом выдохлось — немец был в полной силе, а мы еще только учились, как его бить. И высотка эта, которая казалась маршалу самым главным делом, была уже никому не нужная, а впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве...

Черепанова, между прочим, тоже ранило вместе с вашим мужем. Но я их не видел, увезли их в тыл.

## 7

Во время рассказа солдата Ольга Петровна, слушая вначале рассеянно, а потом все с большим вниманием и напряжением, вспоминала покойного мужа, но вспоминала не так, как обычно в течение двух с лишним лет, прошедших со времени его гибели, а совершенно по-новому. Солдат казался ей как бы посланцем из другого мира — того мира, где Виталий Николаевич Нечаев жил отдельно от нее, где он умер и продолжает жить после смерти в воспоминаниях этого солдата. У нее ни на минуту не проходило ощущение, что одорукий солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно — оттуда, где Виталий находится теперь, — настолько живы были его впечатления и настолько, в сущности, потрясающ его приход.

Ольга Петровна была далека от всякой мистики. Ощущение, что эти голубые глаза видели Виталия не два года назад, а только что, появилось оттого, решила она, что все, что рассказывал Слепцов, было для нее совершенно и абсолютно ново. Оно как бы относилось к Виталию Нечаеву и в то же время как бы не имело к нему никакого отношения, настолько он показался ей в рассказе и похожим и не похожим на себя.

С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самом мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко, — все это было на него похоже. Когда солдат произнес его слова: «Мне стало его жалко», — Ольга Петровна даже вздрогнула, до того это ей напомнило его всего, до мельчайшей гримасы лица, его свойство, тоже иногда вызывавшее ее раздражение, «усложнять простые вещи», как она это называла когда-то, то есть всюду стараться находить побудительные причины и, поняв их, прощать.

Да, она узнавала его через слова солдата, словно солдат незримо рисовал его перед ней теплыми и яркими мазками, хотя солдат вовсе не пытался передать ситуации, о которых рассказывал, какими-либо средствами искусства или подражания.

Но, узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна,— рассеянным, робким, несколько инертным, увлеченным только своими расчетами и чертежами, только умственным и то до некоторой степени механическим трудом расчетчика, чернорабочего от инженерии. Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнителен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей — тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого — даже маршала, который мог его расстрелять; тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния — всего того, что было в презыбтке у слепцовского Нечаева.

Этот, кроме прочего, оказывается, курил! Виталий не выносил табачного дыма. У этого был орден Красного Знамени, он командовал батальоном, полком! Несколько раз во время рассказа Ольга Петровна с полной искренностью думала: «Да полно, не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть, солдат рассказывает совсем о другом человеке — однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал, ему дали неверный адрес...»

Виталий Николаевич не писал ей о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. Но по мере того, как она, деля свое возбужденное и утончившееся внимание между рассказом Слепцова и своими смятенными мыслями, вспоминала письма мужа и отдельные фразы из них, она не могла скрыть от себя, что в общем он сообщал ей о всех своих делах, передрыгах, переводах из части в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: «Вот у меня и вторая царапина — все идет отлично». Он сообщал ей об этом в игривом тоне — конечно, потому, что не хотел ее волновать.

Она стала упорно вспоминать — не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова, — что она ответила Виталию на сообщение о «царапинах». И покрылась холодным потом: ответила она что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что понимает, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.

Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи в плохой шинели, без еды и в порванных сапогах, она испытывала знакомое ей чувство покровительственной жалости и даже некоторого удовлетворения тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни, — тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха. Он вряд ли замечал свой унылый и несчастный вид, он был нетребователен, он и от нее так мало требовал. Он был скромен и горд. Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. Или, может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет — три тысячи шестьсот пятьдесят дней, или он, знавший его три дня?

Конечно, она имела свои оправдания. Эти годы она жила в маленьком сибирском городке, казалось, целиком сотканном из неуютя и холода, тем более, что старожилы, местные чалдоны, жили в своих бревенчатых черных домах уютно, тепло и замкнуто.

С великим трудом приживалась она в тех краях; жизнь там текла трудно и однообразно, и ей казалось, что хуже не бывает. Мечта о воз-

вращении в Москву превратилась у нее почти в манию. Каждый день войны казался ей проклятьем, потому что откладывал это возвращение. Правда, ее жизнеспособность не изменила ей и там. Она вскоре сравнительно сносно устроилась, пробилась сквозь строй препятствий, сквозь вязкую массу неподвижного быта тех мест. Энергия пололам с полусознательным кокетством, тоже являющимся проявлением энергии и жизнеспособности в красивой женщине, помогла ей встать на ноги, получить собственный угол, хорошую работу, полезные знакомства.

Потом она узнала, где находятся сослуживцы мужа, списалась с ними. Они вызвали ее в другой, большой сибирский город и устроили в институт, где работал Нечаев до войны (этот институт эвакуировался туда из Москвы в октябре сорок первого года). В ее переезде и устройстве особенную роль сыграл Ростислав Иванович Винокуров, приятель Нечаева, видный инженер и изобретатель. Она часто стала бывать у Винокуровых и замечала не без чувства самодовольства, что Винокурову приятно общение с ней, что ему, человеку, широко образованному, выдающемуся в кругу их знакомых и сослуживцев, с ней интересно, хотя когда-то, при первоначальном их знакомстве в Москве, он не обращал на нее никакого внимания; она была для него тогда женой Нечаева и не более.

На новом месте ей было легче, но все-таки и тут шла суровая, голодная жизнь.

Значит ли это, что она там, в Сибири, не думала о муже? Нет, она все время думала о нем, сознавала, что он есть, его отсутствие было одной из сторон большого несчастья, именуемого войной. Однако она была убеждена, что никому не придет в голову послать его сражаться на поле боя, что он будет проектировать мосты или укрепленные районы. Это было настолько целесообразно, что Ольга Петровна, твердо верившая в силу целесообразности, иначе не могла предполагать. Следовательно, Виталий Николаевич был на войне, и это давало ей право на чистую совесть и на приятное презрение к женам тех мужчин, которые на войне не были, например, к жене Винокурова. В то же время Виталий Николаевич как бы на войне не был, так как годился только для инженерного дела, и это давало ей иллюзию спокойствия за его судьбу. К тому же и его письма, успокоительные и даже веселые, разгоняли ее страхи.

«Зачем он меня щадил? — думала она теперь, словно пробужденная ото сна рассказом солдата. — Он не смел вводить меня в заблуждение...» Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом и что время от времени она и тогда сознавала это.

## 8

— Не думал я, не гадал, — продолжал свой рассказ Слепцов после непродолжительного молчания, — что еще раз придется встретить Виталия Николаевича. Сами знаете — такой фронт, в две тысячи километров! Сколько частей, дивизий, армий, все вокзалы кишат военными, все деревни полны военных, и в городах, поди ж ты, самых тыловых — и то, как говорится, военных больше, чем людей.

Почти три года прошло. Все было другое, и я был другой. Казалось мне, что война идет уже лет десять и еще будет идти, может, лет сто. «Хорошего человека война делает лучше, плохого — хуже», — любил говорить Виталий Николаевич. Я про эти его слова часто думал. Наверно, они правильные. Однако всяко бывает. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что все трын-трава, один конец и потому все можно, все разрешается. И привыкает он к мысли, что государство должно за него думать и что у государства можно все брать без стеснения,

раз оно твою жизнь берет, не стеснясь. На войне взять чужое не считается воровством, отнять не считается грабежом, потому, ежели ты не возьмешь, какая-нибудь шальная бомба разрушит, всякое добро, которое делалось большими мастерами и наживалось годами, уничтожит за минуту. Вот человек и приучается ничего не ценить. Даже хороший человек. А плохой, тот и вовсе сатанеет.

Нет, война человека портит, потому после нее у нас стало больше воровства всякого, нечестности всякой.

Это к слову сказать. А вообще-то, конечно, дело темное. Значит, на чем это я... Был я уже обстрелянный солдат, в сержанты меня произвели и назначили командиром отделения в отдельной роте связи, при штабе дивизии. Потом был ранен, попал в госпиталь, оттуда — в запасный полк. Тут я обучал молодежь, стал вроде педагогом: имел, оказывается, способность объяснять новичкам премудрость воинской телефонной связи.

Но вскоре случилась неприятность. Потеряли мы стыд, решили, что мы незаменяемые. И стали ребята выпивать лишнего. И однажды доигрались мои ребята, что их пьяных задержал на улице командир бригады, полковник. А про него было известно, что выпить он сам любил и потому особенно боролся с пьянством. Так говорили, а может, оно и неправда, сам я его пьяным не видел. Застукал он моих ребят и отдал приказ всех сержантов-связистов, которые засиделись в тылу, отправить на фронт. Выдали нам новенькое обмундирование, обули в американские ботинки без сносу и погрузили в эшелон под вой местных девчат, с которыми мои сержанты крутили любовь.

И вот в начале сорок четвертого года, зимой, попал я на фронт. Зима была снежная, красивая, кругом необозримые леса, все сосновый бор сплошной, мачтовый лес. А стрельбы никакой, только дымки от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне. А блиндажи, благо леса вдоволь, понастроили у нас, как дворцы, и траншеи обшили мы досками, как какие-нибудь немцы, просто господа... Война, она тоже много личин имеет. Бывает, что и не так страшно, даже интересно. Когда мало стреляют... Стало быть, приехав в этукую благодать, поступил я снова в дивизию, в роту связи. Чаще всего дежурил при штабе, говорил по телефону то с одним полком, то с другим: как, да что, да не случилось ли чего?

И вот среди всех голосов — а их в телефоне было эвон сколько, целая пропасть разных частей, подразделений, позывных — один голос показался мне знакомым. Да мало ли что может тебе показаться! Прошли недели две, пока однажды вечером снова не услышал я тот самый голос, и голос тот сказал весело так и громко: «Это был поступок!» Тут я даже задрожал и вмешался в разговор: «Старший лейтенант Нечаев?» — «Капитан Нечаев. Кто меня позвал?» — «Сержант Слепцов, может помните?» — «Не помню». — «Ну, конечно, разве упомнишь. Мы то всего три дня вместе были, и давно, в сорок первом году, под Ельней». — «Ну? Под Ельней?» — «Я при вас телефонистом был, вместе с Черепановым». — «Андрюша?» (Он меня тогда Андрюшей звал.) — «Я самый».

Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. Из дивизии в батальон редко кто просится, батальон к фронту ближе, там опаснее. Но у нас уж так водится: раз просишься — не пустим на всякий случай. Пришлось долго упрашивать, пока отпустили. И вот я снова очутился рядом с товарищем Нечаевым. И за то время, что был с ним вторично, совсем к нему привык; не ошибся я в нем.

Мы, конечно, жалели, что Черепанова с нами нет, тем более, что Черепанов, выписавшись из госпиталя, писал письма, рвался на фронт,

хотя его демобилизовали по чистой. Я товарищу Нечаеву говорил: «Пишите ему, пусть приезжает». А он все отвечал: «Конечно, напишу, пусть придет». Но не писал. Жалел старика.

Сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и одет был хорошо, больше о себе и даже о внешности своей заботился. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе не завел. У всех офицеров были хромовые, только у него не было.

Как я вам уже говорил, жили мы в лесу, в блиндажах в четыре наката — ни один снаряд не пробьет, дров для топки сколько угодно. Ну просто рай, кабы не противник да не вши. Вы меня извините, Ольга Петровна, но эти насекомые нас сильно донимали. Вши — они любят чистоту. Пока солдат наступает, спит в ямах и не переодевается, не моется, они как бы есть и нет их: может, потому, что не до них. А как нас вымоют да оденут в чистое белье — тут они начинают свирепствовать до невозможности. Пришлось устроить огромнейшую вошебойку, куда мы покидали все имущество — кисеты и те.

Помню, Виталий Николаевич рассказывал, как поначалу, в сорок первом году, он был самый вшивый изо всех офицеров и солдат. И никак не мог понять почему. Один солдат ему объяснил, в чем оно дело: «Думаете много, — сказал тот солдат, — а вши от мыслей разводятся». Виталий Николаевич нам про это рассказал и говорит: «Как мне тот бывалый солдатик это объяснил, подумал я и понял, в чем дело. Вши от мыслей разводятся, то-то и оно! То есть попросту они разводятся у тех людей, которые много думают головой и ни черта не умеют делать руками. После этого я стал следить за собой, старался мыться почаще... Надоело быть белоручкой... И вши от меня отстали...»

И верно, это я тоже заметил — Виталий Николаевич теперь мылся и брился, и стал раздеваться на ночь и даже складывать вещи в порядке, как спать ложился. И говорил мне, что когда он вернется домой, то Леля (так он вас называл, Ольга Петровна) удивится, и обрадуется, и не узнает его, и полюбит еще сильнее; и он улыбался этак невесело — вы же знаете, Ольга Петровна, — и добавлял: «А может, снова, как попаду под ее крылышко, позабуду свою военную выучку...»

Простой он был, открытый для всех. Рассказывал нам много всякого интересного. Целые романы наизусть, про разные науки тоже... Все на свете знал. Я его тогда спрашивал, почему он все еще в пехоте да все еще комбатом, а он смеется. «Понравилось», — говорит. Может, ему впрямь понравилось, а скорей всего — не умел он и не хотел устраиваться там, где поспокойнее до посытее.

Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах тоже невозможно... Вшей не было, а противник еще был.

Не успели стаять снега, как навезли артиллерии видимо-невидимо, в лесах стало народу и машин невпроворот, не пройти, не проехать. Наконец ахнули и пошли, забывши про сон и отдых. Пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее с ходу и закрепились на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли: лодок не было, немцы их раньше увели либо уничтожили.

На другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют ракетами: шлите боеприпасы, шлите боеприпасы! И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, но никто в воду не идет — река пенится от снарядов, и к тому же еще помогает немцам их немецкий бог: поднялся большой ветер, и волны как морские ходят.

Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку-душегубку, принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами, а лодка такая утлая, что страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу

мрачный, потом вдруг идет к лодке. Я к нему и говорю: «Товарищ капитан, я вас не пущу». — «Как так не пустишь?» — «Да так, не пущу. Не выдержит лодка, пойдет на дно».

Он ничего не отвечает и идет к лодке. Я ему говорю: «А вы хоть плавать-то умеете?» Он смеется: «Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область». Тут мне полегчало. Он спрашивает: «А ты?» Я говорю: «Я пловец неплохой. На Енисее вырос». Он говорит: «Превосходно!» (Он любил говорить «превосходно», и мы все тоже стали так говорить. И я заметил, что и вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз «превосходно»... Как его словечки ко всем приставали! Я и то теперь дома у себя... Жена смеется: «Одно знаешь: превосходно да превосходно!» И еще он часто, когда удивлялся, то спрашивал: «Вот как?» У нас так не спрашивают, и сначала мне это казалось смешно, а потом и я стал так переспрашивать.)

«Превосходно! Вот мы и покажем пример», — говорит мне, стало быть, Виталий Николаевич, и мы садимся в лодку и плывем, и за нами солдаты — стыдно им стало! — кто на чем.

Как переплыли — не спрашивайте, но переплыли и закрепились, а скоро переправились и другие батальоны... После этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко, стал — в который раз — звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы — остался бы живой. Генерал тогда вручил мне орден Славы второй степени (третьей степени у меня уже был за прежнее), а Виталия Николаевича представил к ордену Отечественной войны.

## 9

В то время как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, пятнадцать лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо-талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились, или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то? Или она перестала в нем все это замечать — пригляделась, приобьклась? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране (он болезненно переживал то и другое)? И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел?

Он работал. Работал много — даже на курорт ухитрился брать с собой чертежи. А какая у них была душевная, личная жизнь? Что он делал помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила те обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались ей такими уж важными. Ведь это он и никто другой заставил ее закончить не законченное по ее лености образование, приучил ее читать книги, объяснял их ей. Это он исподволь, осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько кошному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное, за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, которым она была теперь, — уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез, ту женщину, которую полюбил строгий к людям Ростислав Иванович Винокуров; из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей.

Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством раскаяния и щемящей неловкости, проходили перед ней, тесня друг друга, как будто в спешке и в смятении. Лишь когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли. Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось

изнутри. Она закусил губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее.

А это произошло потому, что, услышав — ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию, — услышав слова Нечаева о том, что он брал призы за плавание и т. д., Ольга Петровна вспомнила, что он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. Итак, все, что он говорил на берегу реки, было вздором, выдумкой, если можно назвать вздором и выдумкой чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И оттого, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывущего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемой со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла.

Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, обаяние, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как в нем лучшие человеческие черты были в избытке и в чудесном сочетании? Все это она пропустила сквозь пальцы, как воду.

Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Да, она умела пожатием плеч оттолкнуть от себя «бесплодное нитье» ради благополучия семьи и упорядоченности ее существования.

Но теперь она не могла уйти от этих мыслей — на нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата, и их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону, ссылаться на жизненный опыт, на пример соседей и знакомых; эти глаза говорили ей: ты жила рядом с героем и не заметила этого.

Ольгу Петровну охватили горечь и боль, которые вскоре незаметно для нее самой превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним: «Я, что ли, его убила?» «Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?»

Так она мысленно твердила, глядя на стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке, и она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку, и эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да, да, уборка и ремонт! Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.

Она встала и резким движением зажгла настольную лампу. В это время в коридоре что-то задвигалось, дверь приоткрылась, донесся запах жареного лука, шум примуса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, напоминающий порывы весеннего ветра, и другие квартирные запахи и шумы, мелкие, но важные, как сама жизнь. И Ольге Петровне показалось, что здесь, в комнате, разреженный холодный воздух, и, сказав, что сейчас вернется, она поспешила выйти к родным запахам и шумам своего дома.

Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и мерцающей, как речное дно. Оттого, что комната осветилась, за окном стало темно, словно сразу наступила поздняя ночь.

Слепцов нащупал в кармане полный табака кисет, но не стал закуривать. Он сидел, ожидая возвращения Ольги Петровны и не двигаясь, как бы стараясь не рассеять все то, что он должен был ей рассказать. Она все не шла, но он не испытывал никакого нетерпения, зеленый свет наполнял его покоем и тоже казался составной частью его повествования, естественным освещением той полусказочной действительности, в которой он теперь жил. Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый, уютно освещенный мир, и сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома.

Когда она вернулась, Слепцов продолжал:

— Про вас, Ольга Петровна, ваш муж мне рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком; и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети и те вас знают и готовы за вас на край света. Да, да, он мне про вас все рассказал. Про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали и институт кончали, имея на руках маленького Юру. Видел я сегодня Юру, вылитый отец, тоже серьезный и честный. Честный. Вот оно, главное-то.

В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему, и Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю — уважительно и обстоятельно — с новым человеком, кто бы он ни был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то — очевидно, свою фамилию, — затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов, — солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.

Продолжая рассказ, он по временам забывал о присутствии того человека и, только изредка вспоминая о нем, вежливости ради полуоборачивался к нему на мгновение.

— И последние его слова, — продолжал Слепцов, — и мысли последние были про вас. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало; просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется.

А ранило его при штурме немецкой обороны, и я не был тогда при нем, и когда мне сказали, я побежал и встретил его, как он лежал на подводе и его отвозили в тыл. Но подводу эту трясло. И ему было больно. И тогда мы его сняли и положили на носилки. Как я вам уже рассказывал. Потом попросил, чтобы мы его положили, чтобы он отдохнул. И мы его положили. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были — так он меня крепко взял за руку. Вот здесь... Ну, то есть руки-то у меня этой уже нету... Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам... все про него да про его к вам уважение и любовь... А также передать вам, стало быть на память, разные предметы... Между прочим, логарифмическую линейку — это солдаты нашли в одном доме и, зная, что товарищ Нечаев инженер, отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные — тоже трофеей, один солдатик ему поднес, Терехов по фамилии, молодой. Его позже убило... Ну вот, Ольга Петровна... Потом, конечно, выпустили боевой листок, что-де отомстим фрицам за нашего комбата... Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это — редкое явление...

Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось, и только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так очевидно расстроил своим рассказом. При

этом он вспомнил и про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему неопределенную антипатию, неизвестно чем вызванную — может быть, тем, что мужчина сидел в кресле развалясь, как дома, и его лицо было непроницаемо спокойно. Может быть, тут сыграло роль и то, что Ольга Петровна после появления мужчины стала вести себя несколько иначе, чем до того: она почему-то часто поднималась и снова садилась, и вертела в руках солонку, и несколько раз отводила глаза от Слепцова к тому человеку. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание, и Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине:

— А меня ранило в декабре того же сорок четвертого года, на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома, в Сибири. Неприятель до нас, понятно, не добрался, все у нас на месте, ничто не разрушено. Даже, ей-богу, удивительно было, когда я прибился домой после госпиталя: все дома целые... Верно, колхоз, раньше богатый, в войну сильно обеднял — мужиков мало, заготовки большие для фронта, почти всё сдавали... Я сначала не знал, за что приняться, ходил неприкаянный; жена, спасибо ей, поняла мою душу, не сердилась, что я целые дни на завалинке сижусь, покуриваю, на всех покрикиваю и на все зубами скрежешу, — молчала, только иногда плакала, и то потихоньку. Я, конечно, это замечал, но ничего не мог поделать со своей озлобленной душой. Но понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом, а позже сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, вроде ухвата, и вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Но я не герой и делал все это лично для себя — понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнил норму и две. А как уборку закончили, взял я отпуск — и вот...

## 11

Последние слова Слепцова, преодолевая свою антипатию, сказал, обернувшись к мужчине в кресле, так как не желал быть грубым и невнимательным к человеку, сидящему в комнате Нечаева. Как бы воспользовавшись этим, Ольга Петровна, то и дело встававшая и садившаяся во время рассказа, снова встала.

— Пора обедать, — сказала она и быстро вышла из комнаты.

Слепцов, все еще взволнованный воспоминаниями, видел, что и она взволнована, и ласково проводил ее взглядом до двери, а потом снова обернулся к мужчине. Тот угрюмо или, может быть, напряженно молчал. И Слепцов, почувствовав себя неловко, сказал:

— Вот так, гражданин... мм...

— Ростислав Иванович, — буркнул мужчина.

— Вот так, Вячеслав Иванович, — продолжал Слепцов, плохо слышав редкое имя. — Расстроилась Ольга Петровна... Может, я слишком это... все подробно... Но, как говорится, слова из песни... Такого человека потерять...

— Да, — сказал мужчина односложно.

Слепцов внимательно посмотрел на него и спросил:

— Друзья, полагать надо, помогают ей, вдове, по силе возможности?

Мужчина после довольно продолжительного молчания ответил так же односложно:

— Да.

И встал с места, чтобы выйти, но дверь открылась, и Ольга Петровна вернулась. Она пришла с тарелками, которые расставила на столе.

В это время за дверью заплакала девочка, а Ольга Петровна под этот плач все так же медленно и старательно расставляла тарелки. Наконец в полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:

— Все плачет, Ольга Петровна...— и при этом покосилась на солдата: не вызовется ли он и теперь пойти к девочке да успокоить ее своим «сэше, хэше»...

Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:

— Сейчас приду.

Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился.

Этот так внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка вдруг замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой, затем медленно отлетела от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец,— смертельно-серьезным. Он посмотрел на мужчину, который напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти или остаться.

Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал оттуда белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул себе в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол — лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его.

В этот момент послышался короткий и резкий звонок, стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он был в пальтишке и с портфелем. Он запыхался — спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Но солдат был здесь. Комната была полна волнующих запахов: солдатского сукна, медвежатины, копченой рыбы, фронтовых и таежных дорог.

Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, словоохотливо и добросердечно, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и стал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями, и чего-то ждали.

Но вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее:

— Тут вот на столе, как видите, это самое. Его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки, логарифмическая линейка для вас, готовальня и часы ручные для вашего сына. Еще там кой-что. Все, что у него было. Вот. Мне пора. Я и так задержался.

Он взял было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделались стальными, он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки.

Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в неприкрытом тоне:

— Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать? Очень жаль... За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы ехали в такую даль — из Сибири, кажется? Наверное, вам и поездка стоила недешево... Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копейчку... Нет, серьезно, может вам нужны деньги? Вы скажите без околичностей, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталия Николаевича, фронтовой товарищ.

Так что скажите... А я думала, вы пообедаете с нами. Вы где остановились?

В то время, как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь, все как будто заковенело на своих местах — от всего, что происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать калека, когда ему помогают.

В ответ на последний вопрос Ольги Петровны Слепцов сказал:

— Я ночую у родичей моих. У меня в Москве родичи. Где теперь нет сибиряков? Всюду они есть.

Он надел наконец на себя шинель и взял в руку кепку и вещмешок.

— Это верно,— подтвердила Ольга Петровна, вынимая из буфета и ставя на стол хлебницу.— У нас в институте тоже есть сибиряк, заместитель директора по материальному обеспечению. Он у нас недавно. Может быть, вы знакомы с ним? Леонтий Борисович Свербеев. Впрочем, верно,— Сибирь велика...

— Да,— сказал Слепцов,— Сибирь большая. До свидания, Юра... Ольга Петровна... До свидания, гражданин.

И, взвалив мешок на плечи, он вышел.

## 12

Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся, слышно было, как он прошел мимо двери.

Когда стукнула входная дверь и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева, у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал:

— Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, святой, а ты ему предложила денег! — Он продолжал, все больше волнуясь: — Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил... какую любовь! — И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя остро и колюче ей в лицо: — Да и верно, муж твой покойный был человек необыкновенный. Замечательный человек. Такого человека... о таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только... только сука.

Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Ольга Петровна была отвратительна в последнем разговоре со Слепцовым, и оттого, что она проявила себя такими неприятными чертами, он обозлился на нее. Но этого было бы мало для тех слов, которые он сказал, если бы он не знал, что не может без нее жить, что, несмотря на все, он любит и не перестает любить ее даже теперь, когда презирает, почти ненавидит ее.

В то же время он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного, безоблачного течения жизни в семье: она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, притом еще человек замечательный. И, наконец, одновременно с этим он испытывал острое чувство горькой, хотя и неразумной ревности — впрочем, может ли ревность быть разумной! — бессмысленной оттого, что она не была обращена на кого-либо, а сводилась к простому предположению, что, если он умрет или даже уедет надолго, она полюбит третьего и будет так же сильно, решительно, как бы категорично этого

третьего любить, окружать своей заботой и теплом и защищать свою любовь всеми средствами.

Эти чувства — любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость оттого, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах, — все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Когда Слепцов простился и собрался уйти, Винокуров готов был ударить свою жену по лицу. Однако он не сказал ни слова, он вообще решил не вмешиваться — то было не его, а ее прошлое — и пожалел, что слушал часть рассказа Слепцова из спальни, а затем, войдя в столовую, был свидетелем разговора. Но когда Слепцов вышел и входная дверь глухо стукнула за ним, и когда Юра, не понимавший, но явно чувствовавший, что произошло нечто отвратительное, прошел мимо двери, хотя знал, что его ждут обеда, — Винокуров не смог удержаться от выражения своих чувств.

— Что вы сделали? — повторил он, назвав ее на «вы», чтобы еще больше задеть. — Это же невозможный поступок. Нигде он не остановился, неправду он сказал про родственников, неужели вы этого не поняли? И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать золотые часы и остальное? А? Вы этого не поняли?

Он смотрел на нее ненавидящими глазами.

— Да, вы правы, — сказала она медленно, почти спокойно. — Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? — Она бессмысленно походила вдоль стола, потом вдоль буфета, затем сделала два шага к двери, но вернулась, села на стул, на котором сидела весь день, и заплакала. — Он бы никогда... никогда... — произнесла она сквозь слезы.

Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив. Он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе в союзники Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей и, осознав это, понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины, и он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:

— Ладно, Оля, сейчас не время все это. Пока надо догнать этого человека и вернуть его.

— Да, да, — сказала она, быстро встала, вытерла глаза, взяла со стола сверток с едой, оставленной Слепцовым, завернула еду в плотный пакет и быстро, летящей своей походкой вышла в коридор, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор.

Во дворе никого не было видно. Накрапывал дождик.

— Товарищ Слепцов! — позвала Ольга Петровна.

Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. Она бросилась влево и, торопливо говоря вслух: «Товарищ Слепцов, товарищ Слепцов», дошла, почти добежала до угла. Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно.

Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым, в том числе ничего не значащие слова о сибиряках. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. И если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат —

благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди; она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскоружности и бессердечии и мечтала от них поскорее уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем, она не интересовалась, даже его не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным.

Об этом думала Ольга Петровна, возвращаясь к воротам своего дома.

Ростислав Иванович тем временем тоже пересек улицу, прошелся по бульвару, вглядываясь в немногих прохожих, и тоже вернулся ни с чем. Они постояли вдвоем у ворот. Потом он взял ее за руку.

— Прости меня,— сказал он.

— Ты был прав,— сказала она.— Но пойми...

— Да, да, конечно...

— Я ведь...

— Я понимаю. Пойдем.

Они медленно пошли обратно к дому, медленно взобрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел.

— Обедать пора,— сказала Ольга Петровна.

Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна сунула сверток с сибирской снедью за оконную занавеску. Затем она снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить вполголоса разные успокоительные слова.

О Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат,— «советским».

Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему — не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны.

Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Напротив, он, выйдя из дома, подошел к той скамеечке, где сидела утром старушка с вязаньем, и опустился на эту скамеечку. Тут он закрутил махорку и жадно закурил. Он ведь из уважения к семье Нечаевых ни разу не курил в их квартире и теперь глотал горький дым, как захлебнувшийся в воде глотает воздух.

Было темно. Накапывал дождик. Значит, прошел весь день — с расвета до вечера. Андрей Слепцов подумал о том, как быстро, молниеносно прошел этот день и какой он в то же время насыщенный и длинный, как он, этот единственный день, сумел изменить многое в его жизни, осветить ее по-новому. При свете этого странного дня все стронулось с места, перемешалось, осложнилось. Это был ясный, ровный, немигающий, беспощадный свет. И казалось, что любимые образы пропали в нем, как пропадают тени в резком свете.

Он услышал, как Ольга Петровна окликнула его, как она и ее муж

вышли на улицу его искать. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят. И спрятал сигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае, в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть.

Но вот они наконец вернулись и исчезли в доме, и Слепцов остался один на большом дворе. Он посидел некоторое время, потом встал с места и пошел к воротам. Здесь он остановился и обернулся. Перед ним от самой земли до неба посверкивало, мерцало, горело больше сотни светлых квадратов. Его глаз воспринял вначале это зрелище чисто механически, как нечто красивое, потом разум его усвоил, что это окна, а за ними люди. И он вспомнил, как капитан Нечаев однажды — дело было зимой, еще в обороне,— говорил про эти окна, именно про эти самые, а не какие-либо другие. Нечаев говорил примерно так: родина — это не обязательно изба с березой или тополем, перелесок или поляна, как это по старой памяти пишут в стихах и прозе; родина — это также городская квартира из двух комнат, точно такая же, как четыре квартиры над ней и две под нею, и пятьдесят во всем доме — обыкновенное жилье с водопроводом, который урчит по утрам, и с телефоном, который звонит, когда кому-нибудь заблагорассудится вспомнить о тебе и набрать твой номер. Родина — это два окна среди точно таких же ста, ничем от остальных не отличающиеся, кроме того, что там твоя жена и твой ребенок. Это тоже «земля отчич и дедич», священная московская земля, хотя и приподнятая на два-три десятка метров. И, защищая свою большую родину, ты защищаешь и эту малую и готов отдать за нее жизнь.

Слепцов стал искать те два окна, о которых говорил Нечаев. И он вскоре нашел их, светившихся зеленым светом среди других, светившихся желтым, и зеленым также, и красноватым, и лиловым, и просто ярким без прикрас — огромное множество человеческих гнезд. И, вспомнив слова капитана Нечаева о его двух окнах, Слепцов замотал головой, как лошадь, которую мучают слепни, и больно закусил губу, чтобы не заплакать.

Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как он вскоре заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков, и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке: он чувствовал на ней приятную тяжесть, рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое и нежное.

То была маленькая девочка с не по-младенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегло его!

Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Предстояла, по-видимому, длинная бессонная ночь на вокзале, в очереди за билетом, и Слепцов ворчал себе под нос: «Хорошо, Андрей Слепцов, что ты успел подремать: утром на скамейке, потом — на мягком стуле». Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.



---

---

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

★

## НОВЫЕ СТИХИ

### *Ветка*

Я дарю тебе ветку,  
Что прочих милей,  
Я дарю тебе ветку  
С росой на ней.

Вместе с блеклой  
Травинкой,  
Что ветер занес,  
Вместе с легкой  
Дождинкой,  
Свидетелем гроз!

Я дарю тебе ветку  
С родимых полей  
Вместе с солнцем и ветром,  
Что остались на ней!

Я дарю тебе ветку  
С кусочком зари,  
С нашей русской расцветкой...  
Ты довольна?  
Бери!

### *Подражание песне*

Вот и ночь идет на убыль,  
День невдалеке.  
Спит нелюбый,  
Спит нелюбый  
На моей руке.

Дни листаю, как страницы,  
Мужняя вдова.  
Он души моей боится,  
Чем душа жива!

А жива она мечтою  
Самой дорогой:  
Неужели я не стою  
Участи другой?

«Только если будешь смелой»,—  
Сердце говорит.  
...На моей руке на белой  
Мой нелюбый спит.

### *Бедая моя бедовая...*

Бедая моя бедовая,  
Я так тебе скажу,  
И повторю, и снова я  
Стихи вот-вот сложу.

Поверь:  
Стихи напишутся,  
Мне с ними по пути,  
Ты будешь в них, как вишенка  
Заречная, цвести!

Я в них тебя подгорною  
Дорожкой провожу,  
Словами заговорными  
Тебя заморожу!

А вдруг молвой наполнится  
Родная сторона?  
А вдруг еще запомнятся  
И наши имена?

В стихах над стежкой нашею  
Закружатся стрижи...  
Ну что же, замораживай,  
Ну что ж, заморожи!

### *Где же, где же задушевные слова...*

Где же, где же  
Задушевные слова?  
Реже, реже  
Ходит кругом голова.

Речкой льется,  
Растекается волна.  
Стежка вьется,  
Пропадает у окна.

Говорят мне: «Ты не пой!»  
А я пою.  
Говорят мне: «Он не твой!»  
А я люблю!

Так сказала,  
 Так слова смогла связать...  
 И, пожалуй,  
 Больше нечего сказать!

### *Сибиринки*

Я вернулась, миленький,  
 На короткий срок,  
 А в глазах сибиринка,  
 Таежный огонек.

*Ольга Берггольц.*

Есть задиры.  
 Где ж задиринки?  
 А в Сибири  
 Где ж сибиринки?

Сибирячки  
 Вежливы.  
 Сибиринки,  
 Где же вы?

А они у Оленьки  
 Запросто гостят,  
 Сибиринки-горлинки  
 Сахаром хрустят.

Пьют чай не спеша  
 С клюквенным вареньем,  
 И раскрыта душа  
 Для стихотворенья!

На них ситчик синенький,  
 Краше кисен...  
 Сибиринки, сибиринки,  
 Горлинки мои!

### *Саяна*

В Туве — куда ни гляну я —  
 Все синь да синева...  
 Саянами, Саянами  
 Обложена Тува.

У них Тува в подножии,  
 Годам потерян счет,  
 О них легенды сложены  
 И сложатся еще!

Они с Тувою слитые,  
 Как с бурей волна,

И в честь их самовитую  
Даются имена.

И в стих, темнея косами,  
В молву и из молвы  
Идет она, раскосая  
Саяна из Тувы.

Мне это имя нравится,  
И я его беру,  
Оно гремит, как здравица  
На свадебном пиру!



---

ВЛАДИМИР ФОМЕНКО

★

## ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ

*Роман \**

Глава девятая

1

**З**а несколько дней жителей Кореновского словно подменили. Одни стали еще крепче, будто вчерашнее железо зазвенело сталью от белого огня и воды; другие смягкли; третьи, как ненужную одежонку, сбросили годами накопленную сознательность, искали случая пожить в общей сутолоке. Точно в войну или в коллективизацию, люди душевно расслоились, выявили свою настоящую суть.

Конкин безвыездно находился в хуторе Червленовом, где обстановка складывалась еще острее, и ответственным лицом в Кореновском была Щепеткова. Она ходила с инженерами по дворам, требовала, чтоб ходила и Дарья Черненкова и бригадиры, считая, что правлению не годится взваливать на приезжую комиссию всю тяжесть описи.

Лидка Абалченко безмятежно спала, когда Щепеткова, инженер Петров и молодой инженер Юзифович зашли в ее двор. На бечевке, будто корабельные сигнальные вымпелы, висели цветастые Лидкины тряпки, а сбоку, взгромоздясь на крыльцо передними копытами, стояла не кормленная со вчерашнего дня корова. На стук за окном показалась Лидка — рослая, встрепанная, в черном лифчике с бисерными лямками.

— О-ой! — Разнеженно и сонно она отступила от стекла.

Изнутри сеней стукнул откинутый крюк, толчком распахнулась дверь, и Лидка, мелькая перед обомлевшими инженерами голубизной рейтуз, проскочила вперед по коридору, гостенриимно крикнула:

— Заходите!

Переглянувшись со Щепетковой, инженеры закурили, секунду помедлив, пошли следом. Лидка была уже в халатике, оправляла в кухне на койке ворох подушек. На нетопленной печи лежала Лидкина пуховая шаль; на грязном столе, рядом с юбкой и разбросанными шпильками, — буханка хлеба. Щепеткова поморщилась, прошла с инженерами в зал.

— Думала, мы не тебя, Лидка, а Сергея застанем. Чего валяешься? Ты ж на карьере работаешь.

— У меня, Настасья Семеновна, сегодня корова болеет.

— Где?! Вон она, голодная, ходит по двору, в окно к тебе заглядывает.

— Ну не болеет, так что? — ничуть не смутилась Лидка. — Я выходной себе сегодня сделала.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

— А полы чего не побанила, боишься счастье смыть?

Настасья Семеновна сбросила кошку со стула, придвинула его Петрову, себе взяла табуретку. Петров раскрыл справочник, сказал, что здесь, по свободе, они во всем относительно ферм разберутся, начал показывать Щепетковой расценки.

Клеенка на столе была такой липкой, что Юзефович подложил под свои бумаги газету.

— Лидия,— звучно произнес он и застрочил авторучкой,— а по отчету?

— Не Лидия. Это так... Я по метрикам Ариадна,— улыбнулась хозяйка и, кинув взгляд на занятых Петрова и Настасью Семеновну, стала перед молодым инженером — будто не совсем проснулась, сладко потягиваясь.

Полнокровная, удивительно смазливая физиономия Лидки была по-детски округлой; не покрашенные с утра пухлые губы, примятые долгим сном, приоткрыты. Юзефович, стараясь говорить возможно деловитой, спросил:

— Сколько в вашей усадьбе?

— Тридцать восемь соток. А что? — певуче спросила Лидка, села вплотную рядом, поставила на стол локти. Открывшиеся из-под опавших рукавов халата Лидкины руки — в маленьких веснушках, нежные — упирались в подбородок, как у внимательной ученицы.

— Думал,— промычал Юзефович,— не тридцать восемь, а больше.

— Это не факт. Почему у вас такое впечатление? — Лидка быстро облизнула нижнюю, потом верхнюю губу, чтоб блестели. Она заметила в руке Юзефовича никелированную коробочку рулетки, тронула ее пальцем. — Как пудреница. Покажите!.. Этим и будем проверять с вами хату?

Обмер начался с кухни. Помогая Юзефовичу, который покашливал, отводил в сторону черные серьезные глаза, Лидка развела полами засаленного халатика, быстро носилась вдоль стен. Она пыталась отодвигать то шкаф, то сундук и, когда Юзефович говорил, что это не нужно, вскидывала на него ресницы, а когда он хотел что-нибудь записать, заглядывала через его плечо, простодушно смотрела, как он делает это. В углу, за громоздкой, как паровоз, печью, Лидка полезла на сломанный табурет, чтобы дотянуть до потолка рулетку, и покачнулась. Юзефович подхватил ее, со страхом ощущая под ладонями мягкую талию хозяйки. Лидка замерла в руках инженера и, сдавив вдруг его шею, влажно зашептала в ухо:

— Слушайте, запишите, что хата у нас не из самана, а кирпичная.

— То есть не понимаю... — тоже шепотом ответил Юзефович, продолжая в растерянности держать Лидку, глядя на нее снизу вверх. — Делать подлог?..

— Подумаешь! Стройка обедняет, что ли? А нам бы кирпич выдали в новой станице. Что вам стоит? Не на базар же кирпич, а колхозникам. Или, думаете, ваш этот аред старый, что в залике сидит, запомнит — саман у нас или не саман?

— Да как вы так? — обалдело заморгал Юзефович. — Вы ж человек как человек. Может, комсомолка даже!

— Ну так что? Есть партийцы — еще хуже делают и после исправляются. И я исправлюсь.

Совершенно трезвея, Юзефович убрал наконец свои руки, шагнул от Лидки.

— У вас, девушка, мозга, как у зародыша! Если бы вы хоть чуть соображали, вы бы... вас бы тогда...

Досказать ему не удалось. Явился на завтрак Лидкин муж, кузнец, не евший, судя по обстановке в хате, со вчерашнего дня. Он был совсем

молодой, не по профессии мелкий, хотя голубоглазое украинское лицо было широким и крепким. Он подал рабочую жесткую руку Настасье Семеновне, затем Петрову и Юзефовичу. Каждому инженеру отрекомендовался:

— Абалченко. Сергей Петрович.

— Наш секретарь комсомольского комитета,— объяснила Щепеткова.

Сергей Петрович явно не был оратором. Подбирая торжественные слова приветствия, он сперва развел свои куцые пальцы, темные от въевшегося в поры металла и кузнечной копоти, затем вдумчиво сжал их и только тогда произнес со всей радушностью секретаря колхозного комсомола:

— Значится, форсируем Волго-Дон!

Лидка, поняв, что ничего с кирпичом не выйдет, глубоко уязвленная пренебрежением городского инженера, вернула рулетку и, как после местного танца в клубе, поклонилась Юзефовичу.

— Извиняюсь. У меня чтой-то под коленкой тошнит, так вы измеряйте с моим супругом. Будете друг дружку агитировать за высокую свою сознательность.

— Бачили, как рассуждает?! — Абалченко повернулся к Настасье Семеновне и огорченно швырнул кепку. Его вдумчивое простодушное лицо выражало затруднение. — Объясняешь, объясняешь и за электропахоту, за электроуборку и насчет другой техники — не сознает. Даже шивку газет приносил ей с библиотеки.

На улице, против окон, остановился набитый колхозницами грузовик. Из кабины вылез с Мишкой Музыченко, зашагал к дому бригадир полеводческой Герасим Савватеевич Живов. Из всех бригадиров он был самым серьезным, исполнительным, и Щепеткова недоумевала, почему он здесь, а не рубит с народом топольки, как она указывала.

— Живенькую видеть, Настасья Семеновна,— хмуро приветствовал бригадир, остановясь в дверях, и крикнул женщинам на улицу: — Заходи! Раз, понимаешь, приехали, то чего ж?..

Женщины с нерешительностью и одновременно с любопытством входили. Уже войдя, спрашивали, можно ли. Живов — по-бугаину лобастый, с осколочными рубцами на толстых мощных щеках — отворачивался от Настасьи, не находил, как приступить к разговору. Его крупные металлические зубы — видно, сработанные наспех госпитальным протезистом, отлитые сплошными пластинами,— отблескивали, точно новое цинковое ведро.

Щепеткова стояла у дверей, слышала, как ее кума, Фелицата Рагозина, весело шептала: «Бабы, а у Лидки не дюже ужаришься. Печка небось с того году не топленная». «Не наговаривай,— охотно отзывались женщины, — она топит. Гля, поджаривает на ей свою шаль... Пуховую!» «Она ж этим и мужа кормит, пухом...» — прыскали другие. Появился Музыченко, снял с капелюхи плексигласовые очки, протер сзади о латаную штанину. Это тоже вызвало смех. Кума Фелицата дурашливо, мужским голосом, громко шепнула Живову, как шепчут застеснявшейся вдруг молодухе: «Ну, родненькая, любишь, так чего уж?! Говори!»

Видно, еще минуту назад настроенный по-боевому, Живов чувствовал сейчас, что затеял лишнее.

— Я, Семеновна,— выдавил он, — ты знаешь, не был вчерась на планерке... На каких полях начнем сыпец бросать?

— А бухгалтер не передал тебе, Герасим Савватееч, мою разрядку — рубить Конский лес? — подняв брови, досадливо спросила Настасья Семеновна.

— Да так оно... — согласился Живов.

Он сморкнулся, отступил к выходу, но стал в дверях, жалостливо посмотрел на Щепеткову.

— Все ж, как хочешь, Настасья Семеновна, а не так получается с полями. Разве можно?.. Сколько в них энергии положено... В осень-то пары пошли без одной бурьянины, как галочка черные! — Он оживился. — Земля там — масло! Ее, Семеновна, хоть бери ножиком, на хлеб мажь, кушай!

— Зряшный разговор, Герасим Савватейч. Сам знаешь, поля отходят под море.

Именно этого слова о каком-то абстрактном, не испытанном землепашцами море недоставало, чтоб вспыхнула притушенная было искра.

— Значит, нас всех, — Живов показал на женщин, — не только с хат, а и с полей, вроде кулаков, выселяют?

— Как — выселяют? Переселяют, — поправила Настасья.

— Не умер Данило, болячка задавила, — уточнил Живов и, уже открыто посмеиваясь сталью литых зубов, добавил: — Кончили, значит, власти играть с нашим Кореновским. Считаю, больше им не понадобимся. И ты, мадам председатель, кончила?..

Председательница смотрела на бригадира, точно это был не он, а кто-то новый. С давних пор, как к собственному имени «Настасья Семеновна», к собственной фамилии «Щепеткова», привыкла она, чтобы ее беспрекословно слушались. Каждый колхозник с охотой выполнял ее распоряжения. Она никогда не повышала голоса, и люди не вынуждали ее говорить два раза. Мужчины обычно отвечали вполусерьез, по-военному: «Есть, Настасья Семеновна», женщины: «Сделаем, Настасья Семеновна, будь покойна». И Настасья ни разу не задумалась, что, может, такой авторитет не от ее умения, а от благополучия колхоза, от особого внимания районных и областных властей к революционным заслугам Кореновского. Уважение к себе Настасья считала единственно верным, навсегда включенным в порядок жизни. Сейчас происходило непривычное. И не только по отношению к ней, а и в самом хуторе. Одна за другой бросают женщины работу, идут за длинным рублем на каменный карьер. Месяц назад, когда держались за землю, так не шли бы. Смотри и эти, которых взбаламутил Живов, уйдут... Настасья видела: нельзя и на секунду ослабить рычаги, когда колхоз, будто трактор, крутнувшийся вдруг вбок, тянул, куда хотел, повисал над откосом гремящей включенной гусеницей.

Она неторопливо отвернулась от бригадира, спросила женщин:

— И вы, как он, думаете?

Женщины молчали. Даже бесцветная Лизавета Чирских смотрела в сторону, будто не слышала. Молчала и ласковая, как воск податливая, Марфинька Гуцкова, на которую всегда, как на себя, можно было положиться во всем. Даже кума Фелицата глядела мимо.

— Настасья Семеновна! Фактически заявляю! — зачем-то отпихивая инженеров, заговорил Сережка Абалченко. — Коллектив наш здоровый, як бык. А что Живов агитирует — то вылазка!

— Погоди, Сергей, — остановила Щепеткова. — Так как все же, женщины? Не зазрит нас совесть?

Марфа Гуцкова подняла свои ясные, как небо перед вечерней зорькой, глаза, вздохнула.

— То-то и оно, что мы, колхозные бабы, совестливые... Нам куда ни скажи — поплачем, пошутим и пойдем... Правда, в войну уходили, спасали колхозное добро, так знали, что вернемся. А сейчас знаем, что не вернемся... Ну, раз Сталин поставил нам вопрос, чтобы решали, то мы что ж...

— Правильно! — состроил серьезнейшую физиономию Музыченко, мигнул женщинами. — Тут главное, чтоб Марфа Леоновна решила!

— А Марфа Леоновна, — хмыкнул Живов, — так и думает. За ней да за малахольным Сережкой Абалченкой пришлют самолет специальный. В Москву лететь, решать.

— Сами, Герасим Савватеич, придумали или обучал племяш-полицай? — громко, на всю комнату, сказала пухленькая Милка Руженкова явно приготовленное заранее.

Она заговорила ломким, подрагивающим голосом, пуская в ход сразу все резервы.

— Герасим Савватеич! Двадцать лет назад вы по охоте шли в колхоз или верно люди, которые здесь вот стоят, рассказывают, что слезьми всю Кореновку залили?.. Вы на той слезе до сих пор оскользаетесь.

Она обернулась к Музыченко.

— А ты, Мишка! Тебе лишь бы людей смешить. Как клоун.

Из-за спины Руженковой неожиданно заговорила некрасивая немолодая девушка, Вера Гридякина. Репатрированная из Германии, родом откуда-то из-под Вологды, она всегда держалась особняком, не имела подруг. Бледногубая и белобровая, с тяжелым лбом, нависающим карнизом, с красными ячменями на веках, она постоянно точно опасалась чего-то, точно была одна на свете.

— Как не стыдно? — по-северному окая, спрашивала она женщин. — Как же не стыдно, когда такое у нас строится! Для всех, для целого мира. А мы при инженерах, при всех... Стыдно!

Настасья кума Фелицата рванулась на Гридякину.

— Ты всю войну немкам-офицерам ритузы подстирывала, а теперь нас совестишь? Учить приехала с фашистских кормов?..

— И правильно вопрос ставит! — сказал Абалченко. — А оскорблять ее легко. Ты, Гридякина, плюнь, и меня Живов обозвал малахольным. Ни грамма не обижаюсь на таких Живовых. Ответственно, Настасья Семеновна, заверяю: колхоз наш здоровый!

— Его, — вопила Лидка, тыча в мужа пальцем, — тут дурачком на самолете выставили, а он за здравье колхоза распетукивает!

— Герасим Савватеич! — наступала Мила Руженкова. — Зачем подговаривали женщин не ехать на топольки? Женщины как одна собрались, а вы к ним с намеками. Не беспокойтесь, мы каждый ваш намек помним, пусть нас куда угодно вызовут — повторим!..

Она теснила бригадира от пожилых колхозниц, и те, загораясь ее азартом, косились на Живова, будто во всем был виноват только он, а они, женщины, вовсе и не ехали сюда. Живов опешенно оглядывался, не к месту объяснял Настасье:

— Что они мне поминают племяша, суку полицейскую? Я тогда под Сталинградом был, под Касторной. Ни костей, ни мяса не жалел! — Он тыкал в свои щеки и зубы, пытался расстегнуть на жирном израненном животе фуфайку.

— Есть Волго-Дон, раз его объявили, и будет! — выкрикивала ему Руженкова. — Вы хоть минуту слушали радио ночью сегодня? А мы слушали в клубе, не спали. С Казахстана люди пишут заявления, просят сюда. И откуда хотите просят и едут. Со всего Союза!..

Она прижимала к груди ладошку, бросала полные дрожи слова под одобрение Гридякиной, Сергея Абалченко и Лидки, переметнувшейся вдруг на сторону мужа; и Миле, совсем молоденькой, беленькой, так не шло ругаться, когда она выкрикивала:

— Хоть скрутитесь к поганой матери, а мы, весь хутор, будем строить новую жизнь! И природу покорять! И не суйтесь — руки обобьем! С башками вместе!..

На душе Настасьи становилось все прочней. В ярости Руженковой, Сергея Абалченко, даже Лидки и Гридякиной была привычная ей сила. С таким боевым, злым народом всегда работала здесь Настасья, одолевала и послевоенные трудности и ровный, недавно еще спокойный подъем хозяйства. С такими жить можно!

— Хватит. Наговорились,— прекратила она шум.— Давайте-ка на лесосеку.

## 2

У Настасьи совсем отлегло от сердца, когда она вошла с комиссией в дом зоотехника, заведующего животноводством, Голубова. Стройный и легкий, с резко вырезанными ноздрями, он поставил гостям стулья; шуточно и весело вытянулся по стойке «смирно».

— Слушаюсь!

Он был по-домашнему — в заправленных в носки штанах с полинявшими лампасами, в белой, без ремня, косоворотке, выказывающей его острые ключицы, вольный, широкий разгон худых плеч, молодых и подвижных. Шевелюра у него была льняная, верхней половины левого уха не было, а от обрубка спускался назад, к шее, кривой рубец.

— Ну, председатель,— он жиманул плечо Щепетковой,— скоро подай «по коням»?

— Вы казак? — не удержавшись, спросил Юзефович.

— Нет,— ухмыльнулся Голубов,— кацап. Кавалерист, правда.

— Вот и начнем,— чуть смутился Юзефович,— по-кавалерийски, с ходу... Инженер Петров займется домом, наверно, а я дворовыми постройками.

— Не стоит их, дворовые,— поморщился Голубов.— Не пишите. Чего за всякую мелочь тянуть с государства?

Жена Голубова — красавица грузинского типа, поражающая причудливой высокой прической и огромными длинными глазами, нефтяные зрачки которых без остатка заполняли все место,— внимательно посмотрела на мужа, хотя в слова его не вмешалась. Петров сказал:

— Мы включаем все, что наличествует в подворье. Есть положение. Не включать не имеем права.

— Почему? А если мое собственное желание? — удивился Голубов.

— Извините,— попросила хозяйка гостей, отозвала Голубова в сени и с выражением измученности, трудно скрываемой неприязни заговорила:— Валентин, черт знает что! Что за театральные жесты? Хочешь отдавать — молодец. Но, ради бога, без этого своего хвастовства.

Щепеткова пояснила инженерам:

— Она у него из каких-то профессоров, что ли... Недавно живут.

Вернувшись, Голубов сказал:

— Раз у вас положение такое... балахманное, фиксируйте хоть каждый гвоздь. А я приложу письменное мнение.

Он расторопно помогал инженерам, повеселел в работе, и опись дома, двора и сада провел мгновенно.

— Все! — Голубов хлопнул ладонью о ладонь, потащил гостей в комнаты.— Теперь выпить по маленькой. Чтоб оси не скрипели по пути в новый колхоз.

— Ни в коем случае.— Петров попятился к порогу.— Никаких выпивок.

Голубов, недоуменно моргая, остановился среди комнаты.

— Я ведь,— сказал он,— от души прошу. Сам выращивал, давил. Не пьянствовать же, а по одной, для счастья...

Лицо Голубова быстро краснело. Вмешалась Настасья:

— Товарищи, так в хуторе нельзя. Неладно выходит. Раз просит хозяин, хоть пригубить надо.

Юзефович, оборачивая на шутку, загородил Петрову дверь.

— Я — местком!.. Беру все на себя за подписью и печатью. Нет, серьезно, как местком говорю: не пьянка ведь.

— О! — обрадовался Голубов, ставя на стол и обтирая полотенцем бутылку прозрачного, соломенной желтизны, вина. — Тащи, Катя, стопочки. Живо!

Катерина не спеша вынула из шкафа чистые тарелки, положила хлеб и внесенный из сеней замерзший кирпич сала. Она была точно на экскурсии среди этих предметов — буханки деревенского хлеба, сала, горчицы, по-хуторскому налитой в блюдец. Колыхая высокой прической, такой же удивительно нефтяной, как ее зрачки, она вынула четыре стопки, расставила их перед Щепетковой, обоими инженерами и мужем. Голубов дернул белесой бровью, принес еще одну, поставил жене. Он принялся наливать, обхватив бутылку большим и указательным пальцами. Остальные три у него не действовали. Рваный шрам, врезанный на полсантиметра красной елочкой, пересекал руку от мизинца до запястья, уходил куда-то под рукав. В комнате, точно прохладой осеннего сада, свежо запахло сибирьковым вином.

— Женушка! — встряхнув шевелюрой, сказал Голубов. — Да улыбнись же ты наконец! Поднимай за новую нашу жизнь на новом хуторе. — Он выпрямился над столом, помолчал и уже строго, торжественно произнес: — Давайте за Сталина, за ЦК... Конечно, Сталин знает: ни весь Дон, ни в отдельности щепетковцы не подведут. Не первый раз. Не последний. А ты, Семеновна, командуй крепко. Здесь народ такой. В огонь? Пойдет в огонь. В воду? В воду!

Истерический женский визг прорезал тишину улицы. Будто сирена катера, он сверлил воздух, вибрировал, быстро приближался. Под самым домом Голубовых взлетел на высочайшую ноту:

— А-а-а!.. На колхозников наговаривать? Гробишься начальником? Сама до него доведу!

Одна Катерина осталась за столом, а Голубов, Настасья, инженеры вскочили на крыльцо. Соседка Голубовых — молодая Ванцевская — наступала на инвентаризатора Клаву Сергиенко, указывая на сбегавшихся женщин, голосила:

— Все соседи, вот они! Не дадут сбрехать, скажут!

Клава Сергиенко, всхлипывая, бросилась к Петрову, стала объяснять, что в саду Ванцевских стоят плетень и уборная, которые она, Клава, зарегистрировала вчера в другом подворье; что плетень и уборную Ванцевские ночью перетащили к себе, чтобы плюс к ихним постройкам попали в опись еще и эти. Больше запишется — больше компенсации хозземам.

Около Клавы и женщин стоял появившийся из своего дома Ивахненко. Придерживая наброшенный поверх майки овчинный кожух, улыбаясь, он поднялся на голубовское крыльцо и, шутя, по-простецки, как свой, толкнул в хату дверь, окинул взглядом стол.

— Угощаетесь с руководством? — подмигнул он Голубову и, точно бы на свидетелей, оглянулся на сбившихся у крыльца соседок. — Не плохое, Валентин Егорович, дело. Вино, вижу, редкостное, сибирьковое!.. Да ты не сердчай, чудак-рыбак. Шучу, — опять подмигнул он уже не Голубову, а женщинам.

В саду Ванцевских толпа. У забора бедарка Конкина — заснеженная, видно завернувшая по пути из Червленова. Сам Конкин во дворе, с ним, приоткрыв рот, секретарь Совета Люба Фрянскова. Молодая Ванцевская хватала за шиворот то собственного трехлетнего ребенка, то мальчишку своей золовки, толкала их на Юзефовича и Петрова.

— Может, и это не наши, приبلудные? Конфискуйте и их, когда права есть! И мотоцикл мужнин волоките с сарая — может, тоже не наш? И поросенка, пожалуйста! — Она совала рукой в дверь катуха, откуда благодушно выглядывало двухпудовое шетинистое рыло.

Бабка Ванцецкая, крестясь, точно делая физзарядку, божилась, что уборная и плетень испокон веку тут и стояли, на этом самом месте. Аккуратненькая, точно скворечник, уборная и новый, красного тальника плетень красовались среди сада, и люди с улыбкой отводили глаза от приотпанного у стояков снега, свежее присыпанного половой.

Голосом, полным слез, Клава доказывала Петрову:

— Нечестно, свинство просто. Я три раза предупреждала их, не слушаются!.. Вот он, тот сучок ромбиком, что я видела на плетне Акимочкина. Я ходила сейчас к Акимочкину, там на месте плетня все затрушено снегом.

— Акимочкин твой свояк? — холодно спросила молодайку Ванцецкую Настасья.

— Засыпались, — констатировал Ивахненко. — Комбинировать — оно тоже башка нужна...

Оповещенная кем-то, появилась Дарья Черненкова. Без лишних, мешающих делу «психологий» она энергичным шагом обошла уборную, посмотрела в щель под низ. Заглянула за ней и толпа. Девственно белый снег лежал под неприжившимся строением.

— Крестишься?.. — спросила Дарья бабу Ванцецкую. — Ты б вместо того хоть бы раз уж расстаралась на этом месте.

Загремел хохот, наперебой посыпались предложения:

— Давай, бабка, может, не поздно еще.

— Хочешь заработать — действуй.

Инженер Петров поманил Конкина от Любы Фрянсковой, не без удовольствия заметил:

— Ваши подопечные...

— Верно, — согласился Конкин, шагнул на середину круга, крикнул: — Товарищи! Минуту! — И, обернувшись через плечо к Петрову, объяснил: — Сейчас «подопечные» нас рассудят.

Вздернув подбородок, прижав руки по швам, он стал, как перед строем.

— От милиции, — негромко и ясно произнес он, — никому ничего не будет. Криминал недостаточный. Даже в газете статья не появится. Кто же станет из-за мелочи позорить хороший колхоз? И по партийной линии (у Ванцецких никого нет коммунистов) пройдет гладко. А другое, худшее, может быть... Вот он, инженер Петров. Человек, отвечающий за инвентаризацию нашего хозяйства! Я о нем к примеру только, он меня понимает... Вернется он в Ростов и начнет делиться там, что у нас видел. Громко нельзя обливать грязью все Волго-Донское строительство, так он не громко, он по секрету своей жене, близким сотрудникам: «На Дону великие дела народные, а народ этот ворует. В Ростове вам радио с шести утра про героизм долдонит, в журналах у вас цветные красивые фото, а я там своими глазами другое видел в колхозе». И добавит, что колхоз — имени Щепеткова. И расскажет, что шепетковцы получили в боях за Родину больше двухсот орденов. В том числе, Нина, твой муж, Анатолий Константинович Ванцецкий, — четыре. Твой, Евдокия, — три. Твой, Фелицата Васильевна, покойный — шесть... А отец Ванцецкого в девятнадцатом году запевалой и знаменосцем был у самого Матвея Щепеткова. На этом вот месте, где мы стоим, ехали они, революционеры, верхами на конях бить паразитов, пели: «Вихри враждебные веют над нами...» И вот нас, ихних детей, не на советском всенародном суде, а за темными углами шептуны будут судить... Есть у нас... — Конкин

вздернул над головой капелюху, сжал так, что косточки на кулаке побелели.— Есть у нас, товарищи, большевистская, высокая гордость?!

— Е-есть!! — взвилось перед Любой, отдаваясь в ее ушах. Люба не сразу поняла, что это кричит она. Кричали и далеко позади и кругом Любы.

— Стойте! — потребовал Конкин, возбужденный, как и все, но, как и вначале, вытянутый перед людьми в струнку.— Ваше мнение насчет Ванецких? Инженеру Петрову знать надо!.. Смеялись — значит, поддерживаете поступок?

— Степан Степаныч! — басом отозвалась Дарья.— Да ведь пусть бы Ванецкая с под коровы, что ли, накидала б под будку ту... А так — ясно же, что смешно.

Конкин, еще весь напряженный, еще с капелюхой в руке, глянул на будку — аккуратную, крашеную,— сам засмеялся и резко скомандовал:

— Шагом марш! К Акимочкиным ее! И ты, наблюдатель, работай,— толкнул он Ивахненко, сам стал выдергивать стояк плетня.— А ты чего? — крикнул Нинке Ванецкой.— Держишь нейтралитет? Ты будку держи.

— Она,— захохотала Дарья,— разглядывает, где взяться! Сюда перла — не разглядывала!..

Настасья Семеновна, как и все, со смехом двинулась в процессии, глядя на улыбающиеся лица, на Любу Фрянскову, которая высоко, будто хоругвь, несла слетевшую с петель дверцу. Но Щепеткову потянули сзади, крикнули, что надо бежать на Крутой проулок. На Крутом Фрянчиха организовала у соседней скандал с инвентаризатором Малышенко, поврала его ведомость, пошвыряла на улицу калоши, вот-вот отмутузит его самого.

Народ кинул плетень и уборную, устремился на Крутой — шумно и весело, как всегда бывает с толпой, когда случается общее представление. Инженер Петров на ходу окликнул Конкина:

— И там «речу» про меня закатите?

Мимо Щепетковой и Любы прошагал Голубов, шевеля ноздрями, выдохнул:

— Вот и строй с этими подонками коммунизм!

## Глава десятая

### 1

Но независимо от скандала на Крутом проулке коммунизм строился. Земснаряды великой стройки каждый час вынимали со дна Дона и укладывали по одиннадцати тысяч кубометров влажного грунта, а сухую, смерзшуюся землю рыли триста бульдозеров, триста пятьдесят экскаваторов, девятьсот скреперов. Пять тысяч самосвалов перевозили эту землю; на множестве машин были надписи: «От трудящихся Белоруссии», «От рабочих Урала», «От колхозников Украины». Ребята и молодые девчонки — вчерашние десятиклассники, сегодня прославленные люди гидрообъектов — вводили небывалые раньше методы производства, и писатель Борис Полевой печатал в «Правде» статьи о характере советского человека. Газеты со статьями шли через «Союзпечать» в Африку, в Индонезию, на Кубу, будили сознание белых и цветных тружеников. Ростовская контора «Облархпроект» по заданию облисполкома откомандировывала группы геодезистов, геологов, архитекторов, санврачей, которые на будущих берегах будущего Цимлянского моря планировали новые поселки.

На дне будущего моря спешно создавались каменные карьеры. Нужно было использовать местные ресурсы ракушечника для волго-донских объектов. На карьерах срочно вербовались рабочие. В замать, в морозы карьеры открывали свое производство, чтобы выдать стройке плановую продукцию, просуществовать до затопления и уступить место морским волнам.

## 2

Начальник одного из таких карьеров — постоялец Щепетковых, Илья Андреевич Солод, — поужинав, сидел с газетой у себя на квартире. Был он крупнолобый; волосы надо лбом росли уже высоко и редковато, а на висках еще буйно, и поэтому, когда он взъерошивал их пятерней, торчали рогами. Солод отдыхал, оглядывал свой залик.

Как и для тысяч людей, в эти дни разворота стройки неожиданно повернулась его жизнь. С детства работал только на заводах, только в больших, громыхающих городах, и вдруг — хутор, вернее глухая степь за хутором... Он потирал примороженное ухо, ставшее горячим, мягким, и думал о несусветных планах, спущенных его карьере. До приезда сюда он отвечал за один лишь закрепленный за ним станок, привычно ходил в почетных людях завода и с чувством пролетарского, вроде бы дворянского, превосходства посмеивался над своими дружками, пребывающими в директорах. Теперь же, влипнув в их шкуру и увидев, что это совсем не мед, он изумленно, в пять этажей ругался, и то мысленно, так как основным составом на карьере были женщины. Но в Солоде ответственность за порученное была отформована и отлита эпохой настолько крепко, что стала почти подсознательной, присущей ему, как его серая-седеющая на «рогах» шевелюра или музыкальные к машине руки. «Надо — значит выполни. Все ясно». Но безнадежно туманными были его отношения с хутором. За работу на карьере Солод выплачивал живые деньги, поэтому женщины валили к нему, хотя в колхозе появились собственные неотложные задачи по вырубке леса. Солоду было неловко смотреть в глаза Щепетковой, тем более, что она оказала ему в своей хате гостеприимство, но нельзя же было отказываться от рабочей силы.

Местный райком прикрепил его к парторганизации колхоза, и сегодня Дарья Черненкова пригласила на правление, куда вызывали колхозных коммунистов. Собирались на семь, сейчас было шесть. Илья Андреевич так намерзся за день в кепке и демисезонном реглане, не приспособленном для степи, что, даже поев горячего, не сдерживал дрожи в мышцах. Казалось, и сейчас по прикрытым векам сечет острая снеговая крупа, забивает ресницы, брови. Глаза поводило дремой, но Солод упрямо читал. «Дай себе поблажку — за неделю орангутангом тут станешь».

В доме Щепетковых все для него, рабочего человека, было чудным: разговоры о пчелах, что зимуют тут же, под полом, о вине, которое хранится не в бутылке и даже не в бутылках, а прямо в двух кадках под рядниной и, как говорят, может забродить... Тесто здесь месили в деревянном, долбленном из цельного ствола допотопном корыте, а рыбу ели ту, что попадает в вентери в ерике за садом... Недавно Солод собирался в командировку в Европу, думал увидеть необычайное, а оказалось, в четырехстах километрах от его Таганрога лежит незнакомая страна. Что он знал о колхозах? Что одни — миллионеры, а другие — отстающие? Но разве знал, например, об иконе, которая рядом с портретом Толбухина висит над кроватью бабки Поли? А ведь Поля не просто старуха, а бывшая подпольщица, кавалеристка, героиня гражданских боев.

Солод поглядывал из своего зала в кухню. Настасья Семеновна, с которой он решил идти на правление, еще не возвращалась, Виктор, начесав перед зеркалом чуприну, ушел в клуб, и в кухне были только

Раиска да бабка Поля, эта старуха, согнутая в пояснице под прямым углом. Раиска готовила уроки, а бабка накладывала на мешок заплаты — глазами в пяти сантиметрах от иглы.

Странный народ! В доме всего хоть завались, хоть снабжай целый район, а старуха — главный распорядитель этого добра — и секунды не разрешает себе отдохнуть, погреть у печи скрюченную поясницу. Ишь, с каким удовольствием латает! И ведь мешок-то вовсе не нужен сейчас, силища мешка в том, что является он частью хозяйства!.. На столе лампа, поставленная в тарелку, чтобы вымытый, скобленный ножом обеденный стол не пах керосином. Лампа светит тускло, так как треснутое стекло облеплено почерневшей бумагой. Каждый день перед потемками старуха отцарапывает обгорелую бумагу и, помазав трещину кожурой вареной картошки, наклеивает свежую, оторванную от газеты полоску. Солод купил на днях новое стекло и дал старухе. Та бережно положила подарок в ящик, а старое стекло по-прежнему склеивает со всей старательностью. Солод для интереса принес второе; и со вторым повторилось то же.

Скупость? — спрашивал себя Илья Андреевич. Нет, наверно, психология, о которой раньше он знал лишь понаслышке и которая, как ему думалось, давно умерла. Выходит, что не умерла! Живет, дышит это крестьянское уважение к вещи, за которую надо платить хотя бы копейку... Ведь муку, не меряя, сыплет бабка щедрой рукой в корыто, когда ставит хлеб; не задумываясь, режет на суп курицу, а то и индейку — свое!.. Своими были и разостланные по полу коврики, искусно сплетенные бабкой из лоскутов, и пирамиды ярко-оранжевых, чернополосых тыкв в кладовке, и незыблемый, сколоченный из двухдюймовых досок мучной ларь — как поставленный лет тридцать на свое место, так и занимающий его до сих пор. «А весной из этого всего,— думал Солод,— душа вон. кишки на телефон. Даже и зал не удержится!..»

Удивительный зал, куда поселили Илью Андреевича, был до его приезда помещением нежилым, но самым лучшим и даже торжественным в доме. Здесь чинно, словно в музее, стояли три мягких стула — один в простенке между окошками, два других по краям шкафа, именуемого горкой. За стеклом в горке виднелись бумажные вощеные розы, пасхальное яйцо-крашенка, цветная открытка «Да здравствует Первое мая» и четыре фарфоровые чашки с золотой каймой, поставленные все в ряд, в одну сторону ушками, каждая на свое блюдо. Чашками этими, Солод видел, не пользуются, горку не открывают, и служит она лишь украшением, как могла бы служить редкостная картина. Основной же достопримечательностью была уступленная Солоду кровать. Снежно-белая, она отблескивала крахмальным разутюженным тюлем — жестким, точно проволоочная сетка,— накидками, брошенными на никель спинок, воздушной дорожкой поверх огромных тугих подушек. Разбирать все это было целым делом, и Солод, возвращаясь с работы, никогда не мог прилечь, злыми глазами глядел на этот кружевной спальный агрегат. Он было запротестовал — «пусть хозяйка им пользуется», — но оказалось, что в боковушку, где Настасья спит с детьми, кровать не войдет и что вообще эта кровать, как и горка, присутствует для красоты.

Абсолютным чужаком в зале был новый электрошнур, протянутый с улицы к середине потолка. Больше ни в одну комнату эта техника не пошла, да и в залике до появления Солода ею, должно быть, не пользовались.

Сегодня свет мигал, волоски в лампочке то накалялись, то краснели. Солод протер заболевшие глаза и, свернув газету, вышел в кухню.

— Начитался? — спросила старуха. — Ну садись, чего там пишут?

— Про строительство,— ответил Илья Андреевич.

Руки бабки, такие же чистые, как и ее ситцевый платок на голове, как белая ее кофта, были с огромными, в голубинное яйцо, ревматическими гулями на суставах и выпуклыми, точно шпагат, венами, но игла в пальцах держалась твердо, стежки ложились плотной, ровной строкой.

— Вот и наши,— сказала бабка,— опять из-за этой стройки поскублится. Андриан пришел сегодня в обед, поклат в вот тут, на стол, заявление Настасье, что уходит из колхоза. Та прочитала, сложила, еще и пальцем провела, чтоб сложилось лучше, да и сунула в печку, в огонь. Характерная, черт! Говорит Андриану: «Охолонешься, тогда станем балакать».

Властная и даже жесткая старуха была с первого дня расположена к Илье Андреевичу — человеку солидному, начальнику. Она ласково разговаривала с ним, сушила сапоги, отыскала для него в сундуке ложку «фраже», тогда как вся семья пользовалась деревянными.

— Андриан,— с гордостью за сына объясняла она,— изо всех Щепетковых самый скаженный! Глянул — горит заявление, думала-к стукнет Настасью. Один раз оно и неплохо бы, все ж таки старший брат мужнин...

Бабка Поля протянула Солоду иглу, чтоб вдел нитку, и, взяв обратно, заметила:

— А вчера смехá было на базу у Ванецких!

Она закутила головой, стала в подробностях излагать, как Ванецкие вздумали ночью перехитрить инженеров — на карачках (свекруха, невестка и деверь с грыжей) перли на горбу к себе во двор плетень от свояков, а после гоняли по следу Кобеля на веревке, чтоб заличковать снег.

— Вас сегодня и собирают судить это дело,— определила бабка.— Чудаки Ванецкие,— засмеялась она.— Дворы пишут, чтоб налогу накинуть, а они суют и свое и чужое им под карачдашик. Ты, милота, молчи: вы все, партийные да главные, в одно. Только и мы тоже понимаем, что к чему. Разве власть допустит порушить наш хутор? — с укоризной в адрес волнующихся дураков усмехнулась бабка.— Наш-то хутор перед революцией заслуженный!

— Да кто же заслуги снимает? — пораженный таким оборотом, воскликнул Солод и начал растолковывать о строящихся гидростанциях, о линиях передач с их вольтажами, трансформаторами, протяженностями.

— Люди говорят,— нисколько его не слушая, перебила бабка,— что вредители хотят нас выселить отсюда, а в садах делать курорты... Дурость это. Кто ж им разрешит, вредителям? Мол, пионерские лагеря будут для детей. А наши цуцки, что ли, а не дети, чтоб их с садов швырять? Вот хоть она — не дитё? — показала старуха на Раиску, которая оторвалась от тетрадок, слушала с напряженным, болезненным интересом.

— Что вы мелете? При девчонке еще! — возмутился Солод.— Это ж провокация. Попросту брехня!

— А чего ж, может и брехня,— охотно согласилась бабка.— Только сселять не будут, не лишены ж какие-нибудь здесь живут.

«Или за шиворот ее да в милицию, узнать, кто ей нашептывает? Или сегодня на правлении просигнализировать?» Солод тер щеку и, стараясь потоньше выявить провокаторов, зевнул и, словно без умысла, заинтересовался:

— Кто рассказывает все это?

— А все.

— Ну уж и все. Именно кто?

— Ишь, «именно!» — подмигнула ему старуха и ширнула в его сто-

рону иголкой.— С тебя, милый, следовательно — как с дерьма пуля. Приткый!.. Чайку попьешь с медом? У нас свой, сахаристый.

Илья Андреевич отказался, начал продувать папироску, понимая, что, как равнодушно ни продувай, дурацкого положения не выправишь... Однако уходить от живого уюта кухни в холодный, необжитый залик не хотелось.

— Ухо-то у тебя раздуло. Возьми вон гусяного жиру в жестянке, намажь,— посоветовала бабка.

Настасья пришла усталая; как всегда безразлично, кивнула Илье Андреевичу и, еще не расстегнув пальто, подвинула утюг с припечки на жар, кинула на стол суконце для глажки белья. Гибкая и смуглая, с невидными при тусклой лампе морщинками, она походила на девушку.

— Ну чего там, в хуторе? — оторвалась от мешка бабка Поля.

— Ничего,— бросила Настасья. Через секунду чуть мягче добавила: — Зойка у нас, должно, днями отелится. Не просмотреть бы, мороз большой.

— А ты не зорюй. как барыня. долго, вот и не просмотришь.

«Холодная война»,— определил Солод и, чувствуя себя лишним, поднялся. Но бабка вернула:

— Чего подхватился? У нас не кусаются.

Настасья сбросила пальто, потрепала Раиску по голове, спросила, как уроки, и, лизнув палец, шлепнула по утюгу, принялась выглаживать Витькину рубаху. Гладила она быстро, но каждый сантиметр с такой тщательностью, словно это была не рубаха, а подвенечное платье сплошь из кружев. Вторую сынову рубаху, чуть лишь тронув, кинула в таз с водой.

— Чего ты ее? — усмехнулась старуха.

— Пересинила. Витя не любит засиненное.

Она наклонилась отполаскивать, но бросила взгляд на вырез своей блузки на груди, досадливо повернулась спиной к Солоду. Отжав рубаху, понесла на мороз, далеко обходя квартиранта, вроде он загоразживал дорогу.

Илья Андреевич не предполагал, что еще в день приезда вызвал он в хозяйке острую неприязнь: посягнул на память об Алексее — сел на тот же стул у горки, на котором любил сидеть Алексей и который — так повелось в семье — никто теперь не трогал... Настасья тотчас установила на стуле швейную машину, кипя против ввалившегося в дом бесцеремонного постояльца. Правда, дня через два, увидав, как он, умывшись и не зная, куда повесить полотенце, повертел его в руках и мокрое сунул в чемодан, подумала: «А что делать человеку?.. Не знал — и сел». С тех пор она старалась смиряться, видя неудобства, которые доставляет квартирант. Сдерживалась к нему и на службе, потому что обеспечивать колхозниками карьер предписывал облисполком.

Перед уходом на правление Настасья присела, черпнула ложку борща и, не отхлебнув еще, окликнула свекруху:

— Мама! Витя, когда пошел в клуб, ел борщ?

— Так, поковырялся.

— Отчего? Нездоровый? — Настасья испуганно задержала ложку.— Что ж вы ему хоть яичню не поджарили, мама?

— Жарила. Десяток умял на сале дите твое! — засмеялась бабка.— Что ты трусишься над ним, держишь под подолом? Ешь сама уж, за ради Христа, опоздаешь.

— Вместе пойдем? — спросил Солод.

Настасья удивленно глянула, сказала, что ей надо еще к соседям.

Илья Андреевич отправился сам. Когда вошел в контору, люди едва подняли равнодушные глаза, и лишь парторг Дарья Черненкова по-своейски крепко и весело тряхнула его руку своей широченной рукой, сообщила во всеуслышание:

— Может, кто не знает? Директор Солод. Стал до нас на партийный учет.

— Чего же не знать атамана,— без дружелюбия, но, кажется, и без злобы отозвались со скамеек.

Сбоку засмеялись.

— Это хорошо, что Солод. Квасу наварим.

Илья Андреевич неуверенно улыбнулся, поздоровался, а Дарья, не выпуская его руку, бабьи ласково потряхивая, провозгласила опять-таки для всех:

— Теперь почти что наш колхозник.

Она взяла у вошедшей с улицы девочки ребенка, ловко распеленала и, поднимая вверх мокрые красные ножки, обтерла кричащего младенца, сунула ему грудь. Перед глазами Солода мелькнул пунцовый могучий сосок. Дарья объяснила: «С утра до дома не добьюсь» — и повернулась к старшей девочке: «Задачки порешаешь — побань полы с Нюсей. Митьке каши дай кабачной, Тоське — молока. Лена нехай творог откинет в черной кринке да кизяк внесет со двора». И, продолжая разговор со своим мужем, бухгалтером Чернековым, отрезала:

— По уважительной причине отсутствует коммунист Конкин. Он в районе. А Чернеков-младший — по неуважительной. Подумаешь, температура! Баба и рожай, и корми, и вас, красавцев, обшивай, обстирывай — и все здоровая. А мужику чуть кольнет в пятку, он и копыта в гору. Телячьи нежности!..

Народ засмеялся. Бухгалтер — видимо, штатный секретарь всех заседаний — послушно спросил у супруги:

— Так как же отмечать?

— Так и отмечай: «Неуважительная». Являйся, когда вызывают! «Крепко», — ухмыльнулся Солод.

Лампочка под потолком мигала так же, как у него дома, в зале, и Дарья послала уборщицу к мотористу.

— Передай — будет правление, нехай крутит получше.

Вошла Щепеткова, и разговоры затихли. Отправив девочку, Черненкова села рядом со Щепетковой за отдельный стол, где разместился и Чернеков с очиненным карандашом, листами бумаги для протокола. На повестке стояло сообщение бригадиров о плане эвакуации хозяйства. Все мужчины курили в кулак, рукой разгоняли дым, вроде от этого будет меньше накурено. Илье Андреевичу тоже хотелось затянуться, но он считал это неудобным. Он прилежно слушал выступления, пытаясь войти в незнакомый мир, где ему предстояло теперь жить партийной жизнью.

С первой же минуты он заметил враждебность между двумя группами. Одной группой были бригадиров, другой — Щепеткова, парторг Черненкова, бухгалтер Чернеков, усевшиеся в ряд за столом, и с ними выступающий сейчас заведующий животноводством Голубов. Не зря Щепеткова дала ему первое слово. Этот подтянутый, ухарский, с отсеченным ухом мужчина доказывал такую уж сверхсказочную, райскую прелесть переселения, что даже Солод, настроенный в духе побед, поживался: «Эк его дерет заведующий!..»

Если группа Щепетковой была как бы правительственной, то бригадиров составляли оппозицию. Солод сидел у стены, к ним вплотную,

слышал их переговаривания, усмешки и убеждался, что был последним чудачком, когда думал рассказать здесь о бабке Поле. Бригадиры — эти члены правления, ум и власть колхоза — пугались событий не меньше бабкиного. Вслух они не возражали против переезда. Решение есть решение, что возражать? Однако, если Голубов говорил об отборе люцерновых семян, чтобы сеять на новой территории, бригадиры горько перешептывались: «Вырастет оно по суходолу. Ага!.. На суходолах суслики и то в своих кублах пекутся!..» А когда Голубов с гордостью доложил, что его новая линия на разведение калмыцких коров удачно совпала с моментом и он убежден: калмыцкая — это наилучшая порода для степи, — ему, вроде шутя, но уже громко бросили: «Там, родненький Валентин Егорыч, нужна такая порода, чтоб исть не просила...» Белесый Голубов стал красным, точно петуший гребень.

— Бюджетом США, — отчеканил он, — семьдесят миллионов долларов выделено на уплату за такие побаски. Всего на демократические страны — сто. На нас — семьдесят. Так официально и указывается: на подрывную деятельность в Советском Союзе. А вы пишите, как котята слепые!

Действительно, происходящее воспринималось бригадирами слепо. Второй оратор — Фрянсков — в своем сообщении вовсе не сообщал, а лишь растерянно спрашивал, куда, хотя бы примерно, надо будет высеяться, потому что, ничего не зная, он не может наметить планов эвакуации полеводства. Это Илье Андреевичу казалось резонным. В самом деле, как планировать, если нет данных? Он не завидовал Щепетковой, перед которой стоял этот солидный пожилой человек и, оскорбленный ролью выведенного к доске мальчишки, обиженно говорил:

— Вы мне, Настасья Семеновна, поручили докладывать... А сами вы можете хоть тропки пояснить, сколько понадобится сеять пропашных, сколько хлеба, огородов? Можете?

Он посмотрел на бригадиров.

— Разве ж, товарищи, душа не мается за каждую пшенину, что не знаешь, как ее сеять, куда ее, бедную, ткнуть придется?.. И ночью прокинешься — все думаешь, и обратно заснешь — оно перед тобой...

— Это, — перебила Щепеткова, — не для правления, Дмитрий Лаврыч. Дома пожалуешься. А здесь надо бы доложить, как для одних условий переезда следует готовиться в полеводстве, например, если попадем на пески, на кучугуры. И как в одно же время быть готовым для других возможных условий, для третьих. А ты про сны, про то, как ночью прокидаешься... Запиши, — продиктовала она бухгалтеру Черненкову: — «Полевод не подготовился. Председателю колхоза Щепетковой оказать ему помощь в подработке плана».

Она вызвала бригадира по виноградарству Щепеткова. «Вот он, — понял Илья Андреевич, — старший мужнин брат, что хотел ударить».

Щепетков с места, не поднимаясь со скамьи, сказал, что виноград не коровы, про которых расписывал тут Голубов. Виноградники куда в голову взбредет не сгонишь, у них корни по семьдесят метров...

Настасья Семеновна опять продиктовала: «Бригадир не подготовился. Перенести на очередное правление». И, жестко глянув на деверя, сказала, что в другой раз его по голове не поглядят. За несерьезное отношение сделают выводы.

Повестка была исчерпана, народ задымил уже в открытую, потянулся к Настасье с расспросами о тягле, о смазке и горючем, но она остановила:

— Есть еще разговор. Про наше с вами поведение на описи.

— О! — оживилась Черненкова, хлопнула себя по колену. — Режим, Настя. А то пораспускались, дьяволы!

Настасья Семеновна, зачесанная на строгий пробор, спокойная, большая, напоминала Солоду учительницу вечерней рабочей школы, которая, привыкнув обращаться с детьми, покровительственно держится и со взрослыми. Смуглой рукой она переставила чернильницу и показала на лобастого мужчину, блещущего сталью литых выпуклых зубов.

— Посмотрите. Перед вами Герасим Савватейч Живов. Член правления. Числится в лучших бригадирах. Имеет грамоты от районной сельхозвыставки и от областной. Но плохо понял он свои отличия. Помолчи! — одернула она заговорившего было Живова.— Плюхо, говорю, понял он свои отличия. Мало, что не пресекает бабье радио, так еще добавляет и сам. Агитирует, плачет, что его с хутора гонят, как кулака!.. И не один Живов хорош... Решите с ним — и о Фрянскове скажете. Пусть не доложил Фрянсков о полеводстве, не сумел. А жену собственную тоже не умеет призвать к порядку? Живов и Фрянсков — оба члены правления, хозяева. Как же нам с рядовых теперь спрашивать — с Ванецких, с Акимочкиных?

Этот разговор был каждому ясен, не то, что обсуждение какой-то туманной эвакуации. Загалдели все. Правда, больше не на тему, а об инвентаризаторах, об ихних актах, о неправильной описи дворов.

Настасья, замечал Солод, нездоровилось. Она сводила над переносем брови, прикрывала и потирала глаза, но с удивляющей Илью Андреевича выдержкой распутывала выступления, требовала вынести Живову строгий выговор. Бригадиры же явно крутили. На словах порицали Герасима Савватейча, даже всячески обзывали, однако записать выговор воздерживались; и скорей всего потому, что думали, как Живов, только им повезло, удержали язык за зубами, а он, их товарищ, высказался... Настасья тоже понимала, что судят не одного Живова, что именно потому нельзя давать поблажку, и шла против правленцев. Она видела, что вызывает в них, в постоянной своей опоре, открытое отчуждение, но путей у нее было только два — либо с самого начала борьбы за новый хутор поддаться течению, либо повернуть это течение любой ценой.

Когда же бригадиры стали кое-как соглашаться с выговором — уже накалившиеся до предела, озлобленные нажимом Щепетковой, — на нее обрушилась новая неприятность, теперь с противоположной стороны. Черненкова все время, пока выступали коммунисты, выжидала, как это делает прокурор, слушая стороны и подбирая материал. Теперь же, когда осталось лишь голосовать, она заявила, что о либеральничании членов партии у нее будет отдельный разговор в другом, особом месте... Что же касается беспартийной Щепетковой, то она во главе доверенного ей правления заняла гнилую позицию, и, если не исправит, вмешается райком. Выговор в политических делах не мера. Живова надо снять с бригадиров. Жену Фрянскова, а с ней молодуху Ванецкую и Акимочкина (чтоб духом всех троих не пахло в колхозном социалистическом обществе!) — с позором выкинуть из колхоза.

— Так, Дарья Тимофеевна, выкидать — прокидаемся, — улыбнулась Настасья. — Хватит им и общественного порицания. А говоришь, райком?.. Это хорошо. Попросим тебя, товарищ Черненкова, связаться с райкомом, он разберется, поможет.

Солод понимал, какую огромную работу проделывает Щепеткова каждым своим спокойным по виду словом. Удержать собрание на таком, в сто восемьдесят градусов, повороте — дело сложное даже для профессионального партработника, не то что для домашней хозяйки, избранной в председатели колхоза.

«Молодец. Умница!» — окончательно решил Солод и, хоть был здесь

новичком, которому скромнее бы помолчать, вмешался в разговор. Оценивая то обстоятельство, что правление, сколоченное из Фрянсковых и Живовых, организационно безграмотно, он для поднятия правленческого духа назвал правление штабом, который взыщет с виновных, но гнать не допустит. Рубкой дров полезно заниматься в лесу, а рубить головы — дело, не нужное ни на заводе, ни здесь. Все решит штаб, то есть мудрые сидящие здесь бригады, командиры колхоза!

Эффект от ораторского демарша Солода получился средний. «Организационно безграмотные» бригады в секунду раскусили несложный ход Ильи Андреевича и, довольные разрядкой, со смаком покатали: «Вот уж спасибочко, не обездолил», «Да-а, произвел в чины!», «Пожаловал снохам по серьгам».

Все же в противовес Голубову, даже самой Черненковой, правление после часового гама и крика постановило: Фрянсковой, Акимочкину, Ванцевой поставить на вид. Что касается Живова, то взыскание ему ограничить выговором.

Настасья поднялась закрыть заседание и примирительно улыбнулась Живову.

— Ну, Савватейч, тебе как раз в бригадах и выправляться.

— Да что это на самом деле! — вскочил вдруг Андриан Щепетков. — Нарсуд чи богадельня здесь? Только и слышишь: «выправляться», «поправляться»... Пускай Черненкова у себя на заседаниях этим занимается. А мы, правление, явились за другим. Не закрываем правление!

— Сядь, Андриан Матвеевич, — сказала Щепеткова.

— Что она усаживает?

Озирая бригадиров, с треском сбивая ногой чью-то палку, Андриан пошел к столу и, не обращая внимания на Щепеткову, повернулся к бригадирам.

— Я спрашиваю: поочуманели вы все наконец, что трепотней занимаетесь? Дюже оно важно, как Герасим Живов насчет кулаков выразился ихнему благородию Настасье Семеновне! Вы скажите, что делать с виноградниками? «Цобе» им не скомандуешь, чтобы шли до места. Зальет их морем к фенькиной матери, тогда нырять под воду за ними? Вот об этом думать надо. Всем вместе, гуртом! А не то, что отметили: «Андриан, мол, Матвеевич не подготовился» — и вся забота... Разве так с колхозным богатством делается?!

— Сядь, — повторила Щепеткова. — Так и делается. Подготовь предложения — тогда заслушаем. Все! — пристукнула она ладонью.

— Ах так? — Андриан глянул на Солода. — Директор! Принимай к себе. Желаю в нормальном месте работать, а не в богадельне.

— Да, собственно, ведь что получается?.. — замаялся Солод.

— А ничего. Или. может, по конституции мне не положено на стройку коммунизма?.. Завтра прихожу оформляться!

Мужчины в поддержку Андриана перед Щепетковой зашумели, что виноградники здесь, в их колхозе, — действительно главное. Щепеткова сказала:

— И дисциплина — главное.

— На одних нас не годится, Настасья Семеновна, с этой дисциплиной ехать, — раздался голоса. — Живова, уважаемого человека, за одно слово дерем, а комсомольцы бандитствуют — и пожалуйста.

— Как — бандитствуют?

— Нехай Фрянсков расскажет...

Фрянсков угнулся, махнул рукой.

— Не хочет, — хмыкнул Андриан. — И с чего бы? Дела ж ведь у него веселые: жинке замечания пишут, а сыну было печенки не отбили.

Ненаучно высказал за преобразование природы, так ему разъяснили возле клуба. Под ребра.

— Встрели! — засмеялись сбоку. — Парень же с Советской Армии в рódный хутор приехал.

Андриан выслушал реплику, поддакнул в тон:

— Встреча с почетом. Лично комсомольский секретарь, сам Абалченко, присутствовал, когда Василя качали.

— Да бросьте раздувать! — Голубов повернулся к Фрянскову. — Хочешь, Лаврыч, обижайся, а Василя твоего стукнуть не мешало. Каждый сосун, что ему ни подвернись на язык, то и мелет.

— А что ж, бить? — спросил Андриан, გადაвшился вперед.

— А что ж, целовать? — Голубов по-кошачьи вскочил навстречу ему, подхватывая слетевшую с плеча кожанку. — Щепеткова за тебя, дурака, нервы рвет; правление у нас об участии колхоза в общенародном деле, а ты хаханьки?! Сейчас тебе, как фрицу!..

Голубов шмякнул кожанку под ноги, освобождая плечо.

— Голубов! — Настасья встала. — Товарищи, через край уж. Черненков, пиши: «Осудить поведение Голубова как позорное. Просить Дарью Тимофеевну Черненкову рассмотреть о Голубове в партийном порядке». Это первое. Второе: «Просить ее же, Черненкову, со всей строгостью взыскать за самоуправство с Абалченко».

Андриан приподнял руку, заметил:

— С Абалченко — это так. А надо б председательше (раз уж такая принципиальная!) спросить и с главных тоже. С сыночка собственного... Пока ты следовала сюда по одной улице, он на другой устроил спектакль. Завлекательная была картина, товарищ председатель. Сыночек твой объявил разгром Акимочкиным. И не просто так, хала-бала, действовал, а выдвинул лозунг: «Государственную комиссию путаете, сортиры отдаете своимкам? Так мы у вас и остальное разнесем вверх тор-машками!..» Он же, твой Витя, первый и Василя Фрянскова стал ремонтировать.

Как по сигналу, посыпались на Щепеткову сообщения о делах сына.

— Разве хорошо это? — спрашивали ее. — Зеленская Маруся вмешалась, так Витька в глаза ей: «Таких, как ты, примиренцев давить надо». За что ж давить? Женщина мужа потеряла, одна воспитывает детишек... А Андриан Матвейч вступился, Витька заявил: «Дадим по кумполу — и пойдешь землю удобрять, чтоб не встревал массам поперек коммунистического Волго-Дона!»

— Так агитировать, — весело захохотала Черненкова, — и кони с агитации подохнут.

— Еще хвалился, что ему спасибо скажет партия...

Настасья всех выслушивала, по-прежнему держалась полной хозяйкой. Она сказала, что примет меры; так же, как Сергея Абалченко, занесла в протокол Витьку; и даже когда Андриан на крыльце уже съезвил: «Вождь. Обучает тут всех, нехай бы дома сынка поучила», — она не оторвалась от разговора с Фрянсковым, которому объясняла, какие данные готовить по зерну.

Илья Андреевич один вернулся домой. Лампа в зале сияла — должно быть, моторист считал, что правление еще идет, усиленно следил за движком. Бабка, Виктор, Раиска спали. Солод разулся, как это делала вся семья, входя с улицы, неторопливо попил воды. В его Таганроге куда проще решались вопросы на конференции всего городского парт-актива, чем тут среди десятка кумовьев-правленцев. И ведь мирными

делами занимаются — виноградом, пшеничкой, а каждый похлеще самого Козьмы Крючкова...

Солод посмотрел на недоштопанное Настасьей голубенькое ее платье, кинутое на табурет вместе с катушкой ниток, с воткнутой в манжет иголкой, и с уважением к хозяйке покрутил головой. С этой бабы было больше спроса, чем с директора номерного завода. У директора лишь производство, а она, кроме производства, сама министр, сама поп, сама милиция. Солод громко крикнул, вспомнив, как он подкосил ее насчет Андриана, не отказал ему в работе. «А черта мне было делать? За карьер не кто-нибудь отвечает, а я». Он разделся, прошагал в белье на кухню за спичками, глянул на обратном пути на Виктора. «Ишь, натворил и дрыхнет, сукин сын, как святой». Услыхав, что возвращается Настасья Семеновна, Солод притворил свою дверь, чтоб не мешать разговору матери с Витькой, и, выключив свет, влез под одеяло. «Всыплет сейчас герою!..»

Но Щепеткова не стала будить сына. Наоборот, едва ступая, чтобы не потревожить его, не надавить на доску пола, ходила то в комнате-боковушке, то в коридоре, управлялась с домашними делами, которые не закончила до собрания. Илья Андреевич догадывался по звукам, что она делала: гладила, подстирывала. Ведра ставила, не звякая дужками, так тихо, что только напряженный слух Солода мог уловить шорох ведра, а воображение могло представить смуглые руки председательницы, ее не очень привлекательное, густобровое, тоже смуглое лицо. Засыпая, Илья Андреевич слышал, как она отворила наружную дверь, пошла на улицу, вдруг вбежала обратно.

— Мама, скорее! Вставайте! — И выскочила из дома.

Спросенок Солод рванулся на кухню.

— Зойка телится, — объяснила старуха, натянула юбку, ватник и шмыгнула за невесткой, проскрипела за окном мерзлыми ступенями.

У Ильи Андреевича не было опыта, что делать в таких случаях. Он сунул босые ноги в галоши, накинул на белье реглан, шагнул за порог. Яркие звезды, стужа разбудили окончательно. Он запахнул, пошел в хлев. На соломе взбрасывалась могучая корова, белая, в черных пятнах, и Настасья Семеновна давила ее за рога вниз, уговаривала: «Зоснька, Зоенька». Бабка Поля тянула что-то с другой стороны. Простоволосая, в свете чадающей на полу лампы похожая на колдующую ведьму, она шикнула на Солода:

— Иди отсюда, не по тебе здесь дело.

Но Щепеткова, наваливаясь на корову, распорядилась:

— Подсобите бабке.

То, что тянула старуха, оказалось наполовину вышедшим теленком. Он шел головой и передними копытцами, подложенными под подбородок. Илья Андреевич решительно обхватил и эти горячие мокрые копытца и голову. «Только этого мне не хватало, акушеркой еще не работал!..» Все были точно в холодном предбаннике — кто в чем, Солод смущенно поджимал белевшие подштанниками ноги. Теленок подвигался туго, смотрел выпуклыми глазами в глаза Солоду. Зойка с силой выкручивала рога из пальцев Настасьи Семеновны, и Солод одной рукой тянул с бабкой теленка, другой старался придержать корову.

— Всегда таким манером телится, черт сытый, — бубнила старуха. — Вишь, рог у нее сломанный. Собаку пырнула, да в столб. Говорила тебе, — крикнула она невестке, — сбуди на помощь Витьку! Пойду растолкаю.

— Не надо! — злобно отрезала Настасья Семеновна, пригиная Зойкину голову. — Бельмо вам на глазу парень. Всем вам!..

Настасьина коса, распущенная на ночь, стекала по спине. Солод никогда не видел свободной эту косу, скрученную днем в узел, и сейчас с удивлением поглядывал на нее, рассыпанную до поясницы.

Когда теленок уже весь целиком шлепнулся в солому, Зойка рванулась к нему, угрожая людям, шумно вздула ноздри. Настасья Семеновна спиной отгородила Зойку, заворачивая рядниной теленка, обхватывая, чтоб вынести, но Солод поднял и понес сам. Настасья Семеновна створяла впереди двери, а он тащил по двору, по ступеням и коридору трепыхающийся, странно отдающий живым теплом сверток, осторожно опустил в кухне у печи.

Женщины разматывали ряднину. Солод сел рядом, закурил, рассматривая покрытую испариной черно-пегую телочку. Он не сталкивался раньше с новорожденными телятами и теперь с интересом наблюдал существо, которому помог увидеть мир. Должно быть, инстинкт звал телочку под мохнатое материнское брюхо, к сладким соскам, и она шевелила неумелыми ногами; возможно, пыталась идти туда, откуда ее принесли, — в темноту коровника. Ее не пускали. Она тыкалась носом в пол, из-под длинных ресниц косила на лампу черными, будто свежей тушью налитыми, зрачками.

— Крестница твоя, — засмеялась бабка. — Ловко ты ее обихаживал. Ступай спи уж.

Поднимаясь, Солод сказал Настасье Семеновне:

— Знаете, я этого друга (он не хотел называть при бабке Андриана) не возьму. Иначе каждый, кого у вас приструнят, будет у меня спастись.

Но Щепеткова критически отнеслась к его великодушию. Она усмехнулась.

— А разве те, которых мы отпускаем к вам, перестают быть нашими колхозниками? — спросила она. — Забирайте его. Весной он сам вернется к земле.

Илья Андреевич отправился спать. Однако отдых его не состоялся. Всю ночь хозяйки ставили хлебы, выходили к Зойке в сарай, отгоняя Пальму и щенка, зарывали за домом послед, а уже совсем к утру из боковушки донеслись объяснения Щепетковой с Виктором. Должно быть, Щепеткова решила наконец потревожить сына. Слышался его молодой, недовольно гудящий басок и тихие слова Настасьи:

— Господи, был бы отец!.. Ведь я же, Витька, не справлюсь с тобой, в глаза люди смеются... Хоть пожалел бы.

— А я не жалею? — оскорбленно-наступательно спрашивал Виктор, легко покрывал своим ее голос. — Ты, мама, привыкла своих колхозниц гонять — и на меня наскакиваешь! Чуть что — сразу не по тебе, сразу накачка... Раз так — могу не торчать на твоих глазах. Пожалуйста!

В боковушке гроыхало: Витька одевался, в сердцах швырял табуреткой.

— Виктор...

— Да чего «Виктор»? Восемнадцать лет Виктор! — долетело до Ильи Андреевича уже из сеней. Через минуту послышалось другое, абсолютно не вязавшееся с обликом председателя колхоза Настасьи Семеновны Щепетковой, — горестные бабьи всхлипывания.

#### Глава одиннадцатая

Весело жмет за хутором мороз. До самой души пробирает на восходе солнца в займище. Жжется и в перелесках, где цвенькают щеглы, снегири, синицы, ловко, головами вниз, бегают по стволам верб, энергично долбят кору. Гуляет мороз и в плавнях, среди протоптанных в ка-

мышьяк коридоров. Будто стрельнет вдруг под ногой стеклянная от холода камышина.

Но особенно студено на открытом, точно степь, Дону. Беззвучно потягивает разгороженный с четырех сторон воздух. Так и резанет по щеке, шилом ударит в нос лютая огненная свежесть...

В небе нет облаков, но и солнце не пробивается, лишь сияет через марево тот край, где солнце, и оттого чисто отблескивает снег, наносы песка поверх снега, полированные площади льда, оголенного ветром.

Витька, поссорясь с матерью, шел по Дону поставить снасть на стерлядку. Посвистывая, нес он на плече короткий рыбацкий ломик на деревянной ручке; на ломике — круглый прутняковый самолов-ванда; внутри ванды — колышки, каменное грузило, по-хозяйски свернутая хомутом бечева. Довольный всем вокруг, Витька на полную грудь дышал морозом и был в том чудесном состоянии, когда слышит человек, как сильно шагают его молодые ноги, крепнущие с каждым днем; как широко, в такт ногам, идет на отмахе свободная от поклажи рука; как даже каждый палец в валенке живет своей отдельной прочной жизнью, легко и пружинисто несет тело. Виктор не думал о том, что огорчил мать, которую любил, как ни разу всерьез не задумывался о происходящем сейчас в колхозе. Организовав вчера драку с Василием Фрянсковым, он не волновался душой, а больше напускал на себя этакую идейную раздраженность... Надо же в событиях, охвативших хутор, занимать свое место! И, само собой, место не отстающего нытика, а воинственного преобразователя — крутого, а еще лучше — до без удержу скаженного, как и любой в известном всему Дону роду Щепетковых. Эту скаженность Витька ставил себе в большой плюс.

Он окончил десять классов, но, как повелось у образованной молодежи, на колхозную работу не пошел, год отдыхал и лишь совсем недавно устроился заведующим клубом. Хотя он ничего не давал в дом (мать сама распорядилась, чтоб откладывал себе на костюм), он чувствовал себя главным в семье, жестко требовал особого внимания, ухода и даже трепета домохозяек, когда считал себя раздраженным. При этом он был хорошим комсомольцем, потому что ни в какие учетные данные о лице комсомольца не входит ни хамство по отношению к семье, ни, тем более, желание походить на предков; а товарищем Витька был добрым и к общественной работе относился со всей душой.

Растирая сукном рукава наветренную скулу, пытаюсь насвистывать костенеющими губами, Витька шагал вдоль Дона, радовался перво-сортной для рыбальства погоде. У излучины он свернул к белоглинному яру, к тому месту, где еще дома, когда ссорился с матерью, надумал забрасывать ванду. Высоченный яр был обрывистым, даже вогнутым внутрь, под ним оказалось затишно, совсем тепло. В сероватой белой глине темнели летние норы земляных ласточек, отсвечивали перламутром впечатанные ракушки, а поверху, на полосе чернозема, щетинился камыш, усыпанный не опавшей на морозе волчьей ягодой. Из-под гривы камыша высоко над головой змеями свисали сухие корни. Хорошо!

Витька сбросил снасть, с хрустом расправил плечи. Под яром, где бьют со дна родники, зияла широкая, никогда не замерзающая полынья. Быстрое у заворота течение рябило воду — черную в глубине, светлую на гребешках, и Витькино ухо улавливало позвякивание гребешков о стеклянные края.

Выше полыни самый раз ставить ванду. Любит привередливая стерлядь дышать свежим воздухом, держаться на песке, вблизи открытых во льду окон. Царская рыба. Смотри и сунется какая хрящеватой, узкой, как веретенце, мордой в самоловку... Растягивая удовольствие, Витька огляделся. С другого берега, через весь Дон нежно рисовалась

по снегу прямая цепка лисьих следов. Не больше часу назад шел зверь, ценный сейчас, в декабре, с мягким подпушьем под животом, а на спине — с волнующей сердце охотника жесткой черной остью. «По шнуру», ни в одном месте не задев снега, нес хвост. Отпечатки лап исчезали у замкнутой ледяной прогалины и нигде из нее не выходили. Завороженный Витька, едва ступая, обошел весь круг. Куда, не показав следа, девалась отсюда лисица?.. В воздух, что ли, как на крыльях, взлетела? Черт ее знает. «Ох и хитрограмотная тварюка!» — восхищенно передохнул Виктор.

Из-за бугра донесло голоса. Как всякий охотник, Витька не любил присутствия людей, когда был среди природы с ружьем или с рыбацкой снастью. Он досадливо обернулся. Несколько саней, нагруженных жердями, вывернуло со стороны Конского леса, с порубок, напрямик съезжало на лед раскатистой на уклоне рысью. Витька по рыбацкому знал, что лед там подточен сысподу родниками и, если морозы меньше, такая же, как здесь, полынья тянется там вдоль берега. Зачем-то отшвырнув ногой ванду, в страхе заорал:

— Е-е-э!! Что ж вы делаете? Провали-и...

Но передние сани уже провалились. У Виктора тошно потянуло под ложечкой. Взлетели брызги, кони окунулись со спинами, с разгона выбросились передом на материковый лед, рвали задравшееся в гору дышло. Долгую секунду Витька стоял, не двигаясь. Левый конь не по-конски, как кабан под ножом, визжал; правый молча колотил и срывался копытами. От всех саней к ним бежали знакомые Витьке хуторские девчата, и, пока Витька подоспел, они отцепили уже постромки от барков, распустили нашильники. Дрожащие, мокрые лошади отбежали, остановились, а девчата неистово хохотали... верно от испуга.

— Вы! Водолазы! — тоже пытаюсь переключить страх на шутку, иронически козырнул Виктор.

— А, завклуб-цыпа! Чего ты здесь? Кино нам показывать? Курбчеч родненький...

За горбатый мощный нос с нависающей к губе пипой Витьку дразнили «курком», но он почти не злился. Прозвища полагались каждому, и «курок» было лучше, чем как у других — «косоротый», «дундук» или «сучья сиська».

Девчата смеялись, стягивали с лошадей мокрую упряжь, рукавами обтирали в мгновение леденеющие конские бока.

— Надумались напрямик спуститься, а оно, хрен, вот что!.. — озадаченно хмыкнул из-за девчачьих спин Сергей Абалченко. Виктор только сейчас заметил его и, к своему великому смятению, рядом с ним Лидку.

История с Лидкой была особой историей. Еще недавно Виктор ходил в тонкошеих подростках; вдруг, сам это ощущая, начал кряжестеть, превращаться в парня, и соседка по улице Лидка вдруг стала откровенно смотреть на него беспокойными глазами. Впервые в жизни задел он внимание женщины; всем новорожденным чувством рванулся навстречу, томился незнакомыми раньше стремлениями. Это было мучительно, и он не умел это преодолеть. Если Лидка по-соседски сталкивалась с ним у дома, она и сама терялась. Растягивая губы, оглядываясь, она спрашивала Виктора о чем-нибудь совсем постороннем и по привычке вертеть что-нибудь в пальцах отстегивала и застегивала на его ворота пуговку...

Сейчас Виктор обошел глазами Лидку, с натугой улыбнулся ее мужу. Абалченко улыбнулся тоже и, кивнув на обледенелых лошадей, спросил:

— Интересант прогонять?

Виктор с удовольствием бы поскакал, показал бы класс, но при Лид-

ке не к лицу было ребячествовать, и он отрицательно качнул головой. Его солидность девчата истолковали по-другому, насмешливо затюкали. Пухленькая Мила Руженкова уцепила крайнего коня за холку и острый хребет, с рывка вспрыгнула на спину животом, легла поперек. Перекинув через круп ногу, потянула обмерзлый повод второго коня, подхватила брошенный ей кнут.

— И-и-ие!

Кованные на передок кони остро захряскали шипами и, оскользаясь на гладком задними голыми копытами, сбиваясь набок, не в лад затанцевали. Руженкова поддала каблуками своего, с плеча полоснула кнутовищем подручного, и они, всхрапывая, разом бросая четыремя, пошли наметом.

— Давай, Милка, жми-и! Километра три давай, грей... Тпр-р-р! — завопили девчата на остальных лошадей, брошенных по ту сторону пролома и потянувшихся к воде.

— Тут летом оборвалась «кошка» с андриановского баркаса, — пренебрежительно усмехнулся Виктор, — дак мы ныряли, ныряли — дна нет. Яр!.. Ввалются кони — бульбушки не увидишь. Это тем повезло: попали ногами на второй лед.

— А ты проведи, чем страхи рассказывать.

Виктор неторопливо пошел обходом к брошенным лошадям. Все двинулись за ним, чтоб потолкаться, обогреть ноги. Хотя все были в валенках, кожухах, а лишь Вера Гридякина — в худых ботинках и армейской шинелишке на одно платье, с опухшими на морозе ячменями, ей, зная ее безропотность, крикнули: «Останься, Вера! Разгружай санки в проломине».

Лед, схвативший родники всего лишь день-два, пружинил под Виктором. На стороны, постреливая, бежали по глади белые трещины, и девчата позади останавливались. Виктор мог бы обойти родники, но вместе с другими за ним шла Лидка, потому он нарочно держал ближе к подточенному сыспода льду. «Пусть-ка попробует!..» Что именно должна попробовать Лидка, он не представлял себе. Просто она шла за ним, и он был готов на все. Шла не одна, с Сергеем... Славный парень Сергей. Витька уважает его. А все же хорошо бы сейчас ввалиться вдруг с головой, разбить лицо, руки об лед. Сергей растеряется, как баба, забегает кругом, а Виктор скажет: «Да не мельтеши ты перед глазами, и так зло берет!» — и выплывет сам, без всякой подмоги. Или пусть бы Сергей ввалился. Виктор вытянет его чуть живого, перепуганного, поднесет к Лидке: «Получай своего благоверного!..»

Витька, как мог размашистей и тверже, ступал по тонкому льду, но проклятый лед только трещал, а выдерживал. Сердце взбудораженно стучало. Миновались родники, началась прочная толща, где стояли лошади. Витька намахнулся на свешенные морды передней пары, повел в обход, крикнул, чтоб остальных вели следом.

Сбоку пошел Сергей Абалченко. Его глаз украшала обапола — неподобная, точно закат солнца на цветных открытках, продающихся в магазине Когиза. Вчера Фрянсков Василь, отбиваясь, сунул с маху в скулу секретаря комитетa. Веко было яично-желтым, а вся скула вместе с бровью окружалась каемкой густого небесного цвета. Витька обернулся на идущую позади Любу Фрянскову, расплываясь, съязвил:

— Это у тебя, Сергей, с морозу?

Абалченко тоже обернулся на Любу, пообещал:

— Еще побалакаю с ее муженьком!.. Дам ему, контрику.

Неожиданно Люба подошла к ним. Абалченко сплюнул, отстал, а Люба тронула Витьку за плечо, в упор спросила:

— За что вы, ребята, Василия?..

Витька чуть опешил, но не отворачивался. Он видел, что печальные расширенные глаза Любы, глядящие на него зрачок в зрачок, сини, прозрачны, а в глубине их, в самой середине, карие крапинки. Веки — красные на стуже, влажные. Может, ревела?..

— Дак видишь,— заюлил Витька,— чего ж он, твой Василь, лается на Волго-Дон? Что, мол, и правительство действует неверно... И партия...

— Так и говорил, что и правительство действует неверно и партия? — отчетливо называя слова, спросила Люба.

— А как же!..

Люба прошла рядом еще шагов двадцать, потом произнесла:

— Раз так, Виктор, я не обижаюсь на тебя. И на Абалченко. Только Василий не может так плохо думать. Здесь ошибка какая-то...

Она начала отставать, держа в руках камышину и пытаясь поигрывать ею.

«Лезут эти бабы!..» — тоскливо сморщился Витька, чувствуя, что виноват перед Любой, и особенно тем, что Люба его оправдывает. Все вокруг стало противным. С удовольствием, со злорадством подумал: «Ловко таки подсветил Сережке. Не глаз, а фара». Откровенно неуважительно пронеслось в душе и о матери: «Слаба мать на расправу. Всех погнала на лесосеку, даже Сергея, единственного в колхозе кузнеца! А меня, своего сына, ни пальцем. Называется принципиальность!..»

Сани всей вереницей уже подъезжали к проломине с обратной стороны. Навстречу скакала Милка Руженкова. Косы прыгали перед ее лицом, колени цепко обжимали конские бока. Заваливаясь спиной на круп, она натянула поводья, осадилла обеих лошадей. Над девушками ездывились лошадиные оскаленные морды, обдали свистящим дыханием. Милка смеялась. Щеки, настеганные ветром, были красными, из-под платка, точно огонек спички, высвечивало ухо, ноздри малюсенького носа жадно вздувались.

— Эх, Милка, глянул бы Ивахненко!

— Он и так глазищи на ней протер, пес женатый.

— Было б болото, черти будут; не верь ему, Милка!

— Нос вон сбоку белый, растирай.

На конских деснах клацали удила, пахло разогретым в скачке потом, конским дыханием, бьющим в четыре струи. Девчата ногтями сцарапывали ледяшки с шерсти лошадей.

— Води еще, Милка. А мы сани выручим, пока не сбежал завклуб.

— Он тут пырлял за «кошкой», сейчас и за санями нырнет — волнорез у него вон какой!

— Носяра подходящий!

— Да и сам кровь с молоком.

Молчала лишь Вера Гридякина. Ботинки ее давно протекли, лышинелишки обледенели, но она, стоя на мокром, уже сгрузила лес, и девчата подаживали теперь сани, окунали концы жердей под затонувшие полозья. Лидка в середине кучи навалилась животом на жердь, с визгом болтала в воздухе ногами.

При Лидке Виктор постоянно деревенел. В мечтах он распоряжался ею, как ему хотелось, — вольно и бесстыдно. Но живая, действительно улыбающаяся перед ним Лидка насмерть убивала его. Несмотря на свою неопытность, Виктор безошибочно чувал: Лидка ни в чем ему не откажет. Он знал, что она такая же со всеми ребятами в хуторе. Он с жадностью слушал, когда парни в подробностях рассказывали про нее, клялся себе, что тоже будет смелым, а встретив, бросал что-нибудь дурачки равнодушно и проходил мимо, с отчаянием слыша, что его язык сказал совершенно не то, что не то делают и уходящие ноги. Он презирал себя и в следующий раз поступал так же. Сейчас он решил —

будто прыгнул с обрыва!.. Он обеими руками ухватился за жердь около Лидки. Но та обожгла счастливым испуганным взглядом, перебежала к мужу на другую сторону саней, стала выкрикивать оттуда:

— Навались, Вита, а то мы с Сергеем позапарились тут!.. За дышло тяни, Люба. Тяни, Вера!

Сани выхлюпнулись из полыньи, пошли по льду — белые от намерзи, со стекающими струями воды. Их двигали, чтоб не прихватило полозья, снова нагружали, впрягали лошадей.

С середины Дона, от бегущей из райцентра дороги, приближалась бедара. Мышастая лошаденка шла ходкой рысью.

— Конкин! — ахнули девчата. — Поняй, Вера, отсюда. Да скорее же!

Гридякина беспрекословно села на обмерзлые жерди, погнала к хутору, а Лидка, обхватив за шею мужа, дурашливо запричитала:

— То один начальник на нашу голову — завклуб, то другой вот прется... Здрасьте, Степан Степанович!

— Здорово! — подкатывая и осаживая лошадь, звучно ответил Конкин.

Лидка наступила Виктору на валенок и, словно не замечала этого, так и стояла в толпе плечом к плечу. Конкин перекинул ногу через подкрылок колеса, весело оглядел девчат, совсем оживился, увидав Сергея Абалченко.

— О, сам секретарь на порубке? Молодец! Трудимся?

Сергей утвердительно кивнул. Стараясь не показывать подбитый глаз, он напряженно стоял чистым боком к бедаре, а заплывшей фиолетовой блямбой — к девчатам.

— Личный пример, Сережа? Правильно.

Пушечно грохнул хохот. Не понимая, Конкин с подозрительностью оглядел себя, потом девчат. Он потянул Любу за концы платка, как за вожжи, заглянул ей в лицо.

— А ты чего, Любаша, смурная? Ну, не брехать!.. И ты, Сергей, брешешь! — Он прыгнул с бедары, сразу стал ниже всех ростом и, глядя снизу вверх, приказал: — Выкладывай, Сережка, в чем дело.

Дослушав до конца, потыкал пальцем Сергеев синяк, заметил с уважением к Фрянскову:

— Толково!.. А Гридякина на тех санях чего от меня подалась?

Он слушал, переспрашивал — крепко ли прогрели скупавшихся лошадей, как вытянули, кто провел через родники остальных? И приходил в боевое, отличное настроение.

— Самому надоело филонить или мать погнала на порубку? — спросил у Витьки и, узнав, что не случилось ни того, ни другого, пренебрежительно отвернулся, но настроения не терял, озирает всех, будто командующий на удавшемся параде.

— Хоть и балбесы, — подвел он итог, — а все же орлы. Летаете. Раз так, гляньте-ка, везу что!.. Только погодите, отогреюсь.

Он сбросил рукавицы, черпнул снегу, колкого, как стальные опилки, стал тереть ооченелые бледные руки, со всхлипами крикая, как в июльский зной крикают люди, добравшись наконец до таза с водой. Мороз давил жестокий. Жеребая Сонька туго поворачивала в оглоблях вздутые бока, и колесо на льду скрипело, будто алмазный резец по стеклу. Конкин вытер мокрые руки, подвинул на бедаре тую газет.

— Постановление о нас! — объявил он.

Он развязал зубом узел шпагата, развернул верхнюю газету.

Четко пахнуло на стуже типографской краской и керосином свежего шрифта. В ширину листа была оттиснута карта завтрашнего донского моря.

Дона, того места, где стояла сейчас молодежь, не было, а изображалась заштрихованная с краев, светлая посередине площадь. Она занимала весь стык двух степных областей — Ростовской и Сталинградской. Простиралась она от Цимлы до станицы Нижне-Чирской и дальше, в сторону Сталинграда до Калача, а направо — до станции Котельниково. Через площадь шла надпись: «Цимлянское водохранилище».

— Вот наш хутор! — объявил Конкин, отчеркнул ногтем крестик среди водных просторов. — Его, правда, тут не показали, волны, как видите, гуляют на его месте. Но мы на своих картах отметим. Надо, Любаша, отыскать у нас художников хороших, пусть рисуют карты помасштабней. От полу до потолка! Повывешиваем на всех до одной улицах, чтоб вышел со двора человек — и вот она перед ним, карта нашей славы! Повернулся в какую хочет сторону — опять карта. Всюду наша агитация!.. Бумага вот. — Конкин ткнул в толстый, как бидон из-под молока, рулон, торчащий из бедарки и, точно в чехол, втиснутый в мешок.

Лицо Конкина сияло, колкие, полные мечтой глаза требовали, чтобы и все вокруг беспрекословно загорались.

— Каждая, — приказывал он девочкам, — обязана агитировать. Где можно, где нельзя — все равно действуй! Говоришь с матерью о домашнем, например, что надо прибрать хату, — и здесь же про Волго-Дон вставь! Хлопец провожает тебя вечером, намурлыкивает про чувства, а ты ему — про гидростанцию, про вольтаж! Потом уж и про любовь, сколько тебе влезет. Пожалуйста, ночь впереди.

Сонька дергала бедару, сердито взбрасывала головой.

— Стоять! — крикнул Конкин. — Заезжал я в библиотеку, подобрал художественную литературу, — сказал он, доставая книгу, заложенную между страниц длинными бумажками. — Надо нам, кроме карт, изобразить парочку картин, а под ними — стихотворения громадными буквами. Например, нарисовать Цимлянскую плотину. Вроде это ночь, грохот, третья смена в разгаре!.. А плотина сверкает вся прожекторами, фарами, электросварками, сияет, как наше оружие, как шашка в десять километров! И внизу подпись.

Конкин распахнул книгу и возвышенно, грозно-утробным голосом прочитал:

Чтоб подымать,  
и вести,  
и влечь,  
которые глазом ослабли.  
Чтоб вражь  
головы  
спиливать с плеч  
хвостатой сияющей саблей!..

Он закашлялся на морозе, побагровел от напряжения, раздраженно стал поправлять на бедаре рулон.

— С бумаги этой согню плакатов понаделаем. Для тех, что глазом ослабли!

Всем стало неловко от натуги на лице Конкина, от его цепкого кашля. Руженкова, стараясь беззаботней, заговорила:

— Это вы целых два дня в районе бумагу и книги доставали?

— Да ну! Делов хватало. Да и поддулся вот...

— Как это?

— Просто. Качнули воздуху под ребра. Слыхали такое — пневмо-ракс?.. Штука верная! — Конкин прокашлялся и снова повеселел. — Замечательная штука!

Сергей Абалченко, по-прежнему держась боком, протянул кисет.

— Степан Степанович, моего на дорожку.

Конкин состроил неприступно-гордое лицо, величественно отстранился.

— Никаких закурок. Бросил.

— Когда же?

— Два часа уж... Тверд!

Он стегнул Соньку, покатил на дорогу. Следом, одни за другими, двинулись сани, вытягиваясь в линию, как бы строясь на ходу, и Виктор опять остался, как царь, среди ледяных просторов. Здорово, когда не мешают! Сани всей веренищей скрылись за поворотом, только голос Лидки — играющий, понятный одному лишь Виктору своей призывностью, — долетел издали:

— Завклу-у-уб! Не дюже расписывай матери, как мы тут купались!

Виктор с мужским крепнувшим торжеством выпил каждую нотку этого зова и, чтоб девать куда-нибудь прилив силы, с размаху швырнул носком валенка ледяшку, широко зашагал к брошенной ванде.

Ванда лежала на своем месте, и казалось, что их две — одна под другой, — таким четким было отражение на льду. Наслаждаясь видом этой зеркальной глади, Витька лег животом на лед, заглянул в его глубину. В метровой толще белели пузыри зажатого воздуха, а меж ними, словно водоросли, зеленые и голубые, тянулись кверху изломы. Каждый отдельно виднелся в прозрачной, железно-прочной массе. Кроме лисицы, оставившей невдалеке на пороше следы, никто здесь никогда не ходил и никто не прошел бы, не коснулся ногой опасного места у полыней, не явился он, Виктор, со своей снастью. Виктора пронзила вдруг мысль: «А ведь карты-то у Конкина все-таки есть. Правительство не будет печатать зря...» Получается, что и он, Витька, не пройдет здесь через год. И уже не в разговорах, а на самом деле не будет здесь Дона с его этим вот белоглиным яром в ракушках, в круглых норах ласточек. А где тогда ласточки поселятся? Как же это?..

Витька встал, огляделся. Небо, берег — все по-прежнему светилось ровным снеговым светом. Дон лежал нерушимо. Полосами отблескивали вдаль следы саней, на которых проехала Лидка, кричавшая только ему и ей понятные слова. Нет, глупости! Да и на какого лешего пока что думать об этом?

Виктор потянулся, хрустя позвонками, и пошел к облюбованному месту у полыньи, стал отбрасывать ногой снег. Лед проглянул под войлоком валенка такой зелено-чистый, отполированный, что было жалко бить ломом. Витька ударил. Как на толстом стекле, забелел клевок. До воды здесь было всего сантиметров десять; быстрое у яра течение подсасывало лед сыспода, и когда под острием лома началась мягкая, близкая к воде намерзь, Витька продел руку в сырмятную петлю, чтобы ломик не ушел с разгона в пробоину. Заплескалось. Брызги в мгновение стекленели бугорками на ребристом железе. Чтобы не мочить варежку, Витька не вынимал отколотых крыг, а топил их ломом под лед. Стянув зубами варежку, он привязал к ванде бечеву рыбацким узлом, разложил бечеву перед собой — круг на круг — и, приподняв ванду, произнес:

— Ни рыбьего хвоста, ни чешуи.

Каменное грузило стукнуло о край полонки, ванда всплеснулась и, веселя Витькино сердце предчувствием удачи, пуская ргутно-серебряные бульбы, пошла вглубь.

## Глава двенадцатая

## 1

Комсомольская организация обсуждала проступок Абалченко и Виктора Щепеткова.

Президиум размещался на клубной сцене, под киноэкраном, остальной народ — внизу, где в обычные вечера сидят кинозрители. Пострадавший — Василь Фрянсков — не был комсомольцем, однако немедленно явился по вызову комитета, чтобы насладиться разгромом противников. Пришел он в полной военной форме, плотно затянутый поверх шинели скрипящим ремнем, в обернутых целлофаном сержантских погонах. Он расположился у сцены, впереди, всем существом приготовился к торжеству справедливости. Первые несколько минут, пока зачитывалось обвинение Абалченко и Щепеткова, все для Василя шло хорошо. Но чуть лишь начались выступления, девчата (они в большинстве и составляли хуторскую организацию) сразу же перенесли огонь на него самого, посмеявшегося ругать преобразование природы, и Василь обескураженно, свирепо смотрел на ораторов, расстегнул подворотничок на тугой, мгновенно взмокшей шее.

Люба сидела в дальнем углу. Сердце ее колотилось, она переводила глаза с мужа на каждую выступающую девчину. Все говорили по одной схеме. Каждая спокойно начинала с того, что, конечно, нехорошо распускать руки, что Абалченко и Щепетков, ясно, не правы и они за это получают по заслугам. Затем девчина делала паузу и уже с возмущением, со звоном в голосе спрашивала: «А вот как Фрянсков — еще вот и сидит, сержантскими погонями высвечивает! — позволил себе насмехаться над стройкой коммунизма?..» И тут полностью подводила черту равнодушной части выступления, со всей яростью обрушивалась на Василя. Любая девчина понимала, что выступает как защитник величайшей народной стройки и, накаляясь собственным горением, громила Фрянскова; а каждая следующая, чтоб сказать новое по сравнению с предыдущей, громила еще больше.

Ни одного голоса не слышала Люба в защиту мужа. Даже Абалченко и Щепетков, превратясь из обвиняемых в героев, бросали при общем сочувствии насмешливые реплики. Девчата давали предложения написать в воинскую часть, где служил Фрянсков, разоблачающее письмо, а представитель партийной организации колхоза Дарья Черненкова раскатисто смеялась, когда Фрянскова обозвали диверсантом. Все было жутко Любе — будто дурной сон, когда в душевной комнате спишь на спине...

Человек, натренированный в заседательских делах, перенес бы это легче. Но Люба не освоила законов собрания, по которым товарищи, хотя каждый в отдельности добродушен и ласков, вдруг превращаются, когда они вместе, в непримиримо принципиальных и, взаимогипнотизируясь речами один другого, не щадят собственного отца. Она не представляла себе, что девчатами руководила не злоба к ее Василию, а любовь к стране; что Абалченко и Щепетков воинственны оттого, что переполнены радостью собственного избавления; что даже самое грозное здесь лицо — Дарья Черненкова — совсем не жаждет гибели Василя. Никто не раскрывал Любе точку зрения железной Дарьи Тимофеевны Черненковой. А точка зрения была простой.

Если в собственной хате, в кругу детей и кастрюль, для Дарьи иногда существовали трудности и даже сомнения, то в делах общественных все было ясно. Колхозников «надо вести». Куда вести, знает райком. Промежуточное же звено — она и парторги других колхозов — это вроде

младшие лейтенанты. Всякий такой лейтенант обязан со всей точностью выполнять указания райкома. Но лейтенант может проявлять инициативу, то есть выполнять указания по своему способу. Способом Дарья была открытая атака. Рубануть так уж рубануть, чтоб дым шел!.. Рубала она весело и энергично, не тратила на это нервов, а лишь басовый голос. Скажем, хоть Сергей Абалченко хлопек свой, а она его отчитает — замазка на стеклах потрескается, потому что нельзя все-таки, чтобы секретарь комсомола воспитывал внесоюзную молодежь кулаками... Дарья еще накануне определила резолюцию: «Абалченко снять, как проявившего невыдержанность». По Фрянскову Дарья тоже определила запись в протоколе: «Усилить воспитательную работу среди внесоюзной молодежи». Если бы Фрянкова здесь защищали, она бы любым путем сагитировала комсомольцев ругать его. Но уж коль народ по собственной инициативе спускал с него шкуру — это совпадало с планом Черненковой, проходило живо, поэтому Черненкова смеялась бьющим Любу смехом.

Люба впервые видела мужа униженным и за беспомощное лицо любимого человека, за его жалко вспотевшие щеки ненавидела всех глупей, глупой от бессилия ненавистью. Эх, ударила б вдруг молния по этим умным, правильным! По Руженковой, что готовится вот говорить, режет Василия честными, как для показа чистыми, глазами; по наглому Витьке Щепеткову вместе с Абалченко, по Черненковой, которая вырядилась в шелковую кофту, явилась при серьгах, точно здесь праздник!

У окна сидел Мишка Музыченко. Наверно, Мишкиной душе — компанейской, глубоко беспартийной — было не по себе. Был «шлафером» на свадьбе у Василия, пил за его здоровье водку, и на тебе — вроде участвует в угроблении... Он успокоительно подмигивал Любе, назойливо тянул к сцене длинную, как весло в рукаве, руку. Получив наконец слово, он смешался и, пытаясь держаться по-свойски, по-флотски, не в лад собранию заговорил, шепелявя на одесский манер:

— Шё такого сделал человек? Вы же люди!.. Шё вы ему хор Пятницкого устроили?

Мишку враз оборвали, а Клава Сергиенко, та самая девушка-техник, что описывала Любин сад, назвала подпевалой.

Еще резче говорила Мила Руженкова. Ей принципиально было плевать, что она участвовала на свадьбе подружкой. Гулянка — одно, общественные дела — другое. Перебивая сама себя, волнуясь, она разносила Василия и наперед всех тех, кто по примеру Музыченко попробовал бы сунуться в заступники.

Однако на повестке был не Фрянсков, а секретарь комитета Сергей Абалченко и комсомолец Щепетков. Дарья Тимофеевна напомнила об этом, и Сергея сняли, хоть и с полным к нему сочувствием. Щепеткову записали выговор; и когда Черненкова басом спросила: «Ну, сын казачий, получил?» — Витька под общий смех весело крикнул: «Спасибо!»

Виктор пошел бы сейчас на все, потому что здесь была Лидка. Она сидела далеко сзади, Виктор не оборачивался, но затылком, шеей, всей кожей ощущал, что Лидка там, слышит его. Он был счастлив, что дышит тем же, что она, воздухом. Он был за тысячу километров отсюда, от собрания, совершал в мечтах один поступок отчаянней другого. Вот он в открытой танковой башне идет в бой. Лидку увозят, а он под осколками, в дыму, пробивается к ней, освобождает. И хоть кровь хлещет у него из плеча и Лидка увидела, обомлела, он равнодушно улыбается. «Пустьяки, лезай в башню»... Или он управляет самолетом, а она сидит рядом в кабине. Самолет подбили. На Викторе парашют, а на Лидке нету.

Он обхватывает Лидку, говорит с ледяным спокойствием: «Держись, прыгаем!..» Но ничего этого сейчас не было, и потому, когда Виктору сказали, что надо выправляться, личное дело у него теперь подмочено, он лихо бросил: «Спасибо!» А вспомнив, что уже выкрикивал это, обернулся на Лидку, мучительно съежился.

## 2

Все ждали — скажет Люба о муже или так и промолчит? Она не шевелилась, не опускала головы. Вера Гридякина (как и Василий с Мишкой Музыченко — «внесоюзная молодежь») повернулась спиной к президиуму, смотрела на Любу. Лоб Гридякиной, нависающий тяжелым карнизом, белые ресницы, белые брови — все было пугающим, напоминало Любе рисунок из учебника, где изображались люди каменного века, почти питекантропы. Отчего-то было оскорбительно, что Гридякина лучше всех здесь понимала ее, ловила ее взгляд с напряженной говорящей жалостью.

Люба поднялась. Ей хотелось объяснить, что собрание собранием, а все же нельзя так... Василий за всех, которые против него выступают, два года подряд стоял в чужой стороне на постах, каждую секунду был готов умереть за Родину! А глупости наговорил Абалченко и Щепеткову по вспыльчивости. И не оправдывается здесь потому, что обидно, когда все клюют. Пусть бы любой посидел на его месте! Сама Дарья Тимофеевна точно так же держалась бы...

Однако гражданский долг требовал от Любы другого — политических определений, — и вслух она сказала, что по существу дела Фрянсков не прав. Преступно, как это допустил он, ругать стройку коммунизма. Заговорив о стройке, Люба уже не искала убедительных слов, они были внутри нее, и с ней произошло то же, что происходило со всеми девочками. Она, раздувая ноздри, говорила о создании нового климата, о переделке природы, самой решительной, самой смелой во всем мире!

Василий, в первую секунду глянувший на Любу с надеждой, теперь ожесточенно катал желваки под красными испаренными скулами, но Люба знала, что поступает честно, и через все притихшее помещение сказала мужу:

— Ты не злись, Вася... Ты ведь в самом деле не прав...

Она выполнила долг, села; и когда в новые секретари выбрали Милу Руженкову, а собрание объявили закрытым, она подбежала к Василию, двумя руками сжала его руку. Василий отдернулся. Люба не обиделась, вышла на белую от луны улицу дожидаться его. Мужчина не может показать на людях своего примирения. А сейчас, когда выйдет, Люба скажет ему: «Хоть ты все дни не разговаривал со мной, а я очень люблю тебя. Очень!..» Она растолкует ему, что, когда он ссорился с Абалченко и с Витькой, он думал не так, как сорвалось у него. А если и думал и, может, даже сейчас еще думает, она поможет ему разобраться. Люба стала в тень за дверями клуба. Мимо нее вываливались на улицу девочки. Засидевшиеся, они с ходу начали играть в осли. Одна отбежала, уперлась руками в колени, а все в очередь стали прыгать через нее и вопить: «Здравствуй, осел!», «Прощай, осел!», «Нагружать осли!» — и цеплялись юбками, падали. Они хрустели снегом, сбивались все большей, визгливой, смеющейся вереницей, как недавно еще, высыпая из техникума, сбивались Любины подружки вместе с Любой.

Василия пока не было.

В дверях появилась Лидка, за ней Виктор Щепетков. Лидка, шелкая пальцами, спрыгнула с крыльца, подбежала к девочкам, покрутилась

возле, показывая, что она здесь, и — точно бы равнодушно — огляделась, неприметно для всех свернула в проулок к садам. Витька, не озираясь, никого не замечая, напрямик зашагал следом... Вышла широкая, грудь вперед, Дарья Тимофеевна, с ней — избранная в секретари Мила Руженкова. Дарья Тимофеевна бодро инструктировала Руженкову:

— «Героизм-демократизм», Милка, хорошее дело, но только чтоб башка у тебя была! Вздрессируй ты своих девчат с самого начала, чтобы не только уговорчики, а прежде всего и самое главное команду твою понимали. Это я тебе по секрету.

И Люба, стоя за дверью, невольно подслушивала тайну черненковского управления.

Наконец-то показался Василий. Черненкова пнула его плечом, весело, по-свойски, спросила:

— Как оно, Василь Дмитрич, твой медовый месяц? Подлили тебе детготку для аппетита? — и, еще раз крепко пихнув, повела с собой Руженкову.

За Василием маячила длинная фигура Мишки Музыченко. Мишка дружески советовал:

— Надо выпить поллитровку — и порядок. Она у меня целенькая лежит, с белой головочкой! Пошли...

«Этого еще не хватало!» — испугалась Люба. Она шагнула из-за дверей и крепко, как и на собрании, обхватила руку мужа. Василий двинул локтем и, вплотную придвинувшись к лицу Любы, матерно выругался. Оглушительно, страшно, как ругаются пьяные возле закуской. Или это показалось? Такого, наверно, не могло быть... Но Музыченко крикнул от неловкости, отступил, и Василий взял его под локоть, повел вдоль улицы. Люба не понимала, откуда у нее явились силы не закричать, не побежать следом, а спокойно остаться на месте и, чтоб никто вокруг ничего не заметил, деловито перевязать на косах платок.

Перед ней появилась Вера Гридякина. Полчаса назад она выступала на собрании и осуждала Василия, и, как всегда, все отнеслись к ней с подозрительностью. Подозрительность к ней была правилом — оттого ли, что в войну жила Вера в Германии, «подстирывала немкам-офицерам «ритузы», то ли оттого, что не была хуторской, а может, и просто оттого, что пугала всех своим грубым, нависающим лбом, беловатыми глазами. Наверно, она слышала, что сказал Василий, и подошла, уставилась полным сочувствия взглядом.

— Что тебе надо? Что? О себе, писаной красавице, печалься. О других нечего! — прижимая к своему горлу руки, шепотом кричала Люба, и Гридякина отступила, но не приблизилась и к играющим девчатам, зашагала в сторону.

А в небе мерцало зарево стройки, блестел месяц, и, соединенный вместе, их свет лился на землю. Он озарял и далекую степь с ястребами на телеграфных столбах, падал и на квадраты озимей, и на камышовые плавни, где вышла на добычу семья енотов. Поглядит енот на светящееся небо, карбидными лампочками блеснут его узкие собачьи глаза, и снова побегит, вспугнет в зарослях птицу, с треском взлетит она, спросонок обивая о камыш крылья.

Под прожекторами стройки ярче, чем днем, отблескивал Дон, и только сквозь его ледяную кору, в глубину сазаньих ям, не проникало мерцанье. Точно торпеды, стояли в ямах сазаны, едва шевелили роговицами щек, подсасывали свежую воду. Под осклизлыми уступами, порогами, брюхом на иле, дремали сомы, отдельно стояли лещи и судаки, отдельно — рыба мелкота: ласкирь, шема, чехонка.

Люба стояла у клубной двери, смотрела поверх площади на крыши домов. С этого мига, как Василий обрушил на нее черную брань, все

во всем свете кончилось. Рядом, где кричали: «Здравствуй, осел!», «Нагружать осла!», по ошибке еще копошились люди, а вообще жизнь умерла, как на глазах Любы умер сегодня утром красавец гусак под ножом Фрянчихи. Покрытые снегом, простирались перед Любой крыши хутора — насквозь мертвые, глухие, будто гребни оледенелого моря на остывшей планете.

На самом же деле, как и в степи, как и на дне Дона, все под крышами Кореновского двигалось своим чередом. Дарья, например, вошла в хату, подхватила с койки младенца — невообразимо басовитого, моторного, полностью в нее, в Дарью! Она чмокнула его в мокрую, красную, упругую, как два мяча, попку и, готовя для него корыто и воду, оглядев остальных спящих уже детей, сладко посматривала на мужа, который поставил на стол ужин жене и привычно — его это дело — разбирал семейную постель, пухлую, жарко прогретую от горячей стены.

Настасья Щепеткова сидела у стола в пустой конторе. Подперев рукой щеку, она рассматривала присланный из райисполкома список участка, куда переселяться колхозу. Перечень был большой. Указывались места на берегу строящегося моря, другие — ниже плотины, по Дону, третьи, большинство, — вдалеке, в широких необжитых степях. Щепеткова сдвигала брови, выбирала, в какую из этих точек направить хутор Кореновский.

А дома, на кухне, бабка Поля рассказывала Солоду, как здесь, в Кореновском, в девятнадцатом году Матвей Григорьевич Щепетков под красным знаменем водил отряд на банды однорукого сотника Мишки Черчикова и войскового старшины Мартынова, и она, Поля, тогда не бабка, а революционная сабельница, воевала за народную власть в хуторе, моталась на коне рядом с мужем, с сынами — Романом, Азари-ем и двадцатилетним пышночубым Андрианом.

Андриан — сейчас уж не двадцатилетний, не чубатый и даже не бригадир в колхозе, а рядовой рабочий карьера — сидел в своей хате, в сотысячный раз поворачивал в голове безысходную судьбу кореновских виноградников. Единственный беспартийный из всех братьев Щепетковых, единственный оставшийся в живых, он, как и Люба, считал, что теперь-то уж всему крышка.

Абсолютно другое испытывал Валентин Голубов. Он бросал на бумагу цифры и пункты решения, создавал проект курсов для своих животноводов. Преступно переселяться на орошаемые участки безграмотными в орошении людьми! Надо обогнать время и заранее, до пуска каналов, изучить новую технологию, чтоб по приезду не терять ни дня, заставить серые, мертвые сегодня равнины зацвести посеянными пастбищами, искусственными покосами, сочными от щедрых поливов травами лугов.

За спиной Голубова стояла жена — красивая, чудная своими чужими для хутора словами, своей взброшенной кверху, черной, как фонтан нефти, прической. Обняв Голубова за плечи, не давая ему повернуться, она говорила:

— Валька, ты прав! В этом всем что-то от библейского сотворения мира, от легенды. Я была дурой. Я благодарна тебе, что я здесь. Я люблю тебя, Валька!

Нет, вопреки ощущениям Любы народ под крышами хутора не вымер. Народ продолжал свое и за пределами Кореновского. В районном центре пятьдесят членов райисполкома и семьдесят депутатов слушали доклад «Первые успешные итоги описи станиц». Докладывал Орлов. Сергей Голиков как член исполкома присутствовал в зале и как секре-

тарь райкома отмечал нормальную подготовку к освобождению затопляемой зоны.

Шура Голикова дежурила по больнице. В докторском колпаке, идущем к ее детской шейке, с резинками фонендоскопа, торчащими из белоснежного кармана, она обходила палаты. Шаг ее был четким, победным, потому что сегодня она удачно удалила аппендикс девушке и атерому старухе, позавчера самостоятельно накладывала пневмоторакс Конкину, приезжавшему из хутора Кореновского. Это был интересный больной — с дважды простреленным легким, со свежим инфильтратом во втором. Этот больной особенно радовал Шуру, потому что она имела теперь дело с настоящим ТВС, с трудной и сложной клинической картиной.

Люба по-прежнему стояла на клубном крыльце. Хутор молчал, галдела лишь молодежь, да в саду, куда забежали Лидка и Виктор Щепетков, качался без ветра жерделовый саженец. Виктор не знал, что сказать Лидке, что сделать; держал и гнул жерделу. Между деревьями настороженно стояла хозяйская собачонка, начинала лаять при каждом шорохе и скрипе жердел в пальцах Виктора. Лидка, тихо смеясь, отняла жерделу, прошептала в детское растерянное лицо Виктора:

— Роза ты моя, фияла!

Расстегнув верхнюю пуговицу пальтишка, она спрятала окаменелую Витькину руку у своего плеча на теплой шее. Земля — показалось Виктору — перевернулась на оси в другую сторону... Он смотрел на отверженные Лидкины губы. Они оказались влажными внутри и невозможно жаркими, а ее пристывшие на морозе зубы были холоднее. Виктор передохнул на ледяном горячем ветру и снова, уже крепче, обхватил незанятой на плече рукой голову Лидки. Но Лидка оттолкнула.

— Успеешь еще, уйди. Домой надо. Сергея-то сняли, психуется там.

Полуотвернувшись, она наклонилась. Из чулка, из-под резинки, мелькнув белой полосой кожи, вынула записку, сунула Виктору, убегая, шепнула: «Это тебе. На собрании писала».

Месяц шел за тучей, светил плохо, и Виктор чиркал спичками, стоя в снегу, читал про любовь, одну за другой разбирал детские круглые буквы.

#### Глава тринадцатая

Люба Фрянкова не знала, как объясниться с мужем. Со дня описи подворья никто в семье друг с другом не разговаривал, а после того, как ребята поколотили Василия, дело совсем ухудшилось. Василь не сообщал дома, что Люба выступала на собрании против него, не объяснялся и с Любой, но теперь и на шаг не подходил к ней. За обедом все ели из общей миски, каждый сосредоточенно нес ко рту ложку, подставляя под нее кусок хлеба, чтобы не капать на клеенку. Потом, так же молча, со дна миски доставали мясо, макали в солонку, в блюде с горчицей. Если Ленька с Гришкой, перетолкнувшись под столом ногами, фыркали над чем-нибудь своим, мать так взглядывала, что мальцы больше не поднимали глаз от клеенки. Слышалось только, как из начищенного латунного умывальника, с соска, срывалась капля, дробинкой булькала в лужань, да котятка-игруны, вылизывая, оживленно возили по полу свою тарелку. После мяса Фрянчиха и Люба поднимались, прибирали в миску обгрызенные кости, наливали в кружки холодный взвар, и снова все ели в напряженной тишине, молча выкладывали на стол жерделовые косточки и хвостики от груш.

Перемыв посуду, Люба занималась с Дмитрием Лаврычем. Ленька и Гришка были на кухне, где раскладывалась с шитьем и Фрянчиха.

Дмитрий Лаврыч сидел в зале за столом напротив Любы, а Василь, сбросив лишь носки, лежал здесь же, на койке, к стене лицом, а к Любе желтыми пятками и спиной. Над ним, на клеенке, грудастая дева в бра-слетах и кольцах кормила лебедей.

В доме топили добротню. Прохладная гладь Любиного трюмо серебрилась испариной, наевшиеся кошки в изнеможении лежали на полу у горячей стены, но свекор дисциплинированно сидел в гимнастерке, стянутой ремнем, застегнутой на вороте и на манжетах армейскими железными пуговками. Он послушно водил пером по тетради, вырисовывал буквы гораздо хуже, чем Гришка с Ленкой, и мужественно не замечал презрительных взглядов, что бросала Фрянчиха из кухни на новоявленного школьника. С честнейшим вниманием и каменной восприимчивостью пожилого человека он слушал, уперев кулак в тяжелую скулу, старательно глядя на Любу мутными сомиными глазками.

— Все звуки,— говорила Люба,— делятся на гласные и согласные. Согласные, в свою очередь,— на глухие и звонкие.

Она произносила слова как можно отчетливей и мягче, чтоб их лучше воспринимал Дмитрий Лаврыч, и через его плечо смотрела на выбритый затылок, на пятки Василия, пытаюсь осмыслить, что же произошло... Пусть ушли рядки яблонь, которые она, хоть это и глупо, а все равно каждый вечер бегаёт проведывать. Пусть зря обсуждала она с Василием, чем лучше расширить виноградник: Изабеллой или Молдавским Черным, и куда именно — к растворенному окну или на полку у крыльца — будут они выносить летом репродуктор, когда Василий проведет радио. Считай, кончилось. Но главное — что случилось с самим Василием?.. А может, не случилось; может, он гакой и был всегда?.. Как он, муж, мужчина, который должен, точно гранитный утес, защищать Любу, мог обругать ее такой черной руганью?.. И вообще кто он? Почему он поддерживает Фрянчиху, когда Фрянчиха хочет заявлять прокурору, что дом описали неверно? Ведь Василий знает, что верно, и не возражает, когда Фрянчиха ему подсказывает: «Подбери отцовские справки насчет его передового мичуринства и езжай. С такими справками прокурор лучше примет». Люба сказала ночью Василию, что это бессовестно. Василий готчас оделся, ушел на улицу. Душа, наверно, у него болит... А тронь его, когда он лежит на кровати, загляни ему в лицо, он сразу глаза закрывает, вроде спать надо.

— Запишем звонкие согласные — б, в, г, д,— громко говорила Люба свекру.

Тот обмакивал перо, тщательно стирал с него о бумажку несуществующие волосы, слушал и писал до тех пор, пока, измучась, не просил:

— Хватит на сейчас. Спасибо. Голова уж как глиняная.

Так вышло и сегодня, в новогодний праздничный вечер, который ввиду общей ссоры никаким торжеством в семье не отмечался. Дмитрий Лаврыч собрал свое ученическое хозяйство и пошел из зала, притворив за собой дверь. Люба решилась.

— Василий! — заговорила она, обращаясь к спине мужа.— Ты меня оскорбил. Если по ошибке, я тебя прошу. Нельзя мучиться каждому отдельно... Ты сядь, Вася, поговори, увидишь — тебе легче будет.

Василий опустил босые ноги, сел.

— Прощаешь? — спросил он.— Тэ-эк. А на что тебе, чтобы мне или кому другому в нашей хате полегчало? Ты ж радуешься, что матери записали хулиганство, подстроили в правлении закавыку. Первая в саду зазвонила: «Не права мать, безобразие!»

— Вася...

— Не васяй!.. Мне на те закавыки плевать, это тебе удовольствие... И мужу твои приятели пробивали башку — тоже удовольствие. Счи-

таешь — так и надо. Сама объявляла ведь: «Фрянсков не прав». А дружки твои правые! Заседаешь с ними, до них являешься: «Здрасьте, до свиданье»...

— Так что мне, на собрания не ходить?

— Ходи. Предложение дай, чтоб повышибить Фрянскову еще и ребра. Эти вот! — Здрава майку, бешено, со всего маху он лянул себя, оставил на теле вспыхнувшую пятерню.

Совсем растерявшись, ища у Василия же защиты, Люба схватила его плечо, но он отдернулся, как от гадюки.

— Нашим и вашим? Ступай лучше заяви на меня. Не первый раз. «Оскорбили» ее, «прощает» она!.. Твар-рюка образованная...

В кухне, куда вышла Люба, было спокойно. Гришка с Ленькой листа-ли принесенную из библиотеки книгу. Люба через головы ребят стала смотреть тоже. Это был Жюль Верн, «Пять недель на воздушном шаре», с картинками во всю страницу. Чудесные африканские пальмы, обвитые лианами, дикари с копьями, хищные львы и тигры в пустыне и надо всем этим — бесстрашные дружные люди под облаками, в корзине воздушного шара. Но картинки виделись Любе будто сквозь сито, и она отошла от ребят. Свекровь мыла в кипятке сепаратор, а Дмитрий Лаврыч из обрезка приводного прорезиненного ремня шил недоуздок корове. Сидел он уже без гимнастерки, в исподней рубахе, с осмысленным лицом, довольный. В край обмылка он вкалывал кривое шильце, намыленным острием протыкал два сложенных вместе ремня. Затем неторопливо, со вкусом, вставлял в отверстие навстречу одно другому концы дротвы с вплетенными свиными щетинками и в полное наслаждение затягивал.

Люба приблизилась к свекрови, взялась вытирать марлевой тряпичей диск сепаратора.

— Куда? Не видишь, неполоснутый! — выдернула Фрянчиха, но тут же смягчилась: — Сядь, отдохни, дочка. Как там Василь, чего он?

— Ничего, — равнодушно сказала Люба жестяными губами.

— А ты, рódная, не кобенись. Это тебе не с ветру кто-нибудь. Супру! Ты бы к нему с просьбой, с лаской. Раз, второй, десятый, когда надо! И другое бы давно обязана... Работаешь в Совете, ходишь не в уборщицах, могла бы подсказать, чтоб судом спросили за побон Василя. Надо — и в район мотнись до товарища Орлова. Он на вашей свадьбе был, кушал нашу хлеб-соль.

Дмитрий Лаврыч отложил работу и, чего Люба никак от своего ученика не ожидала, одобрительно смотрел на Фрянчиху. Слух Любы был обострен, она ясно слышала, что Василий остановился в зале с той стороны двери. Почему не врывается, не кричит, что это совсем уж подло?! Но Василий не врывался.

— Рази так за безобразие над твоим мужем спросили? — сощурилась Фрянчиха и порозовела. Она шлепнула тряпку о сепаратор, как боярыня, уперла в бока могучие руки. — Да в прошлое время за природного казака, — чеканила она, — этому Абалченке, хохлу поганому, так бы на майдане выпали, до новых бы лозин, хам, помнил!.. А что сняли его, то мертвяку припарки. У вас всякий день играют — снимают да ставят.

— Никуда не пойду, — услышала Люба собственный голос. — Не буду вступаться. Думала, у Василия гордость, думала, он человек, — быстро говорила она, натягивая тужурку, наматывая не тем краем платок на голову. — Почему он не выходит, стоит в зале, подслушивает?

— Я и выйду! — Василь появился из двери. — Вас, мама, я не просил кланяться Любе. Она вам за ваши поклоны припасет еще, жиганется, что вы вспомните. Сподтишка сделает!..

Люба выскочила на улицу, в темноту, прижалась головой к калит-

ке. Она плакала и, чтобы кто-нибудь из прохожих не услышал, прикусывала рукав тужурки. В душе она ждала, что Василь выйдет, но двери дома не отворялись.

На улице было сыро. И так чуть не месяц держались жесткие морозы, а сегодня с утра потянул с Азовщины низовой ветер — и враз, как всегда среди зимы на Дону, полило с крыш, залопотали на мокром ветру сады и камыши... Любе во что бы то ни стало хотелось увидеть кого-нибудь. Не для того, чтобы жаловаться, а просто так — посидеть в тепле, побыть возле живого человека... Идти к тетке Лизавете нельзя. Старая дева, она начала вдруг завидовать замужеству Любы, называть ее «мадам». К Марусе Зеленской тоже нельзя: получится как измена свекрови. К Вере Гридякиной? Да разве можно и думать, когда сама отпихнула ее? А с Конкиным сложилось вовсе непонятно. Люба все последние дни чем было хуже, тем больше притворялась перед ним, что дома у нее замечательно, как в сказке... Она перевязала платок, умылась капелью с крыши, пошла к старикам Фрянсковым.

Дорога, еще в обед костяная, сейчас с чмоканием проседала под каблучками. Пахло отсыревшей в тумане корой деревьев, тиной с ерика, камышом, и секундами Любе казалось, что это март, что она по-прежнему учится в станице, идет в общежитие, где, может быть, ждет ее конверт со штампом военной почты, с обязательной припиской внутри, в конце письма: «Живу хорошо, чего и тебе желаю».

Дверь во флигеле стариков Фрянсковых была распахнута. На балконе, оплетенный лозинами вьющейся розы, тек из комнаты дух горелого нашатыря и травяного кислотой цинка. Лавр Кузьмич обрадовался Любе, откинул горячий паяльник.

— Ай посвиданничаем? Ночка темная, парень я молодой,— лихо щипнул он гвоздик уса и, пристукнув деревяшкой, пропел:

Кузнец куеть, принаяриваить,  
Чужих жен приговариваить.

На деревянном диване в холоде растворенной хаты спала под тулупом бабка. Над ней висел на стене в старых поцарапанных ножнах кавалерийский клинок, который — как уверял всех Лавр Кузьмич — лично дарил ему «Михайло Фрунзе». Несмотря на праздничный, новогодний вечер, Лавр Кузьмич трудился. Он жестянничал, скобянил, вил для колхоза бечеву. Через всю комнатенку тянулись параллельно друг другу кошлатые тугие шнуры, отчего помещение напоминало гитару. У порога высилась пирамида ведер, взятых на ремонт из МТФ; на верстаке белела хоринная шкурка, вымазанная для дубления кислым молоком, а рядом стояло недоделанное чучело снегиря с двумя шпильками, торчащими из спины и головки.

— Что вы, дедушка, делаете сразу все? — спросила Люба.

— Зачем сразу? Постепенно. Ленин, Владимир Ильич, на одной работенке отдыхал от другой. Так само и мы! — Лавр Кузьмич моргнул усиком и засмеялся, открывая десны — голые, полированные, как речные голыши.— Стараюсь для своей спячей красавицы,— показал он на бабуку и обернулся к вошедшей со двора вертлявой собаке: — Что, рыжая, симулируешь, не гавкаешь на молодайку? Я, что ль, за тебя должен?

Оживленный девичьей статью Любы, ее косами и румянцем, Лавр Кузьмич усиленно хвастал. Его пальцы, точно у фокусника в цирке, бегали по натянутым через комнату шнурам, накручивали их специальными веретенами, подвешенными на концах. Он ухарски пускал в действие коленку, локти, даже подбородок и живот. Это было почему-то

противно Любе, но от неловкости она улыбалась. Она понимала, что пришла сюда утвердиться покачнувшемся сердцем, услышать от деда что-нибудь хорошее о Василии, но Лавр Кузьмич с азартом рассказывал про себя самого, про свои куплеты, которые он, не боясь, сочиняет на кого угодно.

— Я и райкому и самому НКВД так резану, что все со смеху лезют. Я им в самый пуп! — хохотал Лавр Кузьмич.

Люба насильно улыбалась, рассматривала паяльник, гревшийся на примусе. Язычки пламени, что обегали конец облуженного блестящим оловом паяльника, были пурпурного и зеленого цвета.

— У Васи,— сказала Люба,— паяльник поменьше.

— А-а, Вася твой! — отмахнулся старик.— Дрянь.

Люба опешила. Лавр Кузьмич всегда хвалил мастеровую сноровку Василия, охотно давал ему инструмент, хотя никого другого и на выстрел не допускал к заветным ящикам. Конечно, она шла сюда убедиться, что не права именно она, а не Василь.

— Вы же сами говорили — у него руки золотые...

— То руки. Человеку, кроме рук, нужна поетичность. А Васька порожий. Постучи его по башке — звук будет все одно как от кринки!.. И невестушка моя, твоя свекровь,— стерва. Митька, Митрий Лаврыч, тот подходящий. Да он у вас не атаман. Он как дерьмо заячье: ни мажется, ни воняет.

От замешательства, оттого, что ей было только двадцать лет, Люба не сумела сказать, что не разрешает отзываться так о ее семье. Она лишь бубнила одно и то же:

— Неверно, совсем неверно это.

И только на улице, когда уже не с кем было спорить, сказала себе с презрением: «Дрянь ты, Любка. Слушаешь, как наговаривают про мужа... Дрянь!» Ее немного успокоило, что она дрянь, но тут же — и с гораздо большей силой — вползало другое: «А что если Лавр Кузьмич прав?..»

В темноте на заборе огромным квадратом светлела карта, которую Люба прикрепляла вчера с девчонками и новым комсоргом — Милой Руженковой. Были нарисованы и расклеены по хутору одиннадцать карт, два пейзажа плотины, подписанные стихами, и, кроме того, все газеты с изображениями Волго-Дона и текстами решения правительства. Потрудились много. Каналы рисовали на своих картах и подкрашивали в газетах самой яркой, красной, краской, чтоб за пол-улицы бросалось каждому в глаза, наглядней агитировало. Обводняемые земли закрашивали зеленоватым колером, а участки орошения — густо-зеленым, в знак того, что здесь скоро будут зеленеть такие свержурожай, что раньше даже во сне не снились людям.

Люба стояла, рассматривала приколоченную карту. Издали приближалась компания молодежи, валила с дурашливыми выкриками, с гоном, должно быть на новогоднюю вечеринку. Люба затаилась в тени, так же как недавно затаивалась за дверью клуба; это превращалось уже в привычку... Компания шумно прошагала мимо, у забора задержалась лишь одна пара. По голосам Люба узнала Мишку Музыченко и девушку-техника из приезжей комиссии.

— Клавочка,— ворковал Музыченко,— вы мне будете писать, когда уедете?

Не отвечая, Клава просила:

— Зажгите спичку, посмотрим на плакат.

— Так это, Клавочка, я сам рисовал. Хотите, и вас срисую. Тут прямо! Вот эту вот шейку, спиночку.

— Только без рук,— возмущалась Клава.— Мы ж решили, что вы не будете приставать.

— Как решили? На бюро, что ли? «Без рук да без рук!..» Вроде от рук помирают. Я ж объясняю, Клавочка: только увидел вас — горю огнем.

— Глупости,— ответила Клава.— Нельзя человека не узнать и загореться. И девушка, пока чувства парня не проверит, не должна ничего позволять,— убежденно сказала она и побежала вслед за компанией.

«А я Василию позволяла все. И целовать и обнимать»,— вздохнула Люба. Но она не раскаивалась, что позволяла. Разве не стыдно высматривать, выжидать, когда любишь, примеряться к человеку точно с каким-то сантиметром?..

Она подошла туда, где только что разговаривала пара, стала вглядываться в карту, в звезду, которой изображался хутор Кореновский. Так как никто не знал, куда переедет хутор, его пришлось наносить на его нынешнем месте, то есть там, где на карте гуляли морские волны. В силу хуторского комсомольского патриотизма звезда была начерчена так масштабно, как следовало бы изображать не Кореновку, а столицу Родины — Москву.

Рисовала это Люба. Набор кисточек и краски в тюбиках приносила из дома свои, еще техникумовские. Центр звезды делала алым, лучи обводила полосой кармина, к самым краям добавляла золотистой бронзы — и звезда получилась точно заря, восходящая над морем.

«Чудно,— отойдя от карты и шагая по улице, удивлялась Люба.— Для чего я так старалась вырисовывать? Ведь это море, новые земли, переезды — они против меня... А для чего я выступала, обвиняла мужа? Это тоже делала против себя. Но и мой отец поступал ведь так же. Он, рассказывают его полчане, бежал впереди всех в том бою, где его убили. Торопился к своей гибели. Что же получается из этого всего? Выходит, что как будто едешь в лодке и сам долбишь в ней дно... Конкин всегда требует: «Думай!» Он вечно говорит: «Человек, в отличие от теленка, все делает продуманно». Где ж здесь продуманность, когда пробиваешь дно? С отцом понятно. Отец жертвовал собой для Родины. Ну, положим, и мне надо было выступить, потому что Волго-Дон — это самое огромное в нашей стране, и мы тогда это огромное обсуждали. Но для чего мне возражать Василию, когда я с ним с глазу на глаз? Разве страна требует, чтобы я ссорилась с моим мужем?.. Кому польза от наших мучений?»

Эти мысли примиряли Любу с мужем; а в то же самое время в памяти отвратительно вспыхивало: «Тварюка образованная» — и рядом еще худшее, совсем страшное, слышанное у клуба...

Ноги ступали автоматически. Поочередно. Сами свернули в проулок, где жила тетка Лизавета. Жила она на квартире у бывшей монашки бывшего Усть-Медведицкого монастыря. Монашка выписывала областную газету «Молот», состояла членом колхоза и так хорошо работала, что ее фамилия — «Хохлачева» — украшала стенд показателей. Но Люба из правомерно-комсомольских убеждений ни разу не разговаривала с Хохлачевой — этой строгой старухой, похожей на бухгалтера. Люба постояла у закрытых хохлачевских ставен, за которыми, наверно, было уютно, был сухой, теплый воздух, и ноги опять пошли дальше, остановились у своего двора. В доме, видно по свету в окнах, не спали. Значит, надо будет что-то выслушивать, потом отвечать. Этого не хотелось. А время кружило вокруг нового, 195 \* года. Во Владивостоке (Любу еще в школе страшно изумляли подобные вещи) праздник уже отшумел, в Таллине и Каунасе он наступит фактически завтра; а здесь, вокруг Любы, — вот-вот!.. Радио на столбе в центре хутора не умолкало. Силь-

ный и, слышно по голосу, молодой артист читал боевые, бодрые стихи, и репродуктор рычал и звенел от напряжения. Низовка рвала слова артиста, гнала над хутором вместе с принесенным с Азовщины дождем.

Люба вымокла, озябла и, когда очутилась возле сельсовета и увидела там огонек, стала вытирать ноги о брошенный у ступенек ворох камыша. Сбоку топталась оседланная непривязанная лошадь. Задрав маленькую голову на длинной гибкой шее, баловалась, рвала верхним зубом щепу со столба. Конечно, это жеребец Голубова. Всем известно, что Голубов никогда не привязывает его, «приучает к сознательности». В темноте светлела (тоже известная всему хутору) шегольская уздечка, унизанная наборными мелкими ракушками, блестящими, как серебро. Жеребец звякнул о перило стремянем, потянулся к Любе. Дохнул запахом полыни и железа удил. Цепкой резиновой губой он осторожно тронул платок над Любиным ухом и, почуяв чужую, грузно шарахнулся, стегнул грязью из-под копыт по ступеням крыльца. Люба пошла в Совет. В кабинете Степана Степановича действительно был Голубов. У дверей, уже собравшаяся уходить, стояла Дарья Черненкова — праздничная, с огурцами и мочеными дынями в ведерке.

— А-а, и молодожены под Новый год не спят,— захохотала Дарья, шипнула Любу за щеку и уже из коридора крикнула Конкину: — Завернем с понедельника. Сама буду участвовать!

— Это мы,— объяснил Любе Степан Степанович,— надумали соорудить агитколлектив. Конный. Валентин вот Егорыч бричку и тачанку дает, пусть коллектив катит по бригадам. В гриме, с аккордеонами, банты на лошадях — вроде оперетты. Пьеску для них сочиним с хорошим названием: «Трумéнам наше орошение хуже светопреставленья». Или: «Засухи и ветры — в тартарары!» Это я примерно... Как, Люба, считаешь?

Люба кизнула. Она ничего не считала, рассматривала Голубова. Так недавно она и Василий — счастливые, в долгополых шубах — прыгали перед ним на перекрестке в ту охотничью ночь...

Сейчас Голубов был в той же, как и тогда, кожаной тужурке. Он стоял посреди кабинета, требовал, чтоб Степан Степанович отдал ему дом сельсовета под животноводческие курсы. Он доказывал, что надо заранее, до пуска каналов, научить животноводов травосеянию, степным поливам, прудовому, степному разведению гуся,— всему комплексу водопользования. Люба не слушала, но в ее уши сами лезли громкие слова Голубова о том, что каждая доярка обязана ориентироваться в комплексе не хуже доцентов, которые прибыли сейчас из научных институтов во все станции и дают консультации.

Любу раздражал этот наступающий нахальный Голубов, который не желал ничего знать, кроме своих курсов, заполнял своей персоной всю комнату. Даже израненное ухо и рубцы на шее Голубова, всегда вызывавшие в Любе почтительность, были противны; казалось, что он нарочно выставлял все это. Он вертел на кулаке кубанку с золотым перекрестием на доще и кричал на Конкина:

— Вы бросьте отворачиваться! Наше — сельскохозяйственное — освоение каналов вдесятеро ответственней самой их постройкой. Интерес к освоению надо каждому прививать в обязательном порядке, как когда-то Петр Первый прививал в России картошку. Он ни громов, ни молний не пугался, давил всей своей волей, энергией; а наши дела поважней петровской картошки — нам к новейшей технике стартовать!

— И для этого,— спрашивал Конкин,— вышвыривать Совет на улицу?

Они так шумели, что у Любы стучало в голове. Голубов доказывал, что к его животноводам необходимо подключить также виноградарей и

полеводов. Учить по государственной программе, с зачетами, с экзаменами. Он взмахивал кубанкой, говорил:

— Размещаться надо не где-то на фермах, в задрипанном сарайчике, а в самом центре, в доме Совета, чтоб учащимся были условия, чтоб курсы и в идейном и в моральном смысле звучали!

— Бог с тобой. Сволочь ты,— произнес наконец Конкин и повернулся к Любе.— Наш кабинет, Любаша,— сказал он,— перенесем в чуланчик. Ничего... Стену эту, Валентин Егорыч, разгородишь, будет животноводам лекционный зал. А на той половине организуем виноградарей. Заготовь общую вывеску...

Конкин минуту шурился и, видно сам довольный придуманным, продиктовал:

— «Курсы по совершенствованию преобразователей природы на землях и море Волго-Дона». А сейчас езжай. Езжай, говорю, пока я не одумался!..

Когда за окнами ударили копыта голубовского жеребца, Степан Степанович почесал ухо и, ерзая на стуле, неуверенно взглянул на Любу.

— Как считаешь, ничего, что мы дом отдали? — спросил он и сразу же ответил сам возможно бодрее: — Ясно, ничего! Сессии сельсовета будем проводить, когда у курсов выходной. С посетителями беседовать в чуланчике. Побелим, затопим — красота. Зато курсы в самом центре!

Глаза, коротенькие волосы Конкина, даже его хрящеватые уши — все было таким привычным, прочным, что Любе смертельно захотелось сесть возле, положить на стол, ближе к лампе, озябшие руки и под теплое цоканье ходиков на стенке выложить все свое. И что было раньше, когда была девочкой, и как появился потом Василий, о чем думала, когда писала ему в Германию, как всякую секунду — и ложась в общежитии спать, и даже на уроках — мечтала устроить его и свое счастье.

Но Конкин был занят другим. Он не замечал состояния Любы, не спрашивал, зачем она явилась среди ночи. Никому не было нужды до ее горя. Потому, наверно, и называется такое, как в ней, «личными делами». Конкин ходил рядом, говорил:

— В конце концов начхать на район. Курсы откроем — уже не закроют, дудки! В Червленовом, у кировчан, тоже организуем учебу. А главное, Краснокутскую эмтээс охватить, увлечь Гонтаря. Сама, Люба, понимаешь, у Гонтаря — механизаторы, решающий участок.

Люба слушала, и в ней все больше рос первобытный человеческий протест. «Что мне до ихних дел! Мне, Фрянсковой, с этими моими руками, ногтями, с этой вот царапкой на пальце. Будут курсы, потом каналы, замечательные урожаи, но зачем все оно мне, мне, если нету счастья?..» В уши противно лезли бодрые, как в радиорепродукторе, слова Конкина. Раньше Люба была уверена, что такому человеку, как Степан Степанович, все в людях ясно. Оказывается, он ничего не видит в Любе, спокойно говорит ей, как надо обучать колхозников, как «с честью закончим плотину».

— А закончим — рай будет? — холодно спросила Люба.

— Ишь, быстрая. Разве первое море решит дело? Их тысячу нужно, чтоб сменить атмосферу, создать по степям такой климат, какой приближался бы к Ялте, к Сочи...

Люба всегда мечтала, что она и Василий обязательно съездят в Сочи, в Сухуми. На теплоходе «Россия», в отдельной каюте с никелированным умывальником, с круглыми иллюминаторами. Думая сейчас об этом, она решала: «Пойду домой, скажу: «Не сердись, Вася. Давай сделаем все, что хочет мать, что ты хочешь». А решив так, представляя себе, как ей придется собирать к прокурору Василия, доставать из шифоньера его погоны и армейский ремень — все для подличания, для маскарада.

Конкин тронул Любу за плечо, показал на ходики. Обе стрелки приближались к двенадцати, и Люба подумала, что где-то за окнами, возможно в самой вершине неба, уже появился новорожденный Новый год, требовательно кричит там, дрыгает крепкими ручками и ножками...

— Любаха,— сощурился Конкин,— давай галопом за мужем и к нам! У Елены Марковны вареники в духовке, пирог, гусь горячий с капустой. И у меня вот кое-что...— Он подхватил с пола из-за шкафа авоську, выдернул из нее, как рыбу из сети, бутылку портвейна.— Ну?

— Ой, не могу пойти,— весело улыбулась Люба, замечая, что чем больше каменеет, тем легче врет.— Дома давно стол накрыли. Сейчас Василь зайдет за мной.

— Не нравишься ты мне,— цокнул языком Конкин.— Достань-ка вон пару чернильниц, их Голубов полторы сотни привез для курсов.

Сложенные в углу, за сейфом, чернильницы были не школьными «неперекидалками», а солидными, четырехгранными, с никелированными съемными колпачками. Люба взяла две. Конкин сбил с бутылки сургуч, гвоздем продавил внутрь горлышка пробку, наполнил обе чернильницы. Вино в них засветилось в лучах настольной лампочки, отраженное во всех гранях стекла.

— Красиво! — обрадовался Конкин, подал Любе ее «бокал», взял свой.

— За тебя, Люба. За твое счастье в новом году. И за мое тоже.

Они заулыбались, стукнули чернильницы одна о другую толстыми краями. Пить надо было, прикасаясь вытянутыми губами сверху. Люба выпила, так открыто глядя на Степана Степановича, что почувствовала: сейчас он поверил в ее беззаботность. Конкин тоже выпил, достал свой плексигласовый мундштучок, зажал зубами. Внутри прозрачного мундштука темнел коричневым стержнем застарелый никотинный нагар, должно быть волнующий, манящий Конкина своим запахом. Степан Степанович подержал мундштучок в зубах и решительно сунул в карман.

— Держитесь? — спросила Люба.

— Держусь,— вздохнул Конкин, доверчиво взглянул на Любу.— Понимаешь, я сейчас, как все вместе новорожденные, жить хочу. Принципиально хочу!.. Вот жил бы и жил, работал бы и один новый год, и десять еще.

— Ну, давайте к Елене Марковне! — весело подтолкнула его Люба.

Отгородясь от света, она глянула в черное окно — мол, что же Василий, где запропастился? Старательно легко она вышла со Степаном Степановичем в сени, притворила за ним дверь, подождала, пока стихнут его шаги, и заложила дверь на болт.

Первый раз со дня замужества Люба не пошла дсмой.

*(Окончание следует)*



---

Н. КОРЖАВИН

★

## ИЗ ЛИРИКИ

### *Мужество*

Когда что нужно — сказано вначале,  
А нового пока не написать.  
Оно приходит, мужество молчанья,  
Чтоб даром слов на ветер не бросать.  
Мы отдыха не просим, а напротив —  
Нам стоит крови каждый перерыв.  
И у поэта вечно где-то бродит  
Пока что не осознанный мотив.  
Но если он звучит немного тише,  
Не взял за горло и не бросил в дрожь,  
Не тронь пера... Ведь если ты напишешь,—  
Напишешь дрянь и сам ее сожжешь.  
Как дразнится бессилием сознание  
И тяжело смотреть в глаза друзьям...  
Нет! Это вправду мужество —  
молчанье  
В тот час, когда еще сказать нельзя.

### *Ночная Караганда*

Последний трамвай по стали путей  
Ушел — и придет не скоро.  
Цепочками матовых фонарей  
Светится Новый Город.  
Люди в зданьях уже давно  
Спят... Тишина густая...  
Светится где-то вдали окно:  
Кто-то  
еще читает...  
Но прочие окна давно темны,  
Улица в снег одета.  
Лишь этим двоим посреди тишины  
Вполне достаточно света;  
Им все теперь празднично: гулкий шаг,  
Снежинок неразбериха...  
Мерно гудят вентиля горы шахт,  
Но кажется им, что тихо,

Что город уснул и видит сны,  
Мечты на них навевая...

Но здесь не бывает сплошной тишины,  
Всеобщего сна — не бывает.  
Настанет утро... Пойдут, звеня,  
Трамваи... Взревет сирена...  
И выйдет после рабочего дня  
Из шахты ночная смена...  
И свежие новости люди прочтут  
В газете, что сверстана ночью,  
И оба влюбленных придут в институт,  
Заботясь о сне не очень...

Ночь за окном... Тишина в ушах...  
Но каждый, кто хочет, слышит:  
Мерно гудят вентиляторы шахт,  
Город подземный дышит.  
Пусть в окнах с полуночи ни огня,  
Пусть редок сейчас прохожий,  
Здесь ночь трудовая — предвестник дня  
И дня продолженья — тоже.

### *Инерция стиля*

В жизни, в искусстве, в борьбе, где тебя победили,  
Самое страшное — это инерция стиля.

Это привычка, а кажется, что ощущение,  
Это ты дело закончил, а нет облегченья,  
Это ты весь изменился, а мыслишь, как раньше,  
Это ты к правде стремишься, а сам ты обманщик.  
Это душа твоя стонет, а ты не внимаешь,  
Это ты верен себе и себе изменяешь,  
Это не крылья уже, а одни только перья,  
Это уже ты не веришь — боишься неверья.

Стиль — это мужество. В правде себе признаваться!  
Все потерять, но иллюзиям не предаваться!  
Кем бы ни стать — ощущать себя только собою.  
Даже пускай твоя жизнь оказалась пустою,  
Даже пускай в тебе сердца теперь уже мало.

Правда конца — это тоже возможность начала...  
Кто осознал поражение — того не разбили...

Самое страшное — это инерция стиля.

### *Осень*

Вода в колеях среди тощей травы,  
За тучею туча плывет дождевая.  
В зеленом предместье предместья Москвы  
С утра моросит. И с утра задувает.  
А рядом дорога. И грохот колес.

Большие заводы. Гудки электрички.  
Я здесь задержался, но как-то не врос:  
Ни дача, ни город...

Тоска без привычки.  
Быть может, во мне уже мало огня,  
Я, может, уже недостаточно молод,  
Но осень не манит в дорогу меня —  
В ней нынче одни только

сырость и холод.  
И ноги ступают по тусклой траве.  
Все краски пропали. Погода такая.  
Но изредка солнце скользнет по листве,  
И желтым и красным листва засверкает.  
Как знамя, она запылает в огне  
Подспудного боя.

И станет мне ясно,  
Что жизнь продолжается где-то вонче,  
Все так же огромна,

остра и опасна.  
Да! Осени я забываю язык.

Но все ж временами  
сквозь груз настроенья

Сливаюсь,  
как прежде сливаться привык,  
С ее напряженным и грустным гореньем.  
И может быть, будет еще один год.

Год жизни —  
борьбы с умираньем  
и скверной.

Пусть будет тоска.  
Но усталость пройдет.

Пусть все будет больно,  
но все — достоверно.

Порывы свирепы. Не бойся. Держись.  
Здесь все на учете: и силы, и годы.  
Ведь осень всегда беспощадна, как жизнь, —  
Контрольный налет первозданной природы.  
И в кленах горят желтизна и багрец,  
Как отсвет трагедий,

доступных не очень.  
Для дерева — веха.

Для листьев — конец.  
А чем для меня ты окажешься, осень?



---

ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ

★

## БОЛЬШАЯ РУДА

*Повесть*

**О**н стоял на поверхности земли, над гигантской овальной чашей карьера. На нем была рыжая вельветовая куртка на молниях и штаны из белесой парусины, с застиранными пятнами извести и мазута. Рукой он придерживал кепку, низко надвинув ее на лоб, чтобы не сорвал ветер.

Тень облака скользнула вниз, упала на пестрое, движущееся скопище машин и людей, погасив блеск металла и сверкание стекол. Тень поползла по холмистому дну карьера, подернутому дымкой,— через россыпи желтого песка, голубовато-свинцовой глины и обломки расколотых глыб цвета запекшейся крови — и стала выбираться наверх, обгоняя взлет деревянных лестниц. И умчалась в зеленую степь, к перелескам и хуторам, затерявшимся на горизонте.

Тени шли косяком, и ни одна не могла накрыть сразу весь карьер, но парень, стоявший наверху, видел не это. Он видел пыльную дорогу, петляющую по дну и по склонам, и бесконечную вереницу грузовиков, продельвающих в дыму и реве этот замысловатый путь, чтобы вывезти наверх щепотку глины или песка. Грузовики двигались медленно, с одинаковыми интервалами; казалось, дорога сама, извиваясь, тащит их вверх на себе, а хвост ее все отрастает в темных глубинах.

— Тут работы — мама рóдная! — громко сказал парень. И, выругавшись витиевато, просто так, от избытка чувств, пришел к выводу:— Не может быть, чтоб я здесь не окопался.

Он пошел краем пропасти, топча траву, сошвыривая вниз комья сухой глины. Карьер медленно поворачивался под ним, открывая свои закоулки, затянутые дымом и пылью. Затем парень оглянулся на него из зарослей молодого дубняка, увидел тонкую ребристую стрелу экскаватора, чиркнувшую по облакам, и пошел напролом, раздвигая ветви локтями. Листья хлестали его по лицу. Он вышел на просеку и перепрыгнул глинистый ров. И снова увидел карьер, от которого никак не мог уйти, но не весь, а лишь другой его берег, с белыми и желтыми пластами, едва различавшимися вдаль,— так широка была чаша и так густо она курилась.

В ров из длинной ржавой трубы, висящей на деревянных подпорках, падала вода. Он наклонился и захватил ртом струю, от которой сразу заломило зубы. Вода была чистая и прозрачная, она вовсе не пахла никакой «химией», как думал он раньше, хотя ее откачивали из железистых недр. Ее называли здесь врагом номер один, но парень, напившись, застонал от удовольствия и, сдернув кепку, смочил и пригладил пятерней свои прямые, светлые, мягко распадавшиеся пряди.

Он шел, посвистывая, помахивая кепкой, не отряхнув с куртки тяжелых брызг, и все, что он видел и слышал, нравилось ему: и эта широкая просека с отпечатками рустованных шин на песчаной дороге и шелестом листвы, который мягко глушил звяканье и скрежет карьера; и разбросанные в редком лесу, выкрашенные в желтое и синее дощатые строения парикмахерской, столовой, ларьков, и самое большое из них, с вывеской, написанной малиновыми буквами по темно-зеленому полю: «Контора Лозненского карьера»; и кусты смородины под окнами, распахнутыми настежь, откуда неслись звонки телефонов, треск машинок, голоса и выстирался табачный дым.

Когда-то на месте рудника был сад, потом молодые деревья перенесли, а старые просто вырубил, только две молоденькие яблони возле конторы никому не мешали, их оставили расти. Но никто не ухаживал за ними, и за три года, что здесь велись вскрышные работы, яблони успели одичать. Он подобрал в траве несколько мелких опадышей, но есть не стал, на них и смотреть было кисло, только подержал на ладони.

Отсюда он видел всю выездную траншею, наклонно убегающую между крутыми глинистыми склонами, ослепительно блещущую под солнцем. В конце ее появлялись нагруженные самосвалы — сначала будто картонные, плоско темневшие в дымно-солнечной синеве, а потом постепенно обретавшие плоть, и мощь, и грозную величину, когда они, взрывая, набирали ход и проплывали мимо, попирая землю упругой тяжестью могучего колеса.

«Не может быть, чтоб я здесь не окопался! — опять подумал парень. — Врешь, никто меня отсюда не повернет».

Начальник карьера был молод, очкаст, долговяз и давно не брит. Под столом было тесно его ногам, обутым в баскетбольные кеды, и он сидел, откинувшись, в застегнутом парусиновом пиджаке и мятом соломенном брыле. На столе перед ним был телефон с рукояткой зуммера и ничего больше. Из одного угла рта в другой ходила огромная самокрутка.

— Тоже на работу? — сурово спросил начальник.

Парень, который только что вошел к нему, молча выложил перед ним старое удостоверение шофера, выданное в саперной автороте. Он имел и другие права, но армейские действовали вернее.

Начальник придвинулся и кивнул.

— Дальше.

Но парень не склонен был спешить. Он подождал, чтобы начальник увидел оба талона, ни разу еще не проколотых. Затем появилась трудовая книжка, раскрытая там, где можно было понять, что предъявитель сего возил кирпич на Урале и взрывчатку на строительстве Иркутской ГЭС. Ту страничку, где говорилось о его работе в таксомоторном парке города Орла и на санаторном автобусе в Ялте, он решил не показывать, куда не спросят.

Начальник спросил другое:

— Послушайте, Пронякин, почему вы со мной хитрите? Я же вас помню. Вы же были у меня вчера. На что вы надеетесь? Что я близорукий? Но фамилии-то я все-таки запоминаю. Или думаете, я у вас что-нибудь другое спрошу? Представьте себе, тот же вопрос: какая у вас специальность?

— Шофер, — убежденно сказал Пронякин.

— Вижу, что не парикмахер. Но кто? Карбюраторщик? На дизельных самосвалах ведь не работали?

Пронякин решил сесть. Это значило, что разговор будет по душам. Но начальник не склонен был говорить по душам. Он хмурился и ждал ответа.

— Не приходилось,— сказал Пронякин. Это было все-таки лучше, чем сказать «нет». Просто не представилось случая.

— Разговора у нас не будет,— твердо сказал начальник и отодвинул документы. Он говорил рыкающим баском, срывающимся, однако, на дискант, хотя, конечно, давно прошли времена, когда голос у него ломался. Вероятно, он ломал его снова.— Я знаю, вы приехали по объявлению, какой-то кретин из совнархоза раззвонил на весь Союз: «Приезжайте! КМА-КМА! Милости просим!» А нам вот расхлебывать, поворачивать народ от ворот. Что делать? Мы уже раз шесть объявления давали в газету: «Требуются дизелисты», да кто там фитюльки наши заметит?..

«Я-то заметил,— подумал Пронякин, понимая кивая ему,— только от ворот ты меня не повернешь».

— Вот так, Пронякин,— сказал начальник, вздыхая.— Бортовых машин у меня нет, а на самосвалах ты не работал.

— Это верно...

— Ну вот, я рад, что ты наконец понял.

— ...однако же и девять лет за баранкой — тоже не псу под хвост.

— А я ничего и не говорю. И вообще, это же не от меня зависит. Отдел кадров все равно не оформит.

— Ну, это не скажите! Начкарьера тоже фигура не последняя.

— В данном случае, к сожалению, последняя,— просто сказал начальник. Он прикрыл глаза красными веками.— Пока нет руды, дорогой мой Пронякин, последняя... Последняя, кого можно драить с песком и трепать за хохол, потому что крыть-то ей, собственно говоря, нечем. Будет руда — будет власть. А покамест мы только просим. Можешь поверить, я с тобой по-человечески говорю. Вот — два месяца назад по нашей заявке оформили нескольких шоферов из колхозов, бравые ребята, но в дизелях — ни бельмеса, напортачили бог знает как. Так что теперь вопрос поставлен просто: знаешь самосвал — садись. Не знаешь — будь добр, поучись где-нибудь, тогда и приезжай.

— Да уж видал я, как тут ездют,— вставил Пронякин.

— Вот так,— сказал начальник.— Понял теперь?

— Когда же она будет, руда? Может, ее и ждать недолго. А я уеду...

— Сказать по секрету, Пронякин, я тоже очень, очень хотел бы знать, когда же будет руда. Но я не знаю. И, как видишь, говорю об этом прямо. Этим я, наверно, и отличаюсь от других знатоков. Ошибки, конечно, быть не может, даже думать нельзя об этом. Ожидаем со дня на день, и этот день уже тянется второй месяц. Ждали на семьдесят пятом метре. Черта с два! Ждали на восьмидесятом. Потом обещали нам на восемьдесят третьем, божились — это-то уж наверняка. Ну, выбрали несколько глыб; для рапорта, конечно, хватило; но ведь большой руды нет! Это же, как мы говорим, не промышленный уровень. Понимаешь ли ты все это? Доходит оно до тебя?

— Дошло уже.

— Ну и чудесно. Я ведь чего хочу? Чтоб ты на меня не обижался.

Он помолчал, побарабанил по столу длинными обкуренными пальцами. Потом улыбнулся неожиданно мягкой улыбкой, сразу сказавшей о его возрасте и о том, каково ему сейчас на его месте.

— Что, невеселые вещи я тебе говорю, Пронякин? А мне, ты думаешь, весело? Иной раз сидишь вот так, и какая только чертовщина не ползет в голову. Думаешь — а есть ли она там, большая руда? А может, ее и нету?..

— Как это нету? — тоже улыбаясь, спросил Пронякин.— Раз божились — значит, должна быть. Куда же ей деться?

— Конечно,— сказал начальник.— Куда же она денется? Куда же она уйдет? Ножки-то у нее не выросли...

Улыбка уже ушла из его глаз. Он сильно затянулся самокруткой, поплевал на нее и, бросив на пол, придавил резиновым каблуком. Потом он задумался, глядя куда-то вверх и мимо Пронякина и рассеянно похрустывая суставами пальцев.

— А знаете, что я скажу вам, начальник? — сказал Пронякин.— Никуда я от вас не уйду.

— Ну что ты, Пронякин. Это ты лучше брось.

— Брошу, так сами же и подберете. Я завтра опять приду. И послезавтра приду. И послепослезавтра приду. Выгоните — вернусь. А не вернусь — сами же меня позовете.

— Очень может быть. Когда будет руда. А покамест пойми, нет ба-зы для разговора. И учти — за дверью другие ждут.

Они в самом деле ждали своей очереди, парни в пиджаках и куртках, съехавшиеся по объявлению и слегка обалдевшие от всего, что они увидели здесь. Они подпирали из коридора фанерную стенку и разговаривали нарочито весело и небрежно.

— Слыхали? Такие же бедолаги, как я,— сказал Пронякин.— Нас, шоферов, что нерезанных собак развелось. Ну кто теперь не шофер! И разве же вы им что-нибудь другое скажете? То же самое, что и мне!

— К сожалению, так.

— Только не знаю, как они, а я от вас никуда не уйду. Некуда мне уходить. Намотался, намыкался, поверх головы хватит. Да и поистратился я за дорогу, обратно — веришь ли? — не на что ехать. Вот как хочешь...

— Ты что, в заключении был? — спросил начальник.

— Покамест бог миловал. Я к делу, к месту хочу навсегда определиться. Я работать могу, как мало кто. Я как услышал по радио про ваши дела, так и сказал: «Стоп, Витька! Это как раз, значит, для тебя. Никуда ты не денешься, кроме Курской аномалии. Тебе руду эту самую добывать».

— Что вы все, как один, заладили мне про добычу? Ведь руды-то нет!

— Не говори таких слов, товарищ начальник! — сказал Пронякин торжественно.— Не нынче, так завтра, а будет руда. Такое, понимаешь, вот у меня лично впечатление.

Начальник поглядел на него с любопытством и полез в карман за табаком, но вытащил только пыльную крошку и расстроено заморгал.

Пронякин молча положил на стол пачку «Беломора».

— Ты знаешь, Пронякин,— сказал начальник, беря машинально папиросу,— у меня тоже такое впечатление, что вот-вот должна быть большая руда...

«Так,— подумал Пронякин.— Ты уже спекся».

— А как же! — сказал он непререкаемо.— Куда ж ей, заразе, деться?

— Вот что, Пронякин,— сказал начальник. Он чуть-чуть повеселел и ерзал на своем скрипучем стуле.— Отдел кадров тебя действительно так не оформит. Но я тебе советую: сходи в автоколонну, разыщи там Мацуева, бригадира. Смена у них сегодня ночная, но он-то наверняка в гараже. Не знаю, может, какой-нибудь завалышенький «мазик» он для тебя подберет. А потом будем сочинять ультиматум в рудоуправление. Но если там откажут...

— Понимаю.

— Нет,— начальник покачал головой,— не понимаешь. Ты еще наму-чаешься с этим «МАЗом», заранее тебе говорю. Это у нас, так сказать, отживающая тягловая единица.

— Что же, на них совсем ездить нельзя?

— Почему нельзя? Машина-то прекрасная, добрая, лучше любой десятиконки. Только норма на нее по-уродски составлена. Пока только начинали рыть, еще ничего было, не жаловались «мазисты», а теперь мы уже на восемьдесят пять метров зарылись, километраж вон как увеличился, да и крутизну дорог надо учесть, а нормы оставлены прежние. Вот и ездят у нас пятеро великомучеников. Ты, если оформишься, шестой будешь. Только они с верхних горизонтов возят, а тебе придется с нижнего. Понял теперь? Устраивает?

Пронякин пожал плечами.

— Где наша не пропадала. И долго мне хуже всех будет?

— Не знаю,— сказала начальник.— Одно из двух: либо руду доставим — тогда уж нормы пересмотрят,— либо раньше все «МАЗы» изведем. Я лично на руду надеюсь. Я уж сказал тебе: будет руда — будет власть.

— Ну что ж, меня это тоже устраивает.

— Заявление у тебя готово? Давай подпишу... Эхе-хе... Напишу: «Не возражаю». Большого, к сожалению, не могу.

Пронякин опять пожал плечами.

Тут зазвонил телефон, и начальник, подняв трубку, зажал ее щекой и плечом. Должно быть, ему сообщали что-то тревожное, потому что он начал густо темнеть, и рука его все не решалась поставить подпись.

— Так,— говорил начальник.— Так... Так...

Пронякин двумя пальцами подвинул бумажку. Выцветшие глаза взглянули на него коротко и бестолково, но рука быстро и размашисто расписалась. Пронякин осторожно вытянул из-под нее заявление.

— Скажите там, чтоб не ждали! — крикнул начальник вдогонку.— Больше принимать не буду...

Пронякин уже не слышал его. Выйдя на крыльцо конторы, он увидел те же медлительные тяжелые облака, яблони, пригнувшиеся под ветром, и стенды с портретами передовиков и цитатами из их обязательств, прислоненные к низкой ограде. Те же и все-таки уже не те. Он двинулся не спеша к киоску с газированной водой и бросил мятую рублевку на мокрый алюминиевый поднос.

— Два с сиропом.

Облокотившись, он смотрел на продавщицу. Она мыла стаканы с деревенской тщательностью и без той хлесткой ловкости, которая отличает городских продавщиц. И сироп она наливала аккуратно.

«Дура,— спокойно подумал он.— Счастья своего не знаешь. Эх, сюда бы женульку определить, она б тебе показала. Уж у нее бы потекла копеечка».

— Не надоело еще? — спросил он, принимаясь за второй стакан.

Она взглянула быстро, с диковатой застенчивостью, широко взмахивая выгоревшими ресницами.

— Чего?

— Сидеть тут, говорю, не надоело еще? Такая молодая, тебе бы в самый раз на экскаватор пойти или на кран.

— Не берут.

«Все ясно,— подумал он.— Держаться за место не станешь».

— Возьмут,— сказал он убежденно.— Не посмеют не взять.

Она вдруг улыбнулась, так же застенчиво и диковато.

— Ну да!

— Научный фактор. Книжки читай.

— А я и читаю. Как никто не подходит, так я и читаю... То так и целый день, бывает, читаю.

— По ночам тоже читай. Возьмут.

Он вышел на дорогу. Был пересменок, и самосвалы, на своей словесной скорости двигались порожняком по бетонке, огибавшей лес. Он дождался бортовой машины с людьми и, еще не дав ей притормозить, рывком подскочил в кузов. Кто-то потянул его за куртку, и, опираясь привычно на чьи-то плечи и головы, он пробрался к борту и растолкал для себя местечко. Люди в машине сидели на корточках, и он тоже присел — дорога уже была освоена мотоциклистами ГАИ.

За лесом возникли гаражи автоколонны, а за ними — наклонные галереи и всяческие фермы дробильной фабрики.

— Постучите-кось, кто поближе.

Кто-то забарабанил по крыше кабины, Пронякин спрыгнул и тотчас свернул под арку серых кирпичных ворот. Вдоль гаражей двумя длинными шеренгами стояли самосвалы с поднятыми кузовами. Они напоминали готовые к залпу «катюши». Несколько шоферов чистили кузова лопатами. Пронякин спросил у них, как найти Мацуева. Провожаемый их взглядами — они, разумеется, оставили работу и обсуждали его появление, — он шел мимо высоких радиаторов, достигавших его макушки, мимо оловянных медведей, задиравших на него лапу как по команде, и чувствовал себя уже наполовину причастным к этим свирепым машинам.

Мацуев вышел к нему из темной глубины гаража. Он был не выше Пронякина, но очень широк в кости и весьма внушителен со своей тяжелой квадратной головой и лохматыми, насупленными бровями. Пронякин молча протянул ему свое заявление. Мацуев коротко покосился на бумажку и стал неторопливо разглядывать самого Пронякина, обтирая ветошью голые до локтей волосатые руки. Наконец он спросил хрипло:

— Взял тебя Хомяков?

— Не знаю, — осторожно ответил Пронякин. — К вам послал. Вы, мол, решите, брать или не брать.

— Ишь ты, — сказал Мацуев, не усмехаясь. Он надолго занялся своими обмасленными руками. Пронякин тоже внимательно смотрел на эту ветошь, как будто немало зависело и от нее.

— Такое дело, — сказал наконец Мацуев. — «Мазик»-то у меня действительно есть незанятый. Только его, понимаешь, чинить надо. Сильно надо чинить. В общем, тут механик требуется.

— Вот он и стоит, — улыбнулся Пронякин. — Перед вами.

— И диплом есть?

— Диплома нету. Руки есть.

— Ага, — сказал Мацуев. — Так, значит? Ну что же. Починишь, мне покажешь, тогда и будем решать. — И, предупреждая вопрос, добавил: — Ремонт, само собою, оплатим.

— Само собою, — сказал Пронякин. — А где он, «мазик»-то? Хочу на него поглядеть.

— А чего на него глядеть-то? Его чинить надо. Глядели уж многие, не помогает. Ты подумай, а завтра приходи.

Он двинулся было обратно в темную глубину гаража, но Пронякин неуловимым движением загородил ему дорогу.

— А все ж поглядеть-то можно? Не развалится! Я бы сразу и чиниться начал.

— Прямо сразу?

— А чего ж тянуть?

— Ишь ты, — опять сказал Мацуев. Он швырнул ветошь в ящик с песком и улыбнулся наконец Пронякину. — Ну пошли. Только зажмурь глаза, ежели из робких.

«МАЗ-200» — двухосная ширококорылая машина — был и на самом деле устрашающ. Нужна была старательная, воистину мастерская работа,

чтобы так растрясти рессоры, память кузов, избить ободья скатов. Нагнувшись и поглядев на карданный вал, Пронякин только присвистнул.

— Кто же это такое допустил, а?

— Ездил на нем один, сукин дьявол,— пояснил Мацуев и сплюнул.— Ну, опять же, дороги здесь, сам знаешь, какие. Да и груз деликатный.

— Тут не в дороге дело. И не в грузе. Бить надо по мордам за такую езду.

— Кто ж говорит. Конечно, надо. Только за всеми дураками не уследишь. В общем, гляди сам. Не понравится — обижаться не стану.

— Возьмусь,— сказал Пронякин.— Такая моя планида.

— Подумай,— предупредил Мацуев, уходя.— Я не тороплю.

И как только он ушел, Пронякин быстро открыл кабину и влез на широкое раздавленное сиденье. Это было просто необходимо ему — подержать в руках огромную баранку, ощутить ее шершавость и теплоту и чувство уверенности в себе, точно это и есть те самые рога, за которые берешь судьбу. Он сразу увидел и люфт руля, и обрыв педальной тяги, и что не работает спидометр, закончивший счет километров задолго до того дня, как машина испустила последний вздох. «Э, да не в том суть,— сказал он себе,— зато уж никакая собака не скажет: приполз на готовенькое. Оно, конечно, против «ЯАЗа» трехосного я бы ничего не имел... Да кто ж тебе его даст, Пронякин?»

Оставив в кабине куртку и кепку, он обошел машину со всех сторон, попинал носком увядшие баллоны, затем подошел к радиатору и поднял капот.

— Мама родная! — сказал он почти весело.

Эта состарившаяся телега начинала ему нравиться. Он вытащил из кабины сиденье и, положив его под машину, полез за ним на четвереньках.

Заглянув сюда через полчаса, Мацуев услышал веселое посвистывание.

— Ну как? — спросил Мацуев, присаживаясь на корточки.

— Страх и ужас. Катафалк моей бабушки.

— Откажешься, стало быть?

— Даже наоборот. Беру.

— Думаешь, пойдет машина?

— У меня пойдет. Зверь будет, а не машина.

Пронякин выбрался из-под машины ногами вперед и сел, прислонившись спиной к высокому колесу. Он улыбался, на щеках и на лбу блестящие иссиня-желтые пятна смазки. Старенькую майку он тоже успел запачкать.

— Понимаешь, чем она больна? — спросил Мацуев.

— Двигатель, честно говоря, не смотрел, не дизелист; вижу только, что грязи много. Но рулевые тяги, гляди-кось, как покорежены — обухом, что ли, он их подправлял? Теперь — у карданвала, у заднего, шлицы поистерлись, а погнутость — в полпальца, не меньше; биение, видать, страшное. В коробке передач трещина внизу, это и сам видишь, масло течет. Ну а про задний мост и говорить нечего, вал так просто рукой проворачивается. Уж куда хуже! Сателлиты, что ли, повыкрошились.

— Понимаешь ли... — Мацуев смущенно почесал в затылке.— Может, их там и нету, сателлитов.

— Куда ж они делись?

— Понимаешь, его одно время списать хотели. Ну, каждый и ташил, чего хотел. В общем... не доглядел я. Это уж я маленько обратно его подсобрал, чтоб хоть божеский вид имел. Теперь-то мы его и на день запираем...

Пронякин усмехнулся и махнул рукой.

— Ты чему улыбаешься? — спросил Мацуев. — Тут плакать нужно. Привычки нету. В армии и не такое приходилось чинить. Дефектная ведомость на него составлена?

— В армии был или на фронте?

— В армии. На фронте-то, наверно, не чинили?

— Приходилось. — Мацуев опять почесал в затылке. — Дефектная ведомость, понимаешь, есть. А запчастей нету. Вот какая история. В армии-то, наверно, были?

— Это верно.

— Вот то-то и оно. Так что не зря я тебе говорил — подумай.

— А на свалках? — спросил Пронякин.

— Как везде. Что ты, на новых стройках не бывал? Поищешь — найдешь. Чего не найдешь — наменяешь, «мазисты» и в других бригадах есть. Ну и мы, конечно, от своих «язов» кой-чем поделимся. Ну, что еще? Мастерская у нас хоть и слабая, а своя. Ты возьми только.

— Взятся уже, — сказал Пронякин. — Я от своего не отступаю.

Они помолчали. Мацуев смотрел на него, почему-то виновато помаргивая. Пронякин выволок сиденье и положил его в кабину.

— Ты где устроился? — спросил Мацуев. — В гостинице?

— В коттедже, едят его клопы.

— Тебе в общежитие надо переходить.

— Да ведь не примут, пока на работу не поступлю.

— Поступишь. Будь уверен.

Пронякин вежливо промолчал. Он надел куртку и, сощелкивая ногтем приставшие ворсинки ветоши, ожидал, что еще скажет Мацуев.

— Не знаю еще, какой ты механик, — сказал Мацуев. — А машину, видать, любишь. Уважаешь ее.

— Как не уважать, ежели кормит. Для меня машина — тот же человек, только железный и говорить не умеет.

— А как же! — сказал Мацуев. — Тот же человек... Ну а как с дизелем обращаться, я тебе на своем «язе» покажу. Освоишь. Книжки, какие нужно, у меня возьмешь.

— Книжки есть у меня. С собою вожу.

— Ишь ты. Ну валяй, я тут еще покручусь. Может, какие запчастишки все-таки подберу для тебя. Завтра приходи к восьми. А коменданту в общежитии скажешь — Мацуев, мол, просил пристроить пока. Не откажет. — Он помолчал, пошевелил мохнатыми толстыми бровями. — Жинка есть у тебя?

— Имеется, в одном экземпляре.

— Это хорошо. Жинку со временем вызовешь, ежели захочет она. Покамест в общежитии поживете, а там, может, и комнатка будет... Ты, часом, не из летунов?

— Был. Надоело.

— Ну, это самое верное. Это я и вижу.

Он протянул толстую растопыренную ладонь, в которой совсем спряталась сухая и жилистая рука Пронякина.

Тем же вечером он забрал свой чемодан и котомку из коттеджа — так называлась бревенчатая двухэтажная изба для приезжих — и перешел в общежитие — так назывался длиннейший дощатый барак с террасой и скамейками у крылечка, стоявший в длинном ряду таких же баряков.

В общежитии он пощупал простыни, покачался на пружинах койки и посыпал трещины в обоях порошком от клопов. Над изголовьем он приколотил полочку для мыла и бритвы, повесил круглое автомобильное зеркальце и по обеим сторонам его, с симметричным наклоном, фото

Элины Быстрицкой и Брижитт Бардо. За фотографии он тоже насыпал порошка от клопов.

Комната была на шестерых, но он застал лишь одного из соседей, который лежал поверх одеяла в комбинезоне, положив ноги в сапогах на табурет. Так спят перед сменой. Сапоги распространяли жирный сырой запах тавота и глины, и Пронякин распахнул окно. Ему не нравилось, когда в комнате пахло работой.

Он решил написать жене, пока не вернулись соседи. Он вырвал листок из школьной тетради и, присев к столу, освещенному тусклой, засиженной мухами лампочкой, отодвинул обрывок газеты с огрызками кукурузы и мятой картофельной шелухой.

«Дорогая моя женулька! — вывел он с сильным наклоном влево и аккуратными закорючками. — Можешь считать, что уже устроился. Дали пока что старый «МАЗ», двухосный, но я же с головой и руками, так что будет как новый, и прилично заработаю. Есть такая надежда, что и комнатёшку дадут, хотя и здесь многие есть нуждающие. А я бы лично, если помнишь наш разговор на эту тему, своей бы хаты начал добиваться. Хватит, намыкались мы у твоих родичей, и они над нами поизгилялись, хотя их тоже понять можно, так что хочется свое иметь, чтобы никакая собака не гавкала...»

Сосед зашевелился на койке и замычал. Должно быть, ему снилось плохое. Пронякин взглянул на часы и принялся его тормозить. Сосед открыл один глаз и уставился на Пронякина младенческим взглядом.

— Ты кто?

— Я-то? Ангел божий. Сосед твой. Гляди-кось, смену проспал.

Сосед поспел немного и меланхолично заметил:

— Ну и брешешь.

Он открыл второй глаз и, почмокав пухлыми со сна губами, приподнял наконец лохматую голову.

— Пошарь-ка в тумбочке, опохмелиться ребятишки не оставили?

— Сами выпили да ушли.

— Такого не может быть, — объявил сосед после некоторого раздумья.

— Значит, может, ежели так оно и было. А ты и без опохмела хорош будешь. Ветер нынче свежий, мигом развеет.

Сосед встал наконец на свои подкашивающиеся ноги и покачался из стороны в сторону, разгоняя сон.

— Тебя как звать-то? — спросил Пронякин.

— А тебя?

— Виктором.

— А меня Антоном. Будишь, а не знаешь, кто я и что я.

— Ты на чем работаешь? — спросил Пронякин. Он твердо знал, что тот не шофер, хотя и не мог бы объяснить, почему он это знает.

— На «экеге», — сказал Антон. — Машинистом.

«ЭКГ-4» был экскаватор.

— А ты у Мацуева?

— У него как будто. Ежели не прогонят.

— Ну, вместе будем, — сказал Антон. — Тебе сегодня не идти?

— Сегодня нет.

— Ну, и гуляй. А чего тебе делать?

— Я и гуляю.

Антон засунул в карман полотенце и пошел в кухню, шаркая коваными сапогами. Пронякин подождал, пока заплескалась вода в кухне, и быстро открыл тумбочку. Рядом со скатанным грязным свитером стояла

початая четвертинка. Он стиснул зубы. Вот чего он боялся и что ненавидел, как может бояться и ненавидеть человек, уже однажды опускавшийся до последней степени и сумевший подняться неимоверным усилием, и который по-прежнему себе не доверяет. «Нет уж,— сказал он себе,— старое не случится, последний мужик будешь, ежели случится». Но он знал, что это может случиться, если кто-нибудь рядом, в одной с ним комнате, пьет. Он вынес четвертинку к окну и, перевернув ее горлышком вниз, злорадно слушал, как булькает внизу, в темноте.

Он поставил бутылку на место и принялся вновь за свое письмо: «...А перспективы, как я узнавал, здесь большие, со временем даже завод металлургический построят, поскольку руды, говорят, тут на тысячу лет хватит, а может, и больше, она тут до самого центра земли все тянется. И места хорошие. Конечно, с уральскими или сибирскими не сравнишь, но жить можно, и речка есть, рыбку помаленьку ловят...»

Антон вернулся посвежевший и причесанный по-модному. Он выглядел очень юно со своими сахарными зубами, волнистыми прядями и мальчишеской нетронутостью лица. Он подошел к тумбочке и, подумав, открыл ее.

— Гляди-ка, и в самом деле ни хрена не оставили. А?

Он посмотрел на Пронякина вдумчиво и подозрительно.

— Могу дыхнуть,— сказал Пронякин.

— Дыши на здоровье,— сказал Антон.— Комендант у нас любитель водку забирать. Только он с бутылкой забирает. Придется за печку прятать, что ли.

— Придется за печку.

— А не сгорит?

— Думаю, не сгорит,— сказал Пронякин.— Ну, может, так, немножко испаряться будет.

— А ты в шахматы играешь? — спросил Антон. Он обладал способностью быстро забывать свои огорчения.

— Нет, не играю.

— Давай сыграем,— сказал Антон. Он уже вытряхивал фигуры на стол.

— Опоздаешь ведь.

— Давай работай, больше проговоришь.

— Сказал же — не умею.

— А я, думаешь, умею?

Пронякин накрыл письмо тетрадью. Он уже понял, что так ему не отделаться. Фигуры были огромные, точно играли не люди, а самосвалы. Одной пешки не хватало, и Антон заменил ее куском бурого камня, синеватого на изломе.

— Это что? — спросил Пронякин.

— Руда,— ответил Антон. И первый пошел конем, хотя у него были черные.

Почему он начинал конем, трудно было понять. Должно быть, он ему нравился реальным сходством с лошастью. Через минуту Пронякин взял у него этого коня и кусок руды, а еще через пятнадцать ходов, очень хитрых и достаточно примитивных, загнал короля в угол и принялся за свое письмо:

«Ты шифоньер продай, чего за него держаться, а кровать никелированную мы и в Белгороде купим, себе же дорожке везти. Но денег особенно не жалея, до Рудногорска лучше таксистника найми, а если компания подберется, то будет совсем недорого. И приезжай, не медли, а то я уже по тебе, честно, соскучился...»

Антон мучительно думал. Он еще не догадался, что уже получил мат.

— А вот так? — спросил он, с торжеством двигая ладью.

— Иди к богу в рай, — сказал Пронякин. — Припух ты давным-давно.

— Брешь.

— Ну сиди, думай.

Но Антон не стал думать. Он поверил Пронякину на слово.

— А говорил — не умеешь. Чудак! Но ты мне все-таки нравишься.

— Ты мне тоже.

— А по новой? — спросил Антон.

— Иди к богу в рай.

Пронякин терпеливо ждал, когда он уйдет. Но он вернулся и просушил голову в дверь.

— На танцы пойдешь?

— Пойду, — нехотя отозвался Пронякин.

— В тумбочке у меня галстучек — девки прямо стонут. Только гляди, чтоб они его помадой не заляпали.

И ушел наконец, грохая сапожищами в коридоре.

«...Может, здесь-то и заживем, как мы с тобой мечтали, — выводил Пронякин. — И все у нас будет, как у людей. Но и прошлую нашу жизнь забывать не будем. Жду тебя скоро и остаюсь уверенный в твоей любви любящий муж твой Пронякин Виктор».

Он заклеил письмо и, выйдя, опустил в ящик на фонарном столбе. Потом распаковал чемодан и оделся в темно-синий костюм, купленный проездом в Москве. Костюм сидел на нем неважно, но была сильная надежда на Антонов галстук, который и впрямь оказался выше всех ожиданий. Он зачесал назад свои длинные пряди, побрызгался «Шипром» и положил в кармашек, уголком вверх, надушенный платок. В зеркальце он увидел свой глаз, разрезанный несколько косо, смуглую твердую скулу и трудную складку возле широкого коричневого рта. Он никогда не задумывался, красив ли он, он хотел знать, выглядит ли он прилично.

Таким появился Пронякин на танцплощадке Рудногорска — на пятчке асфальта, шагов двадцати в диаметре, посреди огромного холмистого пустыря. Пустырь имел большое будущее, он находился в центре поселка и мог рассчитывать на звание главной площади города. Но покамест он был завален горами щебня и дранки, заставлен штабелями кирпича и фанерными симметричными строениями известкового цвета, с необходимыми индексами «Ж» и «М». В полдень, проходя этим пустырем, когда по асфальту расхаживали гуси и козы и девочки играли в классы, Пронякин мог бы подумать, что здесь едва хватило бы места для двадцати пяти или тридцати танцующих пар. Но вечером, к его приходу, их было семьдесят или сто, а парни и девчата все подходили из темноты с непреклонным намерением взять свое.

Он побродил вокруг да около и выбрал себе девицу, которую никто не приглашал. Это, впрочем, вполне сходилось с его правилами. Самых ярких следовало остерегаться, если ты вызвал к себе жену. В отъездах он позволял себе кое-что и помимо танцев, но там он и не боялся чужих языков.

— Протиснемся или с краешку? — спросил он ее.

— Мне все равно.

Но ей было не все равно. Ей хотелось протиснуться. Ей хотелось быть поближе к свету, чтоб ее видели с ним.

— Тогда протиснемся. — Он взял ее за руку, и они протискались и заняли случайно освободившийся вершок. — Так хорошо?

— Так хорошо.

Радиола сыграла бразильскую самбу и начала несравненную «Тишину». Пары пошли медленнее и по кругу, и он тоже повел свою даму по

кругу, крепко держа ее руку у запястья. Он не был уверен, что это нравится ей, но так, он видел, танцевали в Белгороде.

— Давно вы здесь? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить.— Имею в виду: в Рудногорске.

— Не знаю. Мне кажется, очень давно. А на самом деле всего лишь третий месяц. Как видите, не с первого гвоздя, как любят здесь говорить.

— Понятно,— сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— И еще здесь любят говорить: «практически неисчерпаемо». Это — о руде. У вас еще будут какие-нибудь вопросы?

Ему не нравилось, что она все время шуруется, улыбаясь. Как будто бы тусклый свет фонаря мог резать ей глаза. И лоб у нее был слишком высокий и выпуклый.

— Пока что не имею,— сказал он.

«Тишина» кончилась. Но пары не расходились. На пяточке становилось все теснее.

— Ничего не поделаешь,— сказала она,— вам придется весь вечер танцевать со мною. Нам уже не выбраться отсюда.

— Тогда уж познакомимся. Виктор.

— Маргарита. Но лучше зовите меня просто Ритой... Если вам это интересно, я немножко стесняюсь своего имени. Мне хотелось бы какое-нибудь простое-простое имя... Ну, не обязательно Глафира или Прасковья, но хотя бы Маша или Ольга.

— И так сойдет,— сказал он слегка насмешливо.

Радиола завела какой-то мексиканский фокстрот. Ребята — в клетчатых пиджаках, ковбойках и просто в майках — танцевали, энергично оттопыривая зад и притопывая одной ногой; лица у них были страдальчески-вдохновенные. Девчата посмеивались и переговаривались друг с другом. Они не принимали танец так близко к сердцу.

— Нравится вам здесь? — спросила она.

— Есть, пожалуй, где и повеселее.

— Не знаю. Я жила в Москве. Ну, еще в Ленинграде. Несколько раз в Артеке. Но это — в детстве, когда еще мама называла меня Марго.

Со всех сторон на них напирали, толкали, и незольно она прижималась к нему низкой и мягкой грудью. Это было не очень приятно, потому что он совсем ничего к ней не чувствовал. И потом ему как-то трудно было представить себе ее в детстве.

— Девчонки наши воют: нет того, нет другого, безумно скучают по Москве. Но в конце концов для чего мы сюда приехали? Разве не для того, чтобы чувствовать себя участниками большого, настоящего дела? Разве это не радостно? Я им это каждый день говорю.

— А они что?

— А они? «Чувствуем, радостно, только в театр хочется». Или «на каток». Но это у них, конечно, пройдет. У меня это давно прошло. И мне здесь живется как-то окрыленно. Приятно ведь написать маме: «Мы уже прошли пласты сеноман-альба, апт-неокома, пробились к самому келловею».

— Что вы говорите! — вежливо изумился он.— Неужели к самому келловею?

— Что значит «к самому»? Уже давно штурмуем. А вы разве здесь недавно?

— Второй день.

— Вы, наверное, экскаваторщик? Или взрывник?

— Водитель. На самосвале.

— Ну, все равно. Вам тоже предстоит штурмовать келловейский пласт, пробивать окно в руду. Если б вы знали, как я вам завидую.

— А у вас, простите, какая специальность?

— Горнячка. Этой весной окончила институт. Но я работаю не на карьере. Здесь, в рудоуправлении. Готовлю документацию к чертежам, всевозможные исходящие, если запрашивают Москва или Белгород. А они запрашивают чуть не каждый день. Не знаю, может быть, вам это покажется скучным. Но, наверное, моя работа нужна, если меня сюда поставили?

— Наверно, нужна... Даром же не поставят.

Радиола опять завела «Тишину».

— Нужно уметь во всем находить хорошее,— сказала она.— Вот посмотрите, кто-то повесил радио выше фонаря, и его в темноте не видно. Можно подумать, что музыка льется откуда-то с неба. Это красиво, правда?

Он посмотрел вверх. В конусе фонарного света бились ночные мотыльки. Ночь была темна, ни одна звезда не пробивалась сквозь толстые облака, и едва достигал сюда свет дальних домов и бараков. Больше он ничего не увидел и посмотрел на нее. Она была вся захвачена танцем и раскачивалась, задумчиво сощурясь и напевая. В нем шевельнулось что-то вроде восхищения, он хотел бы так уметь говорить, как она.

— Ничего пластиночка,— сказал он, кивая вверх.— Берет. Держит.

— К сожалению, это последняя. Уже одиннадцать, а наш радист очень пунктуален.

«Тишина» кончилась, и в громкоговорителе послышался щелчок. Но шарканье ног по асфальту еще продолжалось. Пары не расходились. Они танцевали без всякой музыки.

— Собака он, ваш радист, больше никто,— сказал Пронякин.— Меня б туда посадили, так я б до утра заводил. А почему нет, ежели народу хочется?

Она мягко улыбнулась, округляя губы.

— Мало ли чего нам хочется. Может быть, его ждет жена. Или он думает о людях, которым рано вставать на работу. Все ведь можно объяснить по-хорошему, правда?

— Что же он, лучше их знает, чего им надо? Инструкция у него, вот и закрывает лавочку.

Она опять улыбнулась ему.

— Боже, как вы мне напоминаете наших девчонок. Даже слова те же: «инструкция», «лавочка». И «вот я бы!», «вот мы бы!» Но разве можно скулить, жаловаться, если живешь среди таких людей?

— Каких же это?

— Ну, которые живут настоящим делом, делают его своими руками. Они иногда бывают грубыми, я видела, как они пьют, участвуют в драках, сквернословят. Но это потому, что им не приходит в голову взглянуть на себя. Сколько в них настоящего, рабочего благородства! И в вас оно есть.

— Черт его знает,— сказал он,— не замечал.

Но ему было приятно думать, что в нем есть благородство. Ему это как-то не приходило в голову.

— Есть,— сказала она убежденно.— И давайте потанцуем, как все. Без музыки. Ведь и в этом есть своя прелесть, правда?

Шарканье ног по асфальту все продолжалось. Шарканье и дробный разноголосый говор, в котором каждый не слышал соседа. Потом где-то близко, в темноте, пиликнула и заскрежетала гармошка.

Кто-то из парней неподалеку от них закричал:

— Миша пришел!... Давай, Миша, наяривай!

И все закричали тоже:

— Сыпь, Миша, не жалей!

— Миша, лучший друг, поработай. Чего тебе стоит!

— Мишенька, иди сюда, милый, мы тебе конфетку дадим...

Пронякин увидел Мишу. Он продвигался между парами ходом шахматного коня, раздвигая их костлявым плечом,— в черной бархатной курточке и необъятных брезентовых галифе, вправленных в кирзовые сапожищи. На голове у него блином сидела замасленная артиллерийская фуражка. Он растягивал и сжимал маленькую писклявую гармошку, как машина, заведенная на тысячу оборотов, и ухмылялся блаженно. Из-под Мишиных пальцев, корявых и заскорузлых, выходило что-то среднее между «танцем лебедей» и саратовской матаней.

— Что это за тип? — спросил Пронякин.

— Это Миша,— сказала она.— Володя Хомяков за что-то прогнал его с карьера, и он теперь работает при бане. А мне жалко его. Он просто не нашел своего места в жизни.

Пронякин пожал плечами.

— Ну, положим, Володя Хомяков знает, кого выгнать, а кого принять.

Миша остановился как раз против них и смотрел в упор, улыбаясь слонявой улыбкой. Двух передних зубов у него не было. Он раздирал гармошку, не останавливаясь ни на секунду.

— Эй ты, хмырь! — крикнул Пронякин.— Ты играй по-человечески! Понял?

— Гы! — сказал Миша.

— Ты еще что-нибудь умеешь играть?

— А как же! — сказал Миша. И заиграл то же самое, только громче.

Вдруг он заорал:

— Кралечку нашу затралили! Увести хотят!

Вокруг засмеялись. Должно быть, кому-то здесь Миша казался остроловом. Но Пронякину вдруг очень захотелось украсить Мишин рот еще двумя щербинами. Он двинулся к Мише, мгновенно расширепев, но Рита удержала его, с неожиданной силой вцепившись в рукав.

— Не надо, не злитесь на него, мы лучше уйдем. Уже ведь поздно.

— И то правда,— сказал Пронякин, так же мгновенно остывая. Он почувствовал благодарность к ней. Хорош бы он был, если б связался с дурачком.

Не переставая наяривать, Миша кричал им вслед:

— Кралечку увели, я ж говорил! Держи вора-босняка-а-а!..

Впрочем, на него недолго обращали внимание. Танцующие пары двигались, шаркая, плотной массой по кругу. Пыль поднималась над ними и таяла в конусе фонарного света.

— Провожу, что ли,— сказал Пронякин.

— Не нужно меня провожать,— сказала она быстро и как бы испуганно.— Я не хочу, чтоб вы думали, что мне это нужно. Ведь вы из приличия, правда?

Он не нашелся, что ответить. Он смотрел ей вслед и, когда она заслоняла тускло-оранжевый свет подъезда, видел, как она странно изгибается всем телом и как высоко держит голову. «И не споткнется,— подумал он, усмехаясь. Но в усмешке его было что-то вроде восхищения.— Наверно, и правда, бог таких бережет».

Она прошла весь грязный неровный пустырь, заваленный битым кирпичом и железным ломом, и, не оглянувшись, быстро исчезла в подъезде.

Соседи Пронякина уже спали мертвецким сном. Он встал на пороге, морщась от их разноголосого храпа и запахов — нефти, глины, сырмят-

ной кожи и пота,— бивших в нос наповал. Натыкаясь на табуреты, путаясь в голенищах сапог, разбросанных по всей комнате, он пробрался к окну и распахнул форточку. Затем он разделся, аккуратно уложил костюм в бумажный чехол и вывесил на спинку кровати брезентовую робу.

Где-то близко по улице прошли гурьбой, хрустя по щебню, и головами, оловянными и старательными — парней, звонкими и смеющимися — девчат, завели песню:

Забота у нас простая-а-а...  
забота наша такая...  
Пошла бы руда большая —  
и нету других забо-о-от!..  
И снег и вете-е-ер...

Но «ветра» не вытянули и рассмеялись и пошли дальше.

Пронякин лежал и курил, медленно передумывая все события этих последних дней, с тех пор как он попрощался с женой на вокзале в Горьком, где она работала буфетчицей, и уехал, оставив ее у родственников, чтобы оказаться здесь, в этой комнате, среди чужих. Папироса его выжигала зигзаги в темноте, петляла и возвращалась к его губам.

«Это все уже ненадолго,— думал Пронякин. «Это все» была комната с разошедшимися обоями, запахами и храпами и его собственная неустроенность, которую он всегда чувствовал сильнее в разлуке с женой.— Это все уже ненадолго. Домик здесь займем; может, ссудой какой помогут. И чтоб все было в доме — холодильник, телевизор, мебель всякая. А со временем-то, может, и машинку свою заведем. Но это, впрочем, уже идиллия.— Этим словом он называл все несбыточное.— Это уже идиллия, известно же: сапожник всегда без сапог. А вот пацанов своих пора бы действительно заводить: ведь уж тридцать скоро, а женушке и того больше. Ей-то ребенка надо, аж кричит... Ничего, все будет. Только бы не споткнуться где. Не споткнуться бы. А там уж я сам себе свой. Лиха беда начало. А споткнуться можно очень даже просто, и тогда снова — ежай, ищи, жди...»

Он лежал, опустив руку с папирсой к полу, и слушал, как ветер гремит чем-то железным на крыше. Он заснул, и папирса погасла и выпала из его руки.

Мацуев действительно подобрал для него запчасти и положил их в кабину «МАЗа». И каждую из этих прекрасных вещей Пронякин подержал в руках, неторопливо прикидывая, много ли это или мало и не сваял ли он дурака, взявшись за ремонт. Это был бы, конечно, неплохой комплект для всякой годной машины, но не для «МАЗа», в котором, наверное, живого места не было. По-настоящему Пронякин еще не видел его, на то нужна была полная разборка, и от нее-то все зависело, потому что в конце концов не стыдно было бы и отказаться и поехать в другое место, где, быть может, повезет и дадут новую машину. Но это он только обманывал сам себя.

В тот же день «МАЗ» отбуксировали к смотровому люку, лебедка сняла с него платформу кузова, кабину и двигатель, приподняла раму, из-под которой слесари выкатили передний и задний мосты, и Пронякин, вооружась отвертками и ключами, принялся разбирать. К исходу второго дня он увидел свой «МАЗ» по-настоящему, когда уже и «МАЗа»-то не было, а была только груда частей, узлов и деталей, едва уместив-

шаяся на стендах. Тут он увидел все его раны, болячки и язвы, все сколы, забоины и трещины, все погнутости и вмятины и его святая святых — рабочие поверхности цилиндров, бывшие когда-то зеркальными, а теперь покрытые нагаром и пылью. Тогда он понял, что никуда не уйдет.

Он сел на бетонный пол в мастерской и горестно замотал головой.

— Ах, сука...

Ни черта он не понимал, тот, кто ездил на этой машине, а другие, кто понимал, пришли потом, и, конечно, им было уже не совестно «раздевать», растаскивать по кускам искалеченное существо, которому вряд ли воротись и жизнь и прежнюю силу. Пронякин не стал распутывать концы, он просто пошел к тем, на кого намекнул Мацуев, и попросил их вернуть детали, снятые с его «МАЗа». Одни вернули их, стыдливо и молча. Другие потребовали доказательств и хорошо, с большим чувством, посмеялись над ним. Впрочем, они легко соглашались на обмен.

Но ему покамест нечем было меняться, и он присмотрел и обшарил несколько автомобильных и экскаваторных свалок, где можно было кое-что разыскать, если не брезгать и ковыряться часами, разгребая щепкой мусор и гниль, и если потом отмыть детали в бензине, опилить заусеницы или сделать наплавку и отшлифовать на станке. Он оставлял себе то, что садилось впритирку, остальное шло в оборот и понемногу, по крохам, заполняло пробелы в дефектной ведомости.

Понемногу и все эти шесть тонн металла, пластмасс и резины приобретали рабочий облик и благородный рассеянный блеск деталей — когда Пронякин и слесари убирали с них черную маслянистую грязь и нагар, когда смывали накипь в рубашке охлаждения едкой каустической содой и прочищали миллион отверстий, каналов и трубочек щетинным ершом или ветошью, намотанной на проволоку, когда заваривали крупные трещины сталью, а мелкие протравливали кислотой, а потом зашлифовывали абразивами и наждачной теркой, когда заливали изношенные втулки баббитом и вулканизировали мясистую резину камер. И постепенно у него отлегло от сердца. «МАЗ», конечно, не был такой машиной, которую под силу доконать самому ледящему портаху, и при всех его ранах и ссадинах в нем далеко еще не было той глубокой усталости металла, которую и не заметишь снаружи и от которой единственное лекарство — переплавка.

Слесари в мастерской, наверное, чувствовали это. Наверное, это было у них в пальцах — умение видеть металл на ощупь и знать, что ты не работаешь зря и возвратишь ему прежнюю крепость. Они были чуточку склочные и в меру ленивые ребята, эти четверо слесарей, с большой склонностью к философии, которая размагничивает руки, потому что приходится ими махать. Но они все-таки что-то умели и не задавались этим; они очень быстро поняли, что сн бы, пожалуй, мог обойтись и без них, а они без него — едва ли. И, пожалуй, они не провернули бы все эту адскую работенку за неделю, если б он не торчал у них над душой и не подменял их во время затяжных перекуров.

Он приходил в автоколонну с первой сменой и вертелся до поздней ночи, убегая только на час — пообедать и пройти с Мацуевым очередной урок обращения с дизелем. Но наконец настал день, когда они прикатали оба моста и таль поставила на место кабину и собранный двигатель. Пронякин подвел к нему патрубок топливопровода и подсоединил электропроводку. Он хотел все сделать сам. Но руки у него неприлично дрожали, потому что этот момент всегда был исполнен для него таинственности, и теперь уже слесари торчали у него над душой, рассуждая на тему: «Пойдет или не пойдет?»

Двигатель провернулся с поцелуйными звуками, потом заворчал и чихнул.

— Будь здоров! — сказал Пронякин. — Сейчас я тебя покормлю.

Тогда он взревел, мгновенно окутавшись синим выхлопом, и Пронякин сел на пол, чтобы немного успокоиться.

— Куда ты торопишься, чудака? — спросил он и рассмеялся счастливым смехом. — Ты ж еще не родился.

Но «МАЗ» уже родился. Он ревел, содрогаясь нетерпеливо, хотя еще был ободран и «не одет» и стоял всеми четырьмя ногами на домкратах и опорах. Ему хотелось на волю, и слесари, наверное, тоже поняли это; они пошли и открыли ворота пошире, и солнечный свет стеною встал на пороге, не в силах двинуться дальше, в темную и сырую глубину гаража. И все-таки «МАЗ» откликнулся — вспыхнувшим блеском стали, меди и смазки и матовым сиянием белого чугуна.

Они оставили двигатель обкатываться и ушли в мастерскую, но время от времени Пронякин, сорвавшись с места, прибежал сюда и без конца что-нибудь регулировал. Он никак не мог сказать себе «хватит», он не мог наглядеться и послушаться, хотя слесари уже посмеивались над ним. Теперь в сравнении с тем, что было сделано, оставались сущие пустяки. Оставалось собрать и поставить скаты, починить платформу и заклепать листовую сталью пробоины и ржавлины в кузове. Потом еще раздобыть дерматина и дратвы и цыганской иглой залатать сиденье. А напоследок он решил поставить новый спидометр, со счетчиком на нуле, чтобы он отсчитывал километры с первой его, Пронякина, ездки. И, конечно, он должен был сделать его трехцветным, не как у всех, потому что, ей-богу же, «мазик» имел на это право — за все свои страдания.

Он купил несколько банок краски — густо-серой, темно-зеленой и черной — и выкрасил машину с великими трудами, сам заляпавшись с головы до ног. Рама у него была черная, а кузов серый — подумав, он нанес еще зеленую полосу, похожую на ватерлинию, — крылья тоже серые, и такие же ободья колес, только еще с зеленой каймой, а капот и кабина, наоборот, зеленые, с черными и серыми стремительными зигзагами. Высунув язык, он разглядывал свою работу. Теперь он узнал бы свой «МАЗ» среди тысячи других.

А все-таки чего-то еще недоставало. Он подумал, почесал в затылке и понял, чего недоставало. «МАЗу» недоставало теперь оловянных буйволов на капоте, великолепных барельефных буйволов, напруживших немисливо могучие загривки. Кто-то безжалостно содрал их, бог весть для чего, и Пронякин, конечно, не в силах был примириться с тем, что буйволов этих не будет. Это было бы чертовски обидно — выезжать на «МАЗе» без буйволов, когда у всех они есть. Этого никак нельзя было себе представить, и в конце концов его «мазик» тоже имел право носить на себе этих буйволов. Поэтому Пронякин отправился к «мазистам» и перенес контуры буйволов на промасленную бумагу, а потом вырезал их из листового дюрала и прикрепил к боковинам капота.

За этим занятием и застал его Мацуев, когда пришел принимать работу. Молча он обошел машину со всех сторон, осмотрел силовую передачу и механизм кузова и слазил в кабину. Потом запустил двигатель и поднял капот. Он слушал, наклонив голову и помаргивая, как покупатель в магазине прослушивает пластинку. Пронякин смиренно стоял поодаль, чумазый и похудевший, но весь его вид говорил о том, что ездить на этой машине должен только он и никто другой.

— Н-да, — сказал Мацуев. — В третьем цилиндре вроде как бы шумок у тебя лишний. Подрегулировать бы маленько форсунку, а?

«Шумок, говоришь? — подумал Пронякин.— Вот был бы тебе шумок, и не лишний, если б не нашел дурака, как я. «Мазик»-то на твоей совести».

Но бригадир был бригадиром, поэтому Пронякин наложил ключ на винт регулятора и повернул его чуть влево, а потом — слегка заслонив рукавом — чуть вправо.

— Теперь хорош?

— Теперь другое дело.

— Может, на ходу попробуем? Хоть и не просох еще...

— Попробуем, — сказал Мацуев, закрывая капот.— Садись за руль.

Пронякин вывел «МАЗ» за ворота. Он вывел его прекрасно, потому что двери гаража были узковаты, а двор заставлен самосвалами, и он ни разу не ездил на таких тяжелых машинах, где ты сидишь непривычно высоко, точно на троне. Потом они повернули к дробильной фабрике, проехали мимо ее висячих галерей и ферм, мимо кассетного заводика, который делал бетонные панели для строительства поселка, и Пронякин попробовал «МАЗ» на всех его пяти передачах, покуда не уперся в закрытый шлагбаум железнодорожной ветки. Мацуев следил за ним краем глаза. На обратном пути они поменялись местами, и теперь уже Мацуев попробовал машину на всех пяти передачах, благо бетонка была пуста в этот час. Мацуев был добрый водитель, но не фейерверк, совсем не фейерверк. Он не родился, он просто стал шофером, а мог бы стать и машинистом на паровозе и слесарем в мастерской.

— Педали у тебя легковаты, — сказал Мацуев, когда они въехали во двор.— Чуть тронешь, и уже слушается. Может, потуже бы сделал? А то как бы он тебя по случайности не послушался.

«Ну, это уж ты блажишь, папаша», — подумал Пронякин и ответил коротко:

— Я так люблю.

— Ну, гляди сам, — охотно согласился Мацуев.— Тебе же ездить, не мне.

— Значит, ездить все-таки?

— А то как же! Твой «МАЗ», чего и говорить. Теперь и отдел кадров препятствовать не посмеет. Да мы уж и так его уломали. Ты вот что, ступай-ка оформляйся до шести. Завтра медосмотр пройдешь и технику безопасности. А с понедельника, в первую смену, можешь и в карьер. Как раз и подсохнет машина. Ну и за ремонт я тебя, конечно, не обидел. Вали, получай.

Но Пронякин еще не сделал последнего жеста.

— Ну что ж, бригадир.— Он усмехнулся и щелкнул себя по щеке чуть пониже уха.— Обмыть надо «мазик». Ты меня не обидел, я тебя уважаю. А?

— Ни-ни, — сказал Мацуев.— У нас это, понимаешь, не заведёно, чтобы подносить бригадиру из получки.

— Какая ж это получка? Это ж за ремонт. Можно сказать, с неба вместе с «мазиком» свалились.

— Все равно, — вздохнул Мацуев.— Прознают, понимаешь, а бригада пока что без срывов. Вот какая история.

— Понимаю, — сказал Пронякин.— Третья заповедь. «Не пей сам, пои ближнего».

У Мацуева затряслись плечи и заколыхалась грудь. Толстые лохматые брови поползли вверх, открывая острые слезящиеся глазки. Так Мацуев смеялся.

— А пивка? — спросил Пронякин.— Все же культурно!

Мацуев перестал смеяться.

— Насчет пивка — это культурно. Это можно. Только один я не пойду, ты уж всю бригаду приглашай.

— А я и приглашаю. В лице бригадира. Все чинненько. В воскресный день. Пиво, закусь, то да се. Культурненько. Только где?

— В «зверинце», где же.

— Принято!

«Зверинцем» именовался в Рудногорске стандартный торговый павильон типа «Фрукты — овощи», отделанный дюралевыми панелями и железной кроватной сеткой. Задняя дверь его, куда обычно ходит продавец и вносятся ящики с товаром, была, наоборот, парадной, и вся полезная площадь принадлежала посетителям — не считая угла, где стояли фанерный ларек и бочки. Здесь пили подолгу и говорили «за жизнь», роняя пивную пену на земляной пол, который в дождливые дни превращался в тягучее, смачно чавкающее месиво. Здесь сводились счеты — очень немудреные счеты, стоимостью в два-три хороших удара по скуле, которые, однако, выполнялись в замедленном темпе и в несколько приемов, с беззубыми угрозами и маханием кулаками — до и после драки, иногда и вместо нее. Впрочем, особенно резвиться здесь никому не давали и разводили обыкновенно на второй минуте.

В один из солнечных дней поздней осени сюда придет гусеничный кран и, вздев эту клетку на высоту в три человеческих роста, перенесет на рыночную площадь для использования по прямому назначению. Зрелище будет веселым и чуть печальным, как всегда, когда кончается одна эпоха и наступает другая; и сам крановщик пропустит по этому случаю две последние кружки. Но в то холодное воскресенье «зверинец» еще стоял на прежнем месте, между столовой и строящейся трехэтажной гостиницей, и деятельно служил страждущим в роли стоячей забегаловки.

Пронякин пришел сюда королем, помахая сотенными, в окружении всей бригады. На пустыре подле «зверинца» паслись бульдозеры и самосвалы, в самом павильоне было тесно и полутемно, и у ларька плотно группировались комбинезоны и ватники. Но Федька Макозовов, юноша как раз под потолок «зверинца», немедленно заработал мощными локтями, а Прохор Меняйло, Косичкин и Гена Выхристюк — «Гена Выхристюк из Мелитополя», как отрекомендовался он Пронякину, — тут же начали собирать гроздьями порожние кружки. Антон завладел бочкой и вызвался помогать продавщице. Это было куда реальнее, чем занимать очередь.

Завсегдатаи «зверинца» не преминули заметить:

— Мацуевцы гулять собрались! Что-то вас давно не видали.

Мацуев выставил вперед растопыренную ладонь.

— Мы и выпиваем, — сказал Мацуев, — и дело знаем.

— А жинка про то знает? — спросил парень в черном беретике и с полосами тельняшки в отвороте комбинезона.

— А ты поди доложи. Она хоть и женщина, а понимает: раз человек уважение хочет сделать бригаде, тут уж не откажешься.

— Так бы и говорил, — согласился парень в беретике, и остальные посторонились.

По живому коридору Пронякин прошел к ларьку и уперся в широкую спину Федьки. Федька повернулся к нему. На румяном его губастом лице было разочарование.

— Столичной, говорит, нема. И особой тоже нема.

— А что «ма»?

— Пиво и шампанское. Пошли к «Гастроному»? Что же ты, «мазика» шампанским будешь обмывать?

— Шампанское — это культурно, — сказал Пронякин. Он сунул голову в окошко и увидел пухлую зачуханную девицу в нестираной диаме. — Девушка, нас тут семеро. Сделайте нам на все.

— Чего на все? — Она тупо смотрела на сотенные. — Не понимаю, чего вы хотите.

«Конечно, не понимаешь, — согласился он про себя. — Женулька б, та мигом поняла. И всем было б хорошо, и ей было б хорошо, и комар бы носа не подточил. Эх, сколько народу не на своем месте сидит!»

— По бутылке шампанского на персону. Закусь, я думаю, сообразишь сама? Сдачи чтоб не было, ясно?

Она сообразила наконец и выдала им гору соленых баранок и синевато-малиновой колбасы с ломтями черного хлеба. Пивные кружки переходили по конвейеру.

И на том его миссия кончилась, теперь ему самое верное было скромно молчать, и слушать, и смотреть, как они пьют шампанское из пивных кружек. Кажется, они остались довольны. Один только Федька подошел к нему и, разглядывая вино на свет, глубокомысленно заметил:

— Ты знаешь, Витя, мы совершили большую ошибку. Взяли шампанское, а оно теплое. И какой нужно быть необразованной халявой, чтоб торговать теплым шампанским!

Пронякин молча кивнул. Он умел понимать тонкости этикета. Если тебя упрекнули в том, в чем ты не виноват, значит, ты безупречен.

Он стоял, потягивая не спеша из кружки, и думал о том, что его первый шаг удался, и притом обошелся ему сравнительно дешево. Покажи себя сразу — это он твердо усвоил за свою жизнь, которая казалась ему достаточно долгой, — это легче и проще, чем показывать потом, когда мнение о тебе сложилось и, чтоб изменить его, ты должен будешь прыгнуть выше головы.

На другое утро он шел с ними в автоколонну, как свой, неторопливо и молча, как они. А молчали они потому, что знали друг друга давно и хорошо.

Он сел в кабину и попробовал двигатель на малых оборотах. Двигатель завелся сразу, и стук был ровный и мягкий, одинаковый во всех четырех цилиндрах. Один за другим взрывывали «ЯАЗы». Они выезжали по одному справа и выстраивались на бетонке в кильватер. Ветер завивал пыль на обочине, и Пронякин поднял стекла кабины.

Подошел Мацуев и приложился лицом к стеклу. Он улыбался слегка заговорщицки.

— Как жив? — спросил он.

— Порядочек! — ответил Пронякин.

— Ну валяй, — сказал Мацуев.

— Ага, — сказал Пронякин.

Он ехал последним в своей бригаде и на поворотах видел всю колонну. Самосвалы двигались, как танки, в свирепом рычании и в черном дыму, не ходко, но непреклонно. Казалось, ничто не остановит их. Но то один, то другой из них останавливался, если человек на обочине поднимал руку. В это время другие самосвалы обгоняли их, и перестроиться на узкой бетонке уже не удавалось. «Впредь буду сажать у базы, — заметил для себя Пронякин, — чтоб уж ехать с полной кабиной». Он был из тех шоферов, которые и мысли не допускают, чтобы отказать голосующему, но он не хотел, чтобы его из-за этого обгоняли.

Лес остался позади, за ним промелькнула контора, яблони, и, не сбавляя хода, колонна вошла в карьер. Он стремительно раздвинулся в прорези выездной траншеи и вдруг хлынул весь в глаза и в уши, чуть затуманенный и скрежещущий, лязгающий, ревущий. Колонна распалась на отдельные группы машин, которые поползли, петляя, к своим

экскаваторам, стоявшим на разных уровнях. Пронякин спускался шестым к своему, стоявшему в самом низу, в свинцово-голубоватой выемке, и чувствовал странное волнение, хотя он знал и не такие дороги. И все же это не помешало ему заметить, как невыгодно подъезжать шестым. Он должен был дожидаться своей очереди, не выключая двигателя и не выходя из кабины, чтобы размяться, и время от времени подтягивать машину к экскаватору на один интервал.

Антон в своей остекленной кабине был весь на виду и безостановочно двигал рычагами.

— А, новенький! — приветствовал он Пронякина, сверкая сахарными зубами. Сбившаяся светлая прядь падала ему на лоб, уже вспотевший и розовый.

— Новенький, — сказал Пронякин, вылезая из кабины. — Только машина у меня старенькая. Так что гляди, сосед, сыпь по-божески. Понял? Чтобы и тебе было и мне.

— Сколько надо, столько и насыплю, — сказал Антон. — Не бойсь, не обижу. Подставляйся!

Пронякин «подставился» и снова вылез — так полагалось по инструкции, на тот случай, если машинист промахнется и заденет ковшом по кабине, — и стал наблюдать, как тяжелый ковш, опускаясь, качается над его машиной, готовый закряхтеть и грузно осесть на рессоры. Ковш покачался и замер на мгновение. Его нижняя челюсть вдруг отвалилась бессильно, и грунт посыпался с тугим грохотом. Машина осела слегка. Но Антон не сразу отвел стрелу, он задрал ее выше, чтобы высыпать еще несколько пудов глины, приставшей к закраинам стенок.

— Есть у тебя совесть, Антон? — закричал Пронякин, впрочем, только так, для порядка.

— А как же, — сказал Антон и дал длинный гудок. — Не вякай под руку, отъезжай.

Пронякин сел и, не закрывая дверцу, чтобы смотреть назад и под колеса, повел машину к выезду из карьера. Так он начал свой первый рейс.

К выезду вели метров семьдесят ухабистой дороги, проложенной по камню, по глине и песку, и затем песчаная разноцветная лента, извивающаяся по крутостям склона. Где-то на верхних горизонтах она переходила в бетонку. Перед глазами Пронякина маячил темно-зеленый «ЯАЗ» Федьки Маковозова. И по тому, что он слышал Федькин двигатель сквозь шум своего, Пронякин понял, что его «МАЗ» идет несравненно легче и что есть шанс немедленно «ободрать» Федьку. Сантиметр за сантиметром он подбирался к Федьке и наконец поравнялся. Федька что-то напевал с набитым ртом, откусывая от черной краюхи, и, увидев рядом лицо Пронякина, весело подмигнул. Затем на его лице — всегда полусонном, с вывернутыми губами и помидорным румянцем — отразилось беспокойство. Рука незаметно упала с баранки вниз, машина взревела и окуталась дымом, но это уже не помогло ей догнать уходящего Пронякина.

Пронякин оглянулся и сделал Федьке ручкой. Федька сердито шевелил губами за ветровым стеклом и сверлил пальцем висок.

— Мне же двадцать две ездки... — так же беззвучно объяснил Пронякин и показал на пальцах.

Федька хлопнул по лбу ладонью и показал вниз, на обрыв. Тогда Пронякин все понял. Он обгонял на таком участке дороги, где Федькина машина оказывалась с краю. Он сделал извиняющееся лицо и сбавил обороты, пропуская Федьку вперед. Но тут Федька и вовсе расшвырялся и, пропуская Федьку вперед. Но тут Федька и вовсе расшвырялся и, сбавив обороты, пропуская Федьку вперед. Но тут Федька и вовсе расшвырялся и, сбавив обороты, пропуская Федьку вперед.

— Куда ты пятишься, дура?! Куда? Уж ободрал, так не осаживай! Пшел вперед, в бога душу...

Пронякин усмехнулся и легко оставил его позади.

Теперь перед ним покачивался и прыгал номер «БЕА 13-48». Но он еще не запомнил всех номеров и, лишь зайдя сбоку, узнал по сварному шву на кузове машину Косичкина. Он был самым опытным в бригаде, этот морщинистый и желтолицый, как старый японец, Косичкин. За глаза его так и называли—«японец». И всегда он был чем-нибудь недоволен. Здесь, на руднике, ему не нравилось. Не нравилось — и все. Собственный «ЯАЗ» ему не нравился. И шампанское ему тоже не нравилось, хотя он выпил все до капли. А нравилось ему вспоминать, как он служил на пожарной машине в маленьком городишке под Харьковом, и как его знал весь городишко, и что это была за работа. Раз в сутки он мчался, как угорелый, и показывал свой первый класс, а в остальное время лежал под машиной, приладив руки веревочной петлей к подmotorной раме, и спал. Или предавался размышлениям. Все проходившие мимо думали, что он там что-нибудь починяет, и изумлялись его трудолюбию. И еще, как он похвалился в «зверинце», за всю жизнь он не задавил даже курицы. Но вот нелегкая однажды вытащила его из-под машины и привела на этот карьер. И держит здесь, хотя ему все не нравится.

Пронякин подобрался к нему вплотную и стал обходить, повторяя своей маневр. Он увидел недовольно сморщенный лоб Косичкина, точно у того болел живот, и, сделав виноватое лицо, слегка осадил назад.

— Но-но-но! — закричал Косичкин и погрозил согнутым пальцем. — Ишь, закаруселил, циркач! Не на бульваре гарцуешь. С дамочкой. Шагом марш вперед, если тебе нравится!

— Слушаюсь, — сказал Пронякин.

— А будешь гарцевать, молодой человек... — начал Косичкин настоятельно, но так Пронякин и не узнал, что станет с ним, если он будет гарцевать.

На втором витке дороги он достал Прохора Меняйло. Тот сидел, откинувшись, возложив на баранку худые ширококостные руки и вперив вдаль озабоченный взгляд. У него были нестерпимо голубые глаза курянина. А за ухом торчала папироса. Неизвестно было, когда он ее выкуривает, но она всегда торчала у него за ухом. И всегда он был молчалив и сумрачен, и вертикальная складка резала его лоб с глубокими залысинами. Впрочем, Пронякин его понимал. Когда у тебя трое ребятишек и беременная жена, это располагает к глубокомыслию.

Пронякин стал обгонять, оглядываясь, спрашивая глазами, и Меняйло так же молча кивнул.

Чем выше, тем ровней и положе становилась дорога, и Пронякин, уверенно прибавив скорости, стал догонять Гену Выхристюка. Гена из Мелитополя почему-то нервничал. Он вихлял кормой и то и дело высывался, отчаянно вертя стриженной головой на тонкой шее. Пронякин не знал, с какого боку к нему подступиться. Он посигналил Гене, тот рассмеялся в ответ и выпустил из-под кормы шлейф дыма. Иссиня-черные клубы окутали кабину «МАЗа». Пронякин тоже рассмеялся и выругался, но осаживать не стал. На его счастье, по деревянной лестнице с третьего горизонта на второй спускалась женщина в синей стеганке, с малиновой папкой под мышкой. Должно быть, она принесла ее из конторы кому-нибудь из инженеров. Она остановилась, пропуская машины, и ее загорелые колени оказались как раз на уровне Выхристюковых глаз. Гена моментально исчез в кабине, и тотчас заскрежетали тормоза. Пронякин чудом на него не налетел.

— Эй, куряночка! — закричал Выхристюк, высываясь до пояса. Он оставил пиджак в кабине, и на нем поверх свитера зеленели подтяжки. — Садись, подвезу!

Он смотрел на нее с обожанием. Она тоже смотрела на него, кусая губы, чтобы не рассмеяться, и прихлопывая раздуваемую ветром юбку.

— Садись, а то ножки заболят! — сказал Гена заботливо и хрипло. — Ай-яй-яй, такие ножки и вдруг — заболят! Ну, где мы еще достанем такие ножки?

Остального Пронякин уже не видел. Опомнившись, Гена закричал ему вслед:

— Ты что? Ты куда? Ты почему?!

«И чего шумят, спрашивается? — удивился Пронякин. — Знают же, что мне никак нельзя без обгона, и — шумят. Хотя, конечно, их тоже понять можно. Неприятно, когда обгоняют. Я бы и сам, наверное, пошумел».

Дальше пошла бетонка; Пронякин еще прибавил скорости и наконец его латаный и чиненый «МАЗ» подкрался к первому самосвалу в бригаде. Первым шел Мацуев, и покуда Пронякин решил его не обгонять. Он шел чуть сзади и сбоку, стараясь все время видеть тяжелый подбородок и скулу водителя, но тут сам Мацуев, обернувшись, заулыбался и сделал приглашающий жест — проходи!

Несколько секунд Пронякин делал вид, что не понимает его, и все так же почтительно шел на треть корпуса позади. Тогда Мацуев высунулся и крикнул:

— Чего топчешься? Проходи, тебе же больше всех надо!

Он ничего такого не имел в виду, он просто хотел сказать, что Пронякин на своей легкой машине, бравшей один ковш грунта, должен сделать на семь ездов больше, чем они на своих тяжелых, бравших по два ковша. Пронякин же понял его по-своему и усмехнулся.

Он увеличил подачу топлива до предела и на полной скорости прошел выездную траншею и участок перед конторой, обогнав еще три или четыре машины, которые возили грунт с верхних горизонтов. Затем дорога круто поворачивала к отвалу. Это была настоящая бетонка, с частыми температурными швами, которые увеличивали сцепление, и достаточно широкая даже для трех машин в ряд. Люди этой дорогой не ходили, а машины двигались с большими интервалами, и он мог маневрировать, резко забирая влево, а при случае рискнуть и на двойной обгон.

Его руки и ступни делали свое дело, а мозг работал отдельно от них, спокойно и четко. Здесь, решил он, будет главный его козырь, на этих трех километрах он сможет обгонять по десять, а потом, быть может, и по двадцать машин в рейс. Если он выиграл гонку с трехосными «ЯАЗами» на дороге вверх, тогда ему и карты в руки на ровной прямой, где два ковша говорят свое веское слово, а лишняя ось уже не имеет значения. Теперь следовало подумать, что можно выиграть на отвале.

Вскрышную породу сбрасывали в глубокий овраг с крутыми склонами, поросшими блеклой травой. На дне оврага росли невырубленные березы и старый орешник; верхушки их едва достигали края помоста, на который задним ходом въезжали машины, и когда сыпался грунт, слышны были треск ветвей и шорох сминаемой листвы. Он видел, как туго приходится этим деревьям, которым уже не суждено было пробиться сквозь толщу грунта. Но думал он не об этом.

Короткий кузов его машины поднимался ничуть не быстрее, чем у «ЯАЗов», и, кроме того, он не имел скоса на заднем борту, поэтому его приходилось поднимать выше. Правда, задний борт у него откидывался, но из-за этого нужно было дважды выходить из кабины — сначала открыть щеколду борта, затем вернуться в кабину, чтобы поднять и опустить кузов, затем снова идти закрывать щеколду и только после этого трогаться в путь. «МАЗ» был из старых выпускков, когда еще не придумали шарнирный запор с продольной тягой и рукояткой возле самой

кабины, и Пронякин терял на этом три минуты — почти столько же, сколько выигрывал в гонке. Он хотел наверстать эти минуты на обратном пути, но порожний он уже не имел большого преимущества перед порожними «ЯАЗами».

И все же в очереди у экскаватора он был уже не шестым, а третьим. Чтобы скоротать время, которое томило его и казалось ему совсем пустым, он занялся расчетами. И так, он выигрывает по три машины в рейс. Большого он, пожалуй, сегодня не добьется. И это значит, что он едва-едва вытянет норму. А больше обгонять нигде — на спуске в карьер это запрещалось строго-настрого. Во всем виновата была дурацкая шеколда.

Делая вторую, третью, четвертую, пятую езду, он старался не думать о шеколде. Он хотел добиться покамест самого главного, что необходимо любому водителю, если он делает один и тот же рейс, — приладиться к дороге. Так, чтобы чувствовать по малейшему наклону кабины, не заглядывая под колесо, как изменяется профиль дороги и где выгоднее сбросить скорость, или перейти на другую передачу, или выжать из машины все, на что она способна.

Он мог бы довериться глазомеру и контролировать себя по цвету горизонтов: сначала серо-голубой, испачканный бурой пылью слой келловейских песков и глин, затем слой обычной коричневой глины, белый пласт известняка, желтая толща песков и, наконец, серый слой, понемногу темнеющий ближе к чернозему поверхности.

Можно было, конечно, и так, но на третьей езде у него зарябило в глазах. Глаза уставали прежде всего, лучше было положиться на память мускулов, и он избрал для себя только один зрительный ориентир — те две яблони, что росли у конторы. Они обозначали конец этой дьявольской дороги вверх над обрывом. Сворачивая в траншею, он видел их острые верхушки, которые понемногу сливались в одну густую крону и наконец вновь раздваивались тонкими стройными стволами.

— А вот и мы, — говорил он этим яблоням, и его глаза отдыхали на них. Затем он переключал скорость. — Ну, теперь пошел главный козырь!

И все же шеколда не давала ему покоя. Только из-за нее он не добрал до нормы трех ездов, хотя он не давал себе ни минуты отдыха и пот катил градом по его лицу. Напряжение, с которым идет машина, всегда передается водителю, и чем лучше он ее знает, тем сильнее передаются ему ее усталость и боль.

Он страдал оттого, что в очереди у экскаватора нельзя выключить двигатель и дать отдохнуть ему и себе. Каждые полторы минуты он должен был подтягивать машину на один интервал. Он никак не мог научиться делать это автоматически. К тому же водители «ЯАЗов» могли не вылезать из кабин, хотя инструкция и предписывала это. Помимо инструкций, у них еще был прочный козырек кузова над головой, который защитил бы их, если бы машинист промахнулся и ударил ковшом по кабине. В конце концов и Пронякин плюнул бы и не стал вылезать, но раза два Антон насыпал ему груз не по центру кузова. «ЯАЗы» не так боялись перекоса, который к тому же можно было исправить вторым ковшом, — Пронякину приходилось вываливать груз и становиться опять в хвост очереди. Подниматься же с перекошенным кузовом было и мучительно и опасно. Бешено выругавшись, он погрозил Антону кулаком, но тот лишь ухмыльнулся и заглушил его длинным гудком.

Он хотел наверстать недобор за счет перерыва — еда у него была с собой, — но в этот час карьером завладели взрывники и сирена выгнала всех наверх.

Он возвращался в гараж усталый, разбитый и злой. И, въехав во

двор, долго сидел в кабине, закрыв глаза, хотя ему нужно было осмотреть и помыть машину, подкачать баллоны, заправиться маслом и солярой и слить в ведро черной вязкой отстой из топливных фильтров.

— Ты что сумной какой? — спросил Мацуев.— Солярки надышался? Стекла опускай. И вылазь почаще.

Пронякин не слышал его. Он ступил наземь и зашатался. Он думал о проклятой шеколде.

Утром он подобрал на стройке тонкостенную водопроводную трубу и протянул ее на проволочных кольцах вдоль борта, соединив с левой щеколдой. Правой он решил пренебречь, пока еще чего-нибудь не придумает. Штанга была укреплена так, что он мог открывать и закрывать задний борт, вылезая лишь на подножку. Это уже было достижением.

В тот день он попробовал свое изобретение. Подъезжая к отвалу, он лихо разворачивался и ехал накатом к оврагу, одновременно поднимая кузов. Затем он вылезал на подножку. Вся штука была в том, чтобы грунт посыпался как раз в тот момент, когда задние колеса упрутся в ограждающее бревно на краю помоста, и к этому времени уже отстегнуть шеколду, и сидеть в кабине, и не прозевать едва ощутимый толчок, и вовремя выжать тормоз. В первый раз он едва не свалился в овраг, во второй — затормозил слишком рано, и только в четвертый или пятый его нервы и мускулы не проспали толчка и стали понемногу привыкать. Теперь он мог закрывать шеколду и, на ходу опуская кузов, трогаться в путь. На всем этом он уже выигрывал полторы минуты.

Затем ему пришло в голову, что он может отправляться в путь и закрывать шеколду одновременно. Он даже рассмеялся и обозвал себя трижды идиотом за то, что эта мысль не пришла к нему сразу. И вот он давал короткую прогазовку и включал полную скорость, а потом вылезал на подножку орудовать штангой. Он висел, держась одной рукой за борт, спиной к движению, а другой рукой яростно дергая и поворачивая штангу, а в это время машина набирала ход. Если бы он свалился случайно, машина пошла бы дальше и, пожалуй, наделала бы делов. Но он об этом не думал. И не слишком обращал внимание, когда встречные шоферы, полным ходом подъезжавшие к отвалу, бледнели и чертыхались, быстренько сворачивая в сторону. В конце концов им же не приходилось вылезать на подножку. Им же не приходилось делать лишних семь ездов. И к тому же он был уверен, что страшного ничего не случится: эти восемьдесят или сто метров машина шла по широкой площадке, укатанной и расчищенной для разворотов. Когда машина выходила на дорогу, он уже сидел за рулем.

Несколько раз это сходило Пронякину даром. Но ближе к концу смены, когда водители уже начали уставать, один из них резко застопорил, став поперек пути, и принялся обкладывать Пронякина последними словами. Он ругался равнодушно и сипло, время от времени уставало закрывая глаза, не обращая внимания на пробку, которая понемногу нарастала, и на отчаянные сигналы у него за спиной.

Он сразу кончил ругаться, как только подъехал по обочине Мацуев.

— Это твой, что ли, такой шустрый? — спросил нервный водитель, указывая на Пронякина согнутым заскорузлым пальцем.

— Ну, из моей бригады. А ты чего разошелся?

— Чистый циркач! — сказал нервный водитель с некоторым восхищением.— Что они у тебя, все такие? С глазами на затылке.

— Ты езжай,— нахмурился Мацуев.— Сами разберемся, где у кого глаза.

— Вот и я говорю — сразу и не разберешься.— Он успокоился и отъехал, и за ним проехали остальные.

— Ты поосторожнее все-таки, Виктор,— посоветовал Мацуев.— Это он психанул, конечно, но и ты тоже... Не дразни людей понапрасну.

— Я на него наехал? — спросил Пронякин запальчиво.

— Не наехал, а мог бы.

— Вот когда наеду, тогда пускай и психует.

Мацуев не ответил и спрятал свои глазки под насупленными бровями. Двигатель у него взревел.

— Хотел бы я знать,— крикнул Пронякин,— как бы я иначе сделал лишних семь ездов? Виноват я, что у вас такие дурацкие нормы?

— Нормы не я устанавливаю,— сказал Мацуев и отъехал.

Пронякин сплюнул на обочину и поехал тоже, круто набирая скорость. Он не мог и не хотел думать о том, чтобы смириться и отдать то, чего он уже достиг.

В этот день он все-таки вытянул норму и даже сделал две ездки сверх нее.

Это было еще не то, о чем он мечтал, но он знал, что остальное решат другие минуты, которые он непременно выиграет тоже, если сумеет форсировать двигатель, если приучит Антона не валять дурака и насыпать ему груз по центру кузова и если все-таки рискнет раз-другой обогнать кого-нибудь на спуске.

— А ты, как я погляжу, лихой! — сказал ему Мацуев, когда они почистили и помыли свои машины и поставили их в гараж. Он сказал это не то осуждающе, не то восхищенно.— Ездишь, как бог, всех обдираешь.

— Тем и живем,— ответил Пронякин, медленно возвращаясь от своих мыслей.— Не возражаешь?

— Ишь ты,— сказал Мацуев, не улыбаясь.

Остальные промолчали, искоса поглядев на Пронякина. Они медленно брели в поселок по бетонке, на которую уже легли оранжевые пятна заката.

Поселок лежал на холме, за мостком, брошенным через крохотную, заблудившуюся в камышах речушку. Он был точно кем-то аккуратно печатан, вместе с разноцветной коростой крыш, в обширную бугристую лысину посреди молодого леса. Над крышами летали голуби, где-то, ровняя новую улицу, стрекотал бульдозер, и предвечерними голосами перекликались женщины, звавшие детей.

— Я жить никому не мешаю,— сказал Пронякин полушутя, полусерьезно.— Каждый может, как я. Разве нет? А не может, кто ж ему, бедному, виноват?

Что-то исчезло из тех, первых, минут знакомства с ними. Он не любил, когда это исчезает слишком быстро.

— Оно так,— неопределенно ответил Мацуев.— А все-таки, ежели кой-кто невзлюбит, не опасаться?

Пронякин вдруг ясно увидел себя, как он круто сворачивает у них перед носом, а вслед ему несутся гудки и ругань. Конечно, он заставлял их нервничать. Особенно, когда висел на подножке, повернувшись лицом назад.

— Ничего, прилажусь,— сказал он устало и примирительно.— Никто в обиде не будет.

— Поскорей бы,— усмехнулся Мацуев.— А то ненароком сшибешь кого. или сам в кювет угадаешь.

— Мне же хуже.

— А отвечать? — спросил Мацуев.— Папа римский? Мацуев будет отвечать.

Они перепрыгнули канаву и пошли лесной тропинкой, срезая поворот. Листья кустов подрагивали от ветра. По этой тропинке, широкой и вытопанной до твердости асфальта, ходили на рудник и летом и зимой.

Она уже забыла, когда на ней росла трава, но ветви кустов были целы, хотя люди постоянно задевали их.

— Вот когда я в пожарной команде служил...— начал вдруг Косичкин.

— Слыхали,— сказал Федька.— Руки привязывал?

— И совсем про другое. Был, значит, начальник у нас... Михаил Денисыч... Взял, идиот, и выиграл «Москвича». Про него даже в газете написали: «гр. Эм Де Семенов, обладатель крупного выигрыша, явился в наш магазин». Слава, конечно. Но, между прочим, на следующей неделе я его в больницу отвез. Раз, это, у него на спидометре сто сорок написано, значит, он тебе должен такую скорость всему городу продемонстрировать. Иначе зачем же ему «Москвич»? И в газете зачем писали? Ну и, понятное дело, на столб налетел. Мне-то, конечно, нетрудно в больницу свезти. Пожалуйста, с дорогой душой! Но почему же обязательно на столб? Разве нельзя так, чтобы, например, столб у тебя справа стоит, а ты его объезжаешь слева? Или наоборот.

— Что ты плетешь? — спросил Федька.

— Я не плету,— обиделся Косичкин. Желтое лицо его потемнело от возмущения.— Ты шкет против меня, понял? Как ты можешь мне грубить?

— Да при чем тут столб?

— Сам ты столб. Я не про столб. Я про жизнь. Столбов много, а жизнь одна. Я в войну генерала возил — очень храбрый такой был у меня, генерал, Героя получил за Днепр. И сам я тоже был малый шухарной, не то, что теперь, мне тогда и двадцати не было. А все же, как налет или так что-нибудь побрякивает, так мы с ним, понимаешь ли, в шельку спрячемся и — дышим. «Петя,— говорит,— очень я жизнь люблю и тебе советую». Н-да, но под Веной все-таки убило его... Вот, вот, гляди, ящерка побегла. Ать, стервоза, как извивается! Думаешь, она жить не хочет? Хочешь, а? — спросил он ящерицу.

Маленькая зеленая ящерица взлезла ветвистыми лапками на сучок и замерла. Едва заметно пульсировала ее чешуйчатая салатная шейка. Косичкин выпрямился и шагнул к ней. Она тотчас юркнула в сухие листья.

— Нервная,— сказал Косичкин.— Но, между прочим, хвост она тебе спокойненько отдаст. Ей красоты не жалко. Второй-то у нее похуже будет. Н-да, ловко это природа придумала, а? А вот и не очень. Второй хвост она ей придумала, а вторую жизнь — нет... Вот оно как, дорогой мой Витя.

— А он-то при чем? — спросил Выхристюк.

— Он знает,— сказал Косичкин.— Он водитель добрый, а что ни дальше, то все лучше будет. А вот сегодня я его чуть не обругал, даже самому противно стало. Ну ладно бы я еще пешего дуралея ругал, а то ведь своего же брата шофера. Это уже драма. Тут, Витя, есть о чем подумать. Ты хочешь работать физицки напряженно? Я тебя понимаю, сам был молодой, Ну и работай физицки напряженно, только на крыле не виси, когда тебе самое верное в кабинке сидеть да глядеть в оба. Себе же спокойнее будет и другим. Потому — что такое шофер? Целый день — сплошные нервы.

Солнце опускалось все ниже и вдруг сошло за деревья. Лес наполнился длинными тенями и солнечным туманом, за которым не видно стало поселка. Но выше были удивительно ясно видны порозовевшие облака и узкая фиолетовая полоска неба. Лес как-то сразу притих, и стал слышен шорох шагов.

— Красотища какая! — вздохнул Выхристюк. Он искренне страдал и морщил лоб в продолжение всего разговора, который был ему явно в

тягость.— И дышится легко-легко. Так бы всю жизнь дышал, аж до самой смерти!

— Нравится? — спросил Косичкин.— А зачем же тогда с ума-то сходить? «Руда! Руда!» Ну, что же руда? Оно, конечно, всякому приятней железо возить, чем пустую породу. Вот и в человеке оно есть, железо, уж не помню, сколько-то процентов. А все-таки зачем же нервничать? Если, скажем, предназначено ей, рудишке-то, в пятницу появиться, так она же все равно в понедельник тебе не покажется. Ну и ради бога! Неужели же из-за этого жизнь себе портить? Вот врачи говорят: один день нервного целый месяц жизни у человека отнимает.

— Это ты все глупости говоришь,— вдруг сказал Меняйло.— А для чего же мы тут живем? Для чего город строится? Чтобы мы в песочке копались? Вся страна, можно сказать, руду эту ожидает. Вот и Хомяков говорит, мы покамест без отдачи живем. Потому и артисты к нам не ездют. И кино самые вшивые привозят. И правильно. Государство деньги вкладывает, а мы ему покамест шиш даем.

— Это ты к чему, Проша? — унылым голосом спросил Выхристюк.

— А к тому, что всем легче будет, когда руда пойдет. Мне вот дружок из-под Курска, с Михайловского карьера, пишет — сразу легче стало, как пошла руда. И кино, и артисты, и масло в магазине, и мануфактуры всякой навезли. Потому что с отдачей стали жить. А Витьке, понимаешь, на это наплевать. Ему бы ездок побольше сделать, заработать.

— А ты почему знаешь? — спросил Пронякин.

Меняйло угрюмо смотрел себе под ноги. Он уже сказал, вероятно, самую длинную тираду в своей жизни, и теперь ему трудно было что-нибудь из себя выдать. Но он все-таки выдал:

— Ты бы другим не мешал.

Лес кончился, и тропинка опять вывела их на бетонку.

— Торопись ты, Виктор,— сказал Мацуев.— Я вот тут с первого гвоздя, в палатке с женой и дочками жил. Да и другие, кого я знаю, не сразу к ним все приходило. А ты хочешь, чтоб сразу все. Нет уж, погоди, присмотрятся к тебе, соли пудика три съедят с тобою, а тогда уж и претендуй.

Дальше они шли молча. Федька, посвистывая толстыми губами, хлопал веткой по перилам мостка. Выхристюк сбегал вниз умыться и вернулся с примоченным чубиком и обрызганной грудью. И опять страдальчески сморщился.

Молча они поднялись на взгорок и пошли широкой, давно обжитой улицей, мимо огородов и палисадников, где росли подсолнухи, помидоры и розовые кусты.

У дома Мацуева они остановились. На улице пахло пылью, привядшей картофельной ботвой и гусиным пометом. Дом Мацуева стоял за ренденым голубым забором, в глубине палисадника, весь в зарослях граммофончиков и плюща. На красной крыше вертелся флюгер и высилась Т-образная антенна, по которой бродила парочка турманов.

— Эх, хлопцы,— сказал мечтательно Выхристюк,— жить бы нам всем на одной улице. Пришел домой — душа радуется. Часик порадовался: пошел, например, к Меняйло пешком через забор — козла забить. Или, скажем, к Федьке — магнитофончик послушать. Музыка самая модерн. И чтоб девочки были красивые.

Мацуев молча усмехнулся и стал протягивать всем толстую растопыренную ладонь.

— Так-то вот,— сказал он Пронякину, который засмотрелся на его дом.

— Ладно, бригадир,— нехотя протянул Федька.— Кончай нотацию. Витька все это учит. Верно?

— Давно учел,— сдерживаясь, ответил Пронякин.

— Ну, а раз так, самое бы время сейчас в «зверинчик» сползать. И чтоб больше ни слова!

— В честь чего бы это? — спросил Мацуев.

— А в честь чего бы и не пойти? — спросил Федька.

На крыльцо вышла жена Мацуева, очень смуглая и дородная и, как многие здешние женщины, в платочке, низко надвинутом на лоб, хотя солнце уже зашло. Должно быть, она только что спала.

— Подышать, гляжу, вышли, Татьяна Никитишна? — спросил Федька, галантно приподнимая кепку. — Вечер добрый!

— Добрый,— сказала жена Мацуева. — Ты и сам-то, гляжу, не злой. Куда это уговариваешь идти?

— Заседанье б надо провести. По обмену опытом.

— А! — сказала жена Мацуева. — А то у меня настоечка есть, на смороде. Зашли бы да обменялись в приличном помещении, чем в «зверинце» этом срамиться.

— Вот это женщина! — восхитился Федька. — Вас бы, Татьяна Никитишна, на руках бы носить.

Федька первый откинул калитку и двинулся, пританцовывая, по высокой бетонированной дорожке, между кустами черной смородины и крыжовника.

— Торопись, хлопцы, пока Татьяна Никитишна не передумала!

Вышло так, что Пронякина никто не пригласил. А он был новенький, он ни разу не был в этом доме, где все они побывали, наверное, не раз, и ему полагалось особое приглашение — это он знал твердо. К тому же они видели, как он помедлил за калиткой, и ни один не позвал его, не спросил: «А ты чего?»

С нелепой, приклеившейся к лицу улыбкой он повернулся и пошел дальше, к своему общежитию, по улице, странно опустевшей в этот час. Он ждал, что они спохватятся и позовут его, и приготовился долго отнекиваться. Но они не спохватились и не позвали.

«Так,— подумал он,— наступил, значит, на мозоль. Думали, его тащить надо, растить кадр, а он вон он, уже воспитанный, и всем носы готов поутирать. Перепугались!»

В глубине души он допускал, что это не совсем так, но обида была сильнее его, потому что он не знал толком, кого же, в сущности, винить. Кого винить, если слишком рано обнаруживается твое желание вырваться вперед, и при этом никто почему-то не подозревает за тобой высоких материй. Про других говорят: «Этот работяга что надо!», а про тебя: «Этот из кожи лезет за деньгой», хотя и ты и другие делают, в сущности, одно и то же! На лице, что ли, у тебя это написано? Но чем твое лицо хуже, чем у Мацуева? У Меняйло? У Выхристюка? Какой секрет они знают, которого не дано знать тебе?

Весь вечер он слонялся, не зная, куда себя девать. Он поплелся было на «пяточок», но как-то не мог найти себе девицу по вкусу и вернулся в комнату, где проиграл подряд три партии торжествующему Антону и, спрятав костюм, рано улегся спать.

«Может быть,— медленно думал он и курил,— было б собраться вместе да сказать им: «Вот, хлопцы, тут у меня, чувствую, узкое место, да и у вас тоже, а ведь можно кое-что и сделать, баки другим бригадам забить». Да, можно и так, только им от меня почина не хочется. Вон они как взвились из-за двух-то лишних ездов... Не нравится, сами-то насилие до нормы дотягивают. А я-то при чем?»

Он долго ворочался ночью, не в силах уснуть. Он слушал, как поет ветер и где-то далеко, словно в тридесятom царстве, гремит гроза, и

думал о том, что если суждено его жизни измениться, пусть это будет быстрее и больше, если так нужно.

«Пусть думают, чего хотят. Я им не нанялся в подмастерьях ходить, в учениках. Я в армии на вездеходах ездил, на Ай-Петри экскурсантов возил, а там не такие дороги, и то с ветерком, бывало... Мне заработать нужно, жизнь обстроить, обставить, как у людей. Тогда пожалуйста, тогда я тебе и десять норм бесплатно отработаю. А то вот ты понервничал.— это относилось и к Мацуеву, и к Федыке, и, вероятно, ко всей бригаде целиком,— а потом домой пришел, жена тебя встречает, не жена, а сдоба calorийная, и дом у тебя — «Гастроном» с универмагом, и мотоцикл, наверно, в сарайчике стоит. А мне почему валяться по чужим углам, слушать чужую храпотню?.. Не-ет, я себе жилы вытяну и на кулак намотаю, а выбьюсь. А потом я тоже добренький буду, не хуже тебя. Понял?»

Последнее слово вырвалось вслух, невольно для него. На соседней койке приподнялась лохматая голова Антона, и хриплый, сырой голос спросил:

— Ты что, партию, что ли, переигрываешь? Ферзей ходи, не ошибешься.

— Спи давай.

— Чокнулся человек,— сказала голова замирающим голосом и опустилась на подушку.— Доигрался...

Пронякин, стиснув зубы, повернулся к стене. И решил сразу и бесповоротно: «По-своему жить буду. Так-то лучше. Наряд закроют, тогда посчитаемся, кто кого лучше».

С тем он и заснул, со злорадной усмешкой на жестком, обтянутом смуглой кожей лице.

Небо нависло над гаражами, плоское и беспросветно серое. Задраные кузова машин, казалось, на метр не достают до него. На стенках кабин, на ручках и оловянных медведях, потерявших свой блеск, выпала бисерная роса.

Пронякин, с ватником на одном плече, прошел к своей машине. Он сбросил ватник на сиденье и запустил двигатель. Затем вышел и, открыв капот, протянул ладони над двигателем. Ему было приятно стоять на сыром холоде и греть руки и знать, что в кабине тепло. Рядом, сумрачный и, должно быть, не проспавшийся после вчерашнего, возился Федыка.

— Утро доброе,— сказал Пронякин.— Ну как, хмельно было вчера? Федыка ухмыльнулся полусонно и посмотрел на него, точно впервые увидел.

— А ты чего удрал-то?

— А что, заметно было? — спросил Пронякин и пожал плечом. Ему хотелось показать, что он ничуть не обижен и что они все же обидели его.

— Чудак ты,— сказал Федыка.

— Честное слово?

Федыка помолчал и спросил:

— Фигурную отвертку дашь?

— Чего спрашиваешь? Бери.

— Хотя не надо,— сказал Федыка.— Простая возьмет... А ты все-таки чудак.

Гена Выхристюк, почесывая за ухом, прислушивался к двигателю. Цилиндры работали с неравномерным металлическим стуком, и выхлоп был густой и черный, как бывает, когда засоряются отверстия в распылителях форсунок. Гена страдальчески морщил лоб. Косичкин, с блуж-

дающей на лице тревогой, тоже вслушивался в его двигатель. Меняйло суровым и неподвижным взором уставился на медведя, отирая руки промасленными концами. Мацуев искоса поглядел на Пронякина и сунул голову под задранный капот.

От гаража Пронякин ехал последним. Он мог обойти их перед карьером, но не хотел пока что мозолить им глаза. Все равно он возьмет свое с первой же ездки и выложится весь, до конца. «И черта с два меня тогда прижмешь,— подумал он спокойно и беззлобно.— Руки будут коротки. Главное-то было прилепиться, а уж не отлепиться я как-нибудь сумею».

Он сделал три ездки и стал делать четвертую, когда вдруг начало моросить. Он увидел дрожащие извилистые потеки на запотевшем стекле, и у него упало сердце. «Теперь все,— сказал он себе.— Теперь они тебя на трехосных обдерут запросто». Но, подъехав к карьере, он с удивлением разглядел всех своих на пустыре у выездной траншеи. Они как будто и не собирались возвращаться в карьер. Самосвалы выстраивались в шеренгу, смятая траву облепленными глиной скатами.

Пронякин остановился и высунулся под мелкий дождь.

— Неужто опять взрывать собрались?

— Дождик, не видишь? — сказал Федька. Он вытащил из-под кабины лопату и стал соскребывать рыжую глину с покрышек.

— Ну и что — дождик?

Мацуев, не глядя на него, вытянул руку вперед и пошевелил толстыми пальцами.

— А то, что не потянет машина по мокрому. Вылазь, загорать будем.

— И долго?

— Про это в небесной канцелярии спроси.

— Ну а посыпать чем-нибудь нельзя? Гравием, щебнем. Пес его знает чем, хоть солью.

— Посыпали. Не помогает. Сам же глины с нижних горизонтов навезешь.

— Так,— сказал Пронякин.— Так. Значит, активировать будем день? Как бы вроде по бюллетеню?

— Значит, активировать,— сказал Мацуев.— Пятьдесят процентов гарантированных — твои.

— Выходит, двадцать один рублик.

— Выходит, так.

Пронякин поставил свой «МАЗ» последним в ряду и надел ватник. Он стоял у дороги и тупо смотрел, как подходят самосвалы других бригад. Молчаливые, угрюмые водители ставили машины во второй, в третий, в четвертый ряд и вылезали, заглушив двигатель. С этой минуты дождь переставал для них существовать. Он был страшен только машинам, грозным свирепым машинам, этот мелкий, как стая мошки, дождик.

Пронякин медленно побрел к конторе. Последние самосвалы поднимались из карьера, тяжело урча и буксуя, и виляли задом, как гарцующие жеребцы. А на крыльце конторы одни уже забивали козла, а другие молча жевали, расправив газеты с кусками хлеба и колбасы или с крутыми голубоватыми яйцами и помидорами, уставясь в грязь перед собою пустым, неподвижным взглядом.

— Присаживайся,— сказал Мацуев.— Ничего, привыкай.

— Я привыкаю,— ответил Пронякин.

Он сидел, сгорбившись, сунув руки под ватник, на лбу у него пролегла напряженная складка. Мацуев поднялся и отсел к игрокам. Они стучали костяшками по мокрым доскам крыльца и негромко покрикивали:

— Братцы, я мимо.

— Ну и балда. Ты тоже мимо?

Палец звучно скрипел по сырому дереву.

— Наш заход. Дуплюсь с обоих концов.

— Тюря, гляди, с чего идешь. Ты чувствуешь, с чем я остался?

«И что меня сюда занесло? — думал Пронякин. — Сколько ни ездил, по каким дорогам, по глине, и на диффер садился, и в студенной степи с заглохшим мотором сидел. И никогда я не думал, что такой паскудный дождишко может меня остановить. Пропашее место выбрал ты себе, Пронякин. Чувствуешь, с чем ты остался?»

Дверь конторы открылась, и вышел начальник карьера. Соломенный брыль сидел на нем набекрень, и синий заношенный плащ был короток: из рукавов едва не по локоть торчали худые руки с тяжелыми кистями. Щеки и горло начальника с острым кадыком заросли темной щетиной. «Должно, обещался не бриться, пока руда не пойдет», — решил Пронякин. Начальник смотрел на дождь, помаргивая и зябко ежась.

— Ну что, товарищи козлы, — спросил он, — стучим помаленьку?

Игроки взглянули на него снизу, и кто-то ответил:

— Чего же еще остается?

— Да, конечно, — вздохнул Хомяков. — Больше нечего. .

— Последние деньки достукиваем. Как достанем руду, там уж не постучишь.

Хомяков усмехнулся.

— Как же, достанешь с вами. Чуть что, вы уже и размокаете.

— А это уж вы зазря, Владимир Сергенч, — сказал Мацуев, повернув к себе обе ладони с костяшками. Они совсем спрятались в его ладонях, и он разглядывал их, оттопыривая губу. — Разве ж мы одни размокаем? В Лебедях-то, наверно, тоже булькали. Да и на Михайловском.

— Что верно, то верно, — сказал Хомяков. — В Лебедях я сам на часах засекал: пять минут дождик — и размокает.

— Ну так чего ж? — спросил Мацуев. Он говорил с неуловимым превосходством старшего, который, однако, подчиняется мальчишке. — У нас-то все-таки глыбже. И глина не та. И карьер узковат. Еще хорошо, ежели эта история на неделю. А ну как на весь на сентябрь да на октябрь зарядит?

— Не зарядит, — убежденно сказал Хомяков. — Метеорологи обещают чудесный месяц. А там и до морозов рукой подать.

— Подать, да не очень. А метеролухам верь! Они всегда чудеса обещают. В августе вот тоже погоду обещали.

Хомяков помолчал и сошел с крыльца.

— Белгород звонит, — сказал он. — Спрашивают: «У вас хоть одна бригада работает?»

— Рыба! — сказал Мацуев игрокам. — Считайте.

Костяшки торопливо застучали. Хомяков, подняв голову, смотрел в пустынное небо.

— Чудаки! — сказал он, дернув худым плечом. — Что может сделать одна бригада? Для газеты им нужно, что ли?

— А вы б им, Владимир Сергенч, в окошко посоветовали глянуть. Над ними, видать, не каплет. Не знают, что тут у нас творится. Колеса буксуют. Глина. Дороги крутые. Кто ж может заставить?

— Заставить, конечно, никого нельзя, — вздохнул Хомяков. — И все это, друг мой Мацуев, очень прескверно. Пойти, что ли, к слесарям на водоотлив, как там у них...

— Сходите, — посоветовал Мацуев. — Только не одни там в Белгороде болельщики. Мы тоже как-нибудь за это дело бодем...

Хомяков нерешительно двинулся по грязи, широко разнося длинные ноги в забрызганных брюках и баскетбольных кедах. Плащ свисал с его лопаток, как с вешалки. Затем он остановился.

— Мацуев, слушай-ка, все-таки как только кончится, не засиживайтесь. Договорились?

— Мы-то не засидимся,— пообещал Мацуев. И добавил, понизив голос:— Заявл парнишка на корню. Нервничает. Да оно и понятно, своей-то руды не было у него еще, только в институте про нее учил. А в институтах чему их там обучают? Не разбери-пойми...

Дождик поморосил еще час и перестал. Проглянуло скупое матовое солнце. Но пришлось ждать еще два часа, пока не высохла глина в карьере, и в этот день ни одна бригада не выполнила и половины нормы.

Так было и назавтра, и день за днем повторялось с унылой точностью расписания. Комариная морось, пленкой покрывавшая глину, не позволяла людям пробить окно в руду. Она оставляла им для этого слишком редкие часы. Пронякину она позволяла делать две или три, от силы четыре лишние ездки, и когда через неделю выдали зарплату, он получил меньше всех, потому что должен был сделать больше.

Он стиснул деньги побелевшими пальцами, мысленно грозя кулаком хмурому, слезящемуся небу. Если б он верил в бога, он обратился бы к нему с упреком, но так как он не верил в бога, он выругал его на чем свет стоит. И пошел один в поселок мокрой бетонкой и через каляющий лес, спотыкаясь в промозглом тумане.

В этот вечер он нашел на подушке письмо от жены. Он повалился на койку как был — в резиновых сапогах и ватнике, — чего никогда с ним не случалось, и, жуя папиросу, наискось разорвал конверт.

«Витенька, дорогой ты мой,— писала жена крупными детскими буквами, падающими в конце строки.— Уж не знаю, как мне тебя благодарить, что не забыл, прислал известие. А то отец психует, и мамаша с ним теперь заодно, говорят: твой от тебя сбежал, загулял там, поди, другому нашел. Ищи и ты, говорят, себе другого, пока не поздно. Уж очень ты им поперег горла. А кого мне искать, я же знаю, ты и погуляешь, а меня все-таки не позабудешь. Потому что вместе многое пережито. Витенька, я так за тебя рада, за твои успехи, не за себя уже. Хоть ты и говоришь, что я еще ничего, но ты ведь еще молодой совсем, тебе пожить хочется, погулять, и кто же тебя за это упрекнуть может? Витенька, я все сделаю, как ты велишь, вот только напарнице все передам, она у меня толковая. И кровать с шифоньером, конечно, продам, чего же за них держаться, и приеду к тебе, конечно, Витенька. Куда же мне еще, как не к тебе?..»

Больше он не стал читать. Он закинул руку с письмом за голову, и курил, и слушал, как шумит гроза.

Сколько ни жил Пронякин на свете и сколько ни колесил, он ни разу не видел таких гроз, какие по ночам бушевали здесь, над магнитными массивами курских аномалий, когда небо, взорванное густыми и сочными, ветвистыми молниями, становилось ослепительно белым на несколько долгих мгновений, так что можно было разыскать в грязи наперсток, а от репродуктора, который забыли выключить, разлетались длинные серебристые искры. И грохот грома был долгов, точно поджигали с конца пороховой заряд в несколько верст длиною.

Он докурил папиросу и швырнул ее за кровать. Потом сбросил ноги на пол и сел, расстегивая на груди ватник.

— Давай, что ли? — сказал он Антону.

— Чего давай? — спросил Антон. Он лежал на койке и читал «И один в поле воин».

— Выпьем,— сказал Пронякин.— Есть у тебя? Или сползаем?

— Ты что? Ты серьезно?

— Ага...

— Нет, ты на самом деле?

— Ну сказал же тебе...

Антон взбрыкнул ногами в продранных носках и сел, бросив книгу на тумбочку.

— Хлопцы! — сказал Антон. — Наша планета начинает вращаться в другую сторону.

— Не имеет значения, — сказал Пронякин.

Четверо из соседей зашевелились на своих койках и приподняли головы, разглядывая Пронякина точно впервые. Это были командированные из Курска, приехавшие на месяц монтировать электрооборудование на подстанции. Пронякин их невзлюбил с первого дня, сам не зная почему, и за все время ухитрился не обмолвиться с ними ни словом. Каждый вечер они аккуратно подсчитывали свои доходы и убытки и считали на пальцах дни, оставшиеся им до той желанной поры, когда они снова вернутся к своим мотоциклам, и девочкам, и джазикам, и каруселям в шикарном парке «Боевая дача». Может быть, он невзлюбил их за то, что не видел разницы между ними и собою.

Они расшевелились и повытрясли кой-какие денежки, да он и сам бросил полсотенную, и двое из них куда-то молчаливо сползли и так же молчаливо вернулись с закусками в карманах и батареей четвертинок в авоське.

— Значит, больше выливать не будешь? — спросил Антон.

— Больше не буду, — ответил Пронякин. — Давно заметил?

— В первый день. Чудак ты, комендант нас не обижает. Он тут с нами и сам выпивал.

— Ладно, — сказал Пронякин. — Не прячь теперь.

— Не буду, Витя. Только ты не надейся, особенно мы тебе загулять не дадим. В меру, понял?

— Хорошо, в меру. Наливай...

Водка булькала, и он сморщился, представив себе ее знакомый керосинный вкус.

— Постой, — сказал Антон. — А ты с чего это вдруг? Что тебя точит? Жинка тебе чего-нибудь написала?

— Написала, что очень любит.

— А... — сказал Антон и внимательно, долго смотрел на Пронякина. — Тогда за твою жинку. Только учти, больше одного стакана за жинку не пьют. Это и вас касается, хмырики.

— Ладно, — сказал Пронякин. — Поехали.

Он давно не пил и захмелел быстро. Он и хотел захмелеть, чтобы скорее уснуть. И он не слышал, как Антон стащил с него сапоги и одежду и уложил под одеяло. Но поздней ночью он проснулся от неожиданной тишины и понял, что гроза кончилась. Где-то на краю поселка прокукарекал петух. Пронякин поднес к глазам руку со светящимися часами: была половина второго. «Не иначе как распогодится завтра, — подумал он. — А то с чего бы ему горло драть?»

Он прислушался к часам. Они не остановились, они стучали, хотя он забыл их завести.

Старожилы юного Рудногорска вспоминают, что утро в тот день было солнечное и с редкими облаками.

Пронякин успел сделать четыре ездки и стал делать пятую. Поднимаясь из карьера, он весело балагурил сам с собою и пел что-то невразумительное, когда вдруг увидел крупные капли на ветровом стекле. У него опять упало сердце. Он прибавил ходу и помчался к отвалу и

там опять воевал со щеколдой, висая на подножке и не слыша ругани, которой обкладывали его встречные водители, бледневшие и сворачивавшие быстренько в сторону. Он спешил сделать хотя бы еще один рейс.

Но на обратном пути тень большой тучи легла перед ним на дорогу, и, подъезжая к карьеру, он увидел на пустыре несколько машин.

— Шабаш, значит? — спросил он у Феды.

— Шабаш, — подтвердил Федька. — Впервой, что ли. Вылазь, позагораем.

— А экскаваторы? — спросил Пронякин. — Работают?

Он спросил это просто так, он еще ничего не решил.

— А что им, машинистам-то? Над ними же не каплет.

Пронякин мгновение помолчал. Он слушал, как ровно шумит двигатель и как тяжелые капли барабанят в пустом кузове. Потом он потянулся к рычагу скоростей и медленно убрал ногу с педали сцепления.

— Куда ты? — заорал Федька.

— Сделаю покамест одну езду, — ответил Пронякин, не оборачиваясь. — А там поглядим.

— А чего глядеть-то?

Федька шел рядом с машиной.

— Ты едешь со мной, что ли?

— Что ты, я машины своей не губитель. И себе не губитель. И тебе бы тоже не советовал...

Все вдруг осталось позади. Пронякин спускался вниз по бетонке, уже покрывшейся прозрачным лаком. Навстречу ему выезжали последние машины, и карьер быстро пустел. Лишь стрекотал одинокий бульдозер да взрывники колдовали у своих буровых станков, напоминающих треноги зенитных пулеметов. Его «МАЗ» был единственной машиной, которая в этот час въезжала в карьер.

С колотящимся сердцем он прошел два витка, миновал опасное место у рыжего глиняного пласта, где крупные комья обрушились со склона и завалили полширины дороги, и стал, плавно заворачивая, спускаться к свинцово-голубым массивам келловея. Экскаватор стоял в знакомой выемке, совсем расплывшийся в кисее дождя. Поодаль маячила согбенная фигура Антона. Он тащил, взвалив на плечо, толстые, черные, лоснящиеся провода. Должно быть, он готовился отключить моторы.

— Насыпай, что ли! — крикнул Пронякин, останавливаясь прямо против ковша.

Антон все тащил свои провода.

— Ты не оглох ли часом?

— А ты, часом не сдурел? — спросил Антон.

— Не замечаю.

— А дождик замечаешь?

— И дождик не замечаю.

Антон сбросил провода на землю и молча, внимательно посмотрел на Пронякина. Затем он легко вспрыгнул на гусеницу и исчез в будке. Пронякин ждал, когда он выйдет. Но он показался у пульты, за мокрыми стеклами.

— А что тебе Мацуев запоем? — спросил Антон.

— Арию Хозе из оперы Бизе.

— А ты ему что, Витя?

— Не знаю, — сказал Пронякин. — Не придумал. Наверное, «Тихину».

Антон постучал себя пальцем по лбу и уронил руки на рычаги. Экскаватор повернулся, дергаясь, и стрела пошла к груде породы.

— Рекорд ставишь? — спросил Антон, не переставая следить за ков-

шом. Никогда он так внимательно не следил, чтобы грунт сыпался по центру кузова.

— Ага, — сказал Пронякин. — Индивидуальный.

— Валяй, доказывай. Только гляди: не докажешь — разгрузайся где-нибудь подальше. Моторы не отключать?

Пронякин секунду помедлил.

— Не отключай покамест. Я еще вернусь.

Струйки дождя изморщили склон и пересекали дорогу. Но колеса не буксовали — он чувствовал это по шуму двигателя. Они не боялись воды, они боялись размокшей глины. Медленно, ощущая каждый оборот колеса, он прошел второй горизонт, и третий, и оттуда увидел весь карьер, затканый туманной сетью. Антон вышел из будки и, задрав голову, провожал его глазами. Пронякин помахал ему рукой, но тот не ответил. Взрывники, оставив свои станки, тоже смотрели на Пронякина.

У рыжего пласта двигатель вдруг зачастил, как на холостом ходу, и комья глины, на которые смотрел Пронякин, вдруг замерли и поползли от него вверх, и он понял, что катит вниз юзом.

— Н-но, дура! — сказал он сквозь зубы и, быстро включив задний ход, сам покатил вниз, плавно притормаживая двигателем и постепенно возвращая себе власть над дорогой. — Так-то лучше, — сказал он, когда машина остановилась, и, вытерев лоб рукавом, снова послал машину вперед, вверх, выжимая и выжимая педаль подачи топлива.

Комья рыжей глины снова ползли под колеса, а потом перестали ползти, и двигатель взревел от ярости, которая передалась ему от водителя. Всей своей мощностью он держал машину на месте, не отдавая ни сантиметра дороги, затем понемногу начал отвоевывать сантиметр за сантиметром, пока машина не пошла вперед, наращивая ход.

Пронякин посмотрел вниз. Антон и взрывники по-прежнему стояли неподвижно и смотрели на него. Он помахал им рукой, тогда они задвигались и разошлись. На пятом горизонте дорога стала положе, здесь ничего опасного не было, просто немножко узко, и нужно было держаться поближе к склону и не смотреть вниз. Он отвернулся и стал смотреть на откос, изборозженный ручейками, ожидая, когда он кончится и покажутся верхушки яблонь.

В конце выездной траншеи он увидел нескольких шоферов. Он сделал улыбающееся лицо и выставил руку вперед, на ветер. Но они не ответили на его улыбку. И кто-то из них свистнул.

— Так! — сказал он громко самому себе. — Значит, так теперь? Ну хорошо!

Он провел по лицу ладонью, точно стирая горячую краску, и, поворачивая к отвалу, спросил себя:

— А ты чего хотел? Не любишь?

Дорога стремительно летела под колеса, и по тому, какой узкой она вдруг стала, он догадался, что идет с полной скоростью. «Вот так бы всегда ездить, — подумал он. — Никто не мешает!» Он подумал об этом без горечи, хотя свист еще стоял у него в ушах. Просто он любил ездить, не приноравливаясь к другим. Никто не пылил перед ним, не дырил в глаза, и впервые за эти дни он разглядел зеленое поле травы за обочинами, лиловую пашню далеко за оврагом и крохотную деревушку, лепившуюся на холме, среди густых садов.

Но кто-то шел навстречу, какая-то женщина плелась посередине дороги, прикрывая лицо от косоного мокрого ветра брезентовым дождевиком. «Учетчица, верно, сбегает...» — решил Пронякин. Деревенские женщины не осмеливались так ходить по рудничным дорогам.

В нем шевельнулась привычная злость к дуракам пешеходам. Он тихо притормозил и подождал со злорадством, пока она не ткнулась плечом в радиатор. Она вскрикнула и шарахнулась, открывая лицо.

— Больно? — спросил он участливо.

— Дурак! — сказала она. Лицо у нее было мокрое.

— Не лайся. Давай в кабину.

— Чего я в твоей кабинке не видела? Я в контору иду.

— А кто на отвале вместо тебя?

— Никто не вместо меня. Чего мне там сидеть, раз никто не ездит.

— Я вот езжу, — сказал Пронякин.

— А ты чего едешь? Тебя дождик не касается?

— Нет, — сказал он и помотал головой. — Меня не касается.

Она тоскливо посмотрела назад, на дорогу.

— Ладно, — усмехнулся он, — ступай в контору. Кто-нибудь мои ездки запишет.

Но она неожиданно вскарабкалась к нему в кабину и взгромоздилась на высокое сиденье, как усаживаются дети.

— Чего уж там, запишу. Может, ты рекорд какой ставишь. Только руками не тово, — предупредила она равнодушно.

— Нужна ты мне очень, — сказал он, косясь на круглое ее колено, и, потянувшись, прихлопнул дверцу.

Лакированная дорога опять бежала под колеса. Он повернул зеркальце и увидел нежную пушистую округлость щеки и печальные, выгоревшие на солнце ресницы.

— Где-то я тебя видел.

— А конечно, видел. Я ж воду на точке продавала, коло конторы. И я тебя видела. Все чистую пьют, то так и по шесть стаканов, а с сиропом никто почти. А ты сразу два.

— А! — Теперь и он вспомнил ее. — Что же ты, бросила свою точку?

— Я с Манькой Ключкиной поменялась. Надоело ей на отвале сидеть. Все упрашивала, ребенок у нее, ну вот я и согласилась.

— Что же тебе, интересно ездки наши записывать?

Она повела плечиком и вздохнула.

— Крестики ставишь? — спросил он насмешливо.

— Не-а. Галочки.

— Великое дело! А Манька, значит, воду продает?

— А Манька воду.

— И не жалеешь, что поменялась?

— А что за нее держаться, за воду-то? Теперь уж зима скоро, кто ж ее будет пить?

— Тоже резон. Но ведь Манька-то не дура, не зря перешла, а?

Она опять вздохнула.

— Кто ее знает. Маньке, наверно, лучше будет. Точку на зиму в столовую перенесут, там тепло.

— А все-таки, — спросил он, — что же ты, родилась, что ли, галочки ставить?

— А ты родился баранку крутить?

Он слегка смутился.

— Сравнила! Я дорогу люблю, ветер... Ну и вообще.

— А я здесь тоже не засижусь особенно. Думаешь, я за лишних двадцать рублей поменялась? Просто я из торгова никогда бы на экскаватор не попала. А теперь, может, и попаду...

— А чего тебе делать там, на экскаваторе?

Она изумленно вскинула ресницы, и он тут же прикусил язык.

— Так ты ж сам же меня агитировал! Не помнишь? «Такая молодая, тебе бы на экскаватор пойти». Не говорил? Смеялся, да?

— Нет,— сказал он серьезно.— Это я теперь смеюсь.

Он высадил ее перед отвалом, и она, уныло ссутулившись, пошла под фанерный навес. Он вывалил грунт и, проезжая, увидел, как она сидит на ящике, поджимая ноги в парусиновых туфлях и спрятав руки в рукава. Он развернулся и подъехал.

— Ты чего?

— На,— сказал он ей,— возьми укутайся. Мне ни к чему.

Он снял и кинул ей свой большой и нагревшийся в кабине ватник, который ей оказался едва не до колен, и помчался в карьер. Дорога была пустынна и мокра, и он рад был никого не встретить.

— Все едешь, Витя? — спросил Антон.

— Все езжу.

— И правильно делаешь. Держи хвост пистолетом. Имеешь право!

— Это какое же? — спросил Пронякин.

— Э, Витька, что я, слепой, что ли? Не вижу, какой ты шофер? Нам-то, можешь поверить, снизу виднее, все вы, как на картинке. Мне бы таким экскаваторщиком стать, какой ты шофер... Что тебе можно, другим нельзя, понял?

Пронякин поднимался вверх и думал о том, какая странная дорога выпала ему на этот раз. На одном ее конце был Антон, а на другом эта девочка на отвале, и оба они словно чего-то ждали от него, а он только отработывал свои ездки: восемнадцать копеек тонна, одиннадцать копеек километр, и лишь бы не встретить никого у конторы.

Подъезжая к отвалу, он снова увидел маленькую фигурку на середине шоссе, идущую боком, загораживаясь от мокрого ветра.

— Ты чего? — спросил он, притормаживая.

— А! — испугалась она.— Думала, уж ты не приедешь.

— Садись. Сказал — приеду, значит, верь и жди.

— Хорошо,— сказала она кротко.— Буду верить и ждать.

Он снова высадил ее у фанерного навеса и, вывалив грунт, подъехал.

— Слушай,— спросил он,— а ты как, ездки не приписываешь?

Она взглянула на него с тоской.

— Ну вот, и ты спрашиваешь. Я думала, не спросишь. Да что у меня, на лице написано, что я мухлюю?

— Ни в коем случае. Только так спросил.

— На тебе твой ватник! — сказала она решительно.— Это ты просто крючок закидывал. Я знаю, тут уж до тебя некоторые закидывали. Только я не такая. Понял?

Она протягивала ему в окошко ватник, но он спокойно отвел ее руку и спросил:

— А Манька? Она мухлевала?

— За Маньку говорить не буду, чего не знаю. Может, и приписывала. Знаешь, иди ты к черту. Ну прошу тебя — езжай.

Он рассмеялся и поехал. И улыбался, глядя сквозь мокрое стекло на мокрую дорогу.

Он спешил сделать еще рейс до обеденного перерыва, но его остановила сирена. В этот час вступали в свои права взрывники. Он подрулил к обочине и выключил двигатель и только тогда почувствовал, как он устал и голоден. «Да и тебе бы отдохнуть не мешало»,— подумал он о машине.

Увязая в грязи, он прошел длинным пустырем, чувствуя на себе насмешливые взгляды, и вошел в столовую. У самых дверей сидели Мацуев, Косичкин, Федька и еще кто-то из другой бригады. Они замолчали при его появлении. Перед ними стояли тарелки и кружки с пивом и простоквашей. Места рядом с ними не было, и Федька, пошарив глазами, виновато развел руками. Пронякин почувствовал облегчение.

Он взял обед и пошел с подносом к одинокому столику в полутемном углу избы. Ему хотелось сесть спиной к ним, но он заставил себя сесть боком. Краем глаза он видел их и знал, что они говорят о нем. Затем Федька с грохотом поднялся и направился к его столу. Он сел рядом на стул и поставил локоть возле тарелки.

— Ну как? — спросил Федька. Он ухмылялся, растягивая губастый рот, и сопел над ухом Пронякина.

— Тридцать три.

— Чего — тридцать три?

— А чего — ну как?

— Как работенка, спрашиваю.

— Ничего, не пыльная. Скаты в порядке, поршня не стучат, нигде не заедает.

Пронякин продолжал есть, неторопливо и старательно, как едят утомившиеся люди. Федька все сопел, не зная, с чего начать. Наконец он спросил, придвинувшись:

— Пивка не выпьешь?

— Не хочется.

— Что так? Веселей бы у нас разговор пошел.

— А мне и так весело.

— Понятно. — Федька откинулся на стуле и заговорил громко, как будто нарочно, чтобы все слышали: — Героем себя чувствуешь. Приятно небось?

Пронякин не ответил. Федька опять придвинулся.

— Ну чего молчишь?

— Жду: может, ты чего умного скажешь.

— Где уж нам, — вздохнул Федька. — Один ты у нас такой умный. Другие против тебя сплошь дураки.

Федька все ухмылялся, лукаво сощурившись. Но если б он вдруг развернулся и ударил, Пронякин не удивился бы. Он весь напрягся, чувствуя, как застучало в виске от еле сдерживаемой ярости.

Но Федька не ударил. Он спросил лениво:

— А встречали как — не понравилось?

— Понравилось, — сказал Пронякин, глядя на него в упор. — Это не ты ли свистел?

— Нет. — Федька замотал головой. — Не я. Такие штуки не уважаю. И, между прочим, если б знал, кто, сам бы, может, ему по физике свистнул.

— Это и я сумел бы.

— Ну понятно. Смелый парень, что и говорить. Одно, понимаешь, непонятно: что же это ты делаешь, черт с рогами? За что ты нам всем в морду плюешь?

— Это как?

— А так! — сказал Федька. — Думаешь, ты один такой — все можешь? А другие не могут? В коленках слабы? Ошибаешься, Витя. Тут покрепче твоего найдутся. Только наш «яз» не потянет, хоть ты ляжь под него. Может, и рады бы лечь, только он все равно не потянет. Так что, пойми, мы тут не от хорошей жизни груши околачиваем.

— Сочувствую вам, — сказал Пронякин. — Да помочь не могу.

Федька молчал, уставясь на него тяжелым взглядом побелевших глаз. От злости у него дрожали скулы.

— Помощи никто у тебя не просит. А просят, чтоб ты жлобом не был... который за четвертную перед начальством выпендривается. Ей-богу, перед другими бригадами за тебя совестно. Приняли вроде бы тебя неплохо, да и сам ты поначалу ничего показался... Или, может, что не так было? Может, обижаешься?

— Нет. Давно уж не обижаюсь.

— Ну так, а за каким же чертом в дождь ездешь? Кому глаза колешь? Или хочешь, чтоб нас потом Хомяков пиявил — вот, мол, был почин, а не поддержали?..

«Вот оно что! — подумал Пронякин. Тяжелая квадратная голова Мацуева склонилась над кружкой, которую он сверху накрыл ладонью и, хмурясь, шевелил бровями.— Значит, сам ты запретить не можешь. А к Хомякову ты не пойдешь».

Было тихо, лишь звякала посуда, и еще Гена Выхристюк, небрежно облокотясь на прилавок, кокетничал с поварихой:

— Приходишь к вам с единым стремлением в мыслях — быка съесть. А похлебаешь кулешику вашего, каши пшонинькой, то да се, и аллес гут гемахт, как немцы говорят, а по-русски значит — боле не желается!

Повариха расплывалась лоснящимся лицом и утирала тряпкой могучую розовую шею.

— Я за ваши глаза не отвечаю,— громко сказал Пронякин.— А стыдиться вам тоже нечего. У меня «мазик» хотя и старенький, да удаленький. Так что я свои двадцать две ездки сделаю. Смогу — и двадцать третью сделаю.

— Много, думаешь, толку от твоих ездок? — сказал Федька.— Только экскаватор зря энергию жжет.

— А про то не моей голове думать. Я не геройством занимаюсь... Просто я, понимаешь, на твой гарантированный двадцать один рублик не согласен.

— Значит, так? — спросил Федька, вставая.— Хорошего не делаешь, гляди, Витя, учти.

— Гляжу,— сказал Пронякин.— Сам гляди.

Он доел, тяжело двигая желваками, выпил прозрачный компот, заедая черным хлебом, и встал. Проходя мимо них, он натягивал кепку так, чтоб локтем прикрыть лицо. Они были заняты едой и пивом.

До конца перерыва оставалось слишком много времени, которое некуда было деть. Он поставил свой «МАЗ» у въезда в траншею и курил, разогревая двигатель и ожидая сирену. Но ему не курилось, ему хотелось бросить все и уйти пешком в поселок. Он еще успеет на последний автобус, если только автобусы ходят по такой грязи, а не то пройдет пятнадцать километров пешком до шоссе, а там проголосует, а из Белгорода пошлет телеграмму жене, чтоб выслала денег на дорогу.

Но тут же он вспомнил, что жена и сама, наверное, уже в дороге. «Хоть бы скорее ты приехала», — сказал он ей.

Послышалось несколько тугих, упругих ударов. Это была последняя серия. Потом сирена дала отбой.

За час дорогу совсем завалило комьями раскисшей глины, и ему пришлось сбросить скорость на первом же спуске. К тому же вдруг отказал дворник, а стекло залипало мельчайшей капелью. То и дело приходилось протирать его рукавом. Из-за этого он не сразу обнаружил экскаватор Антона. Выемка, в которой они работали, была теперь разворочена взрывом, а экскаватор стоял в полусотне шагов от нее, и Антон тащил на плече провода.

— Ты что? — спросил Пронякин.— Никак сматываться решил?

Втайне он даже надеялся на это.

— Вылазь,— сказал Антон.— Погляди-ка, чего они там наковыряли.

Пронякин подошел к выемке. Антон бросил провода и тоже подошел. Он оставил свою куртку в кабине и был в тельняшке с закатанными выше локтей рукавами и в тапочках на босу ногу, а на затылке

чудом держалась крохотная кепочка — точно не было мороси и холода, пронизывающего до костей.

Там, куда они смотрели, среди рваных ломтей серо-голубой глины лежало несколько осколков какого-то камня, присыпанных красной пылью. Пронякин сошел вниз и, подняв один осколок, вытер его о штаны.

Осколок лежал на его ладони. Он был тяжелый и острый, как обломок гранита, и точно склеенный из разных, плохо пригнанных друг к другу пластинок. И цвет у него был странный: издали грязно-бурый, как запекающаяся кровь, а вблизи — с сильными проблесками сиреневого, переходящего в темно-свинцовый. Точно железо в горне, нагретое до малинового каления и слабо мерцающее, остывая под слоем окалины и пепла.

— Это чего? — спросил Пронякин.

— Надо полагать, синька, — сказал Антон.

— Синька?

— Ну да. Самая что ни на есть богатая курская руда.

— Неужто курская руда?

— Ну, скажем, белгородская, — сказал Антон. — Да ты чего — первый раз видишь? У меня ж таких полна тумбочка...

— Не знаю, — сказал Пронякин. — Не видел.

— Вон взрывники идут, они тебе все объяснят.

Меланхолично и не спеша взрывники осматривали развороченные лунки. Их было трое, в одинаковых брезентовых дождевиках с остроконечными капюшонами и в резиновых сапогах, — три фигуры, появившиеся из туманной полутьмы карьера, будто тени, внезапно отделившиеся от стены. Они подошли, шагая по лужам, и у них оказались одинаковые лица с застывшим на них разочарованием. Оно, вероятно, было такой же их принадлежностью, как дождевики с капюшонами, резиновые сапоги и неременное: «Взрывник ошибается только раз в жизни».

— Ну что, ребяташки, — спросил Антон, — набабахались вволю? Не знаю, как у вас, а у меня таки башка колоколом звенит.

Они посмотрели на него с легким презрением.

— Разве ж это взрывы? — сказал один из них. — Дали б тонны три динамита, так мы б тебе бабахнули. Враз бы рудишка выскочила.

— А карьер? — спросил Антон. — Тогда б и карьера не стало?

— Вот то-то и оно, — вздохнул второй.

Пронякин молча протянул взрывникам осколок, на который они покосились нехотя, и первый из них равнодушным тоном объявил:

— Синька. То, что ты держишь, синька.

— Стало быть, руда?

Они пожали плечами.

— Не ошибаетесь?

Второй с готовностью отчеканил:

— Взрывник ошибается только раз в жизни.

— Ведь это что же значит, — спросил Пронякин, — ведь это мы, выходит, в руду пробились?

— Погоди пробиваться, — сказал второй из них, — не пробились, а извлекли.

— Не один черт?

— Ты, Витя, помалкивай, — сказал Антон, усмехаясь. — Они, понимаешь, корифей, им видней.

— Пробиться, — объяснил третий, — это значит в большую руду.

— А это какая? — спросил Пронякин. — Маленькая?

— Не маленькая, а просто, должно быть, глыба. Тут, верно, и ковша не наберется.

Третий из них, с розовым шрамом, пересекавшим бровь, и с замусоленным блокнотом в руках, был, наверное, старшим. Он сошел в выемку и стал разгребать ее носком сапога. Там опять была глина.

— На сколько заводили? — спросил он, не оборачиваясь.

— Метра на два, — ответили двое других.

— А точнее?

Они задрали полы дождевиков и вытащили такие же замусоленные блокнотики.

— На два метра, — сказали они почти одновременно.

— Маловато, — сказал старший и вздохнул. Потом он поднялся к ним. — Это какая отметка? Двести девятнадцать? В воскресенье пробуем массовый выброс. Здесь.

Тень улыбки прошла по их лицам. Они давно мечтали о массовых выбросах. Стоя над выемкой, они пометили что-то в своих блокнотиках и спрятали их, все трое, под полы дождевиков.

— Вот так, — сказал старший. И снова вздохнул.

На их лицах оставалось все то же разочарование. Они постояли и ушли, так же не спеша, как и появились, и растаяли в туманной полумгле. Затем Пронякин снова увидел их, поднимающихся друг за другом по деревянной лестнице. Они поднимались к своей палатке, спрятавшейся на краю карьера, в зарослях дубняка.

— Пошли, — сказал Антон. — Нечего тут стоять. Вези породу.

— Повезу, что же делать.

Пронякин все стоял внизу, разгребая глину носком сапога. Потом выбрал несколько крупных осколков и набил ими карманы.

— На память берешь? — спросил Антон.

— Что-то не верю я твоим корифеям. Да они и сами себе не верят.

Антон усмехнулся и не ответил. Молча они подвели машину к экскаватору, и Антон спрыгнул с подножки, поднялся в свою кабину и наполнил кузов серой и вязкой глиной, уныло бухающей при ударах о железо бортов. На нее было тошно и скучно смотреть. И Пронякин, посмотрев, как она уложена, скривился, как от зубной боли, и молча отъехал. Проезжая мимо выемки, он снова увидел синие, сверкающие под дождем осколки и, притормозив, крикнул Антону:

— Слушай, подводи сюда свою машинку!

— А я чего делаю? — ответил Антон. — Мне там положено ковыряться, я и подведу.

— Давай! Они, понимаешь, корифей, а ты все ж таки подводи...

Пронякин поднялся наверх сравнительно легко, по старой своей колее, и застопорил у конторы. В тесном коридоре на полу, привалясь к стене, сидели шоферы. Они разговаривали и смотрели на ждущих в распахнутую настежь дверь. Он прошел мимо них тяжелыми хлюпающими шагами и кулаком распахнул дверь в комнату начальника.

Хомяков сидел на краю стола, заваленного бумагами, и, раскачивая ногой, диктовал осевшим и монотонным голосом:

— ...В текущем третьем квартале текущего тысяча девятьсот шестидесятого года нами было вынута экскавацией... песков, суглинков и непромышленных, а также скальных пород... Скальных пород... общим объемом... Входи, Пронякин, слушаю тебя.

На фоне окна плоско темнел силуэт женщины. Она повернулась и вышла на свет, и он узнал ее. Он танцевал с нею тогда на «пяточке». Только теперь она была в лыжных мохнатых штанах и грела руку в кармашке перкалевой куртки.

— А, это вы! — сказала она. И спросила, чтобы что-нибудь спросить: — Что, много воды в карьере?

— Хватает... А вы почему знаете, что я из карьера?

— А потому, что здесь уже говорили про вас.

Она смотрела на него с любопытством, щурясь и положив в рот кончик карандаша. Пронякин, поколебавшись, протянул осколок Хомякову.

— Что это? — Она постучала карандашом по куску руды. — Это синька, Володя.

— Вижу, — сказал Хомяков, не меняя позы. — Откуда это у тебя? Где взял?

— Где взял, там не убудет, — ответил Пронякин. — Пожалста!

Он вывалил все, что было у него в карманах, на стол. Хомяков отодвинул бумаги.

— Давно ты оттуда?

— Только что. Да вот в обед взрывали, полчаса не прошло.

— Прошло, — сказал Хомяков. — Полчаса прошло. А взрывники не звонили мне.

Пронякин пожал плечами.

— Не знаю. Наверно, сомневаются они.

— А ты не сомневаешься? — Хомяков взял его за локоть неожиданно сильными, цепкими пальцами и легонько притянул к себе. Он был очень спокоен, он снисходительно улыбался, едва заметно, одними глазами, сквозь очки, а все-таки пальцы у него дрожали, и Пронякин это чувствовал локтем. — Ну что ж, это даже хорошо. Не знаешь, какая отметка?

— Точно не скажу. То ли сто девятнадцатая, то ли двести. В общем, вот так. Это аж в том конце. Как раз где нижний экскаватор стоит.

— Слушай-ка, милый, а ты знаешь, что такое двести девятнадцатая отметка? Это не на том конце и не на этом. Это двести девятнадцатый метр. Если считать от уровня мирового океана. Понимаешь? А нам обещали умные люди, что промышленный уровень начнется не раньше двести шестнадцатого. Отсюда мораль: три метра. Копать нам, не перекопать.

— Что-то не верю я вашим корифеям, — упрямо сказал Пронякин. — И умным людям не верю. Я вот чувствую — копни только поглубже...

— Понятно, — улынулся Хомяков. — Успокойся, Пронякин. Выпей воды. Это какой, Риточка?

— Не знаю. Она улыbnулась тоже. — Третий, наверное?

— Нет, — сказал Хомяков. — Это седьмой. Третий был Коля Жемайкин. Он приволок мне на плече вот эту чертову руду. Из-за нее у меня теперь не открывается ящик. — Он постучал пяткой по тумбе стола. — Ну-ка, Пронякин, у тебя силы много. Нет, нижний не пытайся. Тащи любой повыше.

Пронякин с трудом вытащил ящик. Он весь до краев был полон такими же осколками. Пронякин взял один из них и сравнил его со своим. Должно быть, вид у него был ошарашенный, потому что Рита посмотрела на него участливо и как будто с сожалением.

— А ты знаешь, Пронякин, — спросил Хомяков, — что такое джин в бутылке?

— Ну, допустим...

Он не знал, что такое джин в бутылке. И никогда не пил джина. Он пил обычно водку и пиво.

— Когда ко мне прибежал впервые Боря Горобец и принес вот такой осколочек, я его чуть не расцеловал. И Борю и осколочек. И побегал в карьер. На полусогнутых. Задрав штаны от радости. Но прошло еще три тысячи лет, и если ко мне еще кто-нибудь придет и притащит вот такую глыбу... вот такую, Пронякин... и скажет: «Бегите, там пошла руда», — я уже не побегу. Я, наверное, запущу в него графином.

Пронякин стоял, тяжело наклонив голову, сминая и разминая

в руках кепку. Он чувствовал себя так, точно его уличили во лжи. Он хотел предложить Хомякову поехать с ним сейчас в карьер и боялся, что тот поднимет его на смех.

— Так что я не побегу,— повторил Хомяков.— Если б ты мне еще машину привез, ну, тут уж не захочешь, а победишь... Ох, черт, а сердчишко-то все-таки ёкает. Напугал ты меня. Ну, ладно, Пронякин, я тебя приветствую. Извини, ради бога, зашились мы тут совсем с этой бюрократией.

— А все ж таки...— сказал Пронякин.

Он не знал, что такое «все ж таки» и почему ему так захотелось, чтобы руда появилась сегодня. Может быть, потому, что ему так мало везло. Может быть, все повернулось бы опять к тем солнечным дням, когда еще не было дождей, когда все как будто хорошо начиналось и никто не говорил ему, что он кому-то колет глаза.

— Ступай, ради бога,— сказал Хомяков, досадливо морщась.— Не срамись. Ты же умный парень... Дождь идет. Ну какая сейчас может быть руда!..

Пронякин медленно повернулся и пошел к двери.

— Да, постой-ка,— сказал Хомяков. Он снял очки и протирал их мятым серым платком.— Мне говорили, что ты едешь под дождем в карьер. Это опасно, Пронякин. Я должен тебя предупредить. Понимаешь, это ненужные фокусы. Почина здесь не получится. Подумают, что ты просто гонишься за заработком.

— Пусть думают! — сказал Пронякин.

Он ждал, что они еще что-нибудь скажут ему. А они ждали, когда он уйдет. Он надел кепку и вышел.

В коридоре уже никого не было. И возле конторы тоже никого не было: одни, верно, набились в столовую, а другие дремали в кабинах, прислонясь виском к стеклу. Он стоял посреди пустыря, под морозящим дождем, в грязи, жирно расплзавшейся под его сапогами, решительно не зная, куда себя деть. Потом увидел свой «МАЗ», стоящий с полным грузом и невыключенным двигателем. Вот это, пожалуй, единственное, что можно было сделать, не слишком ломая голову,— поехать и высыпать породу в отвал. И он побрел к машине, сел в нее и поехал.

Маленькая фигурка все еще горбилась под навесом и слабо зашевелилась при виде его.

— Совсем забыл про тебя,— сказал Пронякин.— Полезай в кабинку, хватит тебе мокнуть. Да и покушать пора.

— А ты больше не будешь ездить?

— Наверно, не буду.

— Что же ты! — сказала она, усаживаясь.— Ты же только восемь сделал.

— А пес с ними, с ездками. Я, может, сейчас руду повезу. А может, не повезу.

— Руду-у?

— Ага-а...

— Большую?

— Ничего, порядочную.

— Пробилась, значит? Ты пробился?

— Да не я. И не пробилась, а извлекли. Корифен говорят, поняла?

— Ой, слушай... Я с тобой поеду в карьер! — сказала она решительно.

— Дуреха ты,— ответил он удивленно и, мгновение поколебавшись, вспомнив заваленную глиной дорогу, покачал головой.— Никуда ты со мной не поедешь. Обедать будешь. У конторы ссажу.

— Ну возьми, пожалуйста. Я очень прошу. Очень.

Он помолчал — ему все-таки хотелось взять ее — и ответил:  
— Нет.

Он высадил ее у конторы, и она возвратила ему ватник. Она все не уходила и смотрела на него, зябко поеживаясь.

— Ну, не обижайся,— сказал он.— Иди. В другой раз покатаю.

— А может, подождать тебя?

— Зачем?

Он включил сцепление и поехал. Лужи блестели в карьере, они расползлись и уже соединились проливами, а пробившаяся подземная вода стекала в них с рыжих ржавых утесов. И на дороге тоже блестели лужи. На повороте, когда его стало заносить, он догадался сбросить скорость и вытер рукавом мгновенно вспотевший лоб.

Экскаватор уже стоял в выемке, наклонившись вперед, как судно, уткнувшееся носом в крутую волну, и стрела ходила снизу вверх. Он подъехал вплотную, хотя это было строжайше запрещено: повернувшись, экскаватор мог повалить и раздавить машину.

Антон показался в разбитом окне и закричал сквозь гудение моторов:

— Витька, кажись, и в самом деле большая пошла. Я вот ее разгребаю, дуру, разгребаю, а она не кончается!..

— Она не кончится, Антоша! — заорал Пронякин, чувствуя неожиданной и сильный прилив нежности и к Антону, и к стреле с умной и хитрой мордой ковша, и к руде, которая не кончается. Он объехал всю выемку, полную синих осколков, и опять подкатил к экскаватору.— Она теперь, видишь ли, до самого центра земли. Тут тебе на тысячу лет разгребать, Антон!..

— Чего ты разошелся? — спросил Антон.— И куда ты, балда, подкатываешь? Я ж тебя угробить могу в два счета.

— Можешь, Антоша! — обрадовался Пронякин.— Все можешь.

— Ты сказал там кому-нибудь?

— Понимаешь, они же все сдурели. Мы им такого гвоздя воткнем в одно место!

— Ладно, не хорохорься. Ты лучше подставляйся. Сейчас я тебе ковшик всыплю. Первую повезешь!

Отъезжая и разворачиваясь, Пронякин стоял на подножке, правая одной рукой, и орал:

— Антоша, на один ковшик я не согласен. Ты мне лучше полтора насыпай!

— Полтора не потянешь! — крикнул Антон, заводя ковш снизу.— От силы — с четвертью. Да куда тебе столько?

— Не могу я один ковш везти, Антон!

— Почему не можешь, Витя?

— Потому что я привезу, а они скажут: «Подумаешь, один ковшик наскребли!» А я им: «А вот и врете, а вот и не один, а с четвертью. Сколько мог, столько и взял. Мог бы три взять — три бы взял!»

— Ну, хрен с тобой,— сказал Антон.— Подставляйся!

Перебирая рычаги и напряженно всматриваясь, он вывел ковш и задрал его высоко в белесое небо. Тяжелый ковш закачался над машиной, постепенно опускаясь, и вдруг, лязгая, отвалилась его нижняя губа, и в кузов со звонким железным стуком обрушилась мокрая синька. Машина, заскрежетав, осела на рессорах.

— Хорошо кладешь, Антон! — закричал Пронякин.— Просто дивно. Всегда бы так сыпал. Только жилишь ты, Антон. Неполный кладешь.

— Кто тебя разберет... Может, хватит? Дальше-то ее рыхлить надо.

— Уговор, Антоша! Четверть клади.

— Витька, ты ж учи: руда — она тяжелая.

— А была бы легкая, так я б ее в кепке доташил.

Еще четверть ковша машина почти не почувствовала. Она и без того глубоко сидела на рессорах.

— Видишь,— сказал Пронякин, пиная носком баллон.— Что это для нее? Чем больше кладешь, тем ей легче.

Антон вылез и, подойдя, покачал с сомнением головой.

— Может, отсыплешь все-таки, Витя?

— Ни грамма! — сказал Пронякин.— Ничего, зато сцепление лучше.

— Лучше-то лучше,— сказал Антон.— Но уж если поедет...

Он посмотрел вверх, на петляющую дорогу, и на миг Пронякину стало страшно.

— Да, уж если поедет... Ладно, не ворожи. Доеду. Зато уж какого гвоздя мы им воткнем!

— Тихо как,— сказал Антон.— Все куда-то попрятались. Хоть бы речу кто-нибудь толкнул, что ли...

Дождик все накрапывал, и Пронякин сказал:

— Валяй в будку, Антон. Простудишься.

— Лирик ты,— сказал Антон.— Есенин... Завтра погуляем, а? В кишишко сползаем. Чего-нибудь, наверно, хорошенькое привезут.

— Наверно.

Пронякин сел в кабину. Антон не выдержал, пошел рядом с машиной и вскочил на подножку.

— Не надо, Антон, отстань, застишь мне только свет,— сказал Пронякин.— Я сам повезу. Понимаешь, мне надо, чтобы я сам привез...

— Ладно,— рассмеялся Антон, соскакивая.— Сам так сам. Покличь там напарничка моего, пускай сменит. А то не евши который час сижу.

— Покличу,— сказал Пронякин.

Когда он уже отъехал немного, Антон закричал ему вслед:

— Лопата у тебя есть?

— А как же!

— Почаще соскребывай. Скользит, а?

— Скользит, проклятая.

— Полежишь миллион лет, не так заскользишь,— сказал Антон.— Скажи там, пускай бульдозер пришлют.

— Скажу!

Он ехал — нога над педалью тормоза, а другой он выжимал до предела подачу топлива, а руки вцепились в баранку и лежали на ней локтями. Отчаянно буксуя, виляя задом, машина взяла первый подъем. Он вздохнул облегченно и почувствовал, как жарко его спине и лицу.

— Тяжела! — сказал он себе и опять устрасился этой глины, свинцово-голубой и скользкой, как раскисшее мыло.— А ничего не тяжела! Сукин ты сын, Пронякин,— сказал он громче, чтоб подбодрить себя и машину.— И больше ничего!

И снова он выжал педаль подачи топлива, упершись плечами в спинку сиденья, и быстро переключил скорость. Стрелка спидометра дрогнула и поползла так медленно и напряженно, точно это она и тащила перегруженную машину. Он призвал к себе на помощь все мужество и злость, все свое отчаянное умение и лихость шофера, исколесившего много дорог, бравшего много подъемов. Он хотел бы все это передать теперь машине, от которой он ничего не мог потребовать, а мог только просить:

— Ну, еще немножко, милая! Ну вот, ты же умеешь, в тебе же силы столько. Ну, не дрожи, не раскисай, не бойся, ведь руду везешь!..

Он повернул, стараясь держаться ближе к склону, и опустил руку на рычаг, чтобы притормаживать двигателем, если машина покатится назад. Но все обошлось, и он опять вздохнул облегченно, взобравшись

на третий горизонт. Тогда он выглянул и поискал глазами Антона. Тот стоял неподвижно и смотрел, задрвав голову, вверх. Пронякин едва различал полосы на его тельняшке. И едва долетел до него крик Антона:

— ...скребыва-ай!

— Ничего! — ответил Пронякин, не надеясь, что Антон его услышит, хотя ему самому несколько раз, когда сильно заносило зад, хотелось вылезти и соскрести лопатой налипшую глину. — Ничего, Антон, доеду!

А машина все шла, и ничего с нею не случилось, и понемногу страхи его рассеялись, а мысли обратились к тем, кто ждал его там, наверху.

— А вот я вам всем и докажу, — бормотал он, стискивая зубы, в то время как руки его одеревенели на баранке, которая могла в любую секунду вывернуться. — Сейчас увидите. Сейчас пожалеете, мне бы только доехать!

Чаша карьера поворачивалась под ним, как горная долина под крылом самолета. Она была заткана мельчайшей сетью дождя, и дно ее с блестящими лужами терялось в сизой полутьме. Он снова вспомнил о глине — сколько он намотал ее на колеса, — и опять ему сделалось одиноко и страшно. У него закружилась голова и похолодело в груди.

Но вдруг ему пришло в голову такое, отчего снова стало легко и весело. Он увидел себя, как он подъезжает к конторе, поднимает кузов и вываливает все это, что он привез, прямо в слякоть и грязь, прямо перед крыльцом. А потом стоит и хохочет, хватаясь за бока и глядя на их выпученные глаза, — долго и язвительно.

Впрочем, не очень долго. И не очень язвительно. В конце концов они неплохие, теплые ребята; черт знает, какая кошка между ними пробежала. И что он им станет доказывать? Он просто вывалит руду, да и все, и пусть копаются в ней, и он тоже будет копаться, перебирая тяжелые синие осколки.

Так он поднялся на четвертый горизонт, где уже совсем не пахло затхлой сыростью карьера, — только пьянящий запах своей же солярки. Он убрал ногу с педали тормоза и поехал, правя одной рукой, высунувшись под дождь и ветер.

— Эй, где вы там, черти с рогами? Сеноман-альба! Апт-неокома! — закричал он просто так, чтобы успокоить себя и машину. Потом повернул голову, увидел совсем уже крохотного Антона и закричал ему: — Антоша! Погуляем, а?

Антон стоял и не двигался и все смотрел вверх.

«Чего это я? — спросил себя Пронякин. — Чего это с тобою нынче сделалось? — Он вертелся на сиденье, как на горячей плите. — Чего ты петушишься? Приснилось тебе, что ли, чего?»

Его охватило вдруг странное ощущение нереальности всего, что он делает. Как будто это было с ним не теперь, а когда-то, давным-давно, может быть в детстве, когда он бежал с какой-нибудь радостью к матери и знал наверняка, что она обрадуется, потому что лучше всех это умела делать она одна, о которой он уже почти ничего не помнил. Но между тем справа был мокрый глинистый склон карьера, а слева — обрыв и серое слезящееся небо, и это он, Пронякин Виктор, вез первую руду с Лозненского рудника. Руду, которую ждут не дождутся и Хомяков, и Меняйло, и Выхристюк и про которую завтра утром, если не нынче же вечером, узнают в Москве, в Горьком, в Орле, в Иркутске и в других местах, где он успел побывать и где не пришлось. Он вспомнил, как говорили в поезде, когда он ехал сюда, что ни один рудник в мире не выдает такой богатой руды, как эта знаменитая синька, в которой до семидесяти процентов чистого железа. Она потому и синяя, что вороненое железо смотрит из нее на белый свет.

«А любопытно бы знать, что из нее сделают, из этой руды? — вдруг пришло ему в голову. И в нем опять заговорила старая привычка подсчитывать. — Антошка мне верных шесть тонн сыпанул, это как пить дать, я ж чувствую. Ну, скинем полторы шлаку, ну две, но ведь тонны четыре чистых! Во, страсти какие. А много ли это или мало, Пронякин? Как знать. Для хорошего дела всегда не хватает, это уж известно. И куда она пойдет, чем она станет, ты тоже, наверное, не знаешь... Но это, наверное, и не моего ума дело, мое дело только везти, ну вот я и везу. И всегда мое дело было только везти, а что тебе там в кузов положат, то уж не наша забота, лишь бы рессоры не садились. Очень неважно себя чувствуешь, когда рессоры садятся. Вот как сейчас...»

А машина все шла, она приближалась к цели, он чувствовал это каждым нервом, и это было сильное чувство, даже, пожалуй, слишком сильное, потому что от него нетерпеливо подрагивали руки, а вот это уже было плохо.

«Только не надо сейчас об этом, — приказал он себе. — После об этом. Ты лучше — глаза в руки и гляди, гляди на дорогу».

И он все смотрел на дорогу, на комья глины, которые приближались и уползали под колеса, и ничего не мог с собою поделать.

«А когда же «после»? — спросил он себя. — Вот так мы все на «после» оставляем, а на самом-то деле потом уже о другом думаешь и — не так. И кому же думать, как не мне, ведь это я везу. Я, не кто-нибудь! И не последний я, а первый...»

«Сказать женульке, не поверит, — подумал он печально. — И правда, уж столько мы с тобою мыкались, столько крохоборничали, что и поверить теперь трудно, хотя ты меня и знаешь... Но ведь хлопцы-то подтвердят, хлопцы же врать не станут?»

Так он поднялся на последний, пятый, горизонт и повернул к выездной траншее. Здесь он всегда обгонял их всех, но теперь гнать не следовало, а нужно было взять себя в руки, и успокоиться, и ждать, когда покажутся верхушки яблонь. Он ждал их долго и заждался, а когда они наконец показались — сизые и едва приметные на сером, — он даже забыл сказать им свое обычное: «А вот и мы!» — и круто поворотил к ним, видя, как они сливаются густыми кронами, видя людей, показавшихся вдали у выезда.

И вот эти яблоньки дрогнули и поползли — влево, все влево, к краю ветрового стекла, оставляя за собой прямоугольник пустого хмурого неба. Он не сразу понял, что такое случилось с ним, а потом почувствовал мгновенную дурноту и слабость. Весь облившись потом, он круто вывернул руль в сторону заноса — это всегда кажется страшным, но в этом всегда спасение. Яблоньки остановились, но назад уже не поползли, и он рассердился на себя:

«Зеваешь, скотина! Хорошо еще, девку не посадил, вот уж было бы визгу. Но ты все-таки, Пронякин, смотри, этак недолго и загреметь...»

Но он уже гремел, хотя и не знал этого, потому что не видел, как левое заднее колесо зависло уже над обрывом и вращается — бешено и бессильно. А другое колесо, жирно облепившееся глиной, слабо буксовало на мокром бетоне, и машина потеряла ход, а значит, и не слушалась руля, хотя он вцепился в баранку со всей силой испугавшихся рук.

Он все понял, когда, вывернув руль еще и еще раз, уже не смог поставить на место яблони, все ползущие влево. Просторная cabina стала вдруг тесной, как ящик, в который тебя втиснули, согнув в три погибели. Он успел бы выскочить из нее, если бы ехал с открытой дверцей, если бы сиденье водителя было справа и если б он догадался выскочить в первое же мгновение.

Вдруг он увидел тучи, быстро пронесшиеся в ветровом стекле, услышал скрежет резины и дробный стук посыпавшейся руды. «Рассыпал, скотина! — сказал он себе. — Доигрался, допрыгался, оглоед, дерьмо собачье! — Он уже не боролся, а лишь держался за баранку, смутно надеясь, что машина удержится на четвертом горизонте. — Но если нет, тогда — все! Восемьдесят пять метров. Все!»

Машина не удержалась на четвертом горизонте. Она тяжело сползла и грохнулась о бетон, а потом заскользила, и тяжесть руды повлекла ее дальше, вниз. Он увидел белый пласт мела, потом небо и новый, коричневый пласт, и снова небо, а затем нарастающий в полутьме свинцово-голубой цвет — цвет океана, приготовившегося к шторму.

Что-то ударило сзади по кабине, и он услышал жалобный вопль сплюсываемого железа. С грохотом покати́лась руда. «С машиной все — загубил «мазик», — успел он подумать. И тут же ощутил жестокий хрустящий удар чуть ниже затылка, от которого брызнули слезы и все слилось в черно-желтом хаосе вращения, а голова вдруг потеряла опору. Второй удар пришелся в борт и в стекло, и он инстинктивно зажмурился и сполз коленями на слякотный пол кабины, прикрываясь локтями, чтобы осколки не попадали в лицо. Но ударило в третий раз, и осколки попали в локоть.

«Когда же кончится? Господи, когда же кончится?» — подумал он с тоской, пока его куда-то влекло и било со всех сторон. Но это еще долго не кончалось, он успел потерять сознание от боли в затылке и в локте и снова очнуться, а машина все катилась по склону. Последний удар бросил его сзади на руль, так что сорвало дыхание и что-то хрустнуло в груди, и наконец его потащило куда-то в сторону и рывком остановило. Ослепленный и полузадушенный, он услышал звенящую тишину.

Он не слышал, как отчаянно закричал Антон и взвыла аварийная сирена, и не видел, как полторы сотни людей показались на склонах карьера, как они бросились вниз и бежали, прыгая, оскользаясь на мокрой глине, падали, и кувыркались, и поднимались вновь, и опять бежали, задыхаясь от бега, чтобы поспеть к нему на помощь.

Он услышал только свист лопнувшего ската и странный капающий звук. В звенящей тишине мерно падали тяжелые капли. Он не знал, что это его кровь, он думал, что из пробитого трубопровода каплет на разогретый чугун солярка.

«Выключить двигатель, — успел он подумать. — Сгорим...»

Он имел в виду себя и машину.

В сумерках на улице Строителей ровнял мостовую бульдозер. Скрежеща и лязгая, он вдавливал осколки щебня в зыбкое тело дороги и с ревом устремлялся к насыпи чернозема, опуская широкий блестящий лемех ножа, как слон в бою опускает бивни. Он набрасывался и бодал ее, и насыпь нехотя поддавалась; жирные черные комья выползали из-под траков, а бульдозер взбирался все выше, задирая нож к свинцовому грозовому небу. Постояв наверху и успокоясь, он скатывался назад и отползал, готовясь к новой атаке.

Бульдозерист посадил рядом с собою маленького сына, и мальчик держался обеими руками за рычаг. Время от времени коричневая ладонь отца накрывала его руки и легонько толкала рычаг. Мальчик весело дудел, вытянув губы и округлив глаза, и смеялся, когда они с отцом почти ложились на спинку сиденья.

Всякий раз, когда они взбирались наверх, он видел пегого жеребенка с черным пушистым хвостом и голенастыми длинными ногами. Жеребенок отбилса от матери и тоненько ржал, а потом прислушивался, кося фиолетовым глазом, и мать отвечала ему откуда-то хрипло и тревожно.

Тогда он пускался вскачь, взбрыкивая крупом несколько в сторону, но тут же останавливался как вкопанный, опустив голову и крутя хвостом. Он боялся бульдозера и высоких тротуаров, на которых молча стояли люди, а с другого конца улицы медленно приближались к нему шестеро мужчин.

Бульдозер взлез на насыпь и остановился, затихая, и жеребенок тоже замер, широко расставив ноги и глядя на приближавшихся людей, которые шли посередине улицы, подняв головы и касаясь друг друга плечами.

— Папка,— спросил мальчик,— а куда это дяденьку Мацуева повели?

Бульдозерист помолчал и ответил:

— Никто его не ведет. Он сам себе человек. Идет куда хочет.

— А я думал, он не хочет, а идет,— сказал мальчик.

— Значит, нужно идти, сынок.

Мужчины все приближались, и жеребенок, не выдержав, кинулся от них к бульдозеру. Он проскочил в двух шагах, задрал хвост и вскидывая голову; мальчик сурово прикрикнул на него басом. Мужчины свернули на тротуар, и стоявшие там расступились перед ними молча.

— Папка, поехали,— сказал мальчик.

Бульдозер заворчал снова.

Шестеро вошли в «Гастроном». Женщины в большой и шумной очереди тотчас же дружно загалдели на них. Но Мацуев, раздвигая толпу женщин тяжелым круглым плечом, спокойно объяснил, зачем они пришли. Тогда Федька с Косичкиным смогли подойти к прилавку.

Они купили колбасы, сгущенного молока, конфет, печенья, а Федька еще и четвертинку водки, и пошли через весь поселок к двухэтажному кирпичному строению, обсаженному тонкими продрогшими тополями, за которым уже не было домов и уходила в лес дорога к аэродрому. Девица в белом халате приоткрыла дверь и, увидев ватагу парней, нагруженных кулками и свертками, поспешила прикрыть ее. Но Мацуев успел втиснуть в щель свой огромный ботинок.

— Снизойди, девушка,— предупредил он угрюмо.— Не то в окошко полезем.

— Попробуйте только!— сказала сестра, перебирая ключи в кармашке.— Сейчас врачаха придет, она вас тем же порядком и выставит.

— А куда она ушла?— спросил Федька.

— А тебе что? На переговорную.

— С Белгородом созванивается?

— А тебе что? Ну с Белгородом.

— А!— сказал Федька.— Ну, так ее как раз до ночи будут соединять. Айда, хлопцы.

— Куда это «айда»? Ты же не в «зверинец» пришел все-таки.

— Ты скажи, как ему?— спросил Антон.

— Как ему, как ему! Из шока насилу вывели.

— Ага,— сказал Мацуев.— А теперь что — в сознании он?

— Сказала же: из шока вывели.— Она вздохнула.— Только ему все равно очень плохо. Seriously говорю, плохо. А вы тут кричите, топаете.

— Знаем, что плохо,— сказал Федька.— Было бы хорошо, так, может, и не пришли бы.

Он инстинктивно потер ладони о ватник, точно под слоем неотмытого масла почувствовал неотмытую кровь на руках, которыми высвобождал из тисков разбитую голову Пронякина.

— Ладно, черт с вами,— сказала сестра, вздохнув.— Пусть кто-нибудь один идет.

Мацуев вопросительно взглянул на Антона.

— Нет уж,— сказал Антон.

Тогда Гена Выхристюк мягко и настойчиво потеснил ее и взял под локоток.

— Девушка, не будем разводить дебаты — не будем, правда?

И так же мягко, склоняясь к ней, увлек ее вверх, по чистой холодной лестнице, уже пропахшей йодоформом и карболкой. Они пошли следом, стараясь не топтать и все замедляя шаги. В большой комнате с кафельным полом и никелированными столиками вдоль стен она опять стала сопротивляться.

— У меня только два халата. И врачаха сейчас придет. Все равно всех не пушу, так и знайте.

— Слушай, девушка, как же так?— возмутился Гена.— Мы же договорились, что ты умница и все понимаешь...

Она прижала палец ко рту. Кто-то говорил в другой комнате, голос доносился сквозь приоткрытую дверь, тихий и словно раздавленный:

— ...Ну пусть войдут, сестра... Не мешай...

— Идите,— сказала сестра.

Они увидели край зеленого мохнатого одеяла и руку, чудовищно толстую в бинтах, лежащую на полпорке. Несколько часов назад, когда они разнимали сплюсненную обшивку кабины и срывали ломami резьбу болтов, он был еще свой, еще досягаемый в своем шоферском невезенье. Теперь он был отделен от них толстой корой бинтов, запахом антисептики, всем видом этой комнаты, где сразу стало неповоротливо и тесно их сапожищам и здоровым телам.

— Это можете оставить здесь,— сказала сестра. Она хотела забрать у них кульки и свертки.— Мы его с ложечки кормим.

Но они не отдали и гурьбой вошли к Пронякину.

Он лежал в палате один, распластавшись на широкой кровати, чем-то, должно быть, обложенный под одеялом и затянутый по макушку в бинты. Открытыми были только рука, половина рта и глаз. Бинт на щеке прилегал неплотно, и виднелась матовая смуглость кожи.

— Вы не очень мучайте его,— сказала сестра и пощупала запястье на здоровой руке Пронякина. Это выходило у нее уже почти профессионально.— Главное, чтоб он не двигался.

— У нас не двинется!— восторженно сказал Федька.

Сестра все не уходила. Федька выразительно взглянул на Гену Выхристюка, тот моргнул ему и, полуобняв сестру за плечи, вышел с нею, тихо притворив дверь. Тогда они мигом придвинули пустые койки и расцелись вокруг Пронякина.

— Ну как ты, Виктор?— спросил Мацуев.

Он сидел, упершись кулаками в толстые ляжки. Глаз Пронякина медленно поворачивался и оглядывал их всех с тоскливым упямством, преодолевающим непомерную боль.

— Оперировать тебя будут, Виктор... Теперь хорошо оперируют.— Мацуев улыбнулся очень доброй улыбкой.— Хомякова в Белгород вызвали, докладать насчет руды, с собою врача привезет. На «язе» поехал, легковуха не пройдет сейчас. Ты Силанتيкова, с третьей бригады, знаешь?

— Нет...

— Здоровый такой,— напомнил Федька.— Усищи, как у кота.

— Помнишь, наверно,— засмеялся Мацуев.— Вот он — водитель. Он пройдет. Он, знаешь, проходчивый, вроде тебя.

— Я ж вот не прошел...

— Ну, с кем не случается!— Мацуев развел ладонями и обхватил ими колени.— На то ж мы и шоферы, чтоб этак вот иногда...

— А не тужи ты!— сказал Косичкин.— Знаешь, случан какие бы-

вают? Страшное дело! Вот у нас на фронте, да в нашей же автороте, чудака одного осколком по животу — чирик! Ремень вот так разрезало — и кишки на волю. Так ты думаешь, он что? Он это все добро аккуратненько в пилоточку, с песком, с хвоей — в лесочке мы как раз стояли — и в медсанбат. Ну, правда, не сам, повели его. Так, мол, и так, братцы, зашивайте, чтобы все, значит, как раньше, было бы, по всей форме. И зашили. И жил потом. Ну, потом ему правда что голову отнесло. Так ведь голову ж!..

Федька занес руку назад и гулко хлопнул его в лопатку.

— Ты чего это? — обиделся Косичкин.

Федька блуждал глазами по потолку.

— Ты думаешь, я к чему? А к тому, что есть люди, понимаешь ты, с широкой костью, с жилой, с накопцом, что ли. Энергия из них прямо стреляет, вон как из Витьки. Такой за здорово живешь не помрет. Не-ет!

Они посмеялись сдержанно. И Косичкин посмеялся тоже, открыв желтые изъеденные зубы.

— «Мазнк» мой как?.. — спросил Пронякин.

Мацуев отвел глаза в сторону.

— Про «мазик» не беспокойся. Его ведь и так уж списать хотели. К тому же двигатель в хорошем состоянии. Починим, чего ему сделается... Тебя бы вот, дурака такого, починили скорей.

— Меня уж не починишь...

— Ну, ты это брось, Витька, — сказал Федька не очень уверенно.

Пронякин помолчал и потом снова разлепил склеившиеся губы.

— Теперь бы дожди не помешали...

— А пес с ними, с дождями-то, — сказал Мацуев. — Теперь уж не страшно. Теперь по руде будем ездить, она не размокает.

— А выше... все бетонка будет?

— Все бетонка.

— Там... на повороте, где сверзился я, пошире бы надо сделать...

— Сделаем пошире, — пообещал Мацуев.

Они помолчали. Мацуев шумно вздыхал. Он что-то еще хотел сказать.

— Тебе, может, еще чего принести? — спросил Антон и вдруг почему-то нахмурился. — Выпить не хочешь? А то вон у Федора есть.

Кисти рук у Антона были забинтованы тряпками. Он встретился глазами с Пронякиным и спрятал руки за спину.

— Желаеть? — спросил Федька и с готовностью полез в карман.

Сестра вдруг открыла дверь.

— Это чего это у тебя? Чего вы ему даете? Водку паршивую? Не вздумайте.

— А что? — обиделся Федька. — Для облегчения. Я знаю, чего делаю.

— Много ты знаешь! Ему для облегчения вино хорошее требуется. Или чистый спирт. Мы уж тут поили его. А самое лучшее — коньяк пятизвездочный.

— Н-да, — сказал Федька. — Курорт. — К этому слову он относился неприязненно. — Не угадали, значит.

— А это можете выкинуть.

— Выкинем, а как же, — пообещал Федька и спрятал четвертинку в карман.

Гена Выхристюк мягко увлек сестру и притворил дверь.

— Строга стала Нинка-то, — сказал Федька и вздохнул. — Вот так и загубят человека до гробовой доски.

Мацуев придвинулся к Пронякину, и тот увидел вблизи морщинистую темную кожу у него под глазами и табачную седину на висках. «А ведь

сдаешь ты, старик!»— подумал Пронякин. Ему было жалко себя и того, что с ним произошло.

Мацуев смотрел на него откровенно горестным взглядом, покачивая головой, Меняйло — сурово и с мучительным напряжением. Федька пробовал ободряюще улыбнуться. «Должно быть, плохи мои дела»,— подумал Пронякин.

— Ладно, хлопцы,— сказал он, когда молчание затянулось.— Вы уж идите... Да нет, не подумайте чего. Просто плохо мне...

Они поднялись и мяли кепки в руках.

— Знаешь, Виктор,— сказал Меняйло угрюмо и виновато и не глядя на него.— Ты все же зуб на нас не имей.

Пронякин усмехнулся одной половинкой губы.

— Имел бы, да вышибло. Теперь не имею.

— А завтра опять навестим,— пообещал, выходя, Мацуев.— Ты уж не сомневайся.

Антон остался. Он постоял над кроватью и осторожно потрогал забинтованную руку Пронякина.

— Как же ты так, Витя?

— Ну что ж, Антоша, дерьмовый я, значит, шофер...

— Ты этого не смей говорить,— строго приказал Антон.— И думать даже не смей. Ты, как бог, шел. Всю дорогу — как бог! Только под конец повернул резко. И не послушался, чудак, я же кричал тебе: «Соскребывай». Ты не слышал, наверное?

— Слышал... Что это у тебя... руки-то?

— Поободрал маленько. Очень ты крепко в кабинке засел.

Пронякин вздохнул и потянулся головой назад, скрипнув зубами.

— Ты поправься, Витя,— попросил Антон.— Обязательно, слышишь, поправься. Мы ж еще погулять с тобой должны.— Он вдруг широко улыбнулся и, присев к Пронякину, низко склонился над ним.— А что ни говори, здорово это мы с тобой, а? Будет что вспомнить.

— Да...

До темноты никто не тревожил Пронякина, и он успел отдохнуть, хотя в одиночку было труднее справляться с болью. Время от времени она совсем раздавливала его, стискивая горло горящим ошейником, тогда он вцеплялся рукой в железный край койки и зажмурился.

Вошла сестра и постояла над ним, прислушиваясь к его дыханию, затем погасила свет и ушла. Он открыл глаза и слушал, как ветер, налетая порывами, хлопает форточкой и шумит в мокром лесу, и понемногу начал задремывать. Но вскоре ему приснилась боль. И ничего другого, кроме боли, в тех же местах и только чуть слабее, чем наяву.

Он знал, что это сон и что, проснувшись совсем, он почувствует боль по-настоящему, и, чтобы задобрить ее, старался думать обо всех радостях, какие были у него когда-нибудь. Но ими не так уж богата была его жизнь, да многое и позабылось с тех пор, как он избрал себе профессией наматывать на колесо бесконечную ленту дороги. Дорога отняла у него память. Точнее, она заменила ее. Всегда, если он что-то рассказывал, он начинал: «Как-то раз еду это я...», но вот куда он ездил и когда это было, он уже не помнил, потому что главным в рассказе всегда была дорога, которая мало чем отличалась от другой дороги.

Но вот он увидел себя в тамбуре вагона, на нем шинель без погон и вещевого мешок режет плечо. Это он после армии едет к невесте. Он держит тяжелый мешок на плече, чтобы не опускать его на заплыванный пол, и всматривается в черное окно, но не видит ни огонька. Два года назад его саперная часть строила здесь железнодорожный мост и станцию, а неподалеку, в забытой богом деревушке, они и познакомились. Потом часть передислоцировали на север, а она обещала ему присылать по два

письма в месяц и ждать. Она присылала их аккуратно и ждала два года, вот он и едет к ней, потому что отец его женился в третий раз, а больше у него никого не осталось.

Он сошел на маленькой станции, где поезд стоял полминуты, и ринулся с насыпи в черную темень. Можно было и подождать до утра в поселке строителей, но он хотел добраться до ее дома к рассвету, пока она с матерью не уйдет в поле. Он шел целый час развезженной дорогой, извивающейся во ржи. Потом из облаков выступила огромная выпуклая луна и залила всю степь голубым светом. Он пошел быстрее и вскоре почувствовал близость реки. Он навсегда запомнил, как пахла тогда река сочным и молодым запахом осоки и как туман перед рассветом окутывал камыши.

Он стал разыскивать лодочника и нашел его спящим на пороге своей сторожки, хотя ночь была очень свежа. Старик не испугался ночного пришельца, только закричал с досады и пошел отвязывать лодку. Старик сел на весла, а Пронякин, увязая в зыбком песке, оттолкнул ее от берега.

— К невесте торопиться?— спросил старик. Он знал всех парней в округе, незнакомый солдат мог ехать только к невесте.— Это чья же она?

— Болдыревых знаете?

— Наташка? Ну как же. Вовремя прибежал.

— Почему это «вовремя»?

Он почувствовал усмешку, хотя глядел не в лицо старику, а в воду, рассеиваемую блестящим веслом.

— Потому, за другого, видно, собралась. Не надеялась, что ли, тебя дождаться.

— Это за кого же?— спросил он небрежно.

— А кто его знает. За Леньку, что ли, Рябова.

— Чепуха, отец.— Он и вправду успокоился.— Леньку она еще сопливым помнит, а видов никогда на него не имела. Мне она верная.

— А я разве чего говорю?— спросил старик.— Разве же я говорю, тебе не верная?

Они плыли, плыли, а потом старик опять спросил:

— Только, может, она и Леньке верная? Обчая, значит...

Лодка ткнулась в берег, и Пронякин выпрыгнул с мешком.

— Толкни-кось,— попросил старик.

Пронякин оттолкнул его лодку, как наваждение.

— Чепуха это все, отец,— повторил он с облегчением.

— Вертаться надумаешь, ори громче,— сказал старик.— Я дослышу.

И растаял в тумане, только волны докатывались и плескались о берег да скрежетали ржавые уключины.

Пронякин пришел в деревню к рассвету. Сонные собаки пробовали на нем сырые голоса. Возле знакомого дома он увидел одиноко слонявшуюся фигуру и, подойдя, узнал Леньку. Он вспомнил, как говорили, что он отбил у Леньки подружку с детства.

— Ты чего здесь?— спросил Пронякин.

Ленька смутился. Он был щупл и высок, на голову выше Пронякина.

— Здорово, солдат.

— Я спрашиваю, чего здесь околачиваешься?

— Да вот Наташку дожидаю, вместе в бригаду сговорились пойти.

— Никуда она не пойдет сегодня. Жених к ней приехал.

— Да ну, это не ты ли?

— Вот я и есть. Понял? Ну и привет.

Ленька вдруг озверел и сунулся было с кулаками. Но он был все-таки слаб, в армию его почему-то не брали, и Пронякин двумя ударами прогнал его от дома. Ленька отбежал и крикнул ему, срываясь на плач, размазывая по губам кровь:

— Сволочь ты, понял? Я уж год как гуляю с ней, а ты чего сюда явился, тебя тут ждали?

— Вали отсюда! — сказал Пронякин. — Ославил девку на всю деревню, звонарь.

Потом он присел на завалинке — покурить и успокоиться, но вдруг отворилась дверь, и Наташка вышла на крыльцо.

— Пошли в дом, вояка, — сказала она, сдерживая смех.

Она была в пальто, накинутом на голубую трикотажную сорочку, и Пронякина сразу покинули укоры совести из-за того, что он бил слабого Леньку. Она пошла в дом, он догнал ее и обнял за плечи.

— Что он тебе говорил? — спросила она, улыбаясь ему через плечо.

— Чепуху мелет. Звонарь он, больше никто.

— Не скажешь мне?

Он замотал головой и наконец поцеловался с нею в темных сенях.

— Намекивал он тебе, что я, мол, гуляла с ним? — спросила она опять.

— Да я уж и думать бросил. Ну, а если б чего и было?

— Ты что? — сказала она, отодвигаясь. — Ты думаешь, я такая?

— Иди давай. — Он подтолкнул ее в комнату и пошел здороваться с ее матерью, которая уже поднялась ему навстречу, благодная и строгая.

— Слыхали, — сказала Наташка, — чего ваш Ленька про меня распускает?..

— Язык бы ему оторвать, этому Леньке, — перебила старуха. — Вишь ли, обидно ему, что за нашей Наташкой бегают, инспектор тут из райфо одно время сватался, а после инженер с поселка, ну вот и мелет почему зря, отваживает..

— Помыться бы мне с дороги, — сказал Пронякин.

Все-таки он немножко иначе представлял себе свое возвращение.

Конечно, в тот день Наташка никуда не пошла, а он, сняв гимнастерку, обошел с ее матерью сад и двор, пришил оторвавшуюся доску на сарае и починил засов на воротах. Он никогда не жил в деревне, но ему приятно вдруг стало чувствовать себя хозяином всего, что он видит.

Он знал, что колхоз у них не ахти какой и вряд ли мог поправиться за два года, да и хозяйство, которое Наташка приносила с собой в приданое, было не ахти какое, но он был с головой и профессией, которая нужна повсюду, а в особенности когда не хватает мужиков, и начинал не на голом месте.

— До свадьбы у нас останешься? — спросила Наташкина мать, поджимая тонкие губы. Она говорила о свадьбе, как о деле решенном.

— Останусь, ежели не прогоните.

— Чего ж прогонять-то. Ежели все по-честному у вас...

Весь день они с Наташкой не могли наглядеться друг на друга и беспричинно смеялись, а ночью, когда ему постелили в горнице, он от этого смеха не мог уснуть и ворочался на скрипучем топчане. Он насилу дождался, пока старуха перестала кряхтеть, и пошел к Наташке, в ее комнату. Она ждала его и ничуть не удивилась.

Они были молоды и не очень щадили друг друга и для начала старательно искровывали поцелуями губы. Но, должно быть, он не так понял ее, потому что, когда он совсем захмелел, она внезапно успокоилась и крепко уперлась ладонями в его грудь. И он услышал, как в полусне, ее наставительный шепот:

— Нег уж, Витенька, это уж когда запишемся, а так я не дамся, уж ты не думай, не такая..

В темноте ее лицо казалось старушечьим. Наверное, когда она и в самом деле состарится, она будет такая же благодная и строгая

и научится так же поджимать тонкие губы. Что-то в нем оборвалось, чего уже нельзя было связать, как бы он ни старался, потому что слишком мешали этому старик на перевозе и Ленька. Но больше всех она сама, которая все испортила. Он встал и пошел к себе, наталкиваясь на стулья и мало уже заботясь, услышит ли его старуха. Наташка робко вскрикнула, как бы пытаясь вернуть его, но матери, если б она проснулась, показалось бы, что дочка просто вскрикнула во сне.

Он посидел в темноте, потом оделся, собрал свой мешок и вышел в лунную ночь. Никто не удерживал его. Потом, когда он уже был на улице, за спиною взвизгнула дверь и Наташка крикнула ему с крыльца:

— Ну пошли, глупый... Ну чего там.

Он не обернулся.

Он шел быстро, чтобы успеть на утренний поезд. Выйдя к реке, он вспомнил, что надо покричать старику. Ему не хотелось этого делать, но не лезть же было в воду с мешком и в шинели. В конце концов он покричал, и старик выплыл к нему из тумана.

Они плыли молча, только на прощание старик не утерпел:

— Что же она, Леньке, выходит, верная?

— Не в том дело, отец. Она себе верная.

— Ага,— сказал старик.— А ты этого, стало быть, не любишь?

— А кто любит? Ты, что ли, отец?

— Я? Не-е. Я веселый, вольный человек. А с бабами свяжешься — хуже нету. Мне баба теперь ни к чему, и хозяйство мое не скоро еще кончится. Так и ты живи.

— Попробую. Ну, бывай, отец.

— Бывай, что ж делать-то.

Пронякин шел ухабистой дорогой, извивающейся во ржи, и не мог теперь слышать замирающий запах осоки, сочный и пряный, молодой запах. Он не успел тогда к утреннему поезду и стал дожидаться вечернего. Он выпался на траве под насыпью, а потом, в долгом мучительном томлении, сидел в буфете и пил пиво, заедая каменными бутербродами, пока буфетчица не жалилась над ним и не позвала к себе, в крохотную комнатку позади прилавка. Там она варила себе обед и накормила его этим обедом, и тут он впервые ее разглядел. Она была еще молода, но уже знала не одного мужчину, это он видел ясно. Его собственный опыт был куда меньше. Вечером он помогал ей закрывать буфет и пропустил свой поезд и остался у нее, в той же крохотной комнатке станционного домика.

За окном грохотали поезда, которые здесь не останавливались, и желтые пятна от их огней прыгали по ее лицу и груди. В эти минуты ему отчего-то становилось нестерпимо жалко ее, и он спросил:

— И не надоело тебе вот так?

— Надоело,— созналась она честно.— Знаешь, как надоело! Вся жизнь моя, как проезжая дорога.

Он помолчал и сказал неожиданно для себя:

— Ну так уедем отсюда.

— Уедем?— Она приподнялась на локте и склонилась над ним. Волосы ее касались его лица.— Ты сказал «уедем». Это как же — вместе?

— Ну вместе...

— Постой,— сказала она.— А кто ты мне?

Он и сам не знал, кто он ей. Но утром, когда она оделась и пошла приготовить что-нибудь ему в дорогу, он уже знал, кто он ей. И назвал ее так, потому что твердо решил это к утру. Она очень удивилась и, жалея его, рассказывала ему все о себе, но он настоял на своем. На третий день они уехали оттуда и долгие годы скитались вместе.

Он ни разу не раскаялся в этом и никогда не жалел, что не остался тогда у «куркулей», хотя они, конечно, не были «куркулями». Вот только ничего у нее не было, кроме оравы родичей в Горьком, и никогда они ничего не могли нажать, хотя она умела попасть на хорошее место и неплохо заработать. Сначала, когда еще была молодость и любовь, они легко расставались с тем, от чего не пахло ни молодостью, ни любовью, и уходили на другое место, а потом, когда захотелось чего-то еще, этого уже трудно было добиться, потому что вместе с этим пришла усталость. Вернее, они пришли вместе, усталость и желание чего-то еще. И все равно они любили друг друга, хотя он и изменял ей в отъездах, да и она, наверное, изменяла ему.

Теперь, готовясь к тому, что должно было с ним произойти, он понял, что все было хорошо тогда — и лунная ночь в степи, когда он шел к невесте, и молодой запах осоки, и женщина, которая поделилась тарелкой борща, а потом и постелью. Может быть, во всей его жизни только и были два счастливых дня — тот, на маленькой станции под Камышином, и сегодняшний, когда он вез из карьера руду. Он взял бы все это с собой в последнюю, самую дальнюю дорогу...

Но он не смог ничего взять, потому что услышал далекое фырканье машины и плеск разгребаемой грязи. Машина была легковая и шла от аэродрома. Он догадался, что Силантиков все же завяз, но Хомяков привез врача на самолете, и в нем опять шевельнулась надежда. Затем отсветы фар заплескали на потолке, и машина остановилась. Из нее вышли двое. Они прошли под самым окном.

Он услышал простуженный голос Хомякова; сквозь приоткрытую форточку долетали обрывки фраз:

— ...о чем я вас прошу... Это замечательный парень... мы завтра о нем в газете... Он верил больше всех... и даже меня, которому... по должности...

— Мне это решительно все равно.— Второй голос был высок и четок.— Имеет ли он пять благодарностей от министра или десять выговоров в приказе. Меня просить не надо.

Хлопнула дверь внизу, и Хомяков, наверное, остался один. Слышались его чавкающие длинные шаги. Потом они захлюпали к машине, и Хомяков спросил кого-то, наверное водителя:

— Ну, как думаешь?..

Но что думал водитель, Пронякин уже не слышал, потому что машина заворчала и отсветы фар исчезли с потолка. В соседней комнате возникла поспешная суета, и откуда-то взялся голос маленькой седой врачихи, которая перевязывала Пронякина с помощью сестры. Ему было тревожно и страшно, вместе с надеждой к нему опять подступила боль, и он бы, пожалуй, согласился, если б эти люди оставили его в покое.

Врачиха быстро просунула руку и включила свет, пропуская вперед приехжего хирурга. Он ступал мягко, должно быть надел поверх ботинок войлочные шлепанцы, и сестра завязывала на нем тесемки халата, который был для него тесен. Он морщился и дергал плечом. Он был высок и толст, под халатом явственно обозначалось брюшко. Не поглядев на больного, он вытянул руки вперед, и врачиха с сестрой засуетились снова. В больнице не было водопровода, его не было еще во всем поселке, и сестра поливала на руки приезжему из эмалированной кастрюли над тазом в углу.

Вытирая пальцы, он подошел к постели Пронякина и молча уставился на него.

— Ну-с, как мы тут? — спросил он машинально и повесил полотенце на плечо врачихе. Она этого даже не заметила. Он присел на койку. — Вы говорите, пятый и шестой?

— Пятый и шестой, — подтвердила врачиха. Она, вероятно, гордилась немножко, что у нее в практике такой тяжелый случай.

— Глаз тоже поврежден? — спросил хирург. Он еще не прикасался к Пронякину.

— Глаз, к счастью, не поврежден, — ответила врачиха.

— Что же ты так, милый? — спросил хирург и, поморщившись, посмотрел на люстру. — Ну-ка, помогите мне.

Втроем они сняли с Пронякина одеяло, стащили грелки и бутылки с теплой водой и перевернули на живот. Он зажмурился и стиснул зубы. Он не знал, сколько это продолжалось — минуту или час, потому что сразу же зарычал и провалился в лиловую пустоту, как только чьи-то пальцы вошли между фанерным щитом и его затылком. Но даже из пустоты он чувствовал прохладные и неловкие пальцы сестры, торопливые и мягкие прикосновения старой врачихи и сильные пожатия толстых пальцев хирурга. Но странно, именно эти сильные пожатия причиняли меньше всего боли. Точно боль страшилась этих пальцев и бежала от них.

Когда он очнулся, он опять лежал на спине, и хирург смотрел на него. Пронякин видел его одним глазом и не знал, далеко ли он сидит.

— Что же ты, милый? — опять спросил хирург.

Пронякин виновато вздохнул. Глаз ему застилала слезы.

— Так вы говорите — пятый и шестой? Правильно, — сказал хирург. — Правильно, черт возьми.

И, потянувшись к больной ноге Пронякина, вдруг быстро и сильно помял ее. Напряжение отразилось на его лице.

— Больно?

— Н-нет.

— А так? — Он ударил кулаком.

— Тоже нет.

Он и в самом деле не чувствовал боли. Может быть, она и отсюда ушла в страхе перед этими пальцами.

— А пошевелите-ка ногой. Сильнее.

Он сделал все, чтобы пошевелить ногой. Он делал это охотно, потому что боль ушла из нее совсем.

— Ничего, — сказал хирург. — Ничего, милый, страшного.

Пронякин улыбнулся ему сквозь слезы. Надежда разрасталась в нем и заполняла все тело, из которого уходила боль.

Хирург быстро поднялся и вышел. Полы халата развевались за ним. Врачиха и сестра накрыли Пронякина одеялом и вышли тоже. Они плотно прикрыли дверь.

Они прикрыли ее очень плотно, и тогда хирург спросил, дергая плечом, оттого что халат жал ему под мышкой:

— Сколько ему лет?

— Еще не исполнилось тридцати, — ответила врачиха.

— Н-да. Вряд ли исполнится. Ну, что ж, готовьте.

— Будем оперировать? — спросила сестра.

— Нет. Будем снимать мерку для костюма.

Он достал из-под халата сигаретницу из карельской березы и анти-никотиновый мундштук и вкусно, изящно закурил, выпуская дым тоненькой струйкой из-под пушистых усиков. Сестра взяла с подоконника пепельницу и держала ее в руке, чтобы он не сбрасывал пепел на пол.

— Вы думаете, летальный исход? — спросила врачаха, глядя на него снизу вверх сквозь толстые очки.

Он помолчал и вдруг рассердился.

— Слушайте, какое вам дело до того, что я думаю! Разрежем — посмотрим. Как будто вы сами не видите: уже начался паралич ног, еще час, ну два, и процесс поднимется кверху. Я еще удивляюсь его сердцу. Это просто буйволово сердце, потому что наверняка же задет блуждающий нерв.

— Но я правильно сделала, что вызвала вас? — спросила врачаха.

Он передернул нетерпеливо плечами и сбросил пепел мимо пепельницы.

— Вы все правильно сделали, коллега. Вы просто идеально все сделали. Вы только забыли поставить ему новые позвонки. Суший пусяк, вы не находите?

Он прошелся по комнате, заложив руки за спину; шлепанцы мешали ему, и он отшвырнул их в сердцах.

— Вы тоже думаете, что врач, живущий в городе, лучше того, который живет в районе? А районный лучше поселкового? Так?

— Простите, — сказала врачаха.

— Да я несколько не зол, что вы меня вызвали. Я зол на себя, на всех нас, которые везде одинаковы. Мы одинаково ни черта не умеем. Уж, наверное, он знал свое дело лучше, чем мы. Что там говорить! Вот бросьте его одного, со всеми его ранами, в степи, в грязи, под дождем, голого!.. Думаете, он не выживет? Выживет. Сам приползет. А если он умрет, так от чего? А? Позвонки! Но вот тут-то как раз и мы ни черта не умеем.

— Может быть, через двадцать лет и это будут лечить? — сказала сестра.

— Утешила! Через двадцать лет никто за здорово живешь не станет ломать себе шею. А впрочем, черт его знает... Ну что вы стоите, как стуканы? Я же сказал: «Готовьте!» Инструменты возьмите мои, в саквояже. И готовьте, готовьте, не будем рассусоливать.

Пронякин не слышал их и ждал, когда они снова вернутся к нему. Он ждал их с надеждой и страхом и даже обрадовался, услышав, как стукнула дверь внизу. Он не знал, что это Федька с Антоном принесли коньяк, за которым они ходили за восемь километров в Лозню, и решил, что его до утра оставят в покое.

Но дверь отворилась, и вошла сестра. Она включила все лампы в люстре и улыбнулась Пронякину дрожащей улыбкой. За нею вошли врачаха и санитар с носилками, тяжелый и длиннорукий, с проседью в рыжих усах и кудлатой пепельной головой. Он кашлянул в кулак и подошел к постели Пронякина. Втроем они стали перекладывать его на носилки — очень бережно и потому очень долго. А когда он снова пришел в себя, он уже лежал на столе, на боку, накрытый простыней, и потолок качался над ним. Сестра подняла шприц к свету и выплеснула несколько капель. Потом врачаха отобрала у нее шприц. Потом он увидел хмурое лицо хирурга, который подходил к нему, подняв руки, облитые желтым лаком перчаток.

И Пронякин вздохнул, закрыв глаза, и вытянулся, готовый ко всему на свете, готовый опять провалиться с рычанием в лиловую пустоту.

А среди ночи он проснулся с тревожным ощущением, что с ним сейчас, вот через минуту, что-то произойдет. Это ощущение было сильнее, чем свежий надрез на затылке, и отчасти знакомо ему. Как будто он на вечеринке хватил лишнего и почувствовал себя скверно, и надо побыстрее, пока еще что-то соображаешь, выбраться — через стулья и

колени соседей — на свежий воздух, иначе потом не оберешься стыда. Но тут опять боль взялась за него и не отпускала. Он хотел позвать сестру и не мог позвать, потому что перехватило дыхание.

Вокруг была темнота — наверное, все ушли и плотно прикрыли дверь, — и он не понимал, откуда берутся голоса, которые доносились к нему глухим бормотанием. Он догадался, что их там трое: сестра, врачиха и еще как будто та девочка, что работает на отвале; она теперь что-то рассказывала им, а они расспрашивали. Ее голос был самый звонкий, но она проглатывала слова, и он различал только свое имя. Но по тому, как она говорила и как дрожал ее голос испугом, сожалением и затаенной, стыдной для нее самой радостью, он понял, что она рассказывала им, как он не взял ее с собою в карьер.

— Треплются бабы, — сказал он самому себе, мысленно усмехаясь. — Надо же бабам потрепаться.

Дыхание опять вернулось, и, должно быть, вернулся голос, но он не стал звать сестру. Боль начала утихать. И он понял вдруг, почему молоденькая сестра боится остаться здесь одна этой ночью. Он был уже слишком обессилен, чтобы эта мысль могла его потрясти или напугать. Кто-то из них встал и вдруг оказался очень близко, и он нарочно старался дышать громче и ровнее; ведь они, наверное, хотели слышать его дыхание.

Они опять забормотали там, за глухой стеной, но он уже не прислушивался к их разговору, он прислушивался к тому, что происходило в нем самом. Если б он мог увидеть сейчас свое лицо, он бы узнал, что трудная складка возле его рта наконец разгладилась.

Ну, что ж, они для того и оставили тебя, чтобы ты побыл один, если уж все равно ничего не поделаешь. Подумай, ведь ты и работу выбрал себе такую, чтобы быть одному в кабине, наедине с машиной и дорогой. Так и теперь случилось. Но если ты жил, хотел и добивался, если ты что-то делал и любил то, что ты делаешь, и кому-нибудь становилось от этого теплее, тогда ты можешь умереть один, в темной комнате, не сказав никому ни слова прощания или раскаяния. Тебе случалось видеть, как умирают, да и рассказывали об этом достаточно, и, право же, в этом ничего красивого не было. К тому же все они говорили какую-нибудь чепуху. «Сухо» или «Давит, братцы...» Только один сказал что-то хорошее: «Вот лето придет, к морю поедем», да и тот, наверное, бредил. Это ведь уже не слова, а так, болтание слабеющим языком, голова тут ни при чем, и жизнь тоже. Ну так и не зови к себе никого, ты только напугаешь их, а завтра все будут на разные лады повторять и перекраивать то, что ты вовсе и не хотел сказать...

Так или иначе думал он, в одиночку справляясь с болью.

А в комнате над ним горел яркий свет, очень яркий сейчас, потому что его давно уже выключили во всех домах поселка, и люди находились рядом — врачиха, сестра и приезжий хирург, и не было никакой девочки, что работает на отвале, — они сидели вокруг, не сводя с него глаз и прислушиваясь к его замирающему дыханию. Но он не видел и не слышал их, хотя они разговаривали громко. Он видел и слышал свое.

Ветер опять шумел в мокром лесу и хлопал форточкой о косяк, где-то близко прошла по грязи машина, косые отсветы фар заплывали на стенах, ломаясь на потолке. Потом стихло, и чей-то охрипший голос сказал: «Ну, кажется, все... теперь не остановишь».

Внезапно кто-то невидимый рванул койку и приподнял ее на метр от пола. Пронякин схватился за край ватной рукой и тут же потерял эту руку. У него снова перехватило дыхание. И сильно зашумело в ушах. Но он почувствовал отчетливо, как вся комната, где бродили отсветы фар, повернулась и начала кружиться, как это бывает в силь-

ном опьянении. И только кровать висела неподвижно. Но потом и она закачалась, как на волне, когда лежишь в носу лодки и смотришь в небо. И вдруг она поплыла вперед, как лодка, и бесшумно преодолела пределы комнаты. Подул ветер, и тьма начала проясняться, приобретая серо-голубой цвет глины в карьере. Он плыл, покачиваясь, в эту даль, над мокрым лесом и над дорогой, петляющей по склону, и ему становилось все легче, все покойнее, уже почти исчезло воспоминание о боли, когда началось мучительное падение. Его ничем нельзя было остановить, не за что схватиться, а земля стремительно приближалась, разрастаясь к горизонтам, и казалась все тверже, все страшнее. Он молил теперь об одном: чтобы его отнесло на деревья и чтоб ветви ослабили удар. Вдруг чей-то голос, гулкий, будто в длинной трубе, закричал внизу:

— Падает, падает пульс... Вы чувствуете?

Он почувствовал только, что его несет на деревья, и обрадовался. И это было последней радостью. Потом что-то прохладное, шелковистое окутало ему лицо, и он подумал, что это листья, холодные и трепещущие от ветра.

В тот день, когда серый почтовый пикап увозил Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, в тот день пошла наконец большая руда.

Ближе к рассвету подул сильный восточный ветер, который подсушил глину и разогнал облака. Ранним утром показалось солнце, впервые за эти дни предосенних дождей; оно заискрилось в огромных лужах, подернутых мельчайшей рябью, и склоны карьера покрылись толстой потрескавшейся корой. К выемке, где работал Антон, приползли еще четыре экскаватора, которые два часа кряду, пятясь и отступая, расширяли пяточок открытого рудного тела. Шпур, заведенный на глубину в пять метров, выбросил взрывом чистую руду.

Тогда в карьер по бетонке, старательно расчищенной бульдозерами, спустилась первая смена самосвалов. А еще через полчаса первая машина — самосвал Мацуева — показалась в выездной траншее. За ним шли Косичкин, Меньяло, Выхристюк, Федька Маковозов и водители других бригад, которые покамест оставили вскрышу и перешли на вывоз руды. Их провожали глазами тысячи жителей поселка, облепивших края и склоны карьера, крыши экскаваторов и фермы кранов. Маленький самодетельный оркестр ударил во всю мощь молодецких легких, и на радиаторы первых машин посыпались охапки цветов.

Выехав из траншей, Мацуев по привычке повернул было к отвалу, но ему со смехом указали новый путь сотни людей, стоявших шпалерами вдоль шоссе. И машины повернули к лесу, за которым высились корпуса дробильной фабрики. В одиннадцать часов была разрезана ленточка, и загрохотала щековая дробилка.

Шла большая руда, брызнувшая фонтаном из вспоротой вены земли. Она переполняла ковши экскаваторов и кузова машин и неслась, летела по шоссе бесконечной вереницей ревущих самосвалов. С двух сторон подъезжали они к опускному колодцу, упираясь колесами в деревянный брус и поднимая кузова, и руда, разом дрогнув, срывалась и падала, падала в разверстое жерло бункера. Она высекала искры из стальной обшивки, и в темной глубине медленно подскакивали многопудовые глыбы, прежде чем улечься на зубья транспортеров. Солнце, пробиваясь в щели навеса, сияло на оловянных медведях, а кузова, испачканные бурой пылью, горели, будто кованные из червонной меди.

Шла большая руда, и где-то внизу, на глубине в десять метров, попадала в щековую дробилку, которая с хрустом размалывала и пере-

тирала многопудовые глыбы, двигая справа налево гигантскими челюстями. Оттуда, из темной пыльной глубины подземелья, резиновая лента, похлестывая на катках, несла ее наверх, на галерею, откуда она должна была трижды низринуться в конусные дробилки и трижды подняться снова, чтобы в последний раз просеяться мелкой бурой крупой в подставленную платформу эшелона.

А в четыре часа пополудни паровоз, украшенный цветами и кленовыми ветками, дал торжествующе-долгий гудок и потащил первые двенадцать вагонов лозненской синьки. Люди шли за ними вдоль полотна, а потом и по шпалам, и бросали цветы и ветви, расставаясь с вагонами, пропадавшими за поворотом в лесу.

Впереди толпы шел молодой и высокий парень в бостоновом пиджачке внакидку, в кепке, надетой козырьком назад, и пел, выкрикивая слова, нещадно мучая струны покоробившейся гитары; на лбу и на шее у него, напрягаясь, багровели жилы:

Двери славы! Ах вы, дверцы узкие..  
 Но как ни были бы вы узки,  
 Все равно войдем мы все, кто в Курске,  
 Ах, добыва-ал железные куски!..

Девчата висли у него на локтях и подпевали, смешливо заглядывая ему в лицо:

А судьба моя—  
 Судьба завидная.  
 Притянула меня  
 Земля магнитная!..

Маленький паровоз непрестанно гудел утробным басом и мчал руду в южнорусскую степь, мимо тенистых рощ, перелесков и хуторов, мимо полей, речек и лугов с задумчивыми коровами и собаками, подбегавшими к насыпи с бесшумным лаем, мимо шлагбаумов и дорог с пыльными, навьюченными машинами и девчат, спивающих песни в деревнях, настоянных предвечерним покоем.

Шла большая руда, и шофер, который вез Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, очень торопился. Он должен был сдать тело, а потом еще заехать на фильмобазу кинопроката и заполучить картину поновее, пока не расхватали другие рудники и заводы. А дорога была вся в рытвинах и величавых лужах, обыкновенная «грунтовая средней проходимости». Иногда машина подолгу буксовала в грязи, и тогда он вылезал, брал лопату и, стараясь не глядеть в кузов, швырял под колеса подсохшую землю с обочины. При этом он старался ругаться потише.

На повороте к симферопольскому шоссе ему повстречалась старая кофейная «Победа» с шахматным ободком, тяжело переваливающаяся с боку на бок. Они поравнялись и стали дверца к дверце.

— Друг,— сказал водитель такси в фуражке с «крабом».— Лозненский рудник знаешь?

— Сам оттуда.

— А далеко ли?

— Гляди прямо,— сказал водитель пикапа, не оборачиваясь.— Деревушку на горушке видишь? С церковью.

— Ну?

— Ну так это Лозня. До нее по-человечески восемь, а по спидометру все пятнадцать. Чуешь? А до рудника еще семь. Там покажут добрые

люди. Четыре кирпичных блока, десять барачков, остальное — «шанхай». Это и есть Рудногорск.

— А дорога, значит, того?..

— Скатерть! — сказал водитель пикапа. — Обрати внимание на мои борта.

В машине сидела женщина. Сквозь стекла ему видно было, что она едет с вещами и что ей тесно среди этих вещей.

Женщина опустила стекло и выглянула. Она была красива бойкой красотой парикмахерш и продавщиц. Но если бы он посмотрел внимательно, он бы заметил усталость в ее глазах и морщинки вокруг чуть припухших губ, какие бывают у добрых женщин.

— На работу? — спросил водитель пикапа. Женщина ему нравилась. Он с удовольствием сел бы на место водителя такси и уступил бы ему свое место.

— Да еще не знаю, — сказала женщина. — Пока что к мужу. Он у вас на «МАЗе» работает.

— К мужу? — спросил водитель пикапа. — Тогда другое дело. Везет же кому-то!

Он совсем не хотел ей польстить, он просто очень хотел работать на самосвале. Но женщина кокетливо улыбнулась и тронула рукой мелко завитые волосы.

— Праздничек сегодня у вас? — спросил водитель такси. — По радио то нынче объявляли.

— Ага, праздничек. — Он, не отрываясь, глядел на женщину.

Она опять улыбнулась ему.

— Шумят небось? — спросил водитель такси. — Гуляют?

Водитель пикапа пожал плечами.

— Кто и погуляет...

И отпустил педаль сцепления. Шла большая руда, и он очень торопился и не хотел вдаваться в подробности.

Подробностей этой истории не было и в газете, которая как раз поспела к митингу. На первой полосе был помещен большой снимок бригады. Они улыбались. И Пронякин улыбался тоже. Но он улыбался другой улыбкой и был неловко подверстан к плечу Мацуева, потому что клише пришлось изготовить со старой фотографии Пронякина, которую Антон разыскал в его тумбочке. На этой фотографии он был в новой шляпе, которую, конечно, отрезали, а вместо нее подретушировали прическу, отчего он и вышел на снимке жгучим брюнетом. Этот номер хранится у многих в Рудногорске, и очень юный брюнет в модном галстуке, с папирской в углу рта странно выделяется среди комбинезонов и ватников.

И мало кто помнит его таким, каким он был в тот сентябрьский ветреный день, когда он стоял на поверхности земли, над чашей карьера.



---

---

Е. ДРАБКИНА

★

## ПОВЕСТЬ О НЕНАПИСАННОЙ КНИГЕ \*

Встречи, записи, планы

**И** вот Рид снова с нами. Большеголазый, светлоглазый, широкоплечий, с лицом, обрамленным четырехугольной волнистой бородой, похожий, как метко сказал о нем его друг, художник Арт Юнг, на ставшего взрослым Гавроша. Одетый в бараний тулуп, валенки и шапку с красно-армейской звездой, он появлялся в нашей комсомольской коммуне и, как некогда Стеффенсу, объявлял, что видел «удивей... удиви... самая удивительная вестш во вес мир...»

С русскими суффиксами он по-прежнему был не в ладах, но в общем, как определял он сам, «балэйкел по-русску». На этом трудном поприще с ним нередко случались конфузы. То, полный уверенности, что говорит, «как Тольстоой», он заводил разговор о какой-то «бородаты проувоулок»; мы ничего не понимали, пока не выяснялось, что он дословно перевел английское название колючей проволоки «the barbed wire». То, обращаясь к малознакомой почтенной женщине, вдруг называл ее «бестия» — оказывается, он произвел это слово от английского «the best» (самый лучший) и хотел лишь выразить этой женщине свое уважение.

Бывало — особенно когда он читал провинциальные газеты, — он говорил, что каждое слово в отдельности понимает, а фразу в целом понять не может. Оно и не удивительно! Фраза начиналась так: «Тигр капитала, открывая свою крокодилью пасть...»

Он жил, если не ошибаюсь, где-то в районе Грузин. Чтобы попасть туда, надо было долго плутать по переулкам, миновать деревянный мост, спуститься со снежной горки. Одноэтажный домишко чуть не по крышу был завален снегом. Если второе окно от крыльца светилось красноватым светом, это значило, что Рид у себя. Мы стучали в окно, Рид сам открывал дверь. Через кухню, в которой постоянно пахло чем-то кислым, мы проходили в его комнату.

В счастливые дни, когда Риду удавалось раздобыть пару поленьев и растопить печь, в комнате у него становилось настолько тепло, что можно было сидеть без пальто. Свет керосиновой лампы падал на «мисс Ундервуд» — разболтанную, вечно ломающуюся пишущую машинку. Стол был завален блокнотами, записными книжками, газетами, плакатами, афишами.

Рид то присаживался к столу, то начинал расхаживать по комнате. по привычке подтягивая штаны и энергично размахивая кулаками. Он был полон неистового интереса ко всему происходившему на свете и одинаково умел слушать других и рассказывать сам. Его речь была до предела выразительна, и, рассказывая, он преображался то в задиристого враля-лесоруба, то в надменного мистера Джима-Генри-Гарри-Тэда

---

\* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

Кабота-Лоджа, то в бродягу, который с независимым видом сидит на крыше вагона и распевает:

Жил да был испанец, ловкий плут,  
И был он голодранец, просто шут.  
Пустился, как бродяга, искать чужих земель,  
Добрался до Чикаго в одиннадцать недель.

Он Колумб, батькин сын, Христофор,  
И молол он порядочный вздор,  
    Не боялся он издевок,  
    Не искал вина и девок,  
К королеве он подсыпался, как вор...<sup>1</sup>

Не пойму, когда и как он, да и все мы находили время и силы на разговоры чуть ли не до утра. Мы много и трудно работали. Если было чем топить, топили. Если не было — не топили. Было что есть — ели. Не было — не ели. И в количестве, обратно пропорциональном количеству потребляемого тепла и хлеба, смеялись, спорили, пели.

В общих чертах мы знали, зачем приехал Рид в Москву. Нам было также известно, что Исполком Коминтерна, тщательно изучив все имеющиеся материалы и переговорив с представителями обеих американских коммунистических партий, признал, что разногласия между ними являются не программными, а тактическими и что, поскольку обе партии стоят на платформе Коммунистического Интернационала, они должны слиться в Объединенную Коммунистическую партию США.

С риском для жизни Рид привез в Советскую Россию один экземпляр своих «Десяти дней» и подарил его Владимиру Ильичу Ленину. Ленин писал, что он прочел эту книгу с громадным интересом и неослабевающим вниманием и желал бы видеть ее распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки, так как она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое диктатура пролетариата. Этот отзыв открыл Рида.

Теперь Рид готовился к отъезду в Соединенные Штаты. Он об этом не говорил, но мы догадывались. Чтобы изменить наружность, он отпустил бороду. Был занят какими-то неизвестными нам делами. А каждую свободную минуту отдавал книге, которую он задумал написать и о которой мечтал вслух.

Он задумал новую книгу о России двадцатого года.

К этой будущей книге он относился так, что о ней хочется писать с большой буквы: Книга. Когда кто-то из товарищей усомнился, стоит ли тратить так много времени и сил на создание произведения, которое носит не чисто агитационный характер, Рид ответил:

— Маркс учил нас, что теория становится материальной силой, когда ею овладевают массы. Но разве из всех возможных форм литература не является наилучшей, чтобы помочь массам овладеть теорией?

В другой раз он сказал:

— Артиллерийский снаряд, раскат грома и океанский прибой не обладают мощностью книги, которая лежит на столе.

Примечательно, что для слова «мощь» он употребил термин «sarscity», что точнее было бы перевести как производительность, производственная мощность.

<sup>1</sup> Перевод В. Тана-Богораза.

Книгу такой вот «сарасити», чтобы она была более мощной, чем гром, чем снаряд, чем океанский прибой, и хотел написать Рид. Книгу о России двадцатого года, о героизме и страданиях нашего народа, о мудрости большевистской партии и ее великого руководителя.

Чтобы написать эту книгу, Рид поселился в рабочей семье, ходил по заводам, фабрикам, школам, детским садам, казармам и театрам, разговаривал с десятками людей, расспрашивал об их жизни, борьбе, горестях и надеждах. Ему нужно было видеть, видеть собственными глазами Россию, ее рабочих, крестьян и красноармейцев, поля, леса, великую русскую реку Волгу.

В тяжелейших условиях того времени он ездил по России и покрывал заметками страницы своих записных книжек. Вот одна из его подлинных записей, сделанных после поездки зимой 1920 года в Серпухов на конференцию фабрично-заводских комитетов.

«Большой белый зал Дворянского собрания заполнили люди с изможденными лицами, одетые в поношенную одежду. Многим из них пришлось пройти не один десяток верст по глубокому снегу. Они собрались здесь, чтоб выслушать мой рассказ об Америке. Они задавали бесчисленные вопросы об условиях труда и жизни и заработной плате американских рабочих. Они спрашивали: «Что думают о нас рабочие Америки?», «Почему Америка так медленно воспринимает идеи социализма?».

Когда Рид кончил, вышел молодой рабочий и сказал от имени всех присутствовавших:

«Передай нашим братьям в Америке, что уже третий год русские рабочие истекают кровью и умирают во имя революции, не только нашей собственной революции, но и революции во всем мире. Скажи нашим американским товарищам, что день и ночь мы прислушиваемся, не раздадутся ли их шаги, не идут ли они к нам на помощь? Но скажи им также о том, что как бы долго ни пришлось нам оставаться одним, мы будем держаться стойко и твердо. Никогда русские рабочие не откажутся от своей революции. Быть может, многим из нас не суждено увидеть социализм своими глазами, но мы отдадим за него жизнь...»

Рид поехал на Волгу. «Она производит глубокое впечатление,— написал он.— Низкие обрывистые берега. Просторные луга, за которыми, словно декорация для реки, темнеют леса. На реке лед, покрытый снегом. Проруби, в которых ловят рыбу. Перекрещивающиеся следы. Крестьянские сани. Далекие деревни».

Он делал заметки о встречах с самыми разными людьми: хорошенькая молодая девушка горевала, что у нее нет приданого; специалист жаловался Риду за чашкой чаю на трудности жизни; веселый тюремщик выражал удивление по поводу того, что люди едят овощи, когда кругом бегают столько вкусных жирных собак; англичанин с лошадиным лицом доказывал Риду, что коммунизм не может победить.

Крестьяне, с которыми разговаривал Рид, отзывались о большевиках по-разному: одни проклинали, другие благословляли; бедняки говорили, что даже в эту тяжелую зиму двадцатого года им живется легче, чем жилось до Октябрьской революции.

В одной из приволжских деревень крестьянка приготовила для Рида и его спутников обед. Они разговорились. Женщина рассказала, что ее муж сочувствует коммунистам, но в партию не вступает. Объяснила она это тем, что у них трое детей и мужу ее не под силу самопожертвование, которое требуется от человека, принадлежащего к партии...

В Москве Рид работал ночи напролет — что-то читал, что-то записывал.

— Это необыкновенно, это удивительно! — восклицал он. — Достанет ли у меня ума, чтобы все это осмыслить? Хватит ли сердца, чтоб почувствовать? Найду ли я слова, чтоб это выразить? Я должен об этом писать, я буду об этом писать! И если я окажусь в каторжной тюрьме и в руках у меня не будет ничего, кроме железного гвоздя, этим гвоздем я нацарапаю свою книгу о России на стенах тюремной камеры!

Книга, задуманная Ридом, написана не была. Почему она не была написана, я расскажу потом. Материалы, которые собрал для нее Рид, почти полностью погибли. Во всяком случае, Гренвилл Хикс, которому вдова Рида, Луиза Брайант, показала вывезенный ею в Соединенные Штаты архив Рида, упоминает только об одной записной книжке с заметками для будущей книги. Между тем таких книжек было несколько. Рид показывал их нам, читал некоторые наброски, делал записи с наших слов.

Я помню запись, которую Рид озаглавил «Тула перевернула». Написал он эти слова по-русски печатными буквами, а рядом с ними вывел латинскими: «Тула perevernoola». На этой же страничке он нарисовал красноармейца в буденовке, с винтовкой наперевес, и груды мертвых человеческих тел, из которой торчала рука.

Эта запись и рисунки относились к положению на фронтах Республики, которое в то время, в начале двадцатого года, было лучше, чем когда-либо прежде.

Еще недавно Колчак подступал к берегам Волги, Юденич был у стен Петрограда, Деникин, взяв Орел, продвигался к Туле и угрожал Москве.

Но у Тулы белогвардейское счастье повернулось другим концом. Вот тогда-то народ и сказал, усмехаясь: «Тула перевернула».

Теперь инициатива боевых действий целиком принадлежала Красной Армии. Нападая, атакуя, ведя наступление в лоб и одновременно охватывая противника с флангов, войска Красной Армии отбросили колчаковцев за Урал, заняли Омск, Новониколаевск, Красноярск, овладели на юге Киевом, Ростовом, Новочеркасском, форсировали Дон, Днепр, Иртыш, Енисей и с боем продолжали движение вперед.

Об этом и была сделана Ридом его запись. Что же касается рисунков, то они были навеяны письмом моего отца, привезенным кем-то из товарищей.

Последние несколько месяцев отец был членом Реввоенсовета Юго-Восточного фронта, армии которого вели наступление по линии Ростов—Новочеркасск. На Дону они соединились с армиями Южного фронта и образовали новый фронт, получивший название Кавказского.

Отец писал мне из Ростова. То ли он был взволнован, попав семнадцать лет спустя в город, где прошла его революционная молодость, то ли по случаю слияния фронтов и сопутствующих этому слиянию перемещений и назначений он располагал досугом, но письмо было необычно большим — страниц десять, заполненных мелким, убористым почерком.

Писал он его, видимо, не в один прием и сначала намерен был преподать моей грешной особе свои родительские поучения, но потом забыл об этом и весь отдался рассказу о последнем наступлении наших войск — о раздетых, разутых, истомленных красноармейцах, которые по колено в снегу, без карт, без обозов, под артиллерийским и ружейным огнем неприятеля перетаскивали на себе батареи, по нескольку раз в день ходили в штыковые атаки, переправлялись через реки то вплавь, то по горящим мостам, то по тонкому, подламывающемуся льду; о том, как белые, уходя, подожгли санитарный поезд со своими ранеными солдатами и наши красноармейцы увидели искореженные вагоны, набитые

обугленными трупами, и груды трупов, черневших на снегу, и услышали доносившийся из-под этой груды крик: «Бей белых!»—и вытащили обгоревшего деникинского солдата и тот в бреду кричал: «Бей белых! Отомсти за наши страдания!»; о казачьем белогвардейском разъезде, который укрылся в небольшой балке и замерз там; мертвые люди и мертвые кони лежали на земле, занесенные снегом, но один казак каким-то чудом застыл верхом на своем коне, и мертвое лицо его было обращено на юг — туда, где еще отстреливались последние остатки деникинской контрреволюции.

В другой заметке Рида говорилось о Володе и о цифре 13 959 299.

Эту заметку Рид сделал у себя дома, когда мы пришли к нему большой гурьбой прямо с субботника, где нам за нашу работу дали слегка подмороженной картошки — по солдатскому котелку на каждого. Рид отодвинул лежавшие на столе бумаги, и мы вывалили картошку, предвкушая роскошный ужин из двух блюд: сначала вода из-под картошки, а затем сама картошка.

С нами пришел секретарь Центрального Комитета комсомола Володя Дунаевский, которого вся Москва, да и вся комсомольская Россия звала просто Володей. Его энергия и живость служили поводом для вечных острот, что, мол, в отличие от прочих людей он состоит не из белковых клеток, а из смеси ртути с динамитом. Голова его постоянно была полна всяческих планов, проектов, самых неожиданных изобретений.

Так и в тот вечер, пока мы возились с картошкой, он вытащил блокнот и стал подсчитывать какие-то цифры. Картошка не успела свариться, как он воскликнул: «Готово!».

— Что готово?

Володя поднял листок бумаги, покрытый цифрами.

— Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч двести девяносто девять пудов,— торжественно сказал он.

— Чего? Хлеба? Песку? Глины?

— Дров!.. То есть не дров, а шишек в переводе на дрова!

И Володя рассказал нам об открытом неким товарищем новом виде топлива — еловых и сосновых шишках. Их теплотворность больше чем в полтора раза превышает теплотворность лучших сортов дров и торфа. В прессованном виде они удобны для перевозки. Приняв годичное падение шишек в сто пудов с десятины, умножив это количество на площадь хвойных лесов в России и переведя результат по степени теплотворности в дрова, мы получаем тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч двести девяносто девять пудов дров, а если учесть, что план Главлескома на 1919—1920 годы составляет три миллиона пудов дров, то это значит, что при наименьшем использовании лесных шишек мы можем удовлетворить всю потребность страны в топливе на четыре года!

Последние слова Володя произносил, уже натягивая рукава пальто.

— Постой! Да куда ты?

— Некогда, некогда... Я должен узнать, сколько прессов можно получить с пустующих кирпичных заводов...

— Каких прессов?

— Да для брикетизации шишек.

— Ну поешь же! Картошка сейчас сварится.

— Нет, нет, не могу... Спешу!

Сейчас этот проект сбора лесных шишек представляется наивным. Но надо вспомнить, в каком отчаянном положении находилась тогда наша страна, разоренная дотла войной и интервенцией. Города замерзали. На улицах зияли остовы домов, у которых были выломаны рамы,

сорваны двери, разобраны полы, сожжено все, что только могло гореть. Чтобы подвезти топливо, нужен был транспорт; чтобы заработал транспорт, нужно было топливо... В этом заколдованном круге шишки — это топливо голытьбы — оказались столь серьезным подспорьем, что Третий Всероссийский съезд совнархозов признал их вполне заслуживающим внимания видом топлива, и для организации сбора шишек был создан специальный отдел, который носил название «Палтоп».

Застрельщиком сбора выступил комсомол. Он обратился к молодежи и детям с призывом: «Поможем вытащить наше хозяйство из трясины! Пусть к молоту, лопате, кирке, топору, которыми работают взрослые, прибавятся корзина и ручная тележка, наполненная шишками!»

Мечты о том, чтобы таким способом обеспечить страну топливом на четыре года вперед, разумеется, были утопией. И все же скромные лесные шишки, собранные детскими руками, в тяжелый час помогли нашему народу.

В корреспонденции, направленной в американский журнал «Либерэйтор», Рид писал, что зима двадцатого года была самой тяжелой за все годы Советской власти. Смерть глядела пустыми глазницами неработающих заводов, покрывала льдом стены домов, гасила топки паровозов, ползла с сыпнотифозными вшами, извивалась с холерными вибрионами, постукивала палочками чумы — смерть от голода, смерть от холода, смерть от болезней.

За короткое время Советская Республика вернула себе громадную территорию, которая почти два года находилась под властью белых и интервентов. А вместе с этой территорией она приняла страшное наследство белых — миллионы людей, больных тифом.

Вокзалы были забиты бредившими в тифу людьми. По дорогам, пошатываясь от жара, брели отставшие от своих частей колчаковские и денкинские солдаты. Они шли голодные, оборванные, босые, изнуренные, почти поголовно больные сыпняком, шли, оставляя на снегу мертвцов и умирающих. Когда наши их подбирали и подвергали дезинфекции снятую с них одежду, на дне дезинфекционных камер оставались верхковые слои вшей.

Тиф охватил всю страну. Он расползлся по городам и деревням. Больницы были переполнены. Мертвых не успевали хоронить. Эпидемия грозила превратиться в то, что на языке науки носит название «пандемии» (всеобщего заражения), а в народе зовется коротким словом — мор.

Как-то мы с моим другом Павлушей Волоховым пошли на Казанский вокзал, чтобы договориться об отправке литературы, которую я достала для Ташкента. Вокзал был оцеплен железнодорожной охраной, около него стояла толпа. Внутрь не впускали: шла уборка. Но мы предъявили документы, и нас пропустили.

Зал ожидания был пуст, деревянные скамьи отодвинуты к стенам. Три уборщицы, держа в вытянутых руках швабры с облезшей мочалой, гнали по полу жидкую грязь.

— Ты подожди меня здесь,— сказал Павлуша,— а я сбегаю, узнаю насчет вагона.

Я хотела сесть на скамью, но остановилась.

— Не пойму, что со мной происходит,— сказала я.— Какая-то галлюцинация. Померещилось, что поверхность скамьи движется.

Павлуша взгляделся, потом схватил меня за руку.

— Это не галлюцинация, это вши.

Мы с ужасом глядели на ползущую серую пелену. Перед нами была смерть. Та смерть, которая угрожала Советской России, которая заста-

вила Ленина сказать народу: «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей».

Могильные холмы... Могилы с крестами, могилы без крестов, могилы павших в боях, могилы погибших от голода и эпидемий... Чуть ли не из каждого номера газеты Рид вырезал обведенные черной каймой объявления и некрологи. Он решил посвятить ушедшим отдельную главу своей книги.

Чтобы спасти страну, надо было победить голод и холод; чтобы одержать победу над голодом и холодом, нужно было возродить железнодорожный транспорт.

Благодаря успехам Красной Армии. Советская страна уже овладела источниками жизни — приволжским хлебом, туркестанским хлопком, сибирским маслом и мясом, донецким углем. Но все эти богатства, по выражению того времени, были «наши и не наши», ибо не на чем было их доставить к голодающим пролетарским центрам.

Рид записал несколько цифр, которые тогда неизменно звучали на собраниях: 20 000; 3 833; 7 процентов; 4 процента...

Двадцать тысяч — это число паровозов в российской железнодорожной сети накануне войны; 3 833 — число здоровых паровозов в январе двадцатого года; 7 процентов и 4 процента — перевозки металла и топлива по сравнению с довоенным временем.

Пассажирское движение вовсе замерло, грузовое едва теплилось. И партия позвала народ на новый подвиг.

«Мы взываем к широкой массе грудящихся и в первую очередь к авангарду рабочего класса, к вам, товарищи члены Российской коммунистической партии,— писал Центральный Комитет.— Надо во что бы то ни стало в течение ближайших месяцев возродить транспорт. В этом, и исключительно в этом, залог избавления рабочих центров от адских мук голода и холода, залог возрождения всей нашей промышленности и окончательного закрепления наших побед над отечественной и мировой контрреволюцией».

Была проведена партийная мобилизация. К «субботникам» и «воскресникам» добавились «вторничники» и «четверговники».

Коммунисты и комсомолцы приходили на работу с красным знаменем, ставили его посреди мастерской, получали от мастера задание, а потом «артель» (слово «бригада» родилось позже, в годы пятилеток), в которую входили несколько кадровых рабочих и псмещники со стороны, принималась за работу, повторяя слова старой солдатской песни: «Чижало, чижало, между прочим — ничего!»

Среди записных книжек Рида появилась новая, которую он озаглавил «Ovetschka» («Овечка»). Речь шла не о покрытом шерстью четвероногом, а о паровозе «ОВ-7636», который мы все — в том числе Рид — из обглоданного труп превратили в веселый паровоз с высокой трубой и выкрашенными ярчайшей зеленой краской колесами.

Вышло это так: по чьему-то распоряжению нас прикрепили к депо Александровской (ныне Казанская) железной дороги. Нам неизменно поручали там одну и ту же работу — рыться в железном ломе, отыскивать детали паровоза и раскладывать их на три кучи: годных, полугодных и негодных. В итоге мы половину времени тратили на философские споры над каждой найденной деталью: годная она или же полугодная, а может, и вовсе не годная.

Наконец кто-то разозлился и сказал: «До каких же пор мы будем возиться с этой дурью, как медведь с чурбаком?» И мы потребовали, чтобы нам дали настоящую работу.

Начальничек, к которому мы обратились, стиронизировал: «Вы что? Может, возьметесь паровозы ремонтировать?» — «И возьмемся!» — ответили мы запальчиво. «Ну что ж! — Начальничек пожал плечами. — Вон кладбище, выбирайте любое мертвое тело».

Не скрою, когда на паровозном кладбище мы увидели скелеты того, что некогда было паровозами, нам стало страшно. Тут не то что нам, а и настоящему инженеру трудно было бы справиться. Но нас выручил Федор Дмитриевич.

Это был немолодой, негромкий человек в ватной куртке и с торчащими в воздухе ушами шапки-ушанки. И до смены, и во время смены, и после смены — он всегда был в депо. На вопрос, когда же он отдыхает, он отвечал: «На работе и отдыхаю».

С помощью Федора Дмитриевича мы выбрали нашу «овечку» — паровоз «ОВ-7636» — и втащили ее в депо. Федор Дмитриевич откуда-то принес инструмент, потом привел коренных деповских рабочих и сказал: «Чем над этими проклятыми зажигалками тренькаться, берите-кось за этот паровоз, а молодые вам подсобят». Один из рабочих огрызнулся: зачем, мол, работать, когда кругом все валится, все равно все пойдет черту на молебен. Другие взялись.

Мы расползлись, как муравьи, по этому самому «мертвому телу». Работа подходила к концу, наша «овечка» уже приняла облик настоящего паровоза, когда, придя в депо, мы не увидели Федора Дмитриевича. Впервые за бог весть сколько времени он не вышел на работу — ни в этот день, ни на другой, ни на третий. Кто-то пошел к нему на квартиру — там сказали, что он заболел сыпняком и его забрали в больницу. А несколько дней спустя стало известно, что Федор Дмитриевич умер.

Рид, если мог вырвать вечер, ходил вместе с нами и работал наравне со всеми. Работал и в то же время вглядывался в эту новую для него страницу жизни, которая должна была превратиться в главу задуманной им книги. Все, что он видел, казалось ему удивительным и необыкновенным, но больше всего поражало его то, что о борьбе с разрухой все мы говорили, как о бое, как о военном сражении:

«Атакуй разруху и голод, повышая производительность труда!»

«Отремонтированный паровоз равен взятой в плен неприятельской дивизии!»

Одна из записных книжек Рида называлась «Три Чека». В нее он заносил заметки о трех Чека, трех Чрезвычайных Комиссиях.

Первая из этих Чека известна всем: это Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.

Ни один орган пролетарской диктатуры не подвергался таким нападкам врагов, ни о чем зарубежная буржуазная и белогвардейская печать не распространяла столько злобной клеветы, как о работе Чрезвычайных Комиссий. Поэтому Рид, собирая материалы для своей книги, с особым вниманием относился ко всему, что касалось деятельности Чека.

Один из старейших чекистов, Мартын Янович Лацис, подсчитал, что за два года отчаянной гражданской войны, когда по стране полыхали кулацкие и дезертирские восстания, когда контрреволюционные заговорщики организовывали покушения на вождей революции, убивали, вешали, зарывали живыми в землю коммунистов, красноармейцев, советских работников, — за эти два года органами Чека было арестовано 128 тысяч человек, причем 54 тысячи, то есть половина, было освобождено ввиду незначительности преступлений.

«Пролетариат был сдержан и мягок, — записывал Рид. — К высшей мере наказания (расстрелу) было приговорено 9 641 человек, в том числе 7 068 контрреволюционеров и 1 204 отъявленных бандита».

Буржуазная пресса истошным голосом вопила об «ужасах Чека». Рид выписал из инструкции ВЧК о порядке производства обысков и содержания под стражей параграф, определяющий, как должны вести себя оперативные работники.

«Пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишит человека свободы и держать его в тюрьме, относятся бережно к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель Советской власти — рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть».

Внимание Рида привлек эпизод, который произошел в сентябре тысяча девятьсот восемнадцатого года, вскоре после покушения на Владимира Ильича Ленина.

В выходящем тогда «Еженедельнике ВЧК» появилась статья под названием: «Почему вы миндальничаете?» Вопрос этот авторы статьи обращали к ВЧК. «Скажите,— спрашивали они,— почему вы не подвергли... Локкарта самым ужасающим пыткам, чтобы получить сведения и адреса, которых такой гусь должен иметь очень много? Ведь этим могли бы вы с легкостью открыть целый ряд контрреволюционных организаций, может быть, даже уничтожить в дальнейшем возможность финансирования, что безусловно равносильно разгрому их; скажите — почему вы вместо того, чтобы подвергнуть таким пыткам, от одного описания которых холод ужаса охватил бы контрреволюционеров, скажите, почему вы вместо этого позволили ему «покинуть» ВЧК в большом смущении? Или вы полагали, что подвергать человека ужасным пыткам более бесчеловечно, чем взрывать мосты и правительственные склады?.. Пойман опасный прохвост. Извлечь из него, что можно, и отправить на тот свет!»

Эта статья вызвала гнев и возмущение в широких партийных кругах. В редакции газет посыпались протестующие письма читателей. «Вечерние известия Московского Совета» опубликовали одно из таких писем, автором которого был член Исполкома Московского Совета товарищ Фельдман.

«Мы, марксисты,— писал он,— привыкли думать и теперь думаем, что пролетарская революция, революция класса, несущего идеалы высшего достижения — социализма, должна отличаться от всех буржуазных переворотов и революций высоким подъемом и развитием культуры, науки. Во все проявления ее должен быть внесен элемент благородства, пролетарского рыцарства, так несвойственный эпохе империализма, эпохе культивирования бронированного кулака. Это отнюдь не исключает тех решительных, а подчас жестоких мер, которые предпринимаются рабочим классом в его борьбе с золотым мешком. Так, совершенно необходимым явился красный террор. Но мы всегда помнили, что красный террор и расстрелы явились лишь следствием террора буржуазии, вынудившего нас на вызов страшных духов...»

Об этой полемике узнал Яков Михайлович Свердлов. Он немедленно позвонил в редакцию «Вечерних известий» и попросил члена редакционной коллегии Рубена Павловича Катаняна прислать ему все материалы по этому делу.

Когда он ознакомился с этими материалами, его негодованию не было предела. Было принято решение закрыть «Еженедельник ВЧК», напечатать статью «Почему вы миндальничаете?», авторов статьи снять с работы и запретить им занимать должности в аппарате Советской власти.

Рид записал с моих слов рассказ об этом эпизоде. Записал он и рассказы людей, видевших своими глазами только что освобожденные эт белых города: виселицы с раскачивающимися трупами на площадях, штабеля убитых и расстрелянных с выколотыми глазами, со снесенными черепами, со штыковыми ранами в груди; трупы, привязанные друг к другу, сваленные в овраги, сброшенные в шахты.

В Царицыне белые повесили двадцать восемь рабочих, которые вышли навстречу нашим частям во время наступления на Французский завод. Обреченные умирали спокойно, сами поднимались на помост и просовывали голову в петлю. Под мостом через реку Царицу был повешен старый рабочий вместе со всей его семьей. Старик оттолкнул конвойного и крикнул: «Эх вы, сволочи, все равно, вешайте не вешайте, нас всех не перевешаете, нас здесь много! Мы как были за большевиков, так и умрем за них!»

Когда приходили красные, они вскрывали братские могилы. Жена находила мужа, дочь — отца, брат — брата. Дни и ночи, ночи и дни стоял стук молотков: это сколачивали гробы.

Второй Чека, материалы о которой собирал Рид, была Чрезвычайная Комиссия по борьбе против грязи, антисанитарии и эпидемий. Она была создана зимой двадцатого года, в самый разгар эпидемии сыпняка, и ее задачей было до весны очистить улицы, площади, дворы, вокзалы, казармы, школы, столовые, чайные, дома и квартиры, перемыть всех жителей, объявить поход против вшей, против мусора, против грязи. Работа предстояла грандиозная: в одной Москве скопилось за годы войны и революции двести пятьдесят тысяч возов мусора, и, чтобы убрать его, Чрезвычайная Комиссия собрала и изготовила полмиллиона лопат, граблей, веников, кирок и метел.

В этой Чека рядом с коммунистами работали старики врачи в пенсне на черном шнурочке и молоденькие фельдшерницы с детскими глазами. Но это была настоящая Чека, грозная и решительная. От каждого ее шага веяло боевым духом эпохи. О своих задачах она говорила: «Нами должен быть создан единый санитарный фронт в стране». Она объявила сыпной тиф «ползучей контрреволюцией», ее плакаты гласили: «Вошь хуже неприятельского танка». Обращаясь к народу, она дала торжественную клятву: «История требует, властно требует от нас нового коммунистического и советского чуда — и мы его совершим. Мы победим эпидемии, как до сих пор побеждали всех решительно врагов, с которыми Советской Республике пришлось не по ее вине вступить в борьбу не на жизнь, а на смерть!»

Забегая вперед, скажем, что это чудо было совершено. Уже к апрелю пандемия сыпняка была сломлена.

Рид расспрашивал, записывал, восхищался героизмом и стойкостью людей, вырезал из газеты объявления вроде такого: «Товарищи и граждане! Спешите скорее использовать предоставленное вам Московской Чрезвычайной Санитарной Комиссией право бесплатно постричься, побриться и помыться, получив к тому же бесплатно кусок мыла».

Третья Чека, материалы о которой собирал Рид, была Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с безграмотностью и малограмотностью. Формулируя свои задачи, она провозглашала: «Советская власть открывает новый фронт, фронт борьбы против вековой тьмы!», «Победим нашего заклятого врага — невежество, как мы победили Деникина и Колчака!»

Это действительно был фронт, нередко с человеческими жертвами. «Ликвидаторам» неграмотности подчас приходилось пробираться к их «точкам» в мороз и гололедицу, проводить занятия в нетопленных помещениях, при свете коптилок, без книг, без бумаги, с куском угля вместо мела. Порой их подстерегала кулацкая пуля, порой их усилия разбивались о каменную стену — жили, мол, неученые, так уж и доживем. Даже нестарые люди проявляли иногда какое-то мрачное упорство, защищая свое право на невежество.

Но зато какой радостью светилось лицо какой-нибудь Матрены Горевой, молодой женщины в кофте с закатанными рукавами, которая, сидя за партой, вытирала со лба крупные капли пота, долго выводя вслед за «ликвидатором» буквы — одну «совсем как виселица», другую «как колесо», третью «точно палка, а сбоку бубличек привешен» — и вдруг видела, что она написала свою собственную фамилию!

А потом «бы-а-ба» складывались в «Мы не бары, мы не рабы», «Заводы у бар — сила у бар. Заводы у нас — сила у нас!»

Мне вспоминается вечер в комнатушке Рида. Топится печка, слабо потрескивает керосиновая лампа. По одну сторону стола сидит Рид, по другую — замечательный финский товарищ Ирве Сирола. Они похожи друг на друга каким-то сочетанием мужества и иронии, непреклонности и доброты, бесстрашия и нежности. И в то же время такие разные. Рид — порывистый, эмоциональный, всегда готовый сорваться со стула, чтобы зашагать большими шагами по комнате и, размахивая крепко сжатыми кулаками, обрушить на собеседника поток доводов и возражений. Сирола — задумчивый, молчаливый, медленно роняющий редкие слова, но каждое его слово, как утверждает Рид, весит сто пудов.

Они давно уже знают друг друга: в восемнадцатом году, когда товарищ Сирола был членом финляндского рабочего правительства, Рид побывал в Финляндии. Сейчас они со смехом вспоминают какой-то головокружительный спуск с обледеневшего горного склона, встречу с отрядом белой гвардии, едва не стоившую им обоим жизни.

Потом разговор переходит на события сегодняшнего дня и быстро — круг за кругом, поворот за поворотом — докатывается до того, чем живет теперь Рид, — до задуманной им книги.

Рид переставляет «мисс Ундервуд», освобождает стол, выкладывает перед товарищем Сирола свои записные книжки, блокноты, папки с документами, вырезки из газет. Тут и запись о собрании в Серпухове, и портрет Федора Дмитриевича, и картины Волги, и материалы о «трех Чека».

Сирола читает, рассматривает. Лицо его порозовело. Видно, что и он взволнован.

— Поглядите на это, — восклицает Рид. — Вы видели когда-нибудь таких дураков?

Мы смотрим — и соглашаемся, что таких дураков, пожалуй, никогда не видели.

Перед нами переписка, обнаруженная в архиве милиции города Семенова, Нижегородской губернии. Открывается она распоряжением прокурора Нижегородского окружного суда.

М. Ю.

Прокурор Нижегородского

Окружного суда

31 октября 1917 г.

№ 51

Н. Новгород

Совершенно секретно

Начальнику милиции Семеновского уезда

Постановлением Петроградской следственной власти Ульянов-Ленин подлежит немедленному задержанию по делу о вооруженном выступлении 3—5 июля в Петрограде. Ввиду этого и телеграмм Министра Юстиции и Прокурора Московской Судебной палаты, предлагаю Вам установить наблюдение за появлением указанного Ленина и в случае обнаружения немедленно его задержать и телеграммой донести мне».

Получив это предписание, от данное неделю спустя после Великой Октябрьской социалистической революции, начальник милиции Семеновского уезда в свою очередь предписывает подчиненным ему четырем участковым начальникам милиции «принять меры для розыска и задержания Ульянова-Ленина».

Вскоре от участковых начальников милиции поступают ответы на предписание начальства.

Начальник первого участка сообщает, что «за нерозыском Ульянова-Ленина переписка возвращается по принадлежности».

Начальник второго участка — то же.

Начальник третьего участка — то же.

Начальник четвертого участка отвечает более пространно:

«Доношу, что Ульянов-Ленин в вверенный мне участок едва ли явится, так как по собранным мною сведениям он находится в Петрограде. Наблюдение за явкой его мною установлено».

Я смотрю на товарища Сиrola. Лицо его выражает недоумение, потом гнев, потом насмешку. Он протягивает документы Риду и говорит, пожимая плечами:

— Не пойму, чего тут больше — чиновничьей тупости или юридического крeгинизма?

Рид швыряет в печку окурок и заявляет, что непременно напишет в своей книге об этих «своулачь энд гоулоувоутьяп».

Глядя сейчас на газету, в которой были опубликованы эти документы, трудно поверить, что они могли существовать.

— Мне дал их Ленин,— говорит Рид.

— Как он к ним отнесся?— спрашивает Сиrola.

— О, он хохотал!

Рид часто бывал у Владимира Ильича — и в его кабинете в Совете Народных Комиссаров и дома. Беседы их касались самых разнообразных вопросов. Рид рассказал Ленину, что хочет написать новую книгу о русской революции. Ленин одобрил мысль о книге. Одобрил и то, что Рид поселился в рабочей семье, но беспокоился, не трудно ли ему жить в таких условиях.

После встреч с Лениным Рид приходил взбудораженный. Долго метался по комнате, потом раздражался бурной речью, которая непременно начиналась со слова «Henseforward...» («Отныне...») Отныне он будет изучать Маркса... Отныне подавит в себе все личное и полностью, безоглядно отдаст свою жизнь рабочему классу... Отныне наполнит свое творчество огнем классово́й борьбы...

Он жадно расспрашивал о Ленине, хотел знать как можно больше о его жизни, прочесть все им написанное. Сделать это было непросто: биографий Ленина не существовало, собрание его сочинений еще не начало выходить, статьи и книги, опубликованные до революции, представляли библиографическую редкость, а главное — были слишком трудны для Рида, с его недостаточным знанием русского языка. Но Рид заявлял, что, именно читая Ленина, сумеет овладеть языком. Держа «Что делать?» жевневского дореволюционного издания, он по несколько раз читал и перечитывал вслух один и тот же абзац, чтобы до конца понять заложенную в нем мысль:

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам придется почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото...»

Он много думал над тем, как надо писать о Ленине. Говорил, что хочет не просто пересказать свои встречи с ним, а создать образ, именно образ Ленина. А это очень трудно. Надо найти какие-то очень точные слова, чтобы показать, что Ленин душой и мыслями уже живет в коммунистическом обществе, но в то же время весь, целиком, погружен в живую жизнь, такую, какая она есть сегодня,— с голодом, сыпняком, разрухой, кровавой войной. Никто, как он, не понимает значения теории, но он любит напоминать слова Гёте: «Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни». Он подлинно интернационален и в то же время русский с головы до ног. Он видит залитые солнцем дали будущего и разрабатывает меры борьбы со швами, голодом, невежеством. И в книге о России двадцатого года Ленину нельзя уделять одну или несколько глав: вся книга будет о Ленине, ибо Ленин — это Россия, революция, человечество. Голодные, усталые люди, работающие на коммунистическом субботнике,— это Ленин. Семидесятилетний крестьянин, который при свете лучины учится выводить буквы,— это тоже Ленин. И красноармейцы, преследующие Колчака, и московские дети, которые играют в «пролетарию всех стран», и Волга, и вековой дуб на ее берегу — все это Ленин...

— Я был на Волге,— сказал Рид, обращаясь к Ирье Сирола.— Я поехал туда, чтобы увидеть места, где Ленин провел годы детства и юности. Быть может, это не очень по-марксистски, но, глядя на широкие просторы Волги, я думал, что именно на берегу такой могучей реки и должен был родиться Ленин... Я разговаривал о Ленине с самыми разными людьми, и каждый сказал о нем что-то свое. Он слишком велик, чтобы один человек мог охватить его гигантскую натуру своим разумом, поэтому каждый видит его и любит по-своему. Впрочем, я встречал и таких, которые его ненавидят,— ведь я разговаривал с самыми разными людьми. Но и те, что ненавидят, испытывают к нему уважение.

Рид встал, прикурнул от лампы самокрутку и продолжал говорить стоя.

— Мою жизнь,— говорил он,— я делю на два периода: до встречи с Лениным и Октябрьской революцией и после этой встречи. Раньше я видел лишь поверхность явлений, у Ленина я научился понимать их сущность. Многого представлялось мне шиворот-навыворот, он поставил меня с головы на ноги. Ни один человек не дал мне столько, сколько он... Ну а ты, товарищ Сирола, скажи мне ты, чем является для тебя Ленин, в чем то главное, что он дал тебе?

Так или почти так говорил Рид. Его слова запомнились мне благодаря тому, что я неоднократно слышала от него мысли, высказанные им в этом разговоре с товарищем Сирола. К счастью, мне удалось найти принадлежащие самому Ирье Сирола записи о Ленине.

— Ты задал мне трудный вопрос, и на него нелегко ответить,— сказал Сирола Риду.— Когда ты спрашиваешь, что я больше всего получил от товарища Ленина, первое, что мне хочется сказать,— больше всего он дал мне для ума, ибо никто другой не доказал мне так ясно неизбежность социалистической революции, никто не определил так правильно пролетарский революционный путь. Но, дав тебе такой ответ, я тут же должен был бы спросить себя: «Ну, а твои чувства, какое влияние на них оказал товарищ Ленин?» — и ответить: «Более сильное, чем

какой бы то ни было поэт». Когда он в статьях, написанных почти два десятка лет тому назад, говорит о задачах революционера, о призвании народного трибуна, во мне поднимается до высшей точки то, что называется воодушевлением. Однако, сказав тебе все это, я еще не упомянул бы о главном влиянии товарища Ленина. Оно касается совести. «Соответствует ли твое дело словам?» Тот, кто стоял на исповеди своей совести перед этим вопросом, понимает, что для революционера это вопрос жизни и смерти. И сколь многих из нас именно товарищ Ленин заставил пройти через эти единственные ворота к коммунизму...

Вот тут-то Рид и сказал, что даже в тюремной камере, даже если у него не будет ничего, кроме гвоздя,— все равно он нацарапает свою книгу на каменных стенах!

### Ça ira <sup>1</sup>

Морозным февральским утром мы прощались с Ридом. Он уезжал в Америку, я — в Среднюю Азию. Совсем как в песне:

Дан приказ: ему — на запад,  
Ей — в другую сторону...

Мы шли по Чистопрудному бульвару. Выпавший ночью снег лежал на земле ровной пушистой пеленой. Рид по обыкновению кое-как застегнул крючки полушубка.

— Застегни ворот,— сказала я.— Простудишься.

— Хочешь, я подарю тебе свой портрет? — спросил Рид.

Он сунул руку в карман, достал дряблый лоскуток пестрой резины с приделанным к нему деревянным свистком, поднес к губам, начал надуть — и под победоносный, все повышающийся свист резиновый лоскуток ожил: вот обозначились тоненькие ножки, вот смешной носик, красные рожки, что-то вроде хвоста и, наконец, голова чертенка с большими вывороченными глазами.

— Когда захочешь меня увидеть, надуй его,— сказал Рид.

— Ладно.

Мы прощались надолго, быть может навеки. Об этом, разумеется, не говорили, но не могли не думать.

Рид приподнял палец. Свистулька пропищала: «Уйди-уйди».

— После мировой революции ты сможешь приехать в Америку,— сказал Рид.

— Да, я смогу приехать в Америку.

— К тому времени ты будешь еще совсем молодая, а я уже старый.

— Ты никогда не будешь старым.

— Ты уверена?

— Абсолютно.

— Значит, до встречи лет через пять в социалистической Америке!

— Пять лет? Ой, как долго!..

Но прошло меньше полугода — и вот мы стоим рядом на набережной Невы. Утром мы вместе приехали из Москвы. Сквозь легкий сумрак светлой, но уже не прозрачной летней петербургской ночи слышатся

<sup>1</sup> «Ça ira!» («Са ира!») — «Это будет!», припев «Карманьолы», народной песни Великой французской революции.

голоса итальянских товарищей, поющих внизу, на каменных ступенях у самой воды, «*Bandiera rossa*»<sup>1</sup> и «Карманьолу», а мы говорим, говорим, говорим, рассказывая друг другу о том, как прожили эти месяцы.

Мой рассказ был не особенно велик. Вернувшись в Ташкент, я стала работать секретарем Совета интернациональной пропаганды на Востоке. Работа была, конечно, большая, сложная. Случалось всякое — и грустное и смешное. Летом двадцатого года, когда в Москве должен был состояться Второй конгресс Коммунистического Интернационала, я была делегирована на конгресс, чтобы участвовать в работах юношеской секции. Я не была делегаткой конгресса, а находилась на положении «приглашенных»: мы имели постоянные пропуска на заседания конгресса, принимали участие в работе комиссий, жили вместе с делегатами в гостинице «Деловой двор» и поехали в Петроград на торжественное открытие конгресса.

Вот, пожалуй, все обо мне. Зато Рид... Ну конечно же, он прожил эти месяцы по-ридовски!

В тот день, когда мы распрощались на Чистых прудах, он покинул Москву, чтобы нелегальным путем вернуться в Соединенные Штаты. Он готовился к этому исподволь: отпустил бороду, изучал карты, запомнил адреса людей, к которым можно обратиться за помощью.

Сначала он думал как-нибудь перейти границу белой Латвии, связаться с местными рыбаками, с их помощью добраться до Данцига, а там сесть на океанский пароход.

Не помню уж, как он ехал, — кажется, через Петроград. Помню лишь его рассказ, что где-то в пути поезд то ли потерпел крушение, то ли застрял в снежных заносах. Большинство пассажиров решило переждать, пока придет помощь, а Рид и еще несколько смельчаков прошли верст тридцать по шпалам.

— В эту ночь у меня была удивительнейшая встреча! — воскликнул Рид, рассказывая нам об этом.

Она и в самом деле была знаменательной, эта встреча. В то время, когда Рид и его спутники шагали навстречу ветру, из метели появились три человека, ташившие на саночках какой-то ящик и моток провода. Рид спросил, кто они и куда идут. Они деловито ответили, что работают на Волховстрое и заняты устройством линии электропередачи. Рассказав об этом, спросили, не найдется ли у товарищей табачку, скрутили толстые самскрутки, жадно затагнулись, подхватили свою ношу — и через мгновение исчезли в снежной мгле.

На пятый или шестой день после выезда из Москвы Рид добрался до линии фронта. Она оказалась значительно ближе к центру России, чем он предполагал. Около суток провел он на разрушенной станции. Окна зала ожидания были выбиты, пол покрыт толстым слоем льда. На полу, на столах, на скамьях в тифозном жару металась и бредили красноармейцы. Рядом со станцией крестьяне рыли могилу, чтобы похоронить солдат, умерших на марше. Их было триста человек. Остатки воинской части собрались в соседней комнате и слушали, пламенную речь комиссара, похожего, как и его слушатели, на полузамерзший скелет.

Поезд, на который рассчитывал Рид, не пришел. Красноармейцы сказали ему, что поезд вообще не придет, положение на этом участке тяжелое и перейти фронт здесь невозможно. Рид дождался воинского эшелона, уходящего на восток, вместе с двумя солдатами и женщиной-крестьянкой забрался в товарный вагон.

Рид вернулся в Петроград. Неудача первой попытки его не обескура-

<sup>1</sup> «Красное знамя» (итал.).

жила. Он решил искать другой путь. Поговорил с финскими товарищами. Несколькими днями спустя его спросили, согласен ли он ехать в угольной яме парохода, уходящего в Швецию. «Разумеется,— сказал он.— Мне это не впервые».

В условленном месте его ожидал человек, который взялся провести его на пароход, а потом высадить в шведском порту. Это был низкорослый широкоскулый крепыш, посасывавший коротенькую трубку — «носогрейку».

— Он был похож на бутылку, до горлышка налитую угодливостью,— говорил мне Рид.— Лицо его напоминало свиной зад, по которому ползает блудливая улыбка. Вместо глаз — шелки, вырезанные тонким ножом в розовом сале. Но как-то, когда он думал, что я его не вижу, эти шелки вдруг раскрылись, и я увидел холодный, оценивающий взгляд, которым он смерил меня с головы до ног. Где-то я видел этот взгляд, но где? Только потом я вспомнил чикагские боины, ревушего быка, которого ведут на убой, и мясника, прикидывающего на глаз, сколько потянет эта туша... Но отступить было поздно, да я этого и не хотел. Мне дали об этом типе самые лучшие отзывы, и я решил, что мне, быть может, мешают чрезмерно развитое литературное воображение...

Снова угольный трюм, снова куча пропитанного машинным маслом тряпья вместо постели. Время как будто вернулось на четыре месяца назад. Загемела якорная цепь, пароход вышел в море. Сколько суток прошло в кромешной тьме — одни, двое? Но вот за бортом прошуршала деревянная стенка пристани, заскрипела лебедка, разматывающая трос, на мгновение наступила тишина — и вдруг верхний люк открылся, свет электрического фонарика, как бичом, хлестнул по лицу Рида. По лестнице спускались трое финских полицейских и этот тип, что-то тараторивший и быстро перебиравший короткими жирными ногами.

Рида препроводили в тюрьму. Захолустную, провинциальную тюрьму в городе Або. Посадили в одиночку. Сфотографировали. Зарегистрировали: «Арестованный № 42».

Финские власти отлично знали, кто он и что: шпион сумел заручиться необходимой информацией. К тому же Рид трижды проезжал уже через Финляндию — один раз легально, два раза нелегально,— так что на него не могло не быть заведено дело. Вне всякого сомнения, консульство США было поставлено в известность об аресте Рида. То ли по рекомендации этого консульства, то ли с его молчаливого одобрения Риду вместо подлинных причин ареста было предъявлено обвинение в том, что он... контрабандист. Расчет простой — предать Рида суду как уголовного преступника и втихомолку сгноить его в каменном мешке.

Однако это сорвалось. Рид сумел установить связь с финской общественной деятельницей Айно Мальмберг. Она нашла адвоката, который взялся вести его дело. Но сколько ни добивался адвокат, американский консул его не принял. Тогда Мальмберг сообщила об аресте Рида американским журналистам, и в нью-йоркских газетах появилось об этом краткое сообщение. На это Государственный департамент заявил, что не имеет сведений об аресте Рида и не верит, чтобы такой арест был возможен. Стало очевидным, что правительство США действует в сговоре с финскими тюремщиками. Тогда Рид решил пойти на отчаянно дерзкий шаг: по его просьбе Айно Мальмберг сообщила американским журналистам, что он казнен. В Штатах это известие вызвало сенсацию, газеты опубликовали его под аршинными заголовками. Теперь уже Государственный департамент никак не мог уклониться от ответа и несколько дней спустя выступил с заявлением, что он навел в Финляндии справки о Риде, Рид жив, но Государственный департамент не может вмешаться в решение его судьбы, ибо Рид арестован в соответствии с законами Фин-

ляндии за попытку провоза контрабанды. К тому же при нем обнаружено подложное удостоверение личности на имя Джемса Гормлея, а посему он подлежит финскому суду.

Так Рид сумел перехитрить своих тюремщиков, и его друзья с помощью Госдепартамента узнали, что с ним и какое фальшивое дело ему шьют. Луиза Брайант со свойственной ей энергией стала добиваться его освобождения. Она получила разрешение перевести ему деньги, потом Риду позволили писать ей.

Письма Рида из финской тюрьмы сохранились. В них он верен себе. Хотя условия заключения были ужасны — холодная, неотопливаемая камера, мокрые стены, голый кипятик, кислый непропеченный хлеб, сырая соленая рыба, — Рид писал, что ни в чем не нуждается, чувствует себя на удивление хорошо, просит о нем не тревожиться, не посылать ему денег, а главное, не обращаться к американскому правительству ни с какими просьбами о помощи. «Я очень прошу не делать этого, — писал он. — Я говорю это самым серьезным образом». И в другом письме, две недели спустя: «Я не хочу никакой помощи от американского правительства». Только одно поручение дал он Луизе Брайант: «Передай Горацию (издателю «Десяти дней, которые потрясли мир»), что Большой шеф (так Рид называет здесь Ленина) высоко оценил мою книгу».

Дни шли, Риду становилось все труднее. К тому же ему почти не давали бумаги. На небольшом листке он начал набрасывать вводную главу своей новой книги. Эта глава носила автобиографический характер и заканчивалась словами: «...Русская революция и новый социализм... Коммунистическая партия... Мир и большевизм...»

Между тем Государственный департамент продолжал действовать против Рида. По его требованию финские власти допустили американских агентов к ознакомлению с бумагами, изъятыми у Рида при аресте. Было ясно, что теперь, когда сорвалась попытка засудить Рида как уголовного преступника, американское правительство постарается состряпать против него политические обвинения и потребует его выдачи.

...Весть об аресте Рида дошла до Москвы. По указанию Владимира Ильича Ленина тотчас были предприняты неофициальные попытки обменять Рида на двух финских профессоров, арестованных в Советской России за контрреволюционную деятельность.

Усилия друзей Рида были направлены на то, чтобы добиться высылки его в Советскую Россию. Этого хотел и Рид.

Наконец после трехмесячного заключения финские власти освободили Рида, предложив ему выехать в Советскую Россию. Пошатываясь от слабости, он вышел за тюремные ворота. Его ноги и руки были покрыты цинготными пятнами, десны кровоточили. С трудом поднялся он по трапу на стоявший у пристани пароход — и услышал песню на итальянском языке.

— Песня была мне не знакома, — рассказывал он мне. — К тому же я не знаю итальянского. Но достаточно было мне услышать ее боевой ритм, ее полную страсти мелодию, чтобы понять, что это наша песня, что ее поют наши люди.

Несколько минут спустя Рид сидел в кружке итальянских рабочих, ехавших делегацией в Советскую Россию, и пел вместе с ними:

Avanti, popolo! Con le canone!  
Revoluzione! Revoluzione! <sup>1</sup>

<sup>1</sup> «Вперед, народ! Ступай к пушкам! Революция! Революция!» (итал.).

Делегаты и гости Второго конгресса Коминтерна жили в многоэтажной гостинице «Деловой двор» на Варварской площади (ныне площадь Ногина). Администрации гостиницы было дано указание размещать людей в определенном порядке: на одном этаже жили немцы, австрийцы и скандинавы, на другом — итальянцы и французы, верхний этаж был отдан голландцам и англосаксам. Представителей народов колоний помещали вместе с представителями стран-метрополий. Но женщин было мало, их селили как придется, и я попала в один номер с белокурой длинноногой стенографисткой-немкой. Кровать ей была коротка: когда она спала, ее ноги торчали между прутьями, что было для нас с ней источником неистощимого смеха.

Хотя число делегатов было невелико — сто шестьдесят девять с рещающим голосом и сорок девять с совещательным, — на деле конгресс был большой, очень большой, ибо, кроме собственно делегатов, в нем участвовало еще очень много народу; одних приглашенных было, наверно, вдвое больше, чем делегатов. Кроме того, на заседаниях конгресса постоянно присутствовало огромное множество гостей — и москвичей, и питерцев, и товарищей, приехавших с разных концов нашей страны. Гости сидели тут же, смешавшись с делегатами, и происходило ли заседание в Таврическом дворце в Петрограде или в Москве — в Кремле или в Большом театре, — зал всегда был полон.

Многие делегаты и приглашенные добрались до Советской России нелегально — с чужими паспортами, под чужими фамилиями, пробираясь через фронт, проскальзывая под колючей проволокой, обходя тайными тропами пограничные кордоны и заставы, прячась в трюмах пароходов или в собачьих ящиках под пассажирскими вагонами. Некоторые не доехали, были убиты по дороге. А вот группа немецких коммунистов незаметно забралась на небольшое судно, державшее путь к берегам Англии. В открытом море они совместно с матросами арестовали капитана и его помощников, повернули на Мурманск и благополучно достигли цели.

— Мы прямо орали от радости, как сумасшедшие, когда ступили на русскую землю, — рассказывал молодой иностранный товарищ. — Наконец-то мы увидели красное знамя Советской республики!

— А у меня так сжало горло, что я не мог вымолвить ни слова, — сказал другой. — Вообще-то я не сентиментален, но тут я опустился на колени и поцеловал священную землю первой социалистической страны в мире!

Входная дверь гостиницы почти все время была раскрыта настежь: приезжали новые и новые товарищи. В «Деловом дворе» день и ночь не смолкали голоса. Идешь, бывало, по коридору и слышишь — за одной дверью смеются, за другой яростно спорят.

На второй день после моего приезда в Москву моя соседка по номеру сказала мне:

— Тебя спрашивал один товарищ.

Я удивилась: всех своих товарищей по конгрессу я только что видела, а из московских моих друзей никто еще не знал о моем приезде.

Кто же это был? На мои вопросы соседка ответила лишь, что товарищ этот очень красивый и симпатичный и что она с удовольствием завела бы себе такого Freund'a<sup>1</sup>.

Я пожала плечами и сделала вид, что меня все это ничуть не интересует, но не выдержала и вышла в коридор. Вдруг за одной из дверей знакомый голос произнес: «Это же самая удивительная вестш...» Батюшки мои, Рид!

<sup>1</sup> Друга (нем.),

Я стукнула в дверь кулаком и сразу же раскрыла ее. Комната тонула в слоях серо-голубого табачного дыма. Где-то наверху торчала голова Рида, бешено спорившего с невидимым мне противником. Противником этим оказался француз — и самое смешное в этом было то, что, привыкнув к той мешанине, на которой мы с ним объяснялись, Рид, когда ему не хватало французских слов, вставлял русские.

Он бурно мне обрадовался, прервал спор, взглянул на часы, сказал, что страшно торопится и просит меня проводить его до Кремля, по дороге забросал меня вопросами, что-то рассказал о себе, успел за это время отметить своим журналистским глазом контраст между европейско-конторским зданием «Делового двора» и примостившейся у его подножия старинной церквушкой, обратил мое внимание на то, как похорошела и почистилась Москва, купил у лоточника липких, тягучих паточных леденцов, от которых у нас обоих склеились зубы, и мы долго не могли разговаривать, а только беззвучно смеялись до слез.

В тот день он был занят и я была занята, так что мы не смогли встретиться, а на следующий день все делегаты и приглашенные поехали в Петроград. Здесь, в этом городе — колыбели пролетарской революции, должно было состояться открытие конгресса. Так началась волшебная пора, о которой потом, перефразируя название книги Рида, мы говорили: «Тридцать шесть часов, которые не забыть во всю жизнь».

Волшебство началось еще в Москве, когда, выйдя на перрон нынешнего Ленинградского вокзала, мы увидели поезд с гостеприимно распахнутыми дверями вагонов. Стекла блестели, металлические поручни были начищены, окна и крыши обвиты гирляндами живых цветов, вдоль вагонов протянуты красные ленты, на которых написано: «Отремонтирован в честь Второго конгресса Коминтерна на коммунистическом субботнике»; на груди паровоза, также отремонтированного на субботнике, сияло огромными золотыми буквами «ЛЕНИН», а сбоку было выгравировано:

В бою с врагами не забудь:  
Тебе мы дали имя «Ленин».  
Пусть будет прям и неизменен  
К коммуне твой победный путь!

Раздались три удара медного колокола, потом свисток дежурного по станции. Паровоз загудел, поезд тронулся, быстро набирая ход. За окнами потянулись подмосковные поля и леса, и, словно для того, чтобы в эту ночь никак уж невозможно было уснуть, взошла серебряная луна.

Не знаю, как в других вагонах, но в нашем, в котором ехали делегаты конференции Коммунистического Интернационала молодежи, вся ночь прошла в песнях и разговорах. Лишь под утро мы забылись коротким сном. И только было разоспались, как в наш вагон ворвался Рид и начал нас трясти, приговаривая: «Петроград! Вставайте! Петроград!»

Едва мы наскорю привели себя в порядок, как показались трубы, крыши, дальний силуэт Исаакия, в открытые окна ворвались звуки «Интернационала», поезд подошел к платформе, на которой выстроился почетный караул моряков Балтийского флота, в бескозырках и черных форменках с белыми воротниками. А за ними — море голов. Это питерские пролетарии пришли встретить посланцев рабочих всех стран мира.

Перед вокзалом делегатов ожидали трамваи, разукрашенные цветами и знаменами. Под звуки музыки и приветственные возгласы людей, сплошной толпой выстроившихся на тротуарах, трамваи медленно тронулись к Смольному.

Как удивительно было после почти трехлетнего перерыва увидеть Смольный, такой же прекрасный, как в дни Октября, но в то же время другой — без пушек у центрального входа, без выглядывавших из окон хоботков пулеметов, без красногвардейцев, гревшихся у островов. Гулками и пустыми казались его коридоры, не заполненные рвущейся вперед толпой рабочих, матросов, солдат.

В зале, где некогда происходили заседания Второго съезда Советов, для делегатов конгресса Коминтерна был накрыт завтрак. Не помню, что там подавали, но помню, что хлеба можно было есть сколько угодно.

После завтрака делегаты направились в Таврический дворец, носивший тогда имя Урицкого. Я шла рядом с Ридом. Он, как всегда, вертел головой, разглядывая улицы, дома, всматривался в лица людей, стоявших на тротуарах. Молча показал мне зеленую травку, пробившуюся между бульжниками мостовой. Подхватил и подбросил перебежавшего дорогу замурзанного мальчонку.

И вот мы вошли в «думский» зал, тот самый зал, где два с половиной года тому назад Рид поклялся Третьему съезду Советов отдать жизнь делу борьбы за международную революцию. Он быстро обвел зал глазами, посмотрел на меня, засмеялся, пожал мою руку и прошел к американским товарищам.

Иностранные делегаты, которым петроградские работницы успели прикрепить к лацканам пиджаков красные гвоздики, заняли первые ряды амфитеатра, русская делегация разместилась повыше, а за трибуной, в проходах, на ступеньках лестниц — везде стояли и сидели питерские пролетарии и гости, съехавшиеся со всего мира и со всех концов нашей страны.

И вот конгресс открыт. Все встали. Полторы тысячи голосов на десятке языков запели «Интернационал». Тут вспыхнуло голубоватое пламя, отраженное рефлекторами, и — насколько я помню, впервые в истории съездов в Советской республике — завертели ручки киноаппаратов. Михаил Иванович Калинин обратился к конгрессу с приветственной речью. Настала торжественная минута: слово было предоставлено товарищу Ленину.

Словно буря пронеслась над залом — с такой силой грянул взрыв восторга, нежности, любви, энтузиазма. Владимир Ильич пробрался мимо стенографисток к трибуне и разложил бумаги. Зал продолжал бушевать. Владимир Ильич поднял голову, посмотрел в зал, ответивший ему новым громом оваций, достал часы и показал на них.

Я примостилась на ступеньке лестницы, около второго или третьего ряда амфитеатра. Владимир Ильич был совсем близко от меня, я видела выражение его лица, каждое движение его рук.

Его доклад, посвященный международному положению и основным задачам Коммунистического Интернационала, открывал работу конгресса и носил программный характер. Владимир Ильич говорил, почти не заглядывая в записи, и лишь изредка брал в руки один из лежавших перед ним листков.

Полемизируя с теми, чьи головы были забиты ревизионистской трухой Второго Интернационала, Ленин подчеркивал, что буржуазный строй во всем мире переживает величайший революционный кризис. Единственный выход — уничтожение эксплуататорской собственности и социалистическое преобразование общества. Убедая тех, кто из противоречий империализма делал выводы об «абсолютной» безвыходности кризиса для буржуазии, он разъяснял, что такие представления ошибочны, что абсолютно безвыходных положений не бывает.

Пока Владимир Ильич набрасывал картину экономического положения мира, он говорил спокойно и сдержанно, слегка откинув назад кор-

пус и протягивая иногда вперед руку с вытянутым указательным пальцем. Но вот он перешел к политическим следствиям, которые выростали из этих экономических данных, к тому, как «толстая четверка» премьеров основных империалистических стран — Клемансо (Франция), Ллойд-Джордж (Англия), Орландо (Италия) и Вильсон (США) — уселась делить и заживо кромсать мир, к предательству, двурушничеству и продажности вождей Второго Интернационала. Теперь от сдержанной манеры, в которой Владимир Ильич начал свой доклад, не осталось и следа. Движения рук сделались резкими, в голосе звучали сарказм, гневная ирония, насмешка.

Заключительную часть своего доклада он посвятил освободительной борьбе трудящихся и задачам, которые стоят перед коммунистическим движением во всем мире. И тут вырвался наружу огненный ленинский темперамент, его политическое бесстрашие, его негибкая воля к революционному действию. Протянув перед собой раскрытые ладони обеих рук, Владимир Ильич закончил свою речь словами, исполненными великой веры в конечную победу коммунизма.

Зал на какое-то мгновение замер, перевел дыхание — и разразился такой шквал оваций, какого не знали стены Таврического дворца. Кто аплодировал, кто что-то кричал, кто пытался петь. Я отхлопала ладони, потеряла голос от крика, вокруг мелькали счастливые разгоряченные лица, красные косынки женщин, алые знамена, гирлянды веток и цветов.

Потом все вышли на улицу, построились в колонну и прошли к могилам жертв Революции, чтобы возложить на них венки. Оркестр исполнил траурный марш из «Гибели богов». Стоявший неподалеку от меня человек, по виду коренной питерский пролетарий, сказал, показывая на могилы: «Ведь с их смерти мы жить начали». Потом перед залитым горячим солнцем Зимним дворцом открылся митинг, такой же грандиозный, такой же необычайный, как и все в этот чудесный день.

Сюда пришли питерские рабочие и крестьяне окружных деревень. делегаты смешались с толпой, рядом с вельветовой курткой германского пролетария чернела форменка матроса с Балтики, девушки в красных косынках окружали смуглого представителя Индии, черноглазый испанец, взобравшись на цоколь Александровской колонны, патетически восклицал:

— Увидев вас, я понял, что мы, рабочие Испании, должны во что бы то ни стало примкнуть к вам, и я торжественно обещаю сделать для этого все, что могу! Считайте меня последним предателем, если я отступлю от своих слов!

Площадь задрожала от аплодисментов, когда на сколоченном на скорую руку помосте появился Владимир Ильич Ленин. Его слушали, запрокинув назад головы, а когда он кончил, сто тысяч голосов слились воедино в возгласах: «Ленин!», «Товарищ Ленин!», «Да здравствует Ленин!».

Потом мы где-то обедали, как-то отдохали. И вот настал вечер. На набережной Невы, напротив Фондовой биржи, были установлены деревянные трибуны. Слева от меня сидел Рид, справа — американский делегат Луис Фрайна, над нами слабо светилось ночное небо, трибуны, площадь перед биржей и оба берега Невы были запружены народом, на фронте биржи атели плакаты с датами революционных событий: 1848, 1871, 1917. Орудия Петропавловской крепости дали залп, прожекторы залили площадку и широкие ступени, спускающиеся от колонн биржи, и началось представление, в котором три тысячи исполнителей — актеры, красноармейцы и петроградские рабочие — показали историю рабочего движения от «Коммунистического манифеста» до победы Октября.

По сцене двигались вереницы королей и царедворцев, сытые буржуа плясали вокруг огромной золотой монеты, из глубокого подземелья доносился глухой перезвон молотов; звучали пламенные призывы «Коммунистического манифеста»; коммунары свергали своих угнетателей, народ ликовал, версальцы с помощью пруссаков подавляли Коммуну, коммунары вели на расстрел, буржуазия торжествовала победу; появлялись новые фигуры с желтыми бантами на груди — социал-соглашатели с толстенными томаами соглашательской премудрости под мышкой, — начиналась война, жандармы силой, соглашатели речами, попы проповедями гнали народ на убой, раненые и калеки ковыляли через сцену; народ восставал, Октябрьская революция провозглашала мир и свободу, интервенты и белогвардейцы подымали гражданскую войну, Красная Армия разбивала их наголову — и на протяжении всего этого грандиозного действия через сцену двигались сотни людей, звучали фанфары, гремели пушечные и ружейные залпы, били барабаны, пахло порохом дымом, голубые лучи прожекторов то заливали сцену, то металась по темнеющему ночному небу, на Неве сверкали огнями суда Балтийского военного флота, «Аврора» сама, когда это было ей положено по ходу действия, грянула громом своей пушки, и вся многотысячная толпа, и на трибунах и на берегу, подхватывала песни, лившиеся со сцены.

Все закончилось апофеозом — фанфарами, выстрелами, «Интернационалом».

— Ты должен написать об этом статью, — сказал Фрайна, обращаясь к Риду.

— Статью? — вскричал Рид. — Нет, не статью! Я напишу об этом книгу, в которой расскажу обо всем, что думал, видел, чувствовал, к чему пришел, пройдя путь от Патерсона до Петрограда!

Он взял меня под руку.

— Пойдем, дружка, побродим! Поезд уходит утром.

Мы спустились вниз, постояли в толпе, полюбовались великолепным фейерверком, отражавшимся в воде, пошли по набережной, потом вернулись. Постепенно все разошлись, делегаты конгресса уехали на вокзал, где должны были переночевать в вагонах; только итальянцы, сидя на гранитных ступенях у самой воды, пели «Bandiera rossa», а Рид все рассказывал и рассказывал о том, что видел и пережил за последние месяцы. Видно, ему очень нужно было выговориться, и единственным подходящим слушателем оказалась «дружка», как он называл меня, переиначив на свой лад слова «друг» и «подружка».

Он был такой же, каким я его знала всегда, — мужественный, веселый, чуждый мелких опасений и больших страхов. Но во внешнем его облике произошла какая-то трудноуловимая перемена. Не то чтобы он постарел, но лицо его пожелтело и опухло. Я знала, что за несколько лет до этого, после своего возвращения из поездки по фронтам Восточной Европы, он перенес тяжелую операцию: у него была удалена почка. Но моя глупая восемнадцатилетняя голова не понимала, какой опасностью для его здоровья было пребывание в холодной, сырой тюремной камере, на черном хлебе и соленой рыбе.

О тяжелых условиях тюремного заключения он почти не вспоминал. В истории последнего ареста его занимал лишь предатель, который его выдал, и поединок, который он провел в борьбе за свое освобождение.

— Всю эту штуку устроили не финны, — говорил он. — Финны — подставные пешки. Это дело рук Государственного департамента!

— Но почему же тогда тебя выпустили? — спросила я.

— Да потому, что они не хотят иметь меня в Америке. Живой или мертвый, в тюрьме или на воле, я для них заноза. А Россия далеко. Аме-

риканский консул, когда велел финнам меня выслать, сострил, что пусть, мол, к ста пятидесяти миллионам ненавидящих нас русских Иванов прибавится этот ненавидящий нас американский Джон, нам это не страшно... Но они напрасно воображают, что им удалось от меня избавиться!

— Ты собираешься?.. — начала я.

Он засмеялся.

— Конечно, собираюсь! Но это будет не скоро... А пока я не собрался, давай походим. Когда-то мы еще будем в Петрограде, да и будем ли?!

На вокзал мы пришли уже под утро. У меня совсем слипались глаза. Едва добравшись до своей койки, я заснула, как убитая, не слышала, как отошел поезд, и проснулась, когда мы уже проехали Тверь.

В Москве, кроме пленарных заседаний, происходили заседания избранных конгрессом комиссий и всяческие собрания, совещания, конференции — профсоюзные, женские, юношеские, спортивные, какие-то еще.

Народ на конгресс съехался самый разнообразный и разноязычный — не столько в лингвистическом, сколько в политическом смысле этого слова. Из чуть ли не тысячи приехавших было не больше трети коммунистов, остальные представляли собой причудливую смесь, в которой можно было обнаружить и анархо-синдикалистов, и просто анархистов, и суфражисток, и каких-то «христианских коммунистов», и представителей различных «левых» организаций, называвших себя коммунистическими, но не входивших в коммунистические партии, и «кающихся грешников» из числа вождей Второго Интернационала, которые вдруг заявили о своей приверженности Коминтерну. Это были не делегаты конгресса, а люди, которые приехали Москву посмотреть и себя показать. Почти все они вместе со своими партиями и организациями изъявляли намерение вступить в Коммунистический Интернационал, но для этого требовалось не только их желание, но и согласие самого Коминтерна.

Днем ли, ночью ли в холлах, в коридорах, на лестничных площадках, в столовой «Делового двора» собирались кучки яростно споривших между собой людей. Все вращалось вокруг вопросов программы, стратегии, тактики и организационных принципов, выработка которых была задачей конгресса.

На конгресс приехали не только представители организаций, которые и по программе, и по истории, и по традициям были коммунистическими, но и посланцы не коммунистических, но сочувствующих Советской России объединений: английских и австралийских «шоп-стюардов»<sup>1</sup>, американских «Индустриальных рабочих мира», французских и итальянских синдикалистов и им подобных. В основной массе это были люди, готовые отдать за революцию жизнь, но в головах у них порой царил такой дикий анархо-синдикалистский сумбур, что дальше некуда!

Брошюра В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», в которой была изложена позиция Коммунистического Интернационала по всем вопросам расхождений с анархо-синдикалистами, только-только появилась в русском издании, в переводе на иностранные языки еще не вышла, и потому вручить ее приезжим товарищам было пока невозможно. А поскольку преобладающая часть болевших этой самой «болезнью «левизны» принадлежала к организациям, не принятым в Коминтерн, то трибуной баталий оказались главным образом кулуары конгресса и коридоры «Делового двора».

То тут, то там из толпы вдруг вырывались возбужденные голоса. «К чему вам партия?.. К чему вам Советы? — вопрошали анархо-синди-

<sup>1</sup> «Shop-stewards» — «Фабричные старосы» (англ.).

калисты.— К чему насильственная революция, когда переход к новому обществу можно совершить, объявив стачку «скрещенных рук»? Передайте всю власть фабрично-заводским комитетам, и у вас сам собой построится коммунизм. И почему вы ставите условия для вступления в Коминтерн, да еще целых двадцать одно условие?»

Коммунисты им отвечали, что буржуазия никогда и ничего не отдаст сама, у нее можно отнять только силой, и если бы русские рабочие и крестьяне поступили по анархо-синдикалистским рецептам, они не смогли бы воевать чуть ли не с целым светом на шести, на семи фронтах, одновременно строя новое общество. Что же до двадцати одного условия, то буржуазия заставляет ведь вас выполнять ежедневно сто двадцать одно условие! Именно для того, чтобы создать организацию, способную доконать буржуазию, вам и ставят двадцать одно условие, не выполняя которых вы не можете считать себя коммунистами.

Но как бы жарок ни был спор, он прекращался и все расступались, образуя проход, если в глубине коридора появлялись две фигуры в черных костюмах и крахмальных стоячих воротничках до ушей. Обычно они появлялись в часы, отведенные для завтраков, обедов и ужинов. Голову одной из фигур увенчивала седеющая шевелюра, голову другой покрывали жидкие белокурые пряди. Под ненавидящими взглядами присутствующих фигуры проходили в столовую, торжественно опускали свои зады на стулья, брали по яйцу, стучали ложечкой, отковыривали скорлупки, долго и тщательно внюхивались, чтобы убедиться в том, что яйцо свежее; если его свежесть вызывала сомнение, консультировались друг с другом и лишь тогда приступали к трапезе.

Это были правые вожди германских «независимцев» — Артур Криспин и Вильгельм Дитман, который после ноябрьской революции 1918 года вошел в шейдемановский «Совет народных уполномоченных» и своей предательской вихляющей позицией помог Эберту, Носке, Шейдеману убить Карла Либкнехта и Розу Люксембург и утопить в крови германскую революцию.

Некоторые горячие головы на конгрессе решительно возражали против того, чтобы не только вести переговоры, но и вообще разговаривать с этими господами. Такой отказ был бы с нашей стороны неправильным шагом, отвечал этим товарищам Ленин. «Когда Каутский выступает против нас и пишет книги, то мы полемизируем с ним, как с классовым врагом. Но когда сюда является для переговоров Независимая социал-демократическая партия, выросшая благодаря притоку революционных рабочих, то мы должны говорить с ее представителями, ибо они представляют собой часть революционных рабочих». Именно ради этих рабочих, которые героически сражались на баррикадах германской революции, десятки тысяч которых были расстреляны буржуазными и социал-демократическими палачами, ради того, чтобы показать этим замечательным рабочим истинное лицо криспинов и дитманов, прикрываемое обычно вуалькой из слащавых речей на тему, что и они, мол, тоже за революцию, за диктатуру пролетариата, и выслушал конгресс этих господ.

И они свое лицо показали! Любуясь собою и не скрывая презрения к тем, кто их слушал, они пыжились, чтобы доказать, будто бы «не только массы приносили жертвы и истекали кровью, но и эти «распроклятые обманщики», эти «дрянные людишки», эти вожди, сидящие здесь, среди вас...»

Ленин обрушился на них без пощады. В блистательной речи, которую он начал на немецком языке, а потом, перейдя к французским и итальянским центристам, продолжил на французском, Ленин доказал,

что в их позиции «все насквозь по Каутскому, весь ход мыслей как у Каутского».

— Хоть Криспин, — говорил Ленин, — и сказал: «Вы не можете отказать нам в революционной убежденности», но я отвечу: я вам в ней решительно отказываю. Отказываю не в том смысле, что вы не хотели бы действовать революционно, а в том, что вы не умеете революционно мыслить...

Пленарные заседания конгресса происходили в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Стояли жаркие июльские дни, сквозь открытые окна донесился запах цветущей липы.

Криспин и Дитман выступали в середине вечернего заседания. Оно началось около семи часов вечера, окончилось во втором часу ночи. Ни микрофонов, ни наушников, ни переводчиков, переводящих на ходу, в те времена не существовало, конгресс велся на трех языках — русском, французском, немецком, — каждую речь переводили дважды.

Дитман выступал вторым, после Криспина. Уже устав, я не особенно внимательно вслушивалась в его речь, решив дожидаться русского перевода. Но вдруг до моего слуха донеслись слова: «Russische Brot» («Русский хлеб»). Меня словно ударило. Да, он говорил о русском хлебе, о том самом хлебе и черных сухарях, которые русские рабочие и крестьяне собирали в голодные дни восемнадцатого года, чтобы послать революционным германским рабочим, и которые отказалось принять правительство Шейдемана, в том числе и входивший в это правительство Дитман!

Откидывая назад жидкие белокурые волосы, иронически пожимая плечами, выпячивая нижнюю губу, Дитман выражал недоумение по поводу того, что, видите ли, его и его партию обвиняют в измене международной пролетарской солидарности за то, что они отказались принять хлеб, посланный им русским пролетариатом, а приняли хлеб от американского президента Вильсона. И он, Дитман, удивлен, что на этом основании ему приписывают «вильсонизм».

У меня колотилось сердце, в глазах потемнело, хотелось что-то крикнуть, но пересохло горло. Как он смел, этот зализанный социал-демократишка, здесь, в Кремле, в сердце Советской России, разглагольствовать о последнем куске хлеба, который русские рабочие и крестьяне отрывали от себя, чтобы помочь германским братьям! Но тут вскочил сидевший рядом со мной немецкий товарищ. Его настоящее имя мне не известно, на конгрессе его звали Рудольфом. Знаю, что он был «спартаковцем», в теле у него сидело девять пуль, в 1919 году он участвовал в январском восстании берлинского пролетариата, был ранен, его схватили, бросили в тюрьму, он едва избежал смертной казни, был приговорен к каторге, сумел бежать, добрался до Советской России и даже теперь, в Москве, носил бороду и очки, изменявшие его внешность.

Он слушал Дитмана, устремив на него тяжелый, ненавидящий взгляд и сжав кулаки так, что они побелели. Он с трудом сдерживал ярость, но потом не выдержал, поднялся и хриплым, негромким, но услышанным всеми голосом, произнес:

— Молчи!.. Не пытайся нас уверить, что, отправившись лизать ноги Вильсону, вы спасли германский народ, — вы его погубили! Германию возродят не ваши лакейские речи и еще более лакейские поступки. Ее свобода грядет из плохо зарытой могилы Карла Либкнехта!

В дни конгресса я не часто встречалась с Ридом: мне приходилось все свободное время ездить с делегатами на фабрики и заводы, Рид был занят американскими делами.

Хотя прошло уже более полугодом с тех пор, как Исполком Коминтерна предложил двум коммунистическим партиям, образовавшимся в США, слиться в единую партию, слияния не произошло. На конгресс приехали делегации от двух партий. Надо отдать должное такту и настойчивости, проявленным в этом деле Ридом: уже на первом заседании конгресса в Москве он смог заявить от имени американских коммунистов, что они пришли к соглашению и будут выступать на конгрессе как единая группа.

Если коммунисты, приехавшие на конгресс, быстро нашли общий язык, то с многочисленными «уоббли»<sup>1</sup>, которые к этому времени на свой страх и риск добрались до Москвы, пришлось разговаривать, спорить, убеждать, и еще тысячу раз разговаривать, тысячу раз спорить, тысячу раз убеждать.

Из этих «уоббли» я более или менее близко знала двоих.

Первого звали Пеном, но вряд ли это было его настоящее имя. Сколько ему было лет? Затрудняюсь ответить, ибо все люди, достигшие тридцати лет (единственным исключением был Рид), казались мне тогда глубокими стариками, а Пену было не меньше сорока. Помню, что он был сыном шахтера, принимал участие в рабочем движении полудюжины стран, во время войны оказался в Европе, в Советскую Россию пробрался с помощью контрабандистов через Германию и Польшу, а когда его спрашивали, чем он занимается, он с видом английского лорда надменно цедил сквозь зубы: «Я — трансконтинентальный бродяга».

Мне вспоминается жаркий солнечный день, бульвар, спускающийся от Ильинских ворот к Варварской площади. Рид сидит верхом на деревянной скамье, мягкий воротник рубашки по обыкновению расстегнут, широкополая шляпа, как и всегда, сдвинута на затылок, лицо загорело — и все это придает ему вид ковбоя. Пен с помощью очищенного от листьев прутика рисует на песке схему, которая должна помочь мне понять, как они, «уоббли», представляют себе будущее общество: посередине — Центральный совет профессиональных союзов, от него тянутся нити к отдельным профессиональным союзам. Один кружок в центре, штук двадцать кружков вокруг — и больше ничего.

Рид нетерпеливо берет из рук Пена прут и рисует два больших кружка, на одном пишет: «Партия», на другом — «Советы».

Пен берет прутик обратно и перечеркивает крестом эти кружки.

— Не находишь ли ты, что твоему будущему обществу грозит опасность оказаться в положении человека, у которого было две жены, одна старая, другая молодая, — говорит Рид, пока только чуть-чуть повысив голос. — Старая вырывала у него все черные волосы, молодая — все седые, и в итоге он остался лысым. Так и ты, вырвав партию и Советы...

— Не грози оторвать мне голову! — вскипает Пен. — Я не испугаюсь...

— Да не спорьте же, — прошу я. — Пусть Пен объяснит до конца.

Пен сердито вертит прутик, потом пририсовывает к своей схеме какую-то закорючку. Подумав, переделывает эту закорючку на кружок — еще один профсоюз к прежним двадцати.

— Больше нам ничего не надо, — бурчит он.

— А каким же образом вы собираетесь взять власть? — спрашиваю я.

— А мы и не собираемся ее брать, — раздраженно отвечает Пен. — Зачем она нам? Мы сложим на груди руки, промышленность станет разваливаться, тогда капиталисты откажутся от нее, и мы, овладев средствами производства, создадим индустриальную республику труда.

<sup>1</sup> «Уоббли» — члены организации «Индустриальные рабочие мира».

— Ну а если буржуазия, как она это сделала в России, нападет на вас, кто же будет руководить обороной, кто создаст Красную Армию, кто будет заботиться о ее снабжении?

— Как кто? Профессиональные союзы. Каждый профессиональный союз!

— Что ж, у вас будет Красная Армия плотников, Красная Армия портных, Красная Армия шахтеров?

— Ты пристаешь ко мне с мелочами,— огрызается Пен.

— По-твоему, это мелочи? — рычит Рид.— Да понимаешь ли ты, что от этих, именуемых тобой мелочами, вещей зависит судьба революции?

И тут начинается! Оба зрут друг на друга, обмениваясь ругательствами вроде: «ослиная башка», «старая беззубая форель», «дирижер оперы на дырявом барабане», «философ свиных котлет». Но вдруг Пен валится на спину, поднимает все четыре лапы, кричит: «Сдаюсь! Сдаюсь!», ловким движением перекидывает ногу через скамью и начинает выбивать по ней кулаками дробь идущего поезда. Рид — за ним. И вот скамья уже не скамья, а грохочущий товарный вагон, а мы — бродяги, «хобо», мы мчимся на Дальний Запад и поем песню про девчонку Пегги (ах!), которая тебя не любит (ох!), и остается только броситься в реку (эх!), и над тобой смыкаются семь футов воды (ух!).

Второй «уоббли», которого звали Брэтом, проявлял весьма слабый интерес к доктринам и теориям. Он знал лишь одно — иступленную ненависть к капитализму. «У меня к ним большой счет»,— говорил он и, вытянув изувеченную руку, начинал загибать пальцы: отец, погибший во время обвала в руднике; брат-стачечник, застреленный хозяйской полицией; другой брат, убитый на войне; мать, умершая от голода и туберкулеза; невеста — фабричная работница, которую втянула машина.

Вся жизнь его была сплошным подвигом во имя рабочего класса: аресты, избияния в полицейских застенках, «черные списки», нужда, безработица. Он уже не пробовал поступить на работу и бродил по дорогам Америки, то перебиваясь случайным заработком, то попадая в «джунгли» — так называют в Штатах расположенные обычно неподалеку от железной дороги лагеря таких же «спущенных в кювет» людей, как он,— странствующих рабочих, бродяг. Там, в «джунглях», можно было погреться у костра, съесть миску супа, узнать, по каким дорогам легче проехать зайцем, а главное — получить последние сведения о делах ИРМ. Ибо ИРМ — союз «Индустриальные рабочие мира» — единственное, что было дорого ему в жизни, а красный членский билет ИРМ — его величайшая гордость. И стоило ему узнать, что где-то — пусть на другом конце Америки — ИРМ проводит стачку или какую-нибудь кампанию, он вскакивал на подножку первого же проходившего мимо поезда и отправлялся туда, на место боя.

Услышав об Октябрьской революции, Брэт решил пробраться в Советскую Россию, но сделать это сразу ему помешал очередной арест. По выходе из тюрьмы он нанялся матросом на пароход Тихоокеанского флота, потом прошел пешком около пятисот миль через пустыни и горы Маньчжурии — и вот сидел с нами в Москве!

Пока он рассказывал о своей жизни, это был умный, наблюдательный, все понимающий человек. Но едва мы пытались заговорить с ним о программных и тактических вопросах, как он мрачнел, заявлял, что не верит в «политику», рабочему эта «политика» не нужна, в ней заинтересованы лишь «грязные политиканы». И тут хоть кол на голове теши — не поможет!

— Ты все же надеешься, что добьешься с ним чего-нибудь? — спросила я Рида после одного такого бесплодного разговора.

— Безусловно, — сказал он. — Этот человек сделан из замечательного материала, но обработка плохая. Его надо только обработать наново.

И, слегка покраснев от усилия, Рид, перейдя на русскую речь, произнес, старательно выговаривая слова:

«Так тьяжки млат дробя стьёкло кует булат».

Ай да Джон, сын Чарльза, американский коммунист! Ты, оказывается, читаешь Пушкина!

Но, как учит пословица, с кем поведешься, от того и наберешься. Проводя чуть ли не круглые сутки среди всяческих «левых», Рид поддался их влиянию. Следует ли коммунистам оставаться в реакционных профсоюзах, чтобы завоевать на свою сторону массы рядовых рабочих? Вопреки тому, что говорил по этому поводу Ленин, Рид и его сторонники были за выход из профессиональных союзов и утверждали, что «говорить о завоевании профсоюзов изнутри — такая же бессмыслица, как мечтать о завоевании капитализма изнутри».

— Земля и та движется, — подал реплику Ленин. — А вы вбили себе в голову, что рабочие, которых оседлали правые профсоюзники, навеки не сдвинутся с места.

Дискуссия была жаркой, Рид напористо защищал свою точку зрения, но когда голосование показало, что он и его единомышленники остались в абсолютном меньшинстве, сморщил нос, улыбнулся своей неожиданной, теплой улыбкой и под хохот всего зала заявил, что ему не удалось одержать победу лишь потому, что самый удачный аргумент в защиту его позиции удрал от него в Сокольниках.

Все смеялись, так как знали эту историю, а история началась с того, что в «Деловом дворе» появился Николай Ильич Подвойский и, окруженный делегатами и гостями, рассказал о зародившемся у него плане создать международную рабочую спортивную организацию. Идея нашла приверженцев. Для начала решено было провести несколько соревнований между участниками конгресса и советскими спортсменами — по гребле, плаванию, боксу, футболу.

И вот первого августа тысяча девятьсот двадцатого года в Сокольниках на стадионе ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта) состоялась первая в Советской России международная встреча по футболу. Матч назывался: «Красная Россия — Англия и Соединенные Штаты». Команда гостей была сформирована англосаксами, ибо футбол считался тогда английской игрой и вся терминология его была английской: вратарь назывался «голкипером», нападающие «форвардами», защитники «беками», угловой удар «корнером», а болельщики «футболоманами».

Русская команда (красные майки, белые трусы) была составлена из хозяев поля, но в нее вошли несколько московских партийных работников, в их числе красивый кудрявый секретарь замоскворецкого райкома партии Миша Кахнани. В англо-американской команде (белые рубашки, черные трусы) в числе других играл нынешний президент Коммунистической партии Великобритании Уильям Галлахер, который под восторженный рев всех присутствовавших забил в наши ворота единственный мяч.

Сокольники были тогда далекой окраиной Москвы. Футбольное поле окружали высокие деревья, парк был заброшен, зарос травой и одичавшими кустарниками.

Рид играл правым крайним. Он следил за мячом, но непрерывно думал над своим выступлением на конгрессе по вопросу о профсоюзах. Как он рассказывал, смеясь, в то самое мгновение, когда ему в голову пришел совершенно неотразимый аргумент в пользу его точки зре-

ния, он увидел совсем рядом с собою мяч, выглядывавший из высокой травы. Рид к нему кинулся, но мяч вдруг подпрыгнул и поскакал прочь с поля: это был серый заяц.

— А вместе с ним, — говорил Рид, — ускакал и мой неотразимый аргумент!

Москва жила конгрессом. В его честь устраивались демонстрации, празднества, парады и был совершен первый в Советской России полет на сферическом аэростате. При всеобщем ликозании аэростат поднялся с запруженной народом Красной площади, а три часа спустя от аэронавтов была получена телеграмма на имя Владимира Ильича Ленина:

«Спустившись из заоблачных интернациональных владений на землю РСФСР после первого свободного полета в свободной России в честь 2-го конгресса III Интернационала, первые красные аэронавты пламенно приветствуют вождей международного пролетариата. Красный стяг был поднят на высоту 5 000 метров...»

А вечером в Колонном зале Дома союзов в честь конгресса был устроен банкет. В зале расставили столики, сервировали их великолепнейшим хрусталем и серебром из дворцовых кладовых и угощали по принципу «чем богаты, тем и рады». Меню банкета оказалось фантастическим: астраханские рабочие прислали конгрессу свои подарки, на столах матово блестела зернистая и паюсная икра, золотились балыки, а рядом с этой роскошью ютились небольшие кусочки хлеба; картофель, поджаренный на подсолнечном масле, запивали столетними винами; провозглашая гости, подымали бокалы с воспетым еще Пушкиным шампанским вдовы Кликко и заедали пирогами с черникой.

Кроме участников конгресса, на банкете присутствовали посланцы московских рабочих. С моим другом Павлушкой Волоховым произошел конфуз: Павлушка был страшно голоден и, увидев лежавшее перед ним что-то непонятное, черное и блестящее, никогда им не виданное, наложил себе глубокую тарелку этого самого непонятного. Сидевший рядом с ним Виктор Павлович Ногин прошептал: «Товарищ, это икра, ее едят, намазав тонким слоем на хлеб». Но Павлушка подумал: «Тебе хорошо, ты потом у себя в тресте налопаешься, а мне в кой-то раз досталось» — и, как кашу, умял столовой ложкой полную тарелку икры, а потом весь вечер проклинал себя, так ему было худо.

Банкет состоял из ужина и концерта, происходивших, так сказать, синхронно. Когда на эстраду выходили артисты, официанты замирали у колонн, по залу пронеслось «Тсс», стук ножей и вилок умолкал, в наступившей тишине раздавались первые аккорды рояля.

И вот настала минута, которую все ждали с нетерпением: ведущий концерт объявил, что сейчас выступит Федор Иванович Шаляпин. Его встретили, конечно, громом аплодисментов, официанты в очередной раз замерли, по залу пронеслось «Тсс», стук ножей и вилок умолк. Но Шаляпин, откинув назад царственную голову, обвел зал смеющимся взглядом и весело сказал:

— Кушайте, дорогие гости, прошу вас, не стесняйтесь. Я ваших ножей и вилок не боюсь, я их стук перепую...

Во время банкета мы с Ридом сидели за соседними столиками. Рид был очень оживлен, с энтузиазмом подхватывал «Дубинушку», которую запевал Шаляпин, под конец концерта вместе с итальянцами и французами отплясывал «Карманьолу».

Мысль о книге не оставляла Рида. Он не расставался со своей записной книжкой и, как всегда, успевал бесконечно много увидеть, услышать, подметить. Бывало, сидим мы на каком-нибудь заседании, потом вый-

дем, встретим кого-нибудь, тот спросит: «Ну, что там было?» — я отвечу: «Обсуждался такой-то вопрос, Икс сказал то-то, Игрек ответил тем-то...» Но стоило заговорить Риду, как это заседание в его рассказе волшебным образом преображалось. Каким бы скучным оно ни было, оно становилось интересным — хотя бы по причине своей особенной скуки. Мои плоские, обезличенные Иксы и Игреки приобретали чуть ли не двадцать три измерения! Тут и посадка головы, и голос, и улыбка, и манера говорить, и характерные жесты. А иногда просто одна выразительная деталь, которую уже хочется, как собственное имя, писать с большой буквы: Черный галстук, Вислый зад, Prrrrr, Таквотьямчтоскажу...

Его художническому видению было присуще умение подмечать контрасты, проводить сопоставления. Он формулировал их в лаконичных записях: «1920, VI. На фабриках и заводах сборы в пользу бастующих шведских рабочих. Хлебный паек: 1918 — пятьдесят—сто грамм, 1919 — то же, 1920 — сто пятьдесят — двести». Или: «Царский дворец. Стены и потолки в пышной позолоте. Узорный паркет. Представители угнетенных всех стран. За ними охотится полиция. Они перевернут мир».

Но особенное его внимание, как и всегда, привлекал Ленин.

Владимир Ильич был очень занят — дело происходило в самый разгар войны с белополяками, на юге накапливал силы Врангель, хозяйственное положение Республики продолжало оставаться отчаянным. Поэтому Владимир Ильич не мог присутствовать на конгрессе непрерывно. Если он приходил на заседание, когда оно уже шло, он присаживался где-нибудь в сторонке и, держа на коленях блокнот, делал свои записи. Его появление никогда не оставалось незамеченным, и он сразу притягивал к себе внимание всего зала.

В перерывах все высыпáли во двор или в Тайницкий сад, пели, играли в «веревочку». Игра эта, любимое развлечение матросов и публики на океанских пароходах, состоит в том, что на палубе расчерчивают мелом решетку и бросают в ее квадраты кольца, сплетенные из толстой веревки. Вместо палубы расчертили плиты, которыми вымощена площадь перед Большим Кремлевским дворцом, а для изготовления колец, за неимением достаточного количества веревки, пустили в ход чемоданные и поясные ремни. В «веревочке» принимал участие и Владимир Ильич. Играл он азартно и довольно метко попадал в цель.

С легкой руки итальянской делегации на конгрессе без конца пели: пели перед началом заседаний, пели в перерывах, пели во время субботников, в которых участвовали делегаты, пели в «Деловом дворе», пели на улицах. Наиболее популярны были «Bandiera rossa» и «Карманьола». Полного текста песен никто не знал, приходилось воссоздавать его по памяти. С помощью Владимира Ильича была восстановлена строфа «Карманьола», в которой ставится вопрос, что нужно истинному республиканцу, и дается ответ: свинец, железо и хлеб! Свинец для врагов, железо — чтобы работать, хлеб — чтобы разделить его с братьями...

Вместе с делегатами конгресса эти песни стала петь Москва. Бывало, идешь вечером по Тверскому бульвару, город уже спит, кругом все тихо. Но вдруг где-то очень далеко возникают голоса — и не столько по мелодии, разобрать которую на таком расстоянии невозможно, сколько по ритму, по экспрессии угадываешь знакомые слова: «Ça ira! Это будет! Ça ira!»

В блокноте Риды появились записи: «Поющая Москва... Поющий Ленин». В эти недели он постоянно наблюдал за Лениным и делал как бы карандашные наброски, чтобы запечатлеть неповторимые ленинские черты. «Очень разный и в то же время всегда именно он». «Разговаривает с Кабакчиным. Глубокое уважение». «Быстрые движения, но не сует-

лив. Быстрота создается экономной точностью жеста». «Рассказ Луначарского: французский скульптор Аронсон, увидев Ленина, был поражен его сходством с Сократом — тот же великолепный затылок, глубоко посаженные глаза, голова как бы излучает сосредоточенную мысль». «Весь обращен ко «всем, всем, всем!». «Удивительные глаза: пронизательные, добродушно-лукавые, прежде всего умные. На солнце кажутся золотыми». «Слушает Галлахера. Тот говорит: «По приезде в Россию я познакомился с «Детской болезнью «левизны», в которой упомянуто и мое имя... Укоры я принял, как дитя принимает выговор отца». Ленин глядит на Галлахера любовным отцовским взглядом». «Интеллектуальная многогранность и полнота». «Всегда массе и с массами». «Не говорит, а действует... Нет, не так! Правильнее так: когда он говорит, он действует!» «Шотландское пожелание: «Пусть долго дымится труба твоего дома!» Да, пусть дымится долго, как можно дольше. Миллионы людей готовы отдать жизнь за то, чтобы труба твоего дома дымилась вечно!»<sup>1</sup>

Конгресс работал в Москве около трех недель. За это время я много раз бывала на фабриках и заводах, сопровождая иностранных товарищей. По большей части я ездила с рядовыми рабочими-коммунистами и некоммунистами.

Встречи происходили обычно в цехах, среди станков. Разговор начинался сразу. «Мы чувствуем себя среди своих,— говорили иностранные товарищи.— Несмотря на то, что нас разделяет язык, мы можем понять друг друга на языке революции».

Их привело в нашу страну стремление увидеть собственными глазами, как делается революция.

«Я приехал к вам, как рабочий к рабочим,— говорил плотник из Уругвая,— приехал, чтобы поучиться у вас и у себя на родине продолжать вашу борьбу». «Хотя я принадлежу к другой расе,— сказал корейский рыбак,— но в России, среди рабочих, я чувствую себя, как в родной семье. Я видел Красную Армию, защищающую революцию, и красные профсоюзы, которые под прикрытием Красной Армии ведут борьбу с разрухой».

Их восхищал героизм русских рабочих. «Мы объехали вашу страну,— говорил французский металлист,— и мы убедились, что, несмотря на голод, холод, на пролитую пролетарскую кровь, русские рабочие продолжают вести борьбу с неослабным упорством и верой в конечную победу».

С усмешкой рассказывали иностранные товарищи о беспардонной лжи, которую распространяла о Советской России желтая пресса. В ее изображении Октябрьская революция была не революцией, а бесчинством банды разбойников, Советы не Советами, а диктатурой какого-то «секретаря Ленина» — беглого каторжника-китайца.

«Мы читали эти выдумки,— вспоминал испанский товарищ.— Порой сквозь них мелькали сообщения, что в России производится какая-то социализация, вводится какой-то коммунизм. Читая это, мы говорили себе: «Позвольте! Если в России разбойники, то при чем здесь коммунизм? Если там бесчинствуют хулиганы, то почему они проводят социализацию?»

Увиденное в Советской России их поразило. Они мечтали, вернувшись на родину, рассказать правду о подвиге русских рабочих и крестьян. «Я мог бы,— говорил тот же испанский товарищ,— невесть что напести о России. Ведь я мог бы, например, расписывать, что у вас

<sup>1</sup> Подлинные записи Рида, по-видимому, пропали. Привожу как можно более точно то, что врезалось в мою память.

здесь живет до того хорошо, что собак привязывают к колбасе. Но мне не нужно будет приукрашивать, мне достаточно описать вашу борьбу, ваши страдания и муки, чтобы пролетариат Испании понял ту великую работу, которую проделала ваша революция».

Взаимопонимание устанавливалось быстро. «Не знаешь, что он говорит, а будто бы понимаешь»,— говорили наши рабочие.

Не обходилось, конечно, без того, что сейчас называют «накладками». То кто-нибудь из наших, русских, зашипит: «Туман напускают... Кой ляд их поймет, что они там лопочут,— и заявит: — Разве это жизнь? Жрать нечего, всего не хватает. Все развалилось и разползлось». То иностранный товарищ, воздав дань успехам русской революции, понесет анархо-синдикалистскую ахинею.

И тут обнаруживалось, как вырос российский рабочий класс за годы революции, как впитались в его плоть и кровь идеи революционного марксизма. Самый простой рабочий, выслушав такого синдикалиста, говорил: «У тебя, браток, в уме все нитки клубком скатались, и никак не докопаешься, какая к чему». И он сравнивал класс без партии с листом на ветру, который ветер куда хочет, туда и гонит, а класс, руководимый партией,— с ветвистым дубом, который никакая буря не сломит.

Шли дни, уходили недели. Конгресс закончил свою работу. Для иностранных товарищей настал час отъезда. «Деловой двор» почти опустел.

В дождливый августовский день я вместе с группой итальянских рабочих поехала на какой-то небольшой завод за Рогожской заставой. Собрание было прощальным.

Мне удалось найти запись речи итальянского товарища, который запомнил мне своей молодостью и страстной серьезностью лица.

— Завтра мы покидаем Москву,— говорил он.— Прощай, город, столь дорогой нашему социалистическому пониманию; прощай, красное знамя, победоносно развевающееся над Кремлем; прощайте и вы, героические мертвые Великой Революции, похороненные у зубчатой стены... Мы были, мы жили в этой Москве, к которой теперь тянутся грезы, пожелания, надежды стольких тысяч наших товарищей в Италии, во всем мире. Они завидуют нам, предпринявшим путешествие, окутанное легендой.

Как полярная звезда, путеводительница древних моряков, светит для нас Москва во мраке реакции и империалистической разнузданности, и пока она светит, не сломится наш дух в борьбе со злыми стихиями.

Прощайте, русские пролетарии! Вам суждены еще суровые страдания, но эти страдания осмыслены великим сознанием, что вы разбили вековые оковы и положили свою душу за счастье всего человечества.

Благословен будешь ты среди народов, русский народ. Благословен будешь всеми, кто ныне прозябает в позорном рабстве. Первый из всех ты ниспроверг хищничество богачей и произвол царей, обман парламентаризма и гнусности тайной дипломатии.

Великая, нищая, героическая, исходящая кровью Россия! Низко кланюсь тебе, живым и павшим сынам твоим от имени наших братьев, живо погребенных в буржуазных тюрьмах. Пусть осенят нас твои серп и молот, и да будет жизнь твоя нашей жизнью и судьба наша одна с твоею — во имя Интернационала!

Где-то он сейчас, этот товарищ? Какова его судьба? Был ли он одним из четырех тысяч итальянских коммунистов, осужденных особым фашистским трибуналом на двести тридцать веков тюремного заключения? Находился ли он в рядах двух тысяч итальянских коммунистов, которые с оружием в руках сражались в Испании и щедро полили ее землю своей кровью? Пал ли он в числе сорока двух тысяч коммунистов, погибших во время национально-освободительной борьбы в гарибаль-

дийских бригадах? Или и сегодня он, уже немолодой, поседевший, но полный юношеского огня, вместе с коммунистами всего мира ведет великую борьбу за установление на земле нового общества, свободного от войн и эксплуатации?

### На берегу

И вот прошло дней десять, не больше, а над нами уже было другое небо, черное южное небо, затканное крупными серебряными звездами, и в толпе возникали то светлый бурнус сына пустыни, то папаха горца, то белая чалма, то красноармейский шлем с красной звездой, то фигура женщины, закутанной в чадру. В нестройный шум человеческих голосов вплетались овечье бляющие и гортанные крики верблюдов, били барабаны, звенела медь оркестров, в голубоватом свете прожектора алел плакат, на котором был нарисован рабочий, протягивающий руку одетому в яркий халат крестьянину, и на нескольких языках написано: «Пролетарии Запада и трудящиеся Востока, объединяйтесь на совместную борьбу против империализма!»

Мы были в Баку. Здесь должен был открыться Первый съезд народов Востока. Всю дорогу от Москвы мы жили в тревоге, дошла ли до народных масс Востока весть о съезде, откликнутся ли они на обращенный к ним призыв, сумеют ли их посланцы, не искушенные в нелегальщине, преодолеть тысячи препятствий на пути в Баку?

Действительность превзошла самые смелые ожидания. Слух о далекой стране России, где народ сверг своих угнетателей, о Ленине, вожде и пророке национального освобождения, проник в темнейшие глубины Азии и докатился до берегов Африки и Латинской Америки. О России и Ленине пели песни, слагали легенды. Пусть эти легенды порой были наивны — в одном индийском журнале портрет Ленина был помещен на плакате, изображавшем семь пророков и гениев мира, рядом с Буддой, Христом и вождем индийского национального движения Ганди, — народ, как умел, говорил, что видит в Ленине своего брата, друга, учителя, вождя.

Когда до миллионных масс Востока донеслась молва о съезде, в Баку потянулись тысячи делегатов, избранных на тайных собраниях в крестьянских хижинах, в рабочих лачугах, в пещерах, на стоянках у костров. Многим из них, чтобы выполнить волю тех, кто их избрал, пришлось поставить на карту свою жизнь. Они переходили по первобытным тропам горы, в утлых лодках переплывали бушующее море. Особый героизм проявили турецкие делегаты из Анатолии. Зная, что вдоль берегов Турции все время крейсируют английские военные суда, они воспользовались страшной бурей, которая заставила англичан уйти в открытое море, и с риском погибнуть сели на парусные фелюги. Больше недели их мотало по волнам, пока, полумертвые, они не высадились на берег. Другая группа турецких делегатов проскользнула под самым носом англичан у Константинополя и переплыла на моторной лодке Черное море, которое вдоль и поперек прочесывали суда английского и врангелевского военных флотов. В Энзели над пароходом, везшим делегатов, появился самолет, сбросил несколько бомб, два делегата были убиты. Несколько десятков иранских делегатов, перехваченных в пути, были брошены в тюрьмы...

Но несмотря на все и вопреки всему, почти две тысячи делегатов прибыли в Баку и пестрой толпой заполнили здание оперного театра, где происходил съезд, и прилегающие к нему улицы. Пастухи пригнали с собой отары, на Приморском бульваре были разбиты палатки, бляели свцы, бараны выгибали головы с позолоченными рогами,

На съезде присутствовали представители тридцати двух национальностей. Больше половины делегатов составляли коммунисты. Старик пастух вытаскивал из-под отворота лохматой белой папахи испорченную арабской вязью красную книжечку, с обложки которой смотрел какой-то удивительный, преображенный на восточный лад, раскосый Ленин. Человек в рубаше из домотканой шерсти рассказывал, что он много лет работал на заводе в Париже, и на прекрасном французском языке произносил отрывки из слышанных им речей Жореса и Марселя Кашена. Участник спартаковских боев в Германии сидел рядом с организатором народного повстанческого движения в Иране, а написанное в анкете справа налево непонятное слово означало знакомое всем слово «тюрьма».

Некоммунисты называли себя беспартийными. Они делились на подлинных беспартийных и на тех, кто на деле принадлежал к буржуазным националистическим партиям и прибыл на съезд с тайной, а то и явной целью перехитрить его организаторов, использовав антиимпериалистический порыв, которым были охвачены делегаты съезда, в своих пантюристских, панисламистских и прочих «пан»-целях. Попадались среди делегатов и спекулянты, и мелкие авантюристы. Но основную их массу составляли простые люди, чьи руки были покрыты мозолями от деревянных сох и кузнечных молотов. Колониализм был для них не книжной абстракцией, он был записан рубцами на их собственной коже. Их политические взгляды были туманны, но они хорошо знали, кто им враг и кто друг. И когда на заключительном заседании съезда был оглашен призыв к народам Востока подняться на священную борьбу против империализма, неопишное воодушевление охватило тысячную толпу делегатов и гостей. Все вскочили. В воздухе засверкали обнаженные кинжалы и кривые сабли. Огромный афганец, размахивая маузером, орал: «Этот револьвер мне дали империалисты, но стрелять из него я буду в них самих!» При блеске стальных клинков весь зал пел «Интернационал», а женщины-делегатки, сбросив чадры, восклицали: «Свобода или смерть!»

Баку был продолжением Москвы. Национальный и колониальный вопросы занимали важнейшее место в работах Второго конгресса Коминтерна. Тезисы были написаны Лениным. Он же председательствовал в специальной комиссии конгресса по этим вопросам и был докладчиком на пленарном заседании.

Так как я приехала в Москву из Средней Азии и работала там в Совете интернациональной пропаганды на Востоке, меня в числе прочих товарищей пригласили участвовать в работах этой комиссии. Она заседала в Кремле, но не в Здании судебных установлений, а в одной из комнат Большого кремлевского дворца.

Помню, что это было в воскресенье. Заседание началось утром и с двумя или тремя небольшими перерывами продолжалось до самого вечера. В комиссию входили представители коммунистических партий и организаций как угнетающих, так и угнетенных наций. Краснолицый англичанин Квелч сидел рядом со смуглым индийцем Роем, курчава голова марокканца чернела рядом с головой делегата Франции, о трагической судьбе индонезийского народа докладывал голландец Маринг. Джон Рид, который не упускал случая пошутить, вытягивался во весь свой длинный рост, поджимал губы, напускал на себя выражение надменности и высокомерия и, делая рукой загребающие движения, представлял: «Дядя Сэм... Империализм Соединенных Штатов Америки».

Ленин занял место не в узкой торцовой, а в средней части стола. Видимо, так ему удобнее было следить за выступлениями. Во время засе-

дания Рид передал мне записочку: «Обрати внимание на то, как взволнован Большой Эл» (так он называл Ленина). Ленин действительно был взволнован. Он слушал выступавших, не пользуясь своей председательской властью для того, чтобы ограничить их во времени.

Рид выступал и на комиссии, и на пленарном заседании конгресса. В обоих своих выступлениях он говорил о судьбе негров в Соединенных Штатах Америки, о системе «Джим Кроу», которая ставит негров в положение низшей расы.

«Коммунисты,— сказал он,— не должны стоять в стороне от движения негров за социальное и политическое равноправие, которое теперь, в момент роста расового самосознания, широко распространяется среди негритянских масс. Коммунисты должны использовать это движение, чтобы показать бессодержательность буржуазного равенства и необходимость социалистической революции, не только освобождающей рабочего от рабства, но и являющейся единственным средством освобождения негров как угнетенного народа».

Рид кончил свою речь, но на какую-то долю минуты задержался на кафедре, повернул голову, взглянул на окно, освещенное солнцем, и сказал:

— Надо, чтобы негры приехали сюда, в Москву, и увидели социалистическую Россию. Надо. Очень надо. Для них, для негров...

На Втором конгрессе Рид как представитель Коммунистической партии США был избран членом Исполкома Коминтерна. Его имя появилось в списке постоянных сотрудников журнала «Коммунистический Интернационал». Он вошел в делегацию Исполкома, направленную на Первый съезд народов Востока в Баку. С обычной своей экспансивностью Рид восклицал, что этот съезд, да и все, что он увидел в Баку,— это «самая удивительная вещь во всем мире!»

Распорядок дня съезда определялся не часами — многим делегатам была даже неведома такая мера времени,— а движением солнца: утрення заря, вечерняя заря; утренний намаз, полуденный намаз, вечерний намаз. После захода солнца делегаты засыпали рядом со своими овцами, а для нас наставали свободные минуты. Мы, то вдвоем с Ридом, то вместе с горластой комсомольской ватагой, отправлялись бродить по узким кривым улочкам старого Баку, уходили за город; море шумело у наших ног, камни, нагретые солнцем, всю ночь сохраняли дневное тепло.

Случалось, что к нам присоединялись другие члены Исполкома Коминтерна, приехавшие на съезд в Баку,— венгр Бела Кун, англичанин Гарри Квелч. Оба они были неистощимы на выдумки и затеи. Глядя на круглое добродушное лицо Бела Куна, слушая богатый интонациями и переходами голос, трудно было поверить, что этот жизнерадостный, смеющийся человек перенес за последние полтора года тягчайшие испытания и чуть ли не вчера еще был замурован в одиночную камеру белогвардейской тюрьмы, где на протяжении долгих месяцев ему угрожал смертный приговор или расправа без суда.

Гарри Квелча за его маленький рост и необычайную энергию прозвали «паровозик». Он был издавна связан с русским революционным движением. В тысяча девятьсот втором году, когда Владимир Ильич Ленин жил в Лондоне, Квелч был издателем газеты социал-демократической федерации «Джатис» и полностью предоставил в распоряжение Ленина и его товарищей печатную машину. Здание, в котором работали тогда Владимир Ильич и Гарри Квелч, поныне сохранилось в прежнем виде. Оно называется теперь «Дом Маркса», и в нем находится библиотека имени Маркса.

Кто-то из московских товарищей сказал Квелчу, что в Баку существовала подпольная типография, где также печаталась «Искра», и Квелч непременно хотел в ней побывать. Мы долго плутали по городу, пока нашли небольшой домик, соответствовавший данному нам описанию. Внешне он не был ничем примечателен — ситцевые занавески, герань на подоконниках, — и лишь спустившись в подвал, где помещалась когда-то типография, мы почувствовали волнение.

«Из искры возгорится пламя», — произнес Квелч по-английски строку А. Одоевского, бывшую девизом «Искры».

Иногда во время этих вечерних походов мы забирались в горы, иногда оставались на берегу и разводили костер из сухой травы. Рид то сидел с нами, то уходил бродить один, и из темноты доносился его голос, распеваящий: «Алабама моя, Алабама». Потом он возвращался, подбрасывая в огонь охапку листьев и усаживался на обломок скалы.

Здесь, в Баку, его обступили воспоминания о Мексике. О Мексике напоминала ему и сверкающая синева неба, и каменистая земля, покрытая редкой травой, и жалкие лачуги, которые ютились вокруг нефтяных вышек, дырявые крыши, разбитые окна и двери, мусор, мухи, зловоние, босячие молчаливые мужчины, полуголые ребятишки, женщины, полоסקавшие белье в жестяных корытах, смешанный запах моря и нефти, валяющиеся на голой земле грузчики-амбалы, у которых сквозь лохмотья просвечивало грязное бронзовое тело, старуха в длинных широких штанах, курившая трубку, сделанную из стебля кукурузы, коренастый человек с курчавой, как мерлушка, бородой, девочка в длинной юбке и красном кафтанчике, заглядывавшая, как в зеркало, в зеленовато-черную лужу. О Мексике, о мексиканской революции думал он, когда сидел на съезде и видел лица с темными блестящими глазами, когда слышал гортанные голоса, когда ненависть к угнетателям с быстротой лесного пожара охватывала тысячную толпу и блестящие стальные клинки как бы возносили эту ненависть к небу.

Свой долг перед миллионами людей, пославших своих делегатов на этот съезд, Рид видел прежде всего в том, чтобы показать им истинное лицо американского капитализма.

— Я представляю здесь революционных рабочих одной из великих империалистических держав, Соединенных Штатов Америки, которая эксплуатирует и угнетает народы колоний, — говорил Рид, выступая перед съездом. — Вы, народы Востока, народы Азии, еще не испытывали на себе власти Америки. Вы знаете и ненавидите английских, французских и итальянских империалистов и, вероятно, думаете, что «свободная Америка» будет лучше управлять, освободит народы колоний, будет их кормить и защищать...

— Не верьте этому! — заклинал Рид. — Посмотрите на судьбу Филиппин, Центральной Америки, островов Карибского моря. Везде в этих цветущих странах народ живет на крайнем пределе нищеты, ибо американцы захватили все лучшие земли, национальное богатство принадлежит американским миллионерам, за исключением небольших подачек, которые они дают местным капиталистам и помещикам, чтобы те проводили волю Уолл-стрита. И знайте: американская буржуазия никогда не нападает открыто на страну, которую хочет подчинить своей власти: свое проникновение она начинает с того, что носит лицемерное название «помощи» отсталым странам. С таким же успехом палач мог бы заявить, что он «помогает» осужденному на смерть взобраться на эшафот.

— Помните, товарищи, — говорил Рид, — дядя Сэм никогда не дает чего бы то ни было даром. Он является с мешком, набитым соломой, в одной руке и с кнутом в другой. Тот, кто примет обещания дяди Сэма за чистую монету, тот вынужден будет платить за них потом и кровью.

И мы, революционные американские рабочие, говорим вам, народы Востока: «Не верьте обещаниям американских капиталистов!»

Персждав, пока стихнут аплодисменты, которыми зал одобрил его слова, Рид заключил:

— Есть только один путь к свободе. Объединяйтесь с русскими рабочими и крестьянами, которые свергли своих капиталистов и Красная Армия которых победила иностранных империалистов! Следуйте за красной звездой Коммунистического Интернационала!

В день закрытия съезда мы в последний раз пошли на берег моря. Компания собралась большая. Около неглубокой бухты, которую за это время мы успели уже облюбовать, развели костер. Рид растянулся на земле и молча смотрел на огонь. Потом негромко произнес английскую фразу, в которой упоминались пальцы, пишущая машинка и еще какое-то незнакомое мне слово. Я попросила его сказать то, что он хочет, по-русски. Он сказал, что его пальцы чешутся от желания работать на пишущей машинке.

Жизнь все больше и больше превращала его в политического деятеля, но, пожалуй, никогда еще поэтическое начало в натуре Рида не давало знать о себе с такой повелительной силой. И главное тут не в том, что после долгого перерыва он вновь стал писать стихи и вроде бы заново обрел себя как поэт; главное — в неотвратимой потребности творчески выразить действительность.

Бесконечный поток впечатлений властно потребовал, чтобы Рид начал писать. Мысли о книге не оставляли его ни во сне, ни наяву. То, перестав вдруг замечать окружающее, он каменел, уставившись в одну точку. То так же вдруг начинал рассказывать одну историю за другой. Веселые и грустные, смешные и патетические, они то облакались в форму законченных новелл, то свободно, без развязки, перходили одна в другую. Сначала его речь обычно бывала быстрой, но потом становилась все медленнее. Он говорил, вслушиваясь в собственные слова и как бы проверяя на слух складывавшиеся строки задуманной им книги.

И сейчас, на берегу моря, им, видно, овладело желание как можно скорее приняться за работу. Он вскочил, стал расхаживать у самой воды, распевая: «Мои пальцы чешутся, мои пальцы чешутся». Потом он исчез во мраке и появился не скоро, шумный, веселый, с мокрой головой.

Утро застало нас в поезде, уходившем на север. Слева тянулись пологие предгорья Кавказского хребта, справа Каспий катил тяжелые волны.

Поезд шел неровно: то припускал ходу, то подолгу стоял на станциях. Тогда мы выходили, покупали с рук нехитрую снедь: кукурузные початки, варенные яйца, арбузы, помидоры. На одном полустанке кто-то обратил внимание на цветные бумажки, которыми хозяйки заклеивали окна. При ближайшем рассмотрении эти бумажки оказались облигациями различных акционерных обществ. В Таганроге поезд долго стоял. Мы пошли в город, забрели на кладбище и обнаружили там такую эпитафию: «Упокой, господи, прах обманутого белыми казака станицы Режицкой Семена Кувалдина, вернувшегося в лоно Советской власти».

В Славянске мы слышали, что впереди на дороге «пошаливают». Толком, правда, никто ничего не знал; все говорили, что таскаются, мол, шайки, как голодные волки, а что там у них делается — не поймешь.

Всем не терпелось скорей попасть в Москву, поэтому решили ехать. Держа между колен заряженную винтовку, я всматривалась в степь, уже подернутую красками осени. Все дышало миром — и дымчатое небо, и ярко-голубые озера, и тянувшиеся вдоль дороги кусты, то полет-

нему зеленые, то красновато-коричневые. Все дышало миром и в то же время таило в себе какую-то неведомую опасность.

К вечеру мы благополучно миновали участок, на котором согласно молве особенно «пошаливали». Комендант поезда, назначив дежурных, приказал остальным не зажигать огня и ложиться спать.

Меня разбудила пулеметная очередь. Схватив винтовку, я заняла заранее указанное мне место у окна. Уже светало, на востоке алела полоска зари. Поезд наш стоял в открытом поле, нападающие вели по нему пулеметный огонь из длинного окопа, отрытого параллельно железнодорожному полотну, пули шелкали по крыше и стенкам вагона. Несколько мгновений спустя заработали наши пулеметы, потом наши мужчины, таща за собой два «максима», прыгнули на насыпь и, перейдя в контратаку, стали гнать нападающих. Стрельба уходила все дальше и наконец замсрла. А часа через полтора наши вернулись, сообщив, что противник разбит наголову и путь впереди свободен.

К этому времени совсем рассвело. Кто-то предложил, пока паровоз будет разводить пары, сфотографироваться. Гордые победители разместились на насыпи и на подножках двух смежных вагонов — посредине сияющий Бела Кун, рядом с ним Рид. Фотограф никак не мог установить свою треногу и без конца бегал взад и вперед, поправляя то одного, то другого. Наконец он нашелкал свои снимки. В эту минуту паровоз дал первый, предупредительный гудок. Все вскочили. Рид громко, от всего сердца чему-то смеялся. Потом что-то сказал Бела Куну: очевидно, попросил напиток, потому что Бела отвернул завинчивающуюся пробку фляжки, заглянул в нее, перевернул, пожал плечами — фляжка была пуста. Рид взял фляжку, сбегал с насыпи, зачерпнул воды из протекавшего рядом с насыпью ручейка и напил из фляжки, запрокинув голову.

В Харькове я сошла с поезда, чтобы повидаться с отцом, который был назначен членом Реввоенсовета Южного фронта. Оттуда я поехала в Ташкент, дала Совету интернациональной пропаганды на Востоке отчет о том, что видела и что сделала за время своей командировки в Москву и в Баку, получила путевку для поступления в лекторскую группу Коммунистического университета имени Свердлова.

В Москву я приехала не то восьмого, не то десятого октября. К этому времени работа железных дорог настолько наладилась, что был заранее известен день и даже час прихода поезда, и я смогла дать маме телеграмму, чтобы она меня встретила.

Пока мы тряслись на извозчике по московским бульжным мостовым, мама рассказала мне, что жена Рида Луиза Брайант приехала в Москву и несколько дней до возвращения Рида жила у мамы. Рид знал, что Луиза должна приехать, и попросил маму ее приютить. Последнюю часть своего путешествия из Америки Луиза проделала, переодевшись матросом. У нее не было с собой женской одежды, и первые дни в Москве она ходила в маминых платьях.

Они договорились с мамой, что, как только я приеду, мы придем к ним. Но напрасно стучали мы в дверь их номера в «Метрополе» — никто не отвечал. Потом я была занята экзаменами, потом пришла в районный комитет партии, чтобы встать на учет, и меня тут же мобилизовали в отряд особого назначения. Всех мобилизованных собрали в районном партийном клубе, и Феликс Эдмундович Дзержинский сказал нам, что, по полученным ВЧК сведениям, недавно состоялось совещание специально прибывшего в Советскую Россию представителя Савинкова с его агентурой. На этом совещании было решено организовать все силы внутренней контрреволюции, чтобы сорвать заключение мира с Поль-

шей, а затем приступить к террористическим актам против наших вождей. Цель приказа очевидна — любой ценой помочь Врангелю. Враги учитывают усталость масс, а также продовольственные затруднения, которые мы испытываем; они рассчитывают на то, что скоро наступят холода, что часть красноармейцев плохо одета, и надеются, что сумеют, воспользовавшись всеми этими трудностями, свергнуть Советскую власть. По целому ряду сведений, выступление намечено на ночь с девятнадцатого на двадцатое октября...

Все мобилизованные коммунисты были переведены на казарменное положение. Снова, как это бывало не раз, мы патрулировали по ночным московским улицам.

Всю ночь на девятнадцатое октября я провела на ногах. Устала и прозябла до того, что, вернувшись в районный партийный клуб, который служил нам казармой, хотела тут же завалиться спать. Но командир нашего подразделения не позволил и велел подождать, пока привезут кашу и чай.

— А чтоб не заснуть, почитай-ка газету,— сказал он.

Я взяла протянутую им газету, вяло ее развернула — и с ужасом увидела объявление в траурной рамке:

«Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала извещает о том, что в ночь с 16 на 17 октября скончался от брюшного тифа член Исполнительного Комитета, представитель Объединенной Коммунистической партии Америки

Товарищ Джон Рид

О дне похорон будет объявлено особо».

Командир разрешил мне сбежать домой, но мама тоже знала о смерти Рида только по газетам.

Потом близкий друг Рида, товарищ Сантери Нуортева, который работал в качестве секретаря консульства РСФСР в Соединенных Штатах и знал Рида и Луизу Брайант еще по Нью-Йорку, рассказал мне, как это случилось.

Приехав в Москву, Рид застал там Луизу. Вместе с ней посетил Владимира Ильича Ленина. С восторгом вспоминал Баку и клятву на сверкающих кинжалах. Был полон энергии. Мечтал засесть за работу над книгой. Но когда товарищи предложили ему поехать в Америку, тотчас дал согласие.

Они с Луизой много бродили по Москве, где она была впервые, провели день в Третьяковской галерее, виделись с Вацлавом Вацлавовичем Воровским, который возглавлял тогда Государственное издательство. Познакомились с Клэр Шеридан, английской скульпторшей, приехавшей в Москву, чтобы вылепить бюст Владимира Ильича Ленина. В своем дневнике, который впоследствии был издан, Клэр так записала свои впечатления о Риде:

«Это хорошо сложенный, красивый молодой человек, американский коммунист. Он отказался от всего, что было у него на родине, чтобы отдать свое сердце и свою жизнь работе здесь, в Советской России, и постигнуть ее дух... Я разговаривала с русскими о его книге «Десять дней, которые потрясли мир»; они говорят, что это лучшая книга о революции...»

Несколько дней спустя Рид заболел. Сперва врачи предполагали инфлуэнцу. Потом выяснилось, что это брюшной тиф. Когда я подсчитала сроки, оказалось, что он заразился от воды из ручья, которой напился после боя с бандой, напавшей на наш поезд.

Его поместили в Мариинскую больницу. Окружили заботливым ухо-

дом. Около него дежурила сестра, знавшая английский язык. Врачей тревожило резкое ухудшение работы его единственной почки. Три месяца в холодной камере финской тюрьмы сыграли роковую роль.

Рид умирал. Его можно было снасти, но в Москве не было лекарств. Даже камфары.

В ночь на семнадцатое октября все было кончено.

Гроб был установлен в Красном зале Дома союзов. На лентах, обвивавших венки, были начертаны скорбные слова, которыми советский народ и коммунисты всего мира прощались с Джоном Ридом. Неделю стоял там гроб — и всю неделю непрерывной чередой шли через Красный зал московские рабочие, работницы и красноармейцы.

Когда весть о смерти Рида дошла до Соединенных Штатов Америки, она пронзила острой болью сердца друзей и была встречена с нескрываемым удовлетворением врагами. «Его смерть, — писал один из них, — единственная добрая услуга, которую оказал Рид Соединенным Штатам».

В хмурый воскресный день Москва хоронила Рида. Через площадь Революции траурная процессия проследовала на Красную площадь. Под звуки похоронного марша гроб был опущен в могилу, вырытую у Кремлевской стены.

Три года тому назад здесь, на Красной площади, Рид присутствовал на похоронах пятисот пролетариев, павших во время Октябрьских боев. Сегодня, как и тогда, на Красную площадь стекались тысячи и тысячи людей, военный оркестр играл «Интернационал», и вся толпа подхватывала гимн, медленно и торжественно разливавшийся по площади. Как и тогда, с зубцов Кремлевской стены свисали до самой земли огромные красные знамена с белыми и золотыми надписями: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции», «Да здравствует братство рабочих всего мира!» Порывистый ветер пролетал по площади, развеивая знамена, лица женщин были залиты слезами; земля гулко стучала по гробу, и этот настойчивый звук был ясно слышен, несмотря на пение.

И если бы Рид мог сейчас говорить, он так же, как тогда, произнес бы слова, сказанные им над могилами жертв Революции:

«Русский народ строит на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье...»

Вечером я сидела в маминой комнате, забившись в угол дивана, и меня неотвязно мучила мысль, что, если бы в ту минуту, когда Рид наполнил фляжку водой из ручья, я крикнула и остановила его, все было бы иначе. Тут отворилась дверь, и в комнату вошел Павлуша Волохов. Он молча сел в кресло и долго сидел так, потом сказал:

— Я не умею говорить... Лучше я нарисую.

Он вытащил из кармана карандаш и коробочку с акварелью. Взял лист бумаги. Нарисовал могильный холм. Потом сухую ветку с поникшим на ней одиноким листом.

Увидев, что мои глаза наполняются слезами, он ткнул кисточку в чашку с водой, набрал красной краски и нарисовал луч, тонкий алый луч восходящего солнца, который упал на могилу, на ветку, на одинокий, поникший листок.

— Ты поняла? — спросил он меня.

— Да. Поняла...



---

# ЖУБЛИЩИСТИКА

С. ТИТАРЕНКО

★

## ЛЕНИН О ПРОГРАММЕ ПАРТИИ

**Н**аш народ готовится к знаменательному событию — Двадцать второму съезду КПСС, на котором будет принята новая партийная программа.

Создание и борьба за претворение в жизнь программных положений неразрывно связаны с именем В. И. Ленина. Поэтому недавно выпущенный в свет Государственным издательством политической литературы сборник ленинских документов, статей и речей о партийной программе<sup>1</sup> представляет особый интерес в наши дни. Работы Ленина, включенные в сборник, дают яркое представление о том широчайшем круге проблем, которые привлекли внимание Владимира Ильича при подготовке программы, определившей задачи партии в борьбе за построение социалистического общества в нашей стране.

Первая программа партии была принята на Втором съезде РСДРП в 1903 году. В ней выдвигались задачи партии на этапе борьбы за буржуазно-демократический переворот. Вторая программа, принятая Восьмым съездом РКП(б) в 1919 году, формулировала основные задачи партии в переходный от капитализма к социализму период, в условиях победившей диктатуры пролетариата в нашей стране.

Шестьдесят семь лет назад молодой Ленин вдохновенно писал о рабочем классе: «Когда передовые представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции». В этих поистине прощальных словах было уже сформулировано то, что впоследствии получило название программы-минимум и программы-максимум.

Вопрос о создании марксистской программы партии Ленин поставил в 1895 году, когда русская социал-демократия переживала еще период детства и отрочества. По существу это было продолжением замечательной традиции основоположников научного социализма Маркса и Энгельса, выступивших со всемирно известным «Манифестом».

В. И. Ленин придавал особое значение выработке программы потому, что сплести разрозненные группы социал-демократии в единую пролетарскую партию могли только ясно выраженные идейно-политические задачи и цели борьбы.

В статье «Наша программа», относящейся к 1899 году, Ленин особо подчеркивал, что программа рабочей партии должна стоять всецело «на почве теории Маркса», раскрывшей сущность капитализма и доказавшей неизбежность революционного превращения капиталистического общества в коммунистическое. Ленин уже тогда со всей

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. О программе партии, принятой на VIII съезде РКП(б). Документы статьи, речи. Госполитиздат. М. 1961.

решительностью предупреждал, что последовательным марксистам придется иметь дело со всякого рода «критиками», которые будут стремиться отвергнуть учение марксизма под предлогом его «устарелости». Он говорил, что не может быть крепкой социалистической партии, если нет революционной теории, которая объединяет социалистов и из которой они черпают свои убеждения. Вместе с тем Владимир Ильич указывал на необходимость творческого отношения к революционной теории. «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное,— писал он,— мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни».

Образец развития и обогащения марксистской теории показал прежде всего сам Ленин. Именно он двинул марксизм вперед во всех направлениях применительно к новой исторической эпохе. Материалы, относящиеся к разработке первой, а затем второй программы партии, воспроизводят необыкновенно яркую картину того, с какой научной глубиной, последовательностью и принципиальностью Владимир Ильич ставил коренные вопросы классовой борьбы пролетариата и задачи партии.

Ленин, как никто другой, умел предвидеть тенденции и направление общественного развития, вскрывать реальное соотношение классовых сил, точно определять задачи политической стратегии и тактики, вооружать партию и рабочий класс конкретными лозунгами борьбы, обеспечивающими достижение намеченных целей. В этом отношении весьма показателен ленинский «Проект программы Российской социал-демократической рабочей партии», написанный в 1902 году. Предельная ясность формулировок, четкость классовых характеристик, политическая заостренность поставленных вопросов — вот что сразу же бросается в глаза при чтении этого документа.

Противоположными качествами отличался проект программы, написанный Плехановым, который Ленин подверг резкой критике за его расплывчатость и неопределенность. Владимир Ильич отмечал, что проект этот давал не программу пролетариата, борющегося против весьма реальных проявлений весьма определенного капитализма, а программу экономического учебника, посвященного капитализму вообще. Ленин указывал, что плехановский проект почти совершенно обходил и затемнял эволюцию русского капитализма, порождаемые им противоречия и общественные бедствия. «Партия русского пролетариата,— писал Ленин,— должна в своей программе самым недвусмысленным образом изложить обвинение ею русского капитализма, объявление ею войны русскому капитализму».

В ходе подготовки программы партии Ленин большое внимание уделял аграрному вопросу. Задача состояла в том, чтобы, с одной стороны, вооружить партию правильным пониманием существа классовой борьбы в деревне, а с другой — определить роль крестьянства как союзника пролетариата в буржуазно-демократической, а затем и в социалистической революции. Именно Ленину принадлежит заслуга в постановке и обосновании важнейшего стратегического и политического вопроса о союзе рабочего класса с крестьянством как средства свержения власти царизма, помещиков и буржуазии.

Неоценимое значение имела разработка Лениным национального вопроса в программе большевистской партии.

Пролетарская партия любой страны не может оставить без внимания национальный вопрос. Тем более не могла обойти его наша партия, имевшая дело с трудящимися массами десятков различных национальностей, варварски угнетаемых. Проблема эта в России была одной из самых острых и животрепещущих как на этапе буржуазно-демократической революции, так и в период революции социалистической; от ее правильного решения зависел успех борьбы пролетариата за демократию и социализм.

В. И. Ленин разъяснял, что большевистская партия в отличие от буржуазных демократов и реформистов национальный вопрос подчиняет интересам классовой борьбы пролетариата, подходя к его решению с позиций пролетарского интернационализма. Сплотить трудящиеся массы различных национальностей вокруг русского пролетариата на основе их добровольного согласия — такова была цель марксистской партии.

Программа партии, принятая на Втором съезде РСДРП, сыграла выдающуюся роль в освободительной борьбе рабочего класса России. «Мы на марксистской программе воспитали партию пролетариата», — говорил впоследствии Ленин.

Победа буржуазно-демократической революции в феврале — марте 1917 года внесла существенные изменения в соотношение классовых сил в стране. Основные задачи, которые ставились программой-минимум, были решены, хотя и в своеобразной форме. Серьезные изменения во всей международной обстановке вызвала мировая империалистическая война, породившая, по характеристике Ленина, невиданной силы кризисы — экономические, политические, национальные и интернациональные.

В. И. Ленин, исследуя империализм как высшую и последнюю фазу в развитии капитализма, обосновал теоретический вывод о возможности победы социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой капиталистической стране. Он доказал также, что империалистическая война, невиданный гнет монополий, чудовищные бедствия и разорение широких народных масс — все это на достигнутой степени развития капитализма создает предпосылки для пролетарской социалистической революции.

Таким образом, внутренние и внешние условия диктовали необходимость пересмотра старой партийной программы. Этот вопрос Ленин поставил сразу же по возвращении в Россию, в начале апреля 1917 года, в своих знаменитых Апрельских тезисах, нацеливших партию на борьбу за переход от революции буржуазно-демократической к революции социалистической.

Центральной идеей, пронизывающей все ленинские работы по пересмотру партийной программы, относящиеся к 1917 году, была идея социалистической революции. Владимир Ильич подчеркивал, что Февральская революция сделала лишь первый шаг к прекращению империалистической войны, к превращению ее в гражданскую войну угнетенных классов против своих угнетателей. Вторым шагом ее должен быть переход государственной власти к пролетариату. «Это будет началом всемирного «прорыва фронта» — фронта интересов капитала, и, только прорвав этот фронт, пролетариат может избавить человечество от ужасов войны, дать ему блага прочного мира», — писал Ленин в статье «Задачи пролетариата в нашей революции».

В Апрельских тезисах, а затем в докладе на VII Всероссийской партийной конференции Ленин сформулировал основные моменты, которые он считал необходимым учесть при подготовке новой программы: оценка империализма и эпохи империалистических войн в связи с надвигающейся социалистической революцией; об отношении к государству; исправление устаревших частей политической программы; переработка аграрной программы; добавление характеристики основных течений социализма и некоторые другие.

В своих последующих работах Владимир Ильич подробно развил эти пункты.

С победой Великой Октябрьской революции нужда в новой партийной программе еще более возросла. Надо было дать партии и рабочему классу конкретный план борьбы (уже в условиях диктатуры пролетариата) за создание и упрочение социалистического общественного и государственного строя, поставить задачи партии в экономической, политической, военной и других областях на весь переходный от капитализма к социализму период.

Состоявшийся в марте 1919 года в Москве Восьмой партийный съезд принял новую ленинскую программу Российской Коммунистической партии (большевиков), нацелившую партию на построение социализма в Советской стране. Исходя из этого, программа содержала перечень задач партии и рабочего класса в различных областях общественной жизни, показывала великое историческое значение в решении этих задач.

Изучение материалов по пересмотру и подготовке этой программы раскрывает картину огромной работы Владимира Ильича, его изумительной способности творчески применять марксистскую науку к различным явлениям общественной жизни, гениально предвидеть ход общественного развития. Многие из теоретических и политических положений, сформулированных Лениным в процессе разработки программы, являются весьма актуальными и в наши дни.

Взять, например, вопрос о характеристике империализма. Как уже говорилось, Ленин считал необходимым при переработке старой программы дать характеристику империализма как особой стадии в развитии капитализма. В связи с этим Бухарин, Смирнов, Сокольников и некоторые другие лица предлагали выбросить из программы ту часть, которая характеризовала историю развития товарного производства и капитализма, и ограничиться только характеристикой империализма в его «чистом» виде.

В. И. Ленин вскрыл теоретическую беспомощность этого предложения. Он разъяснил, что «чистый» империализм без его основной базы — капитализма — есть бессмыслица, ибо монополии выросли на базе товарного хозяйства и капитализма с присущей ему анархией производства и конкуренцией. Товарное производство породило капитализм, а он привнес к империализму — такова общая всемирно-историческая перспектива.

Несостоятельность теории «чистого» империализма Ленин видел и в том, что она вела к смазыванию социальных противоречий капиталистического общества, по сути своей являлась разновидностью каутскианской оппортунистической теории «ультраимпериализма», означающего якобы наступление мирной эры капитализма. Ленин показал, что империализм, или монополистический капитализм, не только не сглаживает противоречий капиталистического общества, а, напротив, доводит их до крайнего обострения; что соединение противоречащих друг другу «начал» — монополии и конкуренции — и является существенным для империализма, что именно оно подготавливает его крах, социалистическую революцию.

Ленинские положения о природе империализма, выросшего на своей основной базе — капитализме и немислимого без него, помогают разоблачению современных ревизионистов, утверждающих, что теперь того капитализма, о котором писали Маркс и Ленин, больше не существует. Так, Бродус Митчел во введении к ревизионистской книге Эрла Браудера «Маркс и Америка» писал: «Поскольку дело идет о теории Маркса, у Америки нет никаких поводов для беспокойства. Ведь наиболее важным элементом этой теории, непосредственно связанным с вопросом о революции, было утверждение о том, что при капитализме положение рабочих масс неизбежно ухудшается, пока наконец их нищета не становится непереносимой».

Митчел и Браудер считают, что в современном капиталистическом обществе нет места закону абсолютного и относительного обнищания трудящихся, следовательно, нет и классовых антагонизмов между пролетариатом и буржуазией. Это — повторение старых реформистских сказок о гармонии классовых интересов в буржуазном обществе. Концепция ревизионистов об изменении экономической и социальной природы капитализма направлена на отрицание социалистической революции и диктатуры пролетариата как необходимого условия победы социализма.

Весьма современны и актуальны также ленинские положения о национальной политике партии. И в этом вопросе Ленину пришлось скрестить оружие с Бухариным и его единомышленниками, которые возражали против включения в программу пункта о самоопределении наций. При этом выдвигался софистический довод, будто признание права наций на самоопределение несовместимо с интересами пролетарской революции и принципом пролетарского интернационализма. На самом деле это был довод великодержавных шовинистов. Ленин указывал, что нельзя осуществить подлинное равенство наций без предоставления им права на самоопределение вплоть до отделения и самостоятельного государственного существования. Принцип пролетарского интернационализма в том и состоит, чтобы добиваться полного освобождения народов, находящихся в угнетенном или неполноправном положении.

На этом благородном принципе основано наше предложение о предоставлении независимости колониальным странам, о полной ликвидации позорной колониальной системы, с которым выступил глава Советского правительства Н. С. Хрущев на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре прошлого года.

При пересмотре старой программы Ленин особое внимание уделял характеристике Советского государства как государства совершенно нового типа, коренным образом отличающегося от всех известных ранее в истории типов государств.

Еще до победы Октябрьской революции Ленин, открывший в Советах новую политическую форму диктатуры пролетариата, дал глубокую характеристику Советов, призванных заменить буржуазный демократизм пролетарской социалистической демократией. После победоносного Октября, когда вся власть в стране перешла в руки Советов, Ленин считал крайне важным разъяснить массам всемирно-историческое значение этого факта. «Мы должны теперь вместо старой программы писать новую программу Советской власти...» — говорил Владимир Ильич.

В. И. Ленин показал, что власть Советов представляет собой неизмеримо более демократическую форму государства, чем любое, даже самое демократическое, буржуазно-парламентарное государство. Существо советской демократии в отличие от буржуазной состоит в том, что она не ограничивается провозглашением формального равенства. Главное — это практическая осуществимость пользования равенством и свободой, постепенное привлечение всего трудящегося населения к управлению государством.

Развитие советской демократии должно будет повести к коммунистическому общественному самоуправлению, к отмиранию государства на высшей фазе коммунистического общества — это гениально предвидел Ленин. В своем труде «Государство и революция» Владимир Ильич показал, что экономической основой полного отмирания государства будет такой высокий уровень производительных сил, когда общество сможет осуществить коммунистический принцип распределения.

Ныне советская демократия развивается именно в том направлении, которое предвосхитил Ленин. Расширяется участие народных масс в руководстве хозяйственным и культурным строительством, многие функции, выполняемые государственными органами, постепенно переходят к общественным организациям. По мере продвижения нашего общества к коммунизму этот процесс будет все более углубляться.

В то же время буржуазная демократия переживает все более острый кризис. В ее рамках теперь уживаются и лишенный демократического содержания парламентаризм и открытая фашистская диктатура. Так называемый «свободный мир» есть мир неограниченного господства монополитического капитала. Полностью подтверждается вывод Ленина о том, что империализм означает наступление реакции по всей линии. Мы видим две противоположные тенденции: с одной стороны, расцвет и дальнейшее развитие социалистической демократии, с другой — упадок и разложение демократии буржуазной. Это не случайное, а закономерное явление, обусловленное законами развития социализма и капитализма.

Ленинская программа партии, предусматривающая ликвидацию капитализма и создание социалистического строя в СССР, претворена в жизнь. Социализм одержал полную и окончательную победу. Ныне Советская страна находится на пути постепенного перехода от социализма к коммунизму. В результате великих социалистических преобразований Советский Союз вступил в новый период своего развития — период развернутого строительства коммунистического общества. Партия коммунистов видит свою историческую миссию в том, чтобы построить коммунизм уже при жизни нынешнего поколения.

На Двадцать первом съезде КПСС в докладе Н. С. Хрущева был сформулирован ряд программных положений, отражающих новый этап в развитии советского общества. Было конкретизировано и развито марксистско-ленинское учение о двух фазах коммунистического общества и закономерностях перерастания социализма в коммунизм. Было подчеркнуто, в частности, что к коммунизму общество не может перескочить из капитализма, минуя социалистическую стадию развития. А это значит, что нельзя преждевременно перейти к распределению по потребностям, когда еще не созданы экономические условия, не достигнуто изобилие материальных благ и люди не подготовлены, чтобы жить и работать по-коммунистически.

С другой стороны, указывалось, что при всем отличии социалистической фазы от коммунистической фазы между ними нет какой-то стены. Коммунизм вырастает из социализма, является его прямым продолжением. Подготовка перехода к коммунизму

осуществляется созданием его материально-технической базы, утверждением коммунистических общественных отношений, всесторонним воспитанием всех трудящихся, борьбой за полное преодоление пережитков капитализма в сознании людей. «Коммунизм можно осуществить,— говорил Н. С. Хрушев,— лишь при условии, если мы превзойдем уровень производства развитых капиталистических стран, обеспечим новую, гораздо более высокую, чем при капитализме, производительность труда».

Догнав, а затем превзойдя Соединенные Штаты Америки как по объему производства, так и по размерам продукции на душу населения, мы завершим только первый этап коммунистического строительства. Дальше мерилом будет уже не самая экономически развитая капиталистическая страна, а уровень общественного производства, который позволит перейти к коммунистическому принципу распределения материальных и духовных благ между всеми членами общества. Известно, что при социализме осуществляется принцип распределения по количеству и качеству труда членов общества. Совершенствование этого принципа, строгое его проведение — неперемнное условие роста производительности общественного труда, привлечения всего трудоспособного населения к общественно-полезному труду. Через материальную заинтересованность в результатах труда, а также через рост сознательности людей труд на пользу общества будет постепенно становиться первой потребностью всех членов общества.

Владимир Ильич Ленин в докладе на пересмотре программы на Седьмом съезде партии, в момент, когда молодая Советская республика находилась в невероятно тяжелых условиях, требовал, чтобы партия ясно поставила перед собой цель, к которой должны быть направлены все ее усилия по социалистическому преобразованию общества,— цель создания коммунизма.

К достижению этой цели Советская страна намного приблизилась. Многие из того, что при Ленине представляло лишь отдаленную перспективу, ныне стало или становится живой действительностью.

Сборник ленинских материалов о программе партии помогает читателю глубже осмыслить значение одержанных советским народом побед, яснее видеть величие нашего пути к коммунизму.



---

П. ВОЛИН

★

## В ОБЖИТЫХ СТЕНАХ

**О**дин мой хороший знакомый, инженер, сказал мне: — Строим мы в семилетке, конечно, много. Стройки у всех на виду — миллионы кубометров вынутого грунта, исполинские землеройные машины, сборный железобетон... Широко, размашисто! А ведь у нас теперь целые отрасли промышленности — без парадной шумихи, по-деловому — развиваются не путем нового строительства, но благодаря главным образом реконструкции старых предприятий. Поезжай ну хотя бы на завод «Москабель», увидишь, как это выглядит на практике...

Я последовал этому совету.

1

Впервые увиденный завод. Здесь все ново, все кажется очень разным, невероятно пестрым и потому, должно быть, воспринимается особо обостренно.

На «Москабеле» я увидел много удивительного, очень контрастного. Бесконечная «канитель» легчайшего, тоньше человеческого волоса, провода, выбегающего из алмазных фильер со скоростью девяносто километров в час, и рядом — тяжелые, наполненные маслом или газом гигантские кольца силового кабеля, похожего на упругий под водяным напором пожарный рукав. Очень близкое, вплитык, соседство самых разнохарактерных производств: идет, например, прокат мегалла, и тут же механические «ткачи» плетут из шелка изоляционную рубашку, в которую одевается жила кабеля...

Однако запомнился завод все же не спецификой своего производства, а совсем другим. Строительством!

Нет, не масштабами строительных работ. И не их индустриализацией — территория «Москабеля» даже отдаленно не напоминает современную строительную площадку. Просто, как я вскоре убедился, строительство тут и есть сегодня главное.

На «Москабеле» трудно, почти невозможно найти уголок, где бы не было примет строительства. И везде москабелевцы, показывая и рассказывая, непременно произнесут всеобъясняющее слово «реконструкция». Его слышишь и там, где еще не вбили ни одного гвоздя, например у сброшенных навалом вдоль железнодорожной линии бухт алюминиевой проволоки («После реконструкции этого здесь не увидите — полный порядок будет!»). И там, откуда уже ушли монтажники, — возле небольшого участка недавно пущенного транспортного конвейера («Закончим реконструкцию, только так и будем подавать заготовку и отправлять готовую продукцию — быстро, легко, чисто!»).

Семилетка для «Москабеля» — это коренная и комплексная реконструкция, в стороне от которой не останется ни один винтик сложного заводского механизма.

2

В 1948 году американский журнал «Лук» опубликовал статью «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?». На этот сенсационный вопрос авторы ответили так: даже при полном напряжении сил, при «тотальной мобилизации» промышленных ресурсов Советский Союз не сможет изготовить атомную бомбу раньше 1954 года, иначе говоря, минимум через шесть лет. Почему? «Советское промышленное строительство все еще находится в веке кирки и мотыги», — писал «Лук».

Однако вскоре произошло событие, потрясшее официальную Америку. Пентагон узнал, что на территории СССР проведены испытательные атомные взрывы. О создании советской атомной бомбы вынужден был публично объявить один из самых ярких организаторов «атомной дипломатии», тогдашний президент Трумэн. Случилось это примерно через год после появления пресловутой статьи в американском журнале. А в 1954 году, заметим, в СССР была пущена первая в мире атомная электростанция...

Авторы статьи в «Лук» — довольно компетентные и авторитетные в своих областях люди. Один из них, Джон Хогертон, ведущий инженер двух атомных заводов в США. Второй, Эллисорт Рэймонд, «специалист по России», в 1938—1943 годах составлял доклады посольства США в Москве о советской промышленности, а с 1943 по 1946 год был главным консультантом военного министерства США по вопросам экономики СССР.

Девять отраслей промышленности, имеющих решающее значение для создания атомной бомбы, утверждали Дж. Хогертон и Э. Рэймонд, развиты в СССР чрезвычайно слабо. Одной из таких отраслей они называли кабельное производство.

Это были явно устаревшие представления о нашей стране.

Действительно, до революции во всей огромной Российской империи было лишь четыре заводика, выпускавших кабель: два в Москве, по одному в Петербурге и Киеве. Делали кабель еще и на знаменитом Кольчугинском заводе. Правда, основной продукцией этого завода были медные тазы и самовары, однако в одном из цехов производили и кабель.

Но то было в царской России. А ныне...

Когда мы читаем, говорим, слышим об электрификации нашей страны, о развитии электроэнергетики, перед мысленным взором встают мощные плотины, стянувшие берега широченных рек и вздыбившие могучие горные потоки. Или шагающие через поля и горы стальные великаны — опоры линий электропередач. Или, наконец, громадные электрические машины — турбины, генераторы... Нас поражают и восхищают масштабы, красота и оригинальность технических решений, смелость и грандиозность замыслов.

Есть в этой сумме самых разнообразных вещей одно слагаемое, одна деталь, без которой такие понятия, как электрификация, электроэнергетика, просто немислимы. Эта «деталь», составляющая фактуру современной электротехники, — провод. Точнее, кабель — провод, покрытый какой-либо изоляцией и защитной оболочкой.

С тех пор как в 1871 году бельгийский изобретатель Грамм создал генератор, в основу которого был положен кольцевой якорь с катушкой изолированного провода, кабель стал неперемным «участником» электроэнергетики. Там, где человеком используется электрический ток, он непременно бежит по своим магистралям, спрятанным в землю, или по «дорогам», поднятым над землей, или по бесчисленным «тропкам» внутри электрических машин и приборов. Но ведь электрический ток мы используем теперь везде — в космическом корабле и электрочайнике, электролампе и врубовой машине шахтера, прокатном стане, подъемном кране, локомотиве, радиоприемнике, телетайпе.

Не удивительно, что кабельная промышленность в нашей стране росла невиданно быстро. В предвоенный период выпуск кабеля в СССР увеличился почти в пятнадцать раз, обогнав рост валовой продукции всей промышленности в целом и даже тяжелой индустрии в частности. Да иначе, собственно, и быть не могло: осуществление грандиозной программы электрификации страны, развитие ведущих отраслей техники потребовали невиданного по сравнению с прошлым количества и многообразия кабельных изделий.

Но и в условиях таких стремительных темпов завод «Москабель» рос особенно быстро. Выпуск его продукции за годы довоенных пятилеток увеличился в тридцать шесть раз!

Естественно, что все это время предприятие расширялось, реконструировалось. Год за годом совершенствовалась здесь технология изготовления кабеля, вводились в строй

новые цехи, а старые оснащались более современным оборудованием. Не прекращался процесс непрерывного обновления техники.

И все-таки нынешний день «Москабеля», начавшийся на пятидесятом году его жизни, не похож на все предыдущие.

### 3

Главный специалист Госэкономсовета СССР Сергей Аполлонович Пархомович, к которому я обратился за консультацией по интересующему меня вопросу — какова мера эффективности, если при расширении производства ставку делать на лучшее использование уже имеющихся мощностей,— уверенно заявил:

— Конечно, реконструировать существующий кабельный завод гораздо выгоднее, чем строить новый. В этом отношении спора среди экономистов нет.

Среди экономистов. А среди неэкономистов? Среди, например, технических руководителей предприятий — тех, кому в первую очередь «по оврагам ходить»? Так ли уж все единодушны?

Два года назад технический совет «Москабеля» решал вопрос о реконструкции цеха кабелей связи. Это был по существу первый разговор, связанный с нынешней коренной перестройкой предприятия. И проходил он бурно.

Докладчик, инженер Рафаил Моисеевич Лакерник, раскрыл прямо-таки захватывающие перспективы цеха. Модернизация и замена всего устаревшего оборудования. Применение в технологии новейших научно-технических достижений. Полная ликвидация ручного труда. Специализация цеха, namного сокращающая номенклатуру изделий... И в результате — увеличение выпуска кабелей связи почти в восемь раз.

Казалось бы, кто может выступить против этого?

— Я! — сказал один из технических руководителей завода.— Я против! Построить новый цех, оснастить его по последнему слову техники и тем самым резко увеличить выпуск — вот это было бы правильно. Но реконструировать в такой степени действующий цех — я подчеркиваю: действующий! — значит устроить свистопляску. Может быть, товарищи надеются, что на время реконструкции цех остановят или хотя бы программу снизят? Нет, разумеется! Тогда что же вы предлагаете: одновременно давать «вал» и перестраивать помещение? На имеющемся оборудовании работать и тут же новое ставить? Кабель делать и в то же время технологию ломать? Да это же значит обречь себя черт знает на что!..

Нет, не технический консерватизм говорил в этом человеке. Он вовсе ничего не преувеличивал. Он ясно представлял себе и трезво оценивал действительные, а не выдуманные трудности. И... боялся их немножечко больше, чем другие.

Да, трудности и в самом деле велики. Сегодня, когда в цехах широко развернулись строительные и монтажные работы, они ощущаются куда сильнее и непосредственнее, чем тогда, когда о них ожесточенно спорили на техническом совете.

...Новый эмальцех полон простора и света. Машины, печи и другие механизмы, несмотря на огромные размеры, кажутся легкими, почти ажурными. Впечатление это возникает, должно быть, потому, что в цехе господствуют три цвета — белый, голубой, серебристый.

Установки для изготовления эмалированного провода, высотой с четырех-пятиэтажный дом, уходят конусообразными башнями далеко вверх и там серебристыми вершинами своими сливаются с близной потолка.

Строители, отделявая помещение эмальцефа, руководствовались, разумеется, не только соображениями эстетики — решающее слово было предоставлено техническим требованиям и экономическим расчетам. Благодаря серебристому цвету печей экономится десять процентов электроэнергии. Кафельный пол, белоснежные стены и потолок необходимы для особой чистоты в цехе: толщина покрытия провода эмалью исчисляется микронами, достаточно попасть на сырую эмаль соринке — и на малюсеньком кусочке металлической нити изоляция будет нарушена.

А рядом с этим царством чистоты и порядка, за дощатой перегородкой,— под ногами земля, груды стройматериалов и люди не в белых халатах, а в робах, испачканных кирпичом и известкой.

Старший мастер третьего отделения Юрий Александрович Леонтьев, небольшого роста, худощавый, совсем юного вида человек, быстрый в движениях и разговоре, показывает мне свое хозяйство. Его ни на минуту не оставляют в покое и строители и работники цеха, и ему приходится то и дело отвлекаться, чтобы отдать распоряжения, на ходу решать какие-то неотложные дела, отвечать на вопросы.

— Вот поставили забор,— показывает Леонтьев,— там монтируем оборудование, производим наладку, а здесь уже цех как цех — план даем. Пока цех строился, тоже время не теряли — освоили эмалирование проводов прямоугольного сечения. Такой провод во многих случаях гораздо выгоднее, чем круглый: в обмотке между витками место не пропадает, и накладывается он теснее. Вот та машина, видите, уже работает на программу; четыре, рядом с ней, окончательно смонтированы, не сегодня-завтра пустим, а остальные — всего будет восемь таких машин — еще монтируются.

В цехе будет и шесть машин для эмалирования круглой проволоки. Одна из них тоже недавно начала выдавать продукцию, остальные — в разных стадиях монтажа.

— Чем же вам приходится заниматься больше, Юрий Александрович? Строительством или выполнением плана?

Леонтьев на минуту задумался.

— Да как вам сказать? И тем и другим, конечно,— день на день не приходится. А в общем-то стараюсь больше быть на наладке — на стыке между реконструкцией и работой на программу, отсюда как-то все виднее.

«На стыке» приходится быть не только руководителям эмальцефа. Ведь в каждом цехе, на каждом участке свои «стыки». В цехе силового кабеля рядом с прессом, непрерывно вытягивающим в свое нутро толстую жилу, чтобы одеть ее в «бронированную рубашку» из алюминия, полным ходом демонтируется старая машина и готовится площадка для установки новой — мощного пресса-автомата. В прокатно-волочильном цехе вдоль станков, с бешеной скоростью наматывающих на гигантские катушки медную или алюминиевую проволоку, строятся конвейерные линии, по которым заготовка будет подаваться прямо к волочильным станкам, а от них готовый провод пойдет в другие корпуса. В цехе кабелей связи, ни на минуту не прекращая выпуска продукции, осваивают новые технологические процессы, чтобы в итоге перевести производство кабеля на поток.

«На стыке» работают и директор, и главный инженер, и технологи, и плановики. И это вовсе не легко — думать, заботиться, помнить сразу о двух программах: программе изготовления тысячекилометровой продукции и программе перестройки завода, перепланировки участков, переделки технологии производства. Просто по-человечески трудно — ежедневно, ежечасно раздвигать время, и силы, и мысли.

Значит, все-таки не без основания так волновался на заседании технического совета инженер, возражавший против реконструкции действующего цеха и считавший, что правильнее будет построить новый цех?.. Но ведь речь-то сейчас идет о реконструкции не одного цеха — всего завода!

Кстати, трудности перестройки испытывают не только на самом «Москабеле». Они ощутимы, и довольно-таки серьезно, даже для тех, кто непосредственного отношения к нему не имеет. Проектировщикам, скажем, куда проще, легче подготовить план строительства нового завода, чем план реконструкции старого. На голой площадке проектировщик ничем не стеснен, его ничто не связывает, располагай себе цехи, коммуникации, вспомогательные помещения где угодно и как угодно — было бы только наиболее рационально.

Иное дело на старом предприятии. Здесь все время надо считаться с имеющимися сооружениями, «привязываться» к ним и идти на «жертвы» — или в проекте (от чего-либо отказываться), или на самой заводской территории (что-то ломать, строить заново). Все время приходится взвешивать бесчисленные «за» и «против», чтобы найти

самые целесообразные, оптимальные варианты, принять наиболее разумные решения. Вот одна из подобных «жертв». Цех кабелей связи занимает сейчас площадь в четыре тысячи квадратных метров. Для повышения его мощности, предусмотренной проектным заданием по реконструкции, он будет расширен до восьми тысяч квадратных метров. А если бы возводить новый цех той же мощности, он вполне мог бы уместиться на семи тысячах квадратных метров. Приходится «терять» целую тысячу.

По проекту реконструкции выпуск продукции «Москабеля» в ближайшие четыре года возрастет больше чем в полтора раза. Это значит, что на его территории как бы будет работать еще один — и не маленький! — кабельный завод. Так, может, и в самом деле было бы правильнее, не нарушая и без того напряженного, но зато отлаженного ритма производства, строить действительно новый завод?

#### 4

Как уже говорилось, за предвоенные годы выпуск кабеля в нашей стране вырос почти в пятнадцать раз. Однако развивалась эта отрасль промышленности не совсем обычно.

Дело в том, что ни одного нового предприятия в то время построено не было, колоссальный рост производства важнейшего вида промышленной продукции шел исключительно за счет реконструкции и расширения старых заводов.

Как же оценивать этот факт? Хорошо это или плохо?

Ответить на такой вопрос не просто.

Поистине великолепно, что четыре старых завода сумели менее чем за каких-нибудь двадцать лет дать пятнадцатикратное увеличение выпуска изделий! Но заводов-то оставалось всего лишь четыре. Четыре на такое огромное по территории государство. И только в старых промышленных центрах. И все в Европейской части страны, за тысячи километров от Сибири, Средней Азии, Закавказья, Дальнего Востока.

Так что, говоря о развитии кабельной промышленности в предвоенные годы, можно и восторгаться, и досадовать, и недоуменно пожимать плечами.

Ныне в СССР кабельных заводов десятки, они выросли в районах бурно развивающейся промышленности, поближе к местам добычи сырья и потребления; теперь не надо тратить такие огромные средства, как раньше, на перевозку кабеля из Москвы, Ленинграда или Киева за тридевять земель. И все же...

Несколько месяцев назад я побывал на совещании металлургов в Заполярье. Собрались «черники» и «цветники» со всего Союза, чтобы обсудить вопрос о том, как ускорить внедрение изобретений и рационализаторских предложений в черную и цветную металлургию. Помню, многие из выступавших с болью, обидой, гневом говорили о том, что нередко осуществление исключительно полезных, ценных новшеств тормозится нехваткой различных материалов. Жаловались на отсутствие металла, труб, электроарматуры и особенно — кабеля. Буквально каждый, кто касался недостаточного материально-технического снабжения, непременно поминал те или иные кабельные изделия.

Выпуск кабельной продукции растет быстро. Но его все равно опережает спрос. А в ближайшие годы потребность в кабеле увеличится еще более. Ведь семилетка — это и решающий этап воплощения бессмертной ленинской идеи сплошной электрификации страны, и ускоренный технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства, и крутой разворот индустриальных сил восточных районов страны. А для всего этого нужен кабель, кабель, кабель. Миллионы километров кабеля — самого разного, от тончайшего провода для обмотки миниатюрных катушек в приборах до электрических магистралей, выводящих энергию с гидравлических и тепловых электростанций.

Поэтому мы строим, будем строить и дальше новые кабельные заводы. Этого требует рациональное размещение производительных сил в стране.

И все-таки основной резерв нашей кабельной промышленности — реконструкция существующих предприятий. За счет этого главным образом будет идти в нынешнем семилетии увеличение производства кабеля.

Почему?

Вот на этот вопрос можно ответить коротко и определенно: так диктует экономическая целесообразность.

«Москабель» повысит выпуск продукции более чем в полтора раза. Конечно, такой рост даром не дастся, он потребует затрат, и немалых: тринадцать с лишним миллионов рублей. Однако на строительство нового завода, который бы давал продукцию, равную по количеству такому приросту, понадобилось бы чуть ли не двадцать миллионов, раза в полтора больше.

И это вполне естественно: при сооружении нового кабельного предприятия половина вложений идет на капитальное строительство; при реконструкции же «Москабеля» соотношение совершенно другое: один к семи. Что это значит? То, что на оснащение завода новым оборудованием, на модернизацию машин, механизацию и автоматизацию производства средств будет затрачено в семь раз больше, чем на возведение и расширение помещений. А это чрезвычайно важный показатель. Чем больше средств вкладывается в «начинку» цехов станками, приборами, аппаратами, тем сильнее они будут насыщены машинными средствами изготовления продукции, тем выше окажутся их потенциальные возможности.

Есть еще один фактор, который неминуемо перетягивает чашу весов в пользу реконструкции, против нового строительства. Фактор времени.

В 1922 году, когда наше народное хозяйство было разрушено и истерзано и страна только-только начинала оправляться после двух перешедших одна в другую войн, В. И. Ленин с исключительным ясновидением и непреклонной верой говорил о том, что новый общественный строй позволит нам нагнать развитые капиталистические страны с такой быстротой, которую они себе и не мыслят. «Мы научились понимать, что значит срок. И надо, чтобы мы этому учились и дальше,— подчеркивает Владимир Ильич в речи на сессии ВЦИК.— В фантастическую быстроту каких бы то ни было перемен у нас никто не поверит, но зато в быстроту действительную, в быстроту, по сравнению с любым периодом исторического развития, взятым, как он был,— в такую быстроту, если движение руководится действительно революционной партией, в такую быстроту мы верим и такой быстроты мы во что бы то ни стало добьемся».

В конце концов и сооружение новых предприятий и перестройка существующих — эти лишь разные средства достижения общей цели: получить наибольшую отдачу. Учитывать при этом фактор времени — значит обеспечивать нужные темпы экономического развития.

Разумеется, чтобы создать новые мощности на голом месте, нужен большой срок, чем в обжитых стенах. Однако это лишь одна, наиболее заметная сторона фактора времени. Другая, отнюдь не менее важная сторона проявляет себя только после того, когда уже и стены есть и даже в стенах все, что надо, имеется, но они еще не обжиты, эти стены. Освоение технологических процессов, отлаживание производства, подготовка кадров требуют времени.

«Москабель» на каждый рубль, взятый для реконструкции, будет ежегодно возвращать «натурой» без малого шесть рублей (вот уж поистине долг платежом красен!). Причем такая отдача начнется сразу, буквально на следующий день после окончания работ. И это вполне понятно: завод перестраивается на ходу; монтаж, отладка, освоение — все это делается параллельно, одновременно. Реконструкция постепенно вводит новую технику, новые условия и методы производства. На «Москабеле» эта постепенность выглядит так: ежегодно завод будет увеличивать выпуск продукции в среднем на десять процентов и таким образом к концу реконструкции достигнет запланированного прироста объема производства.

А на новом, только что выстроенном заводе? Прежде всего далеко не шесть рублей на каждый рубль капитальных вложений, а значительно меньше. Но дело даже не в этом. Здесь окончание строительства вовсе не означает, что предприятие начало работать в полную силу. Эти два момента разорваны и раздвинуты периодом освоения. Поэтому новый завод далеко не сразу, а в течение ряда лет достигает намеченного уровня производства — ряда лет после окончания строительства. Следовательно, сроки получения наибольшей отдачи растягиваются еще больше!

## 5

Итак, за реконструкцию, кажется, всё: прямая экономическая выгода, выигрыш времени.

Однако, говоря о реконструкции, мы все время имели в виду общегосударственные интересы, выгоду в масштабе всей страны: при значительно меньших затратах и в возможно кратчайший срок государство получает существенный прирост промышленной продукции.

С точки же зрения чисто «местных» интересов, интересов самого предприятия, реконструкция не только выгодна, но и необходима. Любой завод живет во времени и пространстве, живет требованиями, продиктованными взаимозависимостью и взаимосвязями завода с другими предприятиями, целыми промышленными отраслями, общими тенденциями технического прогресса.

Предположим, что «Москабель» реконструироваться не стал бы, техника, методы производства и сами производимые на нем изделия остались старыми. Очень быстро тогда завод окажется под ударами и тех, кто работает на него, и тех, на кого работает он.

Химики освоили производство пластмасс и других прочных и дешевых материалов для электроизоляции и защитной оболочки. А на «Москабеле» будут по-прежнему потреблять шелк, бумагу, пряжу?

Приборостроение создало новые, более точные, надежные и быстродействующие приборы автоматического регулирования. А здесь будут работать на устаревшем оборудовании? В иных случаях на машинах, которые установлены тридцать, сорок, пятьдесят лет назад, а то и вручную?

Алюминий великолепно «справляется» с функциями и жилы и оболочки кабеля. А москабелевцы будут использовать для этого дефицитные и дорогие металлы — медь и свинец?

И, наконец, что же, «Москабель» так и останется на уже завоеванных позициях? По-прежнему будет выпускать продукцию старинного «покроя»?

Нет, нет и нет! Все будет не так. Смысл сегодняшней реконструкции «Москабеля» именно в том и состоит, что она позволит разом, единым махом разубить весь узел проблем, стоящих перед заводом.

...Не так давно на «Москабеле» побывал представитель лондонской фирмы «Норт-гемптон машинери», конструктор кабельных машин Джон Харви. О своих впечатлениях, в общем вполне объективных и доброжелательных, он рассказал в журнале «Вайер индустри». Многие привело английского инженера в восторг и волочильные машины, изготавливающие тончайшую проволоку, и новые механизмы для эмалирования не только медного, но и алюминиевого провода, и мощный гидравлический пресс в цехе силовых кабелей, да и весь этот цех — один из самых крупных, которые мне приходилось видеть».

«Нам сказали, — пишет в заключение Джон Харви, — что семилетним планом предусмотрена реконструкция значительной части завода. Очень хотелось бы побывать еще раз на «Москабеле» через несколько лет, чтобы увидеть, какие успехи на нем будут достигнуты за это время».

Чтобы представить себе «Москабель» через несколько лет, достаточно уже сегодня пройти по его цехам, взяв в качестве путеводителя план реконструкции завода.

Цех кабелей дальней связи. Вот недавно пущенная машина, сваривающая защитную оболочку из алюминиевой ленты токами высокой частоты. Процесс идет непрерывно, под чутким наблюдением автоматических корректирующих устройств.

Машина для сварки алюминиевой ленты — первая из серии механизмов подобного рода. Говорят, что одна ласточка не делает весны. Верно. Тем не менее первая ласточка — верный ее провозвестник. Особенно, когда на подлете еще и еще — идет освоение высокочастотного эмалирования, москабелевцы ищут возможности применения высокочастотной сварки при изготовлении алюминиевой оболочки и для силовых кабелей.

В ближайшие годы на «Москабеле» найдут широкое применение не только гоки высокой частоты, но и другие новые, прогрессивные способы обработки, в том числе

ультразвук, инфракрасные лучи, что позволит целый ряд операций перевести на автоматiku.

Алюминий становится основным сырьем для производства кабеля, идя на смену свинцу и меди. К концу семилетки его удельный вес в кабельной промышленности должен достигнуть семидесяти процентов. Насколько это важно для народного хозяйства, видно из такого примера: если бы на изготовление жилы шла только медь, то, учитывая быстро растущие потребности в кабеле, половину всей мировой добычи этого ценнейшего металла пришлось бы отдать кабельщикам.

На «Москабеле» в результате реконструкции перевод медной жилы на алюминиевую сократит ежегодное потребление меди на шестьдесят с лишним тысяч тонн. Почти столько же свинца сбережет ежегодно и замена свинцовой оболочки алюминиевой и пластмассовой.

Да, и пластмассовой. «Большие молекулы» будут все шире использоваться на «Москабеле» в качестве оболочки, изоляции. Бумагу, шелк, пряжу вытеснят такие отличнейшие материалы, как стекловолокно, кремний-органические соединения. А ведь это, помимо огромной экономии, резко улучшит качество изделий, удлинит их жизнь. Так, применение проводов с кремний-органической изоляцией увеличивает срок службы электромашин в четыре раза, врубовых машин и угольных комбайнов — в шесть раз.

Пройдем теперь в эмалицах.

Под потолком протянулась металлическая лента конвейера. Она будет подавать готовую продукцию прямо на склад. Здесь программные устройства быстро и безошибочно рассортируют тысячи катушек с разным эмальпроводом и в буквальном смысле разложат их по полочкам.

Конвейерные линии уже сейчас можно видеть и в других цехах. А к концу реконструкции они опояшут весь завод, станут основным видом внутризаводского транспорта, избавив людей от ручной погрузки и выгрузки заготовок, полуфабрикатов, деталей, от перевозки всего этого на суматошных, суетливых электрокарах.

Насыщенность завода техникой будет такова, что полуторный рост выпуска продукции потребует увеличения числа работников лишь на два с третью процента.

Силовой цех. Вот машина для наложения бумажной изоляции маслонаполненного кабеля. Она помещена под гигантский стеклянный колпак: операция должна производиться в абсолютной чистоте. Удивительная машина! На протяжении сорока—пятидесяти метров действуют «в унисон» свыше двух десятков сложных агрегатов. Каждый из них множеством «рук» напоминает индийского бога Шиву. Только Шиву мы видим всегда недвижимым, а тут «руки» быстро и беспрестанно взмахивают, бережно пеленая в бумажную ленту плывущую жилу.

Эта великолепная машина появилась на заводе сравнительно недавно. Но и ее уже коснулась беспокойная москабелевская жизнь, коснулась реконструкция: начато изготовление установки для автоматического регулирования температуры и влажности воздуха под стеклянным колпаком, которая позволит еще более усовершенствовать технологию изолирования маслонаполненного кабеля.

Вот так на «Москабеле» везде и во всем: устаревшее заменяют новым, среднее по качеству — хорошим, хорошее — превосходным. И уже сегодня можно увидеть черты завода, каким он станет завтра.

## 6

Быть может, именно это «видение» завтрашнего родило в москабелевцах порыв, так сильно ощущаемый с первой же минуты пребывания на заводе. Реконструкцией здесь «заболели» не отдельные энтузиасты. Идея сделать все первоклассным — забота всего коллектива.

Недавно на заводе создано новое конструкторское бюро. Это по приказу директора.

Рабочие-рационализаторы (а таких на заводе больше тысячи!) А. Иванов, А. Волков, Е. Сумкин взялись за модернизацию крутильных машин. Это уже не по чьему-либо распоряжению, а по собственной инициативе.

Конструкторское бюро занялось решением проблем автоматизации производства. Модернизация крутильных машин позволит ускорить в полтора раза изготовление жилы кабеля. И то и другое — на реконструкцию.

На реконструкцию! Этим живет сегодня столичный «Москабель».

И думается, что дело здесь не в одном лишь сознании ответственности и долга перед государством. Дело еще и в том, что человек наш по природе своей, по воспитанному в нем чувству слитности с коллективом, чувству хозяина своего цеха, своего предприятия, своей страны просто не может, не в силах оставаться равнодушным к судьбе завода, с которым связаны его жизнь, его прошлое и будущее.

Недавно в «Известиях» было напечатано письмо группы работников трех старинных уральских заводов — Чусовского, Лысьвенского, Нытвенского. Озаглавлено оно было довольно прозаично: «Мы можем работать прибыльно», — но сколько душевной боли звучало в каждой его строке!

Родоначальники отечественной металлургии, появившиеся на заре промышленного развития России, эти предприятия с годами утратили былое значение, уступив место своим младшим собратьям — гигантам, родившимся в более счастливые времена, в бурные годы индустриализации СССР. С истинно хозяйской, государственной заботой о своих заводах товарищи писали в газете о том, что их предприятия могут, должны и ныне играть заметную роль в экономике страны. Надо только изменить к ним отношение планирующих организаций, вникнуть в их нужды, учесть их возможности и не пожалеть средств для их реконструкции — средства эти окупятся с лихвой.

«Москабель» родился под счастливой звездой. Молодость его совпала с началом социалистической индустриализации, и с тех пор, став в авангард созидательных битв, он быстро мужал и рос, не старея. Судьба «Москабеля» сложилась счастливо потому, что страна наша все годы стремительно двигалась вперед, невиданными темпами поднималась ее экономика, претворялись в жизнь небывалые по своему размаху планы технического перевооружения. Широкое и могучее дыхание страны вливалось в старый завод новые силы, заставляя его идти с ней в ногу в великом походе.

Все предыдущие годы он был первым по росту выпуска продукции, а теперь станет первым среди существующих кабельных предприятий, образцовым заводом по механизации и автоматизации труда. Когда-то, много лет назад, в Рыбинске был создан филиал «Москабеля». Старший помог быстрее стать на ноги младшему. Ныне же «Москабель» по увеличению объема производства даст стране по существу еще один кабельный завод — завод, который не будет вновь построен.

И сегодняшний день «Москабеля» тоже продиктован устремлениями страны, точно рассчитанными и ясно выраженными семилетним планом. Впрочем, в этом отношении судьба «Москабеля» — это судьба многих наших старых предприятий.

В докладе на XXI съезде партии Н. С. Хрущев, подчеркивая необходимость наиболее рационального использования капиталовложений, показал, что расширять и реконструировать действующие предприятия экономически выгоднее, чем строить новые. Он привел очень наглядный пример из черной металлургии: капитальные вложения на тонну чугуна при строительстве Карагандинского завода составят 2347 рублей (в старых деньгах), а при расширении Магнитогорского комбината — всего лишь 1947 рублей. Четыреста рублей экономии только на одной тонне чугуна! А ведь комбинат выпускает миллионы тонн металла в год.

Но, может быть, такие разительные показатели характерны лишь для металлургических предприятий? Совсем нет.

Химическая промышленность. Реконструкция Воскресенского химического комбината, позволяющая в два раза увеличить выпуск продукции, потребует двадцати одного миллиона рублей в нынешних масштабах цен. Строительство же нового предприятия такой мощности обошлось бы вдвое дороже.

Текстильная промышленность. На текстильных фабриках Московской области в результате реконструкции и частичного расширения будет дополнительно вырабатываться продукции более чем на триста миллионов рублей. Затраты на реконструкцию в 1,6 раза меньше, чем на строительство предприятий, вырабатывающих такое количество текстиля.

Машиностроение. Автоматизация производства и некоторое расширение Первого шарикоподшипникового завода, увеличивающие выпуск изделий на семьдесят пять процентов, требуют средств в два с лишним раза меньше, чем на строительство нового завода такой же мощности. Реконструкция другого московского предприятия — завода литейных машин «Красная Пресня» — позволит более чем в три раза увеличить выпуск литейного оборудования, а капитальных вложений для этого понадобится вдвое меньше, чем на строительство нового завода, рассчитанного на выпуск такого количества литейных машин.

Вот почему после XXI съезда партии в ряде отраслей промышленности был взят очень по-хозяйски разумный, дальновидный курс на их развитие преимущественно за счет реконструкции и расширения действующих предприятий.

Реконструкция, расширение, техническое обновление наших заводов и фабрик (разумеется, наряду со строительством новых) — это не временная тактика, вызванная преходящими соображениями и носящая чисто местный характер. Нет, это выработанная партией стратегия хозяйственного строительства. Стратегия, основанная на всестороннем учете таких факторов экономики и политики, как экономическая целесообразность, фактор времени, общая направленность технического прогресса. Стратегия, открывающая наиболее действенный и короткий путь к созданию материально-технической базы коммунизма, к победе социализма в мирном экономическом соревновании с капитализмом.

Она, эта стратегия, несомненно, найдет свое отражение в программе развития нашей экономики и культуры на ближайшее двадцатилетие, которую примет предстоящий XXII партийный съезд.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. БУРТИН

★

## БЫТЬ ХОЗЯИНОМ!

«Клепку в Алексеевскую доставляют странным путем: сперва она идет от Архангельска до Котласа по железной дороге, с пересадкой в Коноше, потом по реке, в обратную сторону, на маслозавод.

— Почему же ее не посылают к вам сразу по Двине — из Архангельска? Это же втрое короче!

— Не знаю. Я говорил. Начальство поставлено в известность. Что мне в это дело вязываться? Пусть большие мужики думают» (Константин Мурзиди. «Минувшим летом. Северодвинские зарисовки». «Наш современник», № 2, 1960).

«На Белогорский рыбоприемный пункт несколько дней подряд приходили прорези с Зареченского рыбозавода, переполненные рыбой. ...Больше было леща и судака. Тщетно пытаюсь спастись, рыба билась в носилках, взметывалась, разбрызгивая во все стороны золотистую, искрящуюся на солнце икру.

Прорези, на которых привозили собранную у рыбаков рыбу, весь пол живорыбного садка, носилки, сачки, которыми вычерпывалась рыба, все было густо покрыто половозрелой икрой. Впечатление было такое, будто все густо намазано мылом. И в этом несметном множестве малюсеньких желто-белых икринок, что были растерты на полу сапогами, что причудливыми паростами налипали к носилкам, что увозились машинами во чреве не успевшей отнереститься рыбы, безвременно, расточительно и бессмысленно погибали миллионы будущих лещей, судаков, язей и сазанов» (Владимир Бритвин. «В разлив... Волжские очерки». «Наш современник», № 4, 1960).

«— Жабрей жулик,— сказала тетя Лина.— И об нем разговор может быть один — через милицию. Мы ему более ходу не дадим.

Как сор, сметем... Другое меня заботит, сердце жмет. Почему груды наших, богатство наше не к рукам приходится? Почему ни кормов, ни выюна — ничего на всем пути не организовано? Кто-то ведь за это отвечает. И должен ответить!

...Я слушал спокойную речь тети Липы, смотрел на милые лица Наташи, Лизы, на смуглого и серьезного Гришу Самохина, на деловитого Петьку, который занялся телевизором, и думал, что при таких хозяевах плесень в нашем доме недолго проживет, где-то ей будет держаться — выметут» (Лев Лубнин. «Десять дней по следам Васьки Жабрея. Из дневника журналиста». «Наш современник», № 6, 1960).

Читая очерки, напечатанные в прошлогодних номерах альманаха «Наш современник», я обратил внимание на то, как настойчиво звучит в них один мотив: человек — хозяин своей страны. Хозяйское чувство в человеке социалистического общества — эта тема меня давно интересовала, и я решил повнимательнее приглядеться к тому, что говорят об этом писатели-очеркисты 1960 года, встретившиеся на страницах одного из наших «толстых» журналов.

Мы часто это говорим: советский человек — хозяин своей страны. В политическом и экономическом смысле это стало фактом уже на другой день после залпа «Авроры». Трудовой народ стал коллективным хозяином своей страны, и каждый гражданин получил на нее равную с другими долю прав. Но есть еще другая сторона — психологическая. Стать хозяином страны и ощутить себя им — не одно и то же, научиться всегда и во всем руководствоваться интересами общества — тем более. Человек,

вчера только вышедший из недр старого быта, не может мгновенно отказаться от собственных привычек и эгоистических стремлений, а с другой стороны — не может мгновенно проникнуться хозяйской любовью к общему, хозяйской заботой о нем, хозяйской ответственностью за него. Для того чтобы воспитать в народе социалистическое хозяйское чувство такой силы, чтобы оно превзошло «равнодействующую» всех прошлых «хозяйских» чувств, многое нужно, и прежде всего попросту время.

Уже первые месяцы и годы после Октября изобиловали замечательными проявлениями революционного энтузиазма и революционной сознательности трудящихся. Маяковский в поэме «Хорошо!», воспевая героизм первых коммунистических субботников, резко подчеркнул выразившееся в них новое отношение к собственности:

В наши вагоны,  
на нашем пути,  
наши  
грузим  
дрова.

Но проникновение этого чувства в самые широкие массы — процесс длительный и сложный.

В. И. Ленин отмечал в 1918 году, что рабочие и крестьяне «еще не освоились с тем, что они — теперь господствующий класс», и призывал рабочих бороться со старой привычкой, в силу которой люди несознательные «хотели бы относиться к народной фабрике, к фабрике, перешедшей в собственность народа, по-прежнему с точки зрения единственного помышления: «урвать кусок побольше и удрать».

В крестьянстве собственнические привычки были, понятно, еще более стойкими. Помните в «Поднятой целине» «думки» Кондрата Майданникова, уже вступившего к тому времени в колхоз:

«Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это? Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят, — мне хоть бы что, а как до своего дойду, гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в грудях, — кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послаже сенца кинуть, попырейстей, помельче. И другие так-то: сохнет всяк возле своего, а об чужих и — бай дюже. Ить нету зараз

чужих, все наши, а вот так оно... За худобой не хотят смотреть, многим она обчуждала...»

Свое уже стало общим, но общее еще не стало своим — как точно запечатлен Шолоховым этот переломный момент в развитии классовой психологии крестьянства!

Но в то же время Шолохов в «Поднятой целине» отразил не только силу и цепкость единоличных привычек и чувств, но и бурно протекающий процесс социалистической перестройки крестьянского сознания. Его Кондрат Майданников не только замечает в себе и в других, но и осуждает «проклятую жаль»...

Как же решается эта проблема в наши дни? Вернемся к тому, о чем рассказали нам очерки «Нашего современника». Но прежде несколько слов о самых этих очерках, о месте, которое занимают они в альманахе.

Критики часто, как об утраченном рае, вспоминают о том легендарном времени, когда читатель начинал читать литературный журнал с критического отдела. Нечто подобное, только в применении не к критике, а к очерку, происходит сейчас с альманахом «Наш современник»: многие из постоянных его читателей раньше всего открывают в нем, наверное, отделы очерка и публицистики. Если сегодня попытаться вспомнить, что было напечатано в альманахе, скажем, в 1956—1959 годах, то прежде всего придут на память очерки И. Винниченко, В. Канторовича, В. Солоухина, Л. Лубнина, В. Пальмана, Л. Ротова.

И в 1960 году «Наш современник» был интересен опять-таки по преимуществу своими очерками и статьями. Его беллетристика, за немногими исключениями, была менее удачна и меньше отвечала той задаче, решать которую обязывает само название этого издания. «Вытягивали» альманах его заключительные отделы.

Самые различные виды очерков найдет читатель в шести книжках альманаха: очерки-информации И. Пешкина и лирические очерки В. Солоухина, публицистические очерки Л. Иванова и путевой дневник поездки в Африку В. Сафонова, социально-психологические очерки, примером которых могут служить «северодвинские зарисовки» К. Мурзиди, и литературные портреты, принадлежащие перу Б. Полевого и Л. Славина.

Особенно «повезло» на этот раз и количественно и качественно социально-психологическому очерку, то есть очерку, главное содержание которого — живые характеры современников и, через них, развивающиеся в современном обществе социальные процессы. Именно таковы произведения, выписками из которых открывается эта статья.

Очерки эти очень разные.

Кировский очеркист Лев Лубнин выступает в «Нашем современнике» уже не первый раз. Как и предыдущая его вещь, «Матвей Двухэтажный» (№ 6, 1959), его новые очерки «Десять дней по следам Васьки Жабрея» привлекают правдой характеров и своеобразным сочетанием проблемности и лиризма, яркой пейзажной живописью и интересными размышлениями о народе, об искусстве, о счастье.

Содержанием очерков Владимира Бритвина «В разливе...» является подробный и публицистически страстный рассказ о том, как по вине организаторов рыбного промысла и хищников-браконьеров катастрофически уменьшаются рыбные запасы Волги и Каспия. Очерки написаны талантливой, но, чувствуется, неопытной рукой: они несколько растянуты, вторая их половина явно слабее первой. Тем не менее их прочитываешь с маху, за один присест: так сильно пронизывающее их гражданское чувство и такой живой отклик в душе находят самоотверженная борьба главного героя, инспектора рыбнадзора Рубцова, против расхитителей народного достояния.

Главная особенность очерков Константина Мурзиди «Минувшим летом» — это их, так сказать, «искусная безыскусственность». Москвич приехал на лето в деревню и как бы без всякого отбора, без всяких забот об изящности изложения записывает все, что видит, все, что слышит, и все, что об этом увиденном и услышанном думает, — в результате же встает довольно цельная картина. Правда, не обошлось и без просчетов: есть странички, где «безыскусственность» и «неотобранность» впечатлений оборачиваются вялостью изложения, и интерес читателя ослабевает. Но в конечном итоге сильная сторона произведения — живой представленный быт современного села, удачные зарисовки северодвинской природы, несколько достаточно ясно, хотя и бегло очерченных характеров — перевешивает слабую.

В очерках сибирского писателя Петра Ребрин «Свет от людей. Из сибирских впечатлений» («Наш современник», № 2, 1960) рассказчиком выступает корреспондент областной газеты, посланный редакцией разобраться в коллективной жалобе, которая поступила на председателя одного из колхозов. Жалоба оказалась несправедливой. Разобравшись в обстоятельствах дела, корреспондент увидел в ней проявление той борьбы, которую ведет отсталая, собственнически настроенная часть колхозников против мероприятий по укреплению и подъему коллективного хозяйства. Вместе с тем он увидел в жизни колхозной деревни и в самих людях ряд новых и отрадных явлений. Диалектика сегодняшнего состояния деревни, контрастные по отношению друг к другу образы ее людей, нарисованные в большинстве своем сильно и выразительно, и составили основное содержание очерков П. Ребрин.

Из сказанного уже видно, что содержание всех четырех произведений весьма различно, а принадлежность их к одной и той же разновидности очеркового жанра совсем не означает какого-либо однообразия их литературной формы. Но есть у них и один пункт сходства: таким пунктом оказывается, как мы видели вначале, проблема хозяина, для каждого из этих очерков являющаяся если не центральной, то во всяком случае очень важной.

При чтении очерков читателя не покидает ощущение, что писатели хорошо знают жизнь и идут непосредственно по жизни, не подгоняя ее под какую-то заранее заданную схему. Не лишено интереса и то обстоятельство, что Лев Лубнин сам прошел с гуртом скота тот путь от колхоза до мясокомбината, который описан им в очерках «Десять дней по следам Васьки Жабрея», а Владимир Бритвин до последнего времени работал инспектором рыбнадзора в городе Вольске.

Итак...

В очерках П. Ребрин «Свет от людей» очень симпатичен председатель колхоза Степан Федорович Лавров.

«...За дверями послышался разноголосый шум, топанье ног, и в кабинете в окружении людей появился председатель колхоза. Это был невысокий, плотный человек, в белоснежной рубашке, в черных, тщательно

отутюженных галлифе и в хромовых... сапогах. На крупном, красноватом от природного здоровья лице неожиданно яркими казались голубые глаза. ...Лицо, глаза и весь вид показывали, что он словно бы целый день провел на народе, распоряжался, убеждал, уговаривал, может быть, кричал, — с таким оживленным видом он объявился».

Уже эти первые строчки располагают к Лаврову. Несколько лет тому назад председатель колхоза в книгах наших писателей выступал как фигура чаще всего отрицательная: зазнавшийся и «отставший», он вступал в конфликт с передовыми силами деревни. В такой «расстановке сил» нередко сказывалась литературная схема, но была тут и какая-то правда: состав председателей колхозов был тогда действительно не удовлетворителен и нуждался в решительном обновлении. За последние годы в этом направлении сделано очень много, роль председателя сильно возросла, авторитет его укрепился, и этот факт довольно точно отразился в литературе.

«Оживление и шум, начавшиеся с приходом Лаврова, не смолкали ни на минуту. Он подписывал счета и разговаривал то по телефону, то с людьми, толпившимися у стола и сидевшими вдоль стен. Вот он снова снял трубку, все заговорили вполголоса, он слушал, все кивал-кивал согласно, но вдруг откинулся и застонал: «Ай-яй-яй-яй» и бросил трубку.

В кабинет быстро вошел коренастый, широкоплечий человек лет сорока пяти, с простоватым, добродушным лицом.

— Ну, что, Пахотин? — закричал, увидев его, Лавров.

— Нету.— Человек опустил голову.— Четырехмиллиметрового нету во всем Омске, хоть задави.

Лавров замычал, как от зубной боли, снова схватил трубку, попросил вызвать город, а в ожидании ответа, не расставаясь с трубкой, сказал Пахотину, чтобы тот готовил какую-то раму, а он, Лавров, все же постарается достать четырехмиллиметровое железо».

Воочию видишь перед собой этого человека: видишь, как он разговаривает по телефону, как встречает Пахотина, как огорчается, узнав, что тот не привез железа.

Это живой человек, а не председатель колхоза «вообще».

Вот женщина, видимо доярка, жа-

лется председателю колхоза на то, что на ферму не завезли мела.

«— Не завезли? — Лавров повертывается к женщине и раскладывает локти на столе. Он не просто смотрит на нее. Его взгляд как бы отдыхает на ее лице, он, как мне кажется, испытывает удовольствие при виде этой счастливой озабоченности. И я тут понимаю, что он живет всем этим: разговорами о меле для подкормки, о преждевременно родившемся теленке, о ремонте старого дома, в котором «косяки покосоротило», о земле, о навозе. В этих делах смысл его жизни».

Небольшая сценка — и к толпе наших литературных знакомых прибавился еще один очень хороший человек, настоящий хозяин в новом, социалистическом смысле этого слова, хозяин-коллективист, хозяин-коммунист, самая интересная и самая главная фигура современности.

«Я ловлю себя на том, — продолжает автор-рассказчик, — что начинаю чувствовать симпатию к этому хлопотливому, непоседливому человеку, все так остро воспринимающему...»

Мы вполне разделяем эту симпатию очеркиста к своему герою и соглашаемся: да, от таких людей — свет.

Вообще любопытная вещь: те герои очерков, кого можно назвать хозяевами новой складки, — все хорошие, по-настоящему симпатичные нам люди; напротив, все те, кто равнодушен к общественному, какими бы разнообразными, на беглый взгляд, достоинствами они ни отличались, неприятны нам.

Таково отношение к ним автора, и читатель вполне его принимает: и для того и для другого оно кажется естественным, если не единственно возможным.

— Что же тут удивительного? — могут меня спросить. Удивительного, конечно, ничего нет, но новизна есть. Ведь так было далеко не всегда. Каждая эпоха по-своему проводила водораздел между хорошим и дурным. Глубоко знаменательно, что в нашу эпоху, когда рождается общество действительно и полного равенства и коллективизма, водораздел этот проходит именно здесь.

В очерках «Нашего современника» много хороших людей.

Бригадир рыбаков Иван Васильевич Кантелеев, которого, как огня, боятся браконьеры и который больше всех в округе

сдаст государству рыбы, выступает за то, чтобы начисто отказаться от губительного весеннего лова (очерк В. Бритвина).

Председатель колхоза Федор Семенович Чувашев, увидев, как гибнут от голода на скотоприемной базе сотни голов государственного скота, отдает этой базе сто тонн кормов, хотя и нет у него излишков и самому, может быть, придется тогда «поблизаться у соседей». Когда заведующий базой принимает его благодарить, «Федор Семенович... почти закричал:

— Да черт, не тебя я спасаю! Мне скот жалко! Труда народного жаль...» (очерк Л. Лубнина).

Все это обыкновенные люди, ничем не выдающиеся и не знаменитые. Очерки «Нашего современника» убедительно говорят о том, что хозяйское чувство к обществу перестало быть качеством одиночек. Оно стало общественной нормой, с точки зрения которой человек нашего времени судит о людях и решает большие и малые вопросы жизни.

Вместе с тем в сознании некоторой части советских людей еще живут пережитки собственнической морали.

Написал я эту фразу, и стало мне за себя стыдно. Какая это привычно «обтекаемая» формулировка! «Еще живут» (то есть, дескать, доживают), «некоторая часть», «пережитки» — целая вереница успокоительных словечек. Но разве успокоение нам нужно, «мирное сосуществование» с пошлостью и грязью? Откуда эта боязнь определенного и резкого слова?

Вычеркнуть? Нет, пусть останется в назидание и мне и другим.

Очеркисты «Нашего современника» делают очень хорошее дело, показывая правдиво и честно не только хозяина-коллективиста, человека новой формации, но и прямо противоположные явления современной жизни.

Одно из главных лиц в очерках К. Мурзиди — Алевтина, для школьников — Алевтина Григорьевна: она преподавательница литературы. Это к ней и к ее мужу Ивану, сельскому киномеханику, приехал в гости автор-рассказчик. Первое впечатление о ней у читателя самое благоприятное. «Алевтина — красивая женщина». У нее «свежее загорелое лицо с темными бархатистыми глазами, с привлекательным рисунком ярких губ». Рассказчик любит ее: «Иван... оста-

новился и поставил чемодан. Алевтина тут же подхватила его и пошла легкой веселой походкой. Этот блестящий лаком-красный чемодан, должно быть, давно привлекал ее. Мы полюбовались ею и пошли тихонько следом».

Но потом один за другим накапливаются мелкие штришки совсем иного свойства. Иван не успел заплатить перевозчику. «Если и не заплатим, так не убудет,— проговорила Алевтина и пояснила мне, что перевозчик должен за время навигации сдать на почту четыре тысячи рублей.— А все, что сверх того, ему остается». Гость входит в дом. «Она распахнула дверь в соседнюю комнату и остановилась на пороге, как бы приглашая меня если не войти, то хотя бы заглянуть... Комната имела городской вид: диван, большой стол, туалетный столик, большое зеркало, правда, с потускневшим от времени стеклом, приемник, три кровати...» «Ужин свой мы закончили чаем. Я осторожно брал сахар, вспоминая жалобу хозяйки, что сахар в сельпо продают по полкило на пайщика не чаще одного раза в месяц. Заметив мою осторожность, Иван, который все еще чувствовал себя немного под хмельком, засмеялся и посоветовал не стесняться. Сахар он привез из Архангельска, когда нынче летом ездил на курсы киномехаников. Алевтина сунула на него укоризненно. Да, сказала она, сахар у них есть, но совсем немного. Племянники моих за столом не было — они уже спали, но коробки с конфетами, которые я им привез, лежали на прежнем месте нетронутые. Я удивился: неужели дети не любят сладостей. Оказывается, они приучены экономить». «Мы с Иваном попросили Алевтину отпустить нас прогуляться по деревне. Она удивилась такому желанию». Пожилой колхозник сказал при ней: «Я теперь электромотор изучаю». Алевтина захохотала. Председатель колхоза предложил учителям поработать летом на поле, пообещав за это отремонтировать школу. Алевтина Григорьевна возмущается: «Учителя будут вкладывать свой личный труд, а в итоге польза не им, а школе»...

Со все более горьким и неприязненным чувством следит читатель за красивой Алевтиной.

Источник гордости — комната, обставленная по-городскому. Источник зависти — два колодца на дворе у соседа. Источник волнений и хлопот — бревна, наловленные на ре-

ке в лесосплав для постройки собственной бани. Вот круг ее жизни. Вещи, вещи, вещи... Они заслонили для молодой женщины весь мир. Как страшно, как трагически обворовала себя учительница литературы Алевтина Григорьевна, если через сорок с лишним лет после Октября (и каких лет!) о ней можно так сказать!

Писатель безжалостен к своей героине. Он раскрывает московскому гостю секрет набитой сахаром кладовки и еще два-три подобных секрета. И вот она вся перед нами — человек мелочной и тусклой души. А красота ее... Красоты ее просто жаль: не того человека наградила красотой природа.

Знакомство с Алевтиной вызывает много невеселых мыслей. Она выросла в социалистическом обществе, но в ней нет ровным счетом ни чего о социалистическом. Ее старорежимная, скопидомная «хозяйственность» — нечто диаметрально противоположное хозяйскому чувству Степана Федоровича Лаврова. И ведь такая Алевтина не уникал: каждый из нас назовет подобных ей из числа своих знакомых. Люди такого сорта есть и в крестьянстве, и в рабочем классе, и в интеллигенции. Давно разрушен у нас собственнический мир, но собственническая мораль продолжает жить. Она не имеет прав гражданства, она избегает высоких трибун, она маскируется, применяясь к изменившейся не в ее пользу обстановке, но она продолжает жить, и она еще очень сильна.

Очерки «Нашего современника» беспощадно бичуют эту мораль.

У К. Мурзиди и Л. Лубнина есть два сходных эпизода. Первый: секретарь райкома в сельской столовой «сосредоточенно насыщается пончиками с чаем», и ему даже в голову не приходит поинтересоваться, почему обедающие рядом с ним «здоровые веселые парни из РТС... остались без мясного блюда». Второй: «визг, и вой, и рев, и хриплый стон» скота, гибнущего от тесноты и голода на Чернораменской скотоприемной базе, не мешает ее директору Кошееву спокойно кушать блины: благо есть у него необходимые оправдательные документы.

Равнодушие к общественному всегда было одной из самых главных черт собственнической морали. Но, может быть, никогда оно не приносило столько вреда, как сейчас, в условиях коллективного социалисти-

ческого хозяйствования. Все социалистическое плановое хозяйство, все наше общество есть единый сложный механизм, успех работы которого зависит от миллионов «колесиков и винтиков», крепко сцепленных между собою. И если какой-нибудь из этих винтиков разъест ржавчина бесхозяйственности и равнодушия, это отражается на работе множества других частей и всего механизма в целом. Равнодушие к общественному — это самый страшный для нас и, будем говорить прямо, самый распространенный порок. Рабочий, кое-как выполняющий свою работу; шофер, сливающий на землю бензин, чтобы скрыть приписку на путевом листе; учитель, из года в год повторяющий одни и те же фразы; член «авторитетной коммиссии», принимающий новый дом в таком виде, что он завтра же потребует ремонта, — равнодушные встречается в самых разнообразных проявлениях.

Инспектор рыбнадзора Рубцов, главное лицо очерков В. Бритвина «В разливе...», захватил на месте преступления бригаду рыбаков, которая ведет запрещенный лов осетра. Оправившись от неожиданности, бригадир тотчас велит своему сыну отнести самого большого осетра в мотоцикл инспектора. «Рубцов предложил парню положить осетра обратно.

— Еще чего не хватало! — не унимался отец. — Приказал, значит неси! Чего смотришь?

Рубцов предупредил, что если осетра не положат на место, он и этот поступок запишет в акт.

Бригадир, чего-то не понимая, растерялся и покраснел.

Этот бригадир, не понимающий и, как можно искренне и всерьез, а не формы ради и не для вымогания взятки заступиться за народное добро, — фигура довольно характерная. Еще существуют люди, которые человека, бескорыстно отстаивающего общественные интересы, считают попросту чудачком. У таких людей своя особая нравственность, которая сурово осуждает грабителя, снимающего с прохожих часы, но очень снисходительно судит какого-нибудь директора завода, построившего себе дачу на государственный счет. Бросить на ветер народные деньги и даже прямо залезть в государственный карман — вещь, с точки зрения этой «нравственности», не слишком предосудительная, во всяком случае не

«настоящее» воровство. Когда инспектор Рубцов назвал вором рыбака-браконьера, тот совершенно искренне счел себя незаслуженно оскорбленным.

Действительность на множестве примеров подтверждает ту мысль, что от равнодушия к общественному до прямого преступления против общества — всего один шаг.

Собственническая мораль издавна чревата преступлением. Приучая ценить вещь дороже человека, она всегда оправдывала любые, даже самые низкие пути к достижению корыстной цели. Революция сделала невозможными многие и многие преступления старого мира. Но мораль этого ушедшего мира невероятно живуча; исказить живую человеческую душу, превратить хозяина в хозяйчика, воспитать стяжателя, цыкурника, карьериста умеет она и сейчас.

Васька Жабрей в очерках Л. Лубнина — убедительно нарисованный тип современного паразита, человека, который берет у общества гораздо больше, чем дает ему. В последнее время наша общественность начала поход против туенядцев под ленинским лозунгом «Кто не работает, тот не ест». Давно пора! Но дело в том, что у нас сколько угодно работающих туенядцев. Есть работающие люди, польза от которых порой ничтожна. Разве мало у нас таких, кто занимает бесполезную или малополезную должность? Они представляют собой своего рода узаконенный накладный расход общества. Проводимая за последние годы работа по сокращению штатов, особенно управленческих, принесла большую пользу, но нельзя еще сказать, что в этом отношении сделано все. Причем многие из таких людей, выполняющих в действительности работу, стоят государству намного больше, чем, например, Васька Жабрей, о котором рассказал Л. Лубнин.

Васька Жабрей интересен тем, что в нем совмещаются, как это иногда бывает, разные виды общественного паразитизма. Он гуртоправ. Его обязанность — руководить перегоном скота на мясокомбинат. Не гнать, вооружившись длинным бичом (это делают его подчиненные — гуртовщики), а именно руководить. Но, читая очерк, убеждаешься, что дело, которым он поставлен руководить, не нуждается ни в каком особом руководстве. На протяжении десятидневного пути Васька только один раз появляется при стаде, и ровню ничего не изменилось бы, если бы его вообще не было.

Степень его общественной полезности вполне точно передана самим прозвищем «Жабрей» (фамилия его Клековкин).

«— Что это значит — Жабрей?»

— Сорная трава так зовется, которая возле нужников растет. Ну, да чай сам знаешь, это которая к овечьим хвостам по осени цепляется. Бобышки там такие мохнатенькие, липучие.

— Репей! — догадался я.

— Ну, по-ученому репей зовется, или, иначе, татарник, а по-чернораменскому — жабрей».

Но если Васька Клековкин бесполезен для государства, как репей на овечьем хвосте, то, напротив, дело, порученное ему государством, весьма «полезно» для Васьки. Его должность не только дает ему возможность полного ничегонеделания, но и представляет для него богатую «кормушку». Он успешно наживается на подмене скота и других подобных махинациях. Истощенный долгой и голодной дорогой скот он перед самым взвешиванием на мясокомбинате кормит травой, политой соляным раствором. Жажда гонит коров к воде, они много пьют и затем при взвешивании весят столько, что Жабрей ежегодно получает премии за доставку гурта с привесом.

Как получается, что все это сходит ему с рук? О, он очень хитер и ловок, этот Васька Жабрей! «Веселый, чисто выбритый, улыбающийся», он умеет произвести приятное впечатление, умеет, когда нужно, разыграть озабоченность и увлеченность делом и даже партийную нетерпимость к недостаткам. «Два года я присматривался, терпел, но теперь, как коммунист, я больше молчать не смог и написал в управление обо всех неполадках», — с пафосом заявляет он корреспонденту областной газеты.

Но есть и другая (и, видимо, главная) причина его безнаказанности. Один из гуртовщиков сказал о ней так:

«— Омман, говоришь? Ну да, омман. круглый омман! А начальство, которое на этом деле поставлено, Кошеев-то наш из Чернораменского, ты думаешь, не знает, что это есть омман? Знает! Только ему надо, чтобы, главнее всего, по бумагам все хорошо сходилось — кончик с кончиком. Тогда ему и жить спокойно, и прижмуриваться не надо. Ходи себе гоголем с высокой головкой! Ежели по бумагам у тебя выходит все чисто-гладко — пузирей не знатко, тогда, значит, и сам ты хороший человек, высокой,

правильной линии руководитель. Так о тебе и будут думать. Да, бумага — это, брат, страшное дело; бумага, она всякий омман прикроет».

Речи Н. С. Хрущева на январском Пленуме ЦК КПСС, на Пленуме ЦК Коммунистической партии Украины и на зональных совещаниях передовиков сельского хозяйства дали пример подлинной партийной непримиримости к очковтирательству и нанесли ему сокрушительный удар. Успех борьбы с очковтирательством будет зависеть от того, в какой степени широко будут привлекаться к ней массы. В своей речи на совещании передовиков сельского хозяйства Северного Кавказа в Ростове 1 февраля 1961 года Н. С. Хрушев говорил: «Надо поднять ярость честных колхозников и колхозниц, коммунистов, всех труженников сельского хозяйства против всякого рода комбинаторов, чтобы отбить у них охоту заниматься неблаговидными, антинародными делами». Можно не сомневаться, что строгий и всесторонний контроль снизу и сверху навсегда изгонит из нашей жизни мерзость очковтирательства.

Критика бесхозяйственности, мещанского равнодушия к общественному, рвачества и карьеризма заняла особенно большое место в очерках В. Бритвина «В разлив...». Проблема хозяина поставлена в них на примере конкретного народнохозяйственного вопроса — вопроса о судьбе волжской рыбы.

Как становится ясно читателю, волжская рыба гибнет главным образом потому, что у нее нет настоящего хозяина. Слово «хозяин» в очерках произносится дважды и оба раза в значении, очень далеком от истинного и современного: один раз оно относится к рыбакам-браконьерам, второй раз — к колхозу, который вылавливает в приволжском озере рыбного малька и скормливает его курам. Колхозник, продавший остаток малька на базаре, рассказывает об этом преступлении с простодушным спокойствием чеховского «злоумышленника»: «Ерик, что озеро с Волгой соединяет, с весны плотиной закрываем, чтобы рыбешка в Волгу не сошла. А зимой, как подо льдом весь воздух кончится, так она и начнет бегать, выхода из озера искать. Мы плотинку прорываем, ставим желоб деревянный, по нему: воду пускаем, а под желоб короб ставим из хвороста. Рыба как учует, что вода пошла, и удирает из озера по желобу, да

прямо в короб. Вот и вся хитрость. Да как идет! Вдвоем саками вычерпывать не успеваешь, за две ночи одиннадцать воров сошло».

Другие, более высокопоставленные «хозяева» волжской рыбы — руководители рыбтреста, — отличаются от этих только масштабами, в которых они ведут ее уничтожение. Они также делают это отнюдь не по злостному умыслу: просто весной, в разлив, когда рыба сплошной массой идет к местам нереста, можно без больших хлопот выполнить большую часть годового плана, перевыполнить план квартала и полугодия. А перевыполнение плана — это благодарности, премии, повышения, страховка на случай, если вскроют какие-нибудь грешки... Так рассуждает, например, ответственный работник рыбтреста Скорняков — яркий тип современного дельца-карьериста, охотно толкующего о «задачах сегодняшнего дня», но всерьез озабоченного одной-единственной задачей: удержаться на тепленьком местечке.

Среди персонажей П. Ребриня есть зоотехник колхоза Маруся, молодая девушка. Автор-рассказчик говорит:

«Я украдкой рассматривал Марусю и видел, что ее небольшие, зеленоватые глаза поглядывают на Филипповну недоверчиво и все так же рассеянно. Позже мне пришлось еще встретиться с Марусей, и я понял, что это выражение было постоянным для ее глаз. Оно как бы говорило: «Все, что вы рассказываете, — это неправда, все, что я вижу, — это неправда, за этим видимым есть что-то другое, которое и является настоящим, вы это все знаете, но не признаетесь даже самим себе».

...И тут я догадался, что же именно Маруся считает ненастоящим в Филипповне, — она не верит, что та действительно озабочена дороговизной мяса, бесхозяйственным расходованием пшеницы и многим другим...

Но что же тогда Маруся считает настоящим?»

Настоящим обыватель считает только одно: личную выгоду. Современные «единичники» не верят в высокие чувства и скептически ухмыляются, когда слышат о подвиге и энтузиазме: они ведь по себе судят.

Знакомство с Марусей заставляет рассказчика задуматься над вопросом, на какой общественной почве вырастают подобные ей люди, и он спрашивает об этом пред-

седателя колхоза Лаврова. «Лавров, слушавший мои рассуждения без особого внимания, махнул рукой.

— Не-е, никакой питательной среды для них сейчас нету.

Он сказал это топом человека, которому все было ясно.

— Питательной среды нет, а... Маруся откуда?

— Маруся? — Он вдруг улыбнулся удачной мысли. — Сама из себя».

Корреспондент удовлетворился таким ответом, но читатель удовлетвориться не может. Да и как удовлетвориться? Ведь автор, подобно своему герою, просто отмахнулся от трудного вопроса. Что касается других очеркистов, то они в этом отношении делают еще меньше: остаются, как правило, в пределах простой констатации неприятных фактов. В отсутствии настойчивого стремления «дойти до корней» замеченных отрицательных явлений — крупный недостаток всех разбираемых очерков.

А между тем вопрос заслуживает самого серьезного и всестороннего рассмотрения.

Алевтина, Маруся, Жабрей, Скорняков и им подобные — это тяжелый балласт на борту нашего социалистического корабля, это песок в его машине. Их подлая мораль спорит с нашей коммунистической моралью, бьетса за душу современного человека. Она непримиримо враждебна нам, и нет ничего опаснее, как перестать этого врага видеть, недооценить его, устать бороться с ним. Помочь обществу в этой борьбе — насущная задача нашей литературы.

Мы живем в то время, когда коммунистическая мораль укрепились и стала общественной нормой, но мораль мешанского индивидуализма еще не умерла и сохраняет свое влияние на известную часть общества.

Это все верно, но ведь это, так сказать, статика наших общественных отношений. А какова их динамика? Куда идет жизнь?

Все разбираемые очерки дают на этот вопрос один и тот же уверенный и твердый ответ.

В очерках К. Мурзиди Иван все более высвобождается из-под влияния «хозяйственной» Алевтины; находит себя в производительном труде бывшего сторожика Жения; перевозчик Петр, ранее вполне довольный своей судьбой, приходит к намерению бросить свое «выгодное» дело и перейти

ти мотористом в колхоз, где он будет себя чувствовать не посторонним жизни человеком.

В очерках П. Ребриня мы читаем о том, как начинает подниматься вконец разваленное и разворванное хозяйство деревни Рассказихи и как люди, привыкшие видеть в колхозном «чужое», ощутили наконец в нем свое.

У В. Бритвина бригадир Песчанского рыбоколхоза Нехаенко говорит:

«Товарищи, я как передовой рыбак попал на это совещание. Но, по словам рыбака Кантелеева, я попал сюда, выходит, за дела не совсем добрые, потому как больше всего я рыбы ловлю весной в лугах, в разливе. И в эту весну я поймал, как и всегда, много.

...Перед совещанием мне советовали высказаться о своих методах лова, но эти методы, я по всему вижу, надо переделывать... В Волге, конечно, рыбу ловить труднее, но все равно приложу все силы и план, который мне дается, выполню, даю обещание».

Он говорит — «методы лова», а слышится — «линия жизни».

Едва ли не самое интересное лицо в очерках Л. Лубнина — старик гуртовщик Иван Иванович Носков, по прозвищу Ваня Богородица. Любопытно, что и этот человек, характер которого мог бы уже, казалось, сложиться и даже «окостенеть», показан в развитии. Ваня Богородица первых глав — это хитроватый умница и скептик, бравирующий своей «свободой», понятой им как неуязвимость для житейских печалей. Осуждая жулика Жабрея и сочувствуя честным трудовым людям, он поначалу настойчиво уклоняется не только от активного действия, но и от определенного выражения своих чувств. Лишь изредка в его озорноватых и туманно-многозначительных речах непронзочно и неясно прорывается какая-то шмящящая нотка, голос живого, неравнодушного сердца. Но идет время, и в окружении людей, которые ему нравятся и которые готовы не на словах, а на деле бороться со злом, скептицизм его тает, и в конце он покидает свою позицию «благоразумного» невмешательства: «Богородица сегодня говорил серьезнее, не так цветисто и кудряво, как обычно...

Нет, он сегодня хотел поделиться своими наблюдениями с нами, хотел, чтобы я понял до конца, какой плохой человек Жабрей, кто такой Колька Боботов».

Все очеркисты, не повторяя друг друга, каждый на своем жизненном материале, говорят о добрых переменях в людях сегодняшнего дня, о выявлении и развитии в них человеческого, коммунистического, хозяйского.

Выявление... Я настаиваю на этом слове. Есть масса людей, в которых хозяйское чувство к общественному еще не проснулось, но его легко пробудить. Для этого не требуется часто никакой глубокой нравственной перестройки. Человек внутренне готов к этому, и нужен только какой-то внешний толчок, повод, случай, чтобы новое в полный голос заговорило в его душе.

Опыт нашего времени ясно говорит о том, как пробудить хозяйские чувства в человеке, оставшемся до сих пор общественно пассивным.

Степан Федорович Лавров наставляет нового бригадира: «Держи, Федя, каждого человека на виду. И подходи к людям, понимаешь... с горячим сердцем и холодной головой. Говори с человеком с ясной головой, соображай, что человеку нужно... а сердцем ты ему добра желай. И так поставь колхозника, чтобы он себя хозяином чувствовал».

«Так поставь...» В этих словах явно слышится мысль о том, что хозяйское чувство в людях можно и нужно сознательно развивать, не полагаясь на одно естественное течение событий, и что для этого надо поднять роль каждого рядового труженика.

Сам Лавров именно тем особенно и хорош как хозяин, что он пробуждает хозяйское чувство в других. Вот какие заметки делает автор-рассказчик, оказавшись у него в кабинете:

«Большая часть находящихся в кабинете пришла по личным делам. Люди просили кирпича, леса, шифера, кто-то собирался в отпуск, и требовались деньги. Все просили, но удивительно, просительных ноток я не слышал.

...Я замечаю, что все в кабинете держится просто, но с достоинством. При благоприятном разрешении никто не выказывает особых чувств благодарности, все отходит с видом людей, получивших положенное, законное. Те же, чьи просьбы не были удовлетворены, не очень огорчились и оставались спокойными.

...«Очевидно,— рассуждал я, глядя на их лица,— колхозники знают, что большая

часть их просьб все-таки удовлетворяется, и... чувствуют себя хозяевами».

Председатель колхоза действительно поддерживает всякую добрую инициативу. Колхозница Филлиповна нашла смелый и необычный способ содержания свиней, который дает колхозу возможность откормить три тысячи поросят без постройки новых животноводческих помещений. Несмотря на сопротивление зоотехника (той самой Маруси, которая ни во что не верит), это предложение было принято, и сама Филлиповна поставлена руководить начатым ею делом, которое сулит возможность в десять раз (!) увеличить производство свинины.

Почувствовав, что к их голосу прислушиваются, люди стали гораздо больше думать об общем деле, о коллективном хозяйстве. Еще одна инициатива рождается уже буквально на глазах читателя. Молодые доярки Тая и Галя предложили отдать отстающей ферме (отстающей хронически и, казалось, безнадежно) половницу выпасов, закрепленных за той фермой, где они сами работают. Они знают, что им теперь будет труднее, но общие интересы от этого выиграют. «Вот ведь,— говорил Лавров,— и для меня неожиданностью было их предложение-то, опережает нас народ».

Что может быть отраднее такого опережения!

Доверие к людям, уважение к их разуму и опыту, подлинный советский демократизм в отношениях между руководителем и массой — вот простой секрет успеха председателя колхоза Степана Федоровича Лаврова.

В наше время, как никогда раньше, проблема хозяйина выдвинулась на первый план. В различных своих аспектах она ставится буквально из номера в номер любой центральной или местной газеты и превратилась в одну из самых важных тем литературы. Очерки «Нашего современника» не исключение, а характерный положительный пример. Под знаком борьбы за подлинно коммунистическое хозяйствование прошел январский Пленум ЦК КПСС. Перечитайте речь Н. С. Хрущева на Пленуме и его последние выступления по вопросам сельского хозяйства и вы увидите, что основным содержанием их является, с одной стороны,

заботливая поддержка подлинных хозяев, распространение опыта энтузиастов и новаторов коммунистической стройки, а с другой стороны — беспощадная критика всех форм бесхозяйственности, равнодушия, косности, карьеризма. Быть хозяином! Быть деловитым и умелым, рачительным и спокойным хозяином — вот призыв, который звучит во всех этих выступлениях и который обращен в равной мере и к руководителям и ко всем рядовым труженикам нашей страны.

Во всем этом находит свое выражение назревшая общественная потребность. Сегодняшний день дает множество доказательств быстрого роста социалистической сознательности и гражданской активности советских людей, но он должен быть еще и еще быстрее. Чем ближе подходим мы к коммунизму, тем упорнее, сосредоточеннее, находчивее и дружнее должны мы бороться за то, чтобы каждый советский человек был подлинным хозяином создаваемого им нового мира.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Л. Левин.** «Не от локтя, а от плеча». — **И. Дедков.** Мишка и его сверстники. — **Л. Левицкий.** Современная книга об историческом романе. — **Р. Орлова.** С болью — о человеке.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Миндлин,** кандидат исторических наук. Теория и практика коммунистического воспитания. — **Ник. Смирнов-Сокольский.** Подвижники книги. — **А. Мельников.** Дневник матери. — **А. Таланов.** Честность служит компасом.

## Литература и искусство

### «НЕ ОТ ЛОКТЯ, А ОТ ПЛЕЧА»

**В. Л. Луговской.** Раздумье о поэзии. Редактор **Л. Шубин.** «Советский писатель». М. 1960. 276 стр.

**В** «Раздумье о поэзии» вошли статьи и речи, написанные и произнесенные Луговским за четверть века. Доклад «Мой путь к пролетарской литературе», короткий отрывок из которого приведен в книге, был сделан Луговским в середине апреля 1932 года. Статья «Поэзия — душа народа», которой заканчивается книга, напечатана «Литературной газетой» 9 мая 1957 года. «Мой путь к пролетарской литературе» — интереснейший гворческий документ.

Тем, кто слушал это выступление Луговского, оно запомнилось надолго. Поэт с предельной искренностью говорил о себе, о своих сомнениях, ошибках, о своем пути в жизни и в литературе.

Докладчик цитировал собственные стихи. Он читал их своим «трубным», густым голосом, увлекаясь и увлекая нас. С особенным воодушевлением Луговской прочел последние строфы стихотворения «Пропась Оби-Ниола», посвященного А. А. Фадееву. Прежде чем прочесть эти строфы, Луговской рассказал о своем разговоре в таджикском кишлаке с председателем одного из сельсоветов, организатором добровольческого отряда, боровшегося против басма-

чей. Поэт спросил, что такое, по его мнению, советская власть. Исполненным подлинного пафоса ответом председателя и заканчивается стихотворение.

Я счастье хочу брать,  
а не красть,  
Я для всех хочу,—  
вот вера моя!  
Это и есть —  
советская власть.  
Так понимаю я.

Та часть доклада, о которой я сейчас упомянул, воспроизведена в «Раздумье о поэзии». Но обидно, что из всего этого интересного выступления почему-то взято так мало — только то, что относится к работе Луговского над книгой «Большевикам пустыни и весны».

Жаль, что в сборник не вошел критический анализ, которому Луговской подверг свои книги «Страдания моих друзей» и «Европа». Жаль, что не вошла та характеристика собственного творчества, которую дал в докладе поэт: «Само по себе мое творчество приподнятое, стоящее на каких-то подмостках... эту приподнятость тона, повышенность и торжественность эмоции я оставляю

у себя... трагедийная черта у меня нередко переходила и в декларативность, в слишком большой голосовой упор. Она была моим постоянным полунедостатком, полупреимуществом». Для того, кто хочет понять особенности поэзии Луговского, почувствовать ее подлинное своеобразие, эта авторская характеристика не будет лишней.

Луговскому всегда было присуще острое ощущение богатства и цельности мира, который окружает советского поэта, является источником его вдохновения. Из всего многообразия этого мира Луговской отбирал самые важные для него, самые заветные, самые притягательные черты — богатство и цельность. «Истинная оригинальность писательского творчества, — говорил поэт, — состоит в том, чтобы шагнуть в тот колоссально обширный мир социальных идей, который перед нами стоит почти нетронутый и неотображенный, такой богатый, с таким простором тем и образов, которых на сто поколений вперед хватит».

Это высказывание относится к началу тридцатых годов. О том, как оно органично для Луговского, свидетельствует другое его выступление, состоявшееся почти четверть века спустя.

31 января 1957 года, на своем творческом вечере, Луговской говорил: «Мы безумно богаты. К 40 годам советской власти мы подходим с огромным богатством, богатством образов, подвигов, мы богаты гуманизмом и человечностью, пафосом созидания и утверждения жизни...»

Вместе с богатством того мира, в котором создается и развивается советская поэзия, Луговского постоянно привлекала несравненная цельность этого мира. «Дело всей пролетарской литературы и мое скромное дело в том, чтобы идти не по линии расчленения мира на ощущения, а по линии собирания мира заново из обломков старой культуры, из всех колоссальных начатков новой культуры».

Отказываясь от «расчленения мира на ощущения», Луговской с самого начала своей поэтической работы категорически отвергал «расчленение» поэзии на лирику и публицистику. «...Понимая будущее нашей поэзии как единый поток лирико-философского ощущения мира, я резко высказываюсь против двухсторонности поэзии. Я против деления путей нашей поэзии на путь публицистический и путь интимно-лирический». Эти слова, сказанные четверть

века назад, навсегда остались творческим кредо Луговского. Он вновь и вновь возвращался к этой неизменно волновавшей его мысли. «Я вообще люблю такие книги, где нет ни сугубо публицистического, ни сугубо интимного, а все это сварено, как бывает сварен металл».

Именно такими книгами и были «Солнцеворот», «Середина века», «Синяя весна».

Владимир Луговской работал в поэзии тридцать лет. Он написал много стихов, среди которых были замечательные, были хорошие, а были и посредственные. Его творчество знало подъемы, как, скажем, на рубеже тридцатых годов, когда были созданы «Мускул» и «Страдания моих друзей», или в начале сороковых годов, когда появилась книга «Новые стихи», вышедшая в первые дни Отечественной войны, мало кому известная, но включившая в себя много замечательных лирических стихов («Курсантская венгерка», «Лозовая», «Медведь», «Конец-Горбунок», «Мальчики играют на горе»). Творчество Луговского знало и периоды спада, как в 1938 году, когда вышла самая слабая из всех его книг, столь многообещающе названная «Октябрьские стихи». Наконец, ему были знакомы и взлеты — «Солнцеворот», «Середина века» и «Синяя весна». Но в какой полосе своего творческого развития ни находился бы Луговской, он всегда держал курс на большую поэзию, единственно достойную революционной эпохи.

Прочитайте его выступления на Первом и Втором съездах писателей (между ними был интервал в двадцать лет), его маленькие монографии «Поэт и мир», «Поэт и время», посвященные Николаю Тихонову и Павлу Антокольскому, статью «Раздумье о поэзии», наконец, его последнее выступление — статью «Поэзия — душа народа» — и вы отчетливо почувствуете, как наряду с непосредственно творческим осуществлением курса на поэзию высокого полета Луговской неизменно стремился принципиально обосновать этот курс, определявший всю его работу в литературе. «Нам нужна поэзия смысловая и в то же время лирическая, поэзия «большого ума и большого сердца», сочетающая подлинную массовость с высокой поэтической культурой». «...Наша цель — это поэзия, свободная в своем размахе, поэзия, идущая не от локтя, а от плеча», — говорил он на Первом всесоюзном съезде писателей.

Это не случайная метафора. В стихотворении «Кухня времени», вошедшем в книгу «Страдания моих друзей» (1930), есть такие строки:

Хорошая спортсменка, мой моральный  
доктор,  
Однажды сказала, злясь и горячась:  
«Никогда не ведите движенья от локтя —  
Давайте движенье всегда от плеча!..»

Не от локтя, а от плеча!

Это значит жить в полную меру душевных сил, отдавать любимому делу все, чем богат, чем силен, все, что есть в тебе хорошего и нужного людям.

Применительно к поэзии это значит «идти только в высокий полет», требовать «не только поэзии умной, но поэзии мудрой, помогающей жить, делающей человека лучше, счастливее, чище», «гореть творческим огнем — радоваться, огорчаться, воскресать и погибать вместе со своими героями».

Именно так жил и трудился Владимир Луговской.

Особенно это относится к последним годам его жизни, когда он пережил новый творческий подъем.

То, что происходило в душе поэта, несомненно определялось тем, что происходило в стране. Новый расцвет таланта Владимира Луговского не случайно совпал с годами бурного подъема страны.

В статье «Поэзия — душа народа» Луговской размышлял о значении XX съезда КПСС для развития нашей литературы вообще и поэзии в частности.

«Те мысли и идеи, которые были высказаны на XX съезде партии, несомненно оказали на книгу динамическое влияние», — писал он в своей автобиографии, рассказывая о работе над «Серединой века».

В книге статей и выступлений Луговского мы найдем раздумья о поэзии Бирмы и о собственном поэтическом труде, о великом

русском языке и о творчестве Лонгфелло, о Николае Тихонове и о монгольском поэте Нацагдорже, о Дмитрие Кедрине и о поэтах Египта, о Леониде Мартынове и о Сулеймане Стальском. Но о чем бы Луговской ни писал, постоянной целью его была борьба за новый тип советского поэта, поэта-бойца.

«Прежде всего он целиком во власти огромного и жизненного чувства времени» — это сказано о Павле Антокольском. Но разве не относится это еще более к самому Луговскому, как и вообще к тому новому типу писателя, который создан советской эпохой?

«Николай Тихонов сразу заявил в нашей поэзии: мир праздничен, прекрасен, жесток, трагичен, он никогда не будет скучным, серым, пресным, на каждом шагу с тобой рядом волшебная страна», — но это сказано ведь не только о Тихонове. Разве сам Луговской по-своему не заявил о том же самом?

Книга «Раздумье о поэзии» — это боевой документ, оружие борьбы за идейность и мастерство советской поэзии.

«...Изображать всю многогранную и многообразную жизнь во всех ее положительных и отрицательных сторонах, ликвидировать остатки схоластики и догматизма, развивать бесконечные возможности социалистического реализма, пробуя его «на ошупь», на сопротивление, используя романтические инверсии и символику, метод уплотнения событий и эмоций, десятки и десятки других творческих приемов, обогащать этот единственно правильный не только для литературы настоящего, но и для литературы будущего метод создания художественных ценностей», — призывает Владимир Луговской. Эти слова его звучат как творческое завещание и надолго сохранят свою действительную силу.

Л. ЛЕВИН.

★

## МИШКА И ЕГО СВЕРСТНИКИ

Константин Воробьев. Гуси-лебеди. Рассказы. Редактор И. Гнездилова.  
«Молодая гвардия». М. 1960. 156 стр.

Прочтите эту книжку, и какое-то внутреннее чутье, а не биографическая справка на последней странице подскажет вам, что написана она бывалым человеком.

Константин Воробьев жил, наверное, трудно и видел много. Пережитое научило

его понимать, что не так-то прост мир и не так-то просты люди, чтобы поспешно осуждать или возносить их. Оно научило доброте и вниманию к человеку, знающему, «почем фунт лиха», но сохранившему горячую веру и любовь к жизни, отзывчивое, доброе сердце.

Особенно близки писателю детские души, открытые всем ветрам, причастные ко всем трагедиям и «комедиям» взрослых...

«Три года не было вестей от мужа, взятого на германскую, а на четвертом Марина Воронова родила мальчика». Назвала она его Мишкой. Ох и доставалось Мишке от соседских ребят за неясность происхождения! Неожиданно вернулся из плена муж Марины. Мишка ночевал теперь в чулане и слушал оттуда, как «пленный» избивал его мать.

«— Эх! Эх! — кричал пленный, будто колот сырые дрова, а мать молчала».

И стал Мишка совсем «ничей сын», потому что жестокий и тупой «пленный» забил до смерти его мать. Она сказала Мишке перед концом буднично и страшно: «Зря я тебя не придушила вовремя...»

Так начинается жизнь маленького Мишки (рассказ «Ничей сын»), так знакомится он с миром.

Одинокого мальчика и приютившего его деда Васака притеснял богач Зык, дразнили, обижали односельчане. И однажды, когда Мишка услышал, что люди делятся на красных и белых и что отец его был красным матросом, его словно озарило. «Вот теперь я знаю, кто такой Зык, — вырвалось у него. — Он белый. И плеиный тоже. Все белые. Только мы с тобой красные. У нас сроду не было ни мяса, ни молока, ни студня. Одни кавуны и кулеши. Как подпалить бы всех, так знали б...»

Мишка — незаконнорожденный сын красного матроса, он быстро разделил мир на два цвета! И напрасно убеждал его мудрый дед, что не надо злиться на все село: «Бедные они. Оттого некоторые и...»

«— Да, бедные! — угрюмо сказал Мишка. — У каждого прошлогоднее сало».

И Мишка, и Сережка из рассказа «Синель», и Петька-Петух из рассказа «Ермак» ненавидят тех, у кого «прошлогоднее сало». Дети двадцатых годов, они мерили все аршином своего недетского детства. Их непримиримость и привлекательна и опасна: ведь так это просто — «принять поспешно друга за врага».

...Пройдут годы, и «ничей сын» Мишка навестит своего деда. На нем будет форма курсанта военно-морского училища, будто подтверждая слова старика, что сыну матроса поможет первый встречный матрос.

Но жаль, что тайной останется для нас душевное Мишкино развитие. Мишка-мальчик — любящий, обиженный, с его чистым, детским восприятием мира и недетским ожесточением — стоял как живой перед нами, но мы так и не узнаем, каким человеком стал он теперь. А ведь знать это, пожалуй, важнее, чем лицезреть на его плечах блестящую морскую форму, знаменующую чисто внешние перемены в жизни, о которых рассказано с изрядным налетом сентиментальности.

Судьба Мишкиных сверстников из других рассказов Воробьева дает больше пищи для размышлений, рождает более глубокий эмоциональный отклик. Писатель не навязывает каких-то отшлифованно-законченных оценок. Он просто предлагает подумать над довольно обыкновенными судьбами довольно обыкновенных людей.

Чаще всего это жизненные истории ровесников революции и гражданской войны. Где бы ни происходило действие — в партизанском отряде или в деревне времен коллективизации, — писателя всегда интересуют люди, их отношение друг к другу, к детям. Эпоха будто просвечивает сквозь характеры и приметы быта, отражается в незамутненных маленьких зеркалах детских душ, диктует психологию героев.

Вот Мишкин сверстник — Сережка из тонкого и умного рассказа «Синель». Испытал он всякое: ходил в лаптях, пас бурую лохматую корову с высохшим выменем, а когда пришел в школу, то не было у него даже карандаша.

Сережка дружил с Синелью, хотя знал, что отчим ее кулак. Скоро он убедился, что дома у девочки жизнь не сладкая, что отчим ее «злой как черт».

«— Он наверно бьет тебя, — предположил я.

— Так что ж. Маму ж тоже!»

Мальчик сердцем понимает, что пионерский галстук Синели ничуть не менее красивый, чем у него.

Потом пришло время, когда сознательному студенту Сережке пришлось уговаривать Синель написать заявление в райком, признаться в том, что «теоретически» она кулачка, и одновременно доказать, что с отчимом она прожила всего несколько лет, не любила его и он ее тоже. Но Синель не понимает, почему она должна доказывать свою честность и чистоту заявлениями: «Для порядка?» Так и не найдя общего

языка, хорошие, любящие друг друга люди расстаются навсегда.

Они немного похожи друг на друга, мальчики из рассказов Воробьева. Не потому, что у писателя не хватило мастерства, просто они дети одного времени и ошибаются похоже.

Но все эти ребята — и Синель, думавшая, что стоит «послунить ранку и все заживет». и Настя (рассказ «Настя»), у которой «папашка» — шофер и которая при встрече скажет вам «изысканно и пышно»: «Почет!», — все они очень живые, своеобразные.

Наступают новые времена — рождаются новые «лобастые мальчики». В «Первом письме» — лучшем рассказе сборника — мы знакомимся с маленьким человеком Трофимычем, постоянным обитателем дачного поселка. В Трофимыче живет какое-то восторженно-настороженное восприятие мира, его чудес и прозаизмов, в нем уживаются доверчивость и пугливость, гордость и деловая сметка человека, знающего, что на свете существуют голубки, а рядом с грибами — покупатели грибов. Это Трофимыч ставит у каждого найденного им гриба веточку с красным лоскутом: «пусть подрастет немножко», это он боится «буклы» в лесу, а узнав, что «букла» нарисована в книжках и зовут ее выпью, разочаровывается и не хочет верить: «птички по-бычному не кричат». А как замечательно умеет Трофимыч есть: «Неторопливо и плавно Трофимыч взял правой рукой хлеб, бережно оглядел его и бережно откусил немного. С первого и до последнего глотка он не положил рук на колени, он держал хлеб и сосиски на весу, молчал, не спешил, не чавкал».

Что-то знакомое, что-то от непримиримого Мишки улавливаем мы в Трофимыче, когда не столько слышим, сколько чувствуем его презрительное неуважение к «дачникам». Это из-за «дачников» оглушительно кричали в поселке «петухи, привязанные ситцевыми лентами за ноги: откармливались». Как кажется Трофимычу, «дачники» не знают, что такое «трудно» и что такое настоящая радость. О своей жизни Трофимыч рассказывает так: «...Зато, когда пройдет трудно, то... знаешь, как будет? Вот как! — он развел вширь руками. — Аж смеяться ни про что захочешь!.. Вот нам с мамой бывает все трудно и трудно, а как получим получку, да как поедим в кино, и как наемся я там мороженого, аж щеко-

но!.. А потом опять трудно, а там сызнава приходит нетрудное. Так всегда и живем с нею...»

Читая рассказы К. Воробьева, ощущаешь, что образы людей, детали быта, обрывки разговоров живо владеют памятью и воображением рассказчика, и он порою не справляется с ними. Иной раз писатель пытается вместить в рассказ историю чуть ли не всей жизни героя, показать развитие характеров на протяжении многих лет. И ломается тогда форма рассказа, появляется скороговорка, возникают внешне законченные, «закругленные», благополучные и благодушные развязки (возвращение Мишки к деду) или развязки нарочито трагические (смерть Ермака, самоубийство партизана в рассказе «Верное сердце»), которые кажутся данью сентиментальности, каким-то упрощенным решением конфликта.

Судя по предыдущим книжкам К. Воробьева «Подснежник» и «Седой тополь» (Вильнюс, 1956 и 1958 гг.), творческий путь его был неровен. Рядом с «Седым тополем», откровенным и честным рассказом о немецком плене, — надуманная повесть о судьбе демобилизованного американского офицера. Рядом с далеким от совершенства, но очень чутким к времени рассказом о человеке, ищущем место в жизни, — слабая новелла о войне в Корее. И тем радостнее, что сейчас писатель находит себя, доверяясь своим знаниям о мире, своим чувствам. поэтическому восприятию жизни и человека.

В рассказах Воробьева, как нам кажется, есть истинное знание жизни. Не холодное и рассудочное знание того, что должно и не должно быть, а лично пережитое, выстраданное видение того, что есть.

Как и Марьянов, герой рассказа «Гуси-лебеди», писатель не хочет, чтобы люди представляли в его рассказах «унылыми, скучными резонерами». Герои Воробьева не лишены иногда странностей, сомнений, слабостей. Но это — добрые и поэтичные люди, их большинство в рассказах, и книжка от этого не становится «розовой». В ней есть и реальные жизненные трудности и трагическое, которое зачастую происходит от запутанности и несовершенства человеческих отношений.

Адам Егорович, торгаш-обыватель из «Первого письма», не зря не любит литературу. Он опасливо прикасается к пишу-

щей машинке и в десятый раз допытывается: «И говорите, платят за это. Уд-дивительно! На чем только городские не поддеюливают».

Для Адама Егоровича мир окрашен в один цвет — серый цвет сберегательной книжки, ему-то, в общем, все равно, какой флаг над городом, потому что все вокруг,

по его тайному убеждению, «поддеюливают». Адамы Егоровичи еще существуют на свете, и потому-то нужна людям «большая вера в красоту бытия под этим небом», которую несут в общем потоке литературы рассказы Константина Воробьева.

г. Кострома.

**И. ДЕДКОВ.**

★

## СОВРЕМЕННАЯ КНИГА ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

**А. Белинков. Юрий Тынянов. Редактор Е. Книпович. «Советский писатель».**  
М. 1960. 436 стр.

Если из года в год повторять одну и ту же фразу, она войдет в привычку и станет казаться непреложной, как смена дня и ночи.

Фразу «критика отстаёт» искать не приходится. Она всегда услужливо под рукой. Штамп имеет свои неотъемлемые свойства: его не проверяют, а повторяют. То, что было десять лет назад, и то, что происходит сегодня, выносятся за одни скобки. Талант и бездарность, эрудия и невежество, честное исследование и беззастенчивое обращение с фактами, искренний пафос и манерные ужимки как бы уравниваются в правах.

Но автор умной и талантливой статьи не виноват в том, что рядом и одновременно с ним в критике подвизается, говоря словами Ильфа и Петрова, «первый ученик, зубрила с вытарашенными от усердия глазами».

Отстаёт ли плохая критика? Ясное дело, отстаёт. От чего отстаёт? От очень многого. От задач нашего времени, задач нашей литературы. От хороших романов, повестей, стихов, пьес. И — от хороших критических работ.

А такие работы появляются. В последние восемь лет значительно чаще, чем в предшествовавшие им годы. И что вселяет наибольшие надежды — в критику пришло много одаренных людей. Нет надобности прибегать к перечислению имен, они известны. У этих критиков радуют отчетливые идейные позиции, художественное чутье, своя интонация и свой почерк.

Эти достоинства явственно ошутимы и в книге А. Белинкова о Ю. Тынянове.

А. Белинков знает и любит факты, но нигде конкретность не переходит у него в мелочную и крохоборческую регистрацию част-

ностей. Он говорит о главном. О принципах тыняновского подхода к истории и принципам ее изображения. О том, что определило содержание и форму тыняновских книг. О том, что объединяло их с другими произведениями советской литературы, современными по теме и историческими. И об их индивидуальном своеобразии, делающем их непохожими на эти произведения. Концепция творчества Ю. Тынянова в книге А. Белинкова разворачивается стройно и последовательно, и концепция эта, на мой взгляд, плодотворна и в главных своих чертах верна. Не со всеми оценками автора можно согласиться, но при этом никак не скажешь, что он что-то упрощает или вульгаризирует.

Справедливо говорится, что литература проверяется жизнью. В применении к писателю, работающему на современном материале, формула эта самоочевидна: критик сравнивает произведение искусства с жизнью, которая идет вокруг него и которой он сам живет. Когда же речь идет о книгах исторического романиста, написанных несколько десятилетий назад, положение осложняется тем, что исследователь должен постоянно иметь перед глазами не одну, а целых три эпохи. Он должен свободно ориентироваться в действительности, отраженной в анализируемой книге. Иначе ему трудно будет судить, насколько исторически правдиво, достоверно и точно эта действительность воссоздана. Затем писателя нельзя понять без времени, в которое он сам живет. Наконец, критическое исследование не может не нести на себе печати сегодняшнего дня и тех споров, которые идут в современной литературе.

А. Белинков не упускает из виду ни одной из этих эпох, и эта «трехмерность» делает его книгу и глубоко историчной и по-на-

стоящему современной. И это придает ей, при всей взволнованности и страстности, с какой она написана, строго объективный характер. Автор не пытается задним числом воспитывать Ю. Тынянова и не захлебывается от восторгов. Он анализирует. Серьезно, доказательно и точно.

Творчество Ю. Тынянова служило и сейчас еще служит предметом острых споров. Это споры о типе и характере исторического романа. А. Белинков не сглаживает противоречия, а стремится их объяснить индивидуальными особенностями писателя и временем, в которое он жил.

Первый вопрос, который возникает при знакомстве с жизнью и литературной деятельностью Ю. Тынянова,— это вопрос о том, почему теоретик и историк литературы в один прекрасный день «сделался» беллетристом. Проще всего объяснить это тем, что разгром формализма вынудил автора «Архаистов и новаторов» отказаться от своего любимого дела и толкнул его на поиски каких-то других, более надежных и устойчивых источников существования. Такое объяснение тем соблазнительнее, что оно как будто подтверждается некоторыми вескими фактами.

В книге своих воспоминаний К. И. Чуковский рассказывает, как уволенный с работы за формалистические «провинности» Ю. Тынянов, находясь в крайне стесненных обстоятельствах, нежданно-негаданно получил предложение написать биографическую брошюру о декабристе Кюхельбекере. «Делать было нечего, и Юрию Николаевичу пришлось скрепя сердце приняться за писание этой заказанной книжки, благо она так невелика».

Это свидетельство проливает свет на обстоятельства, послужившие толчком к написанию «Кюхли». Но очевидно, помимо внешних поводов, какими бы существенными они сами по себе ни были, имелись какие-то серьезные внутренние причины, которые превратили заказанную популярную брошюру в замечательный исторический роман.

Кризис формализма сыграл, бесспорно, не последнюю роль в обращении Ю. Тынянова к художественной прозе. Но отказ от формализма был не внешним мгновенным актом, а длительным и сложным внутренним процессом. «Тынянов написал свой первый исторический роман,— говорит А. Белинков,— не после того, как понял

ошибочность метода, которым до этого работал, а потому, что усомнился в его правильности... Художественная проза писателя родилась из необходимости переосмыслить метод... Роман убедил автора, что как ученый он ошибался во многом».

Во многом, но не в возможностях самой науки. И А. Белинков прав, когда он утверждает, что, отказываясь от формализма, Ю. Тынянов не отрекался от своих историко-литературных интересов и не переставал быть ученым.

Однако, если бы значение беллетристической работы Ю. Тынянова сводилось к тому, что художественная проза помогла писателю освободиться от ложных концепций и тезисов, если бы эта проза была лишь выражением, пусть и очень важной, внутренней потребности автора, она осталась бы фактом его собственной биографии, но не стала бы фактом биографии времени и биографии литературы. Для того чтобы книги, посвященные прошлому, зазвучали современно, надо, чтобы они отвечали какой-то важной общественной потребности современников. Романы Ю. Тынянова такой потребности отвечали, и это обусловило их успех.

«Две темы определили писательскую судьбу Тынянова — декабризм и Пушкин. Они прошли через двадцать четыре года его творческой биографии»,— говорит А. Белинков и показывает, что эти две темы не случайно связаны были со злободневнейшим вопросом, который советская литература решала с первых своих шагов. Это — вопрос об интеллигенции и революции. Революция обострила интерес к истории русского освободительного движения, к истории борьбы лучшей части русской интеллигенции против самодержавия. За отношением к событиям почти столетней давности стояло отношение к событиям сегодняшнего дня.

«Кюхлей» Ю. Тынянов утверждал естественность, закономерность, выстраданность и правоту революции. Эта правота проверена историей и доказана ею. Анализируя «Кюхлю», А. Белинков показывает, что главное достоинство этого романа в том, что его структура и его поэтика подчинены раскрытию единства судьбы человека и поступи истории. Участие Кюхельбекера в декабристском восстании было не мимолетной случайностью, а единственно возможной реакцией на те условия, в которых ему довелось жить. Когда умный и порядочный

человек окружен горем. когда он каждый день сталкивается с несправедливостью, когда он понимает, что и это горе и эта несправедливость — неизбежное следствие губительной власти самодержавия, он начинает думать об одном: как эту губительную власть уничтожить. И если он даже человек мирный и штатский, мечтательный и непрактичный, он берется за оружие и делает то, что диктуют ему история и его совесть.

«Кюхля», — говорит А. Белинков, — это книга «об умном, честном и талантливом человеке, которого история вынудила взять пистолет. Книга написана о том, как это произошло, о том, что нужно, чтобы человек взял пистолет».

Страдания спускают герою. Крушение надежд, гибель друзей, арест, крепость, ссылка. Но безысходности нет. Герой сделал то, что он не мог не сделать. И как бы ему ни было трудно, он не жалеет о сделанном. И дело, ради которого он поставил на карту жизнь и которое он проиграл, показано не как бессмысленная неудача, а как поступательное, при всем своем трагизме, движение в будущее. Горечь не становится меньшей, неудача не поворачивается удачей, но нет фаталистической обреченности, и история не загнана в тупик. 1825 год просвечен 1917 годом. Неудачное восстание — почва победившей революции.

И еще одну примечательную особенность «Кюхли» отмечает автор книги о Ю. Тынянове. «Роман о Кюхельбекере сам по себе был научным открытием. Открытием был выбор героя. Книга пересмотрела традиционное мнение и вывела человека за пределы эпиграммы. Окруженный людьми и событиями своего времени, человек стал исторически реальным. Исторически реальный человек не имел ничего общего с чучелом бойкой литературной традиции. Выяснилось, что у чучела была серьезная литературная теория, хорошие стихи, последовательно радикальное мировоззрение и мученическая судьба... О человеке, к которому относились несправедливо, и об истории, которая понималась неправильно, была написана эта гуманная книга... Книга оживила человека».

Работа Ю. Тынянова над историческим романом поучительна потому, что каждый из его романов был открытием не только художественным, но и научным. И поэтому книгам Ю. Тынянова никогда не угрожала иллюстративность.

Пробным камнем для исследователя творчества Ю. Тынянова является «Смерть Вазир-Мухтара». Именно этот роман вызывал наибольшие нарекания и служил ареной ожесточенных споров.

Людам метафизического склада ума, в представлении которых жизнь великого человека — это неуклонное движение к собственному памятнику, было из-за чего выйти из себя, когда в руки им попадался тыняновский роман. Вместо иконописной благостности и хрестоматийного глянца — образ сложный, противоречивый, трагически раздвоенный. Соратник декабристов — и приятель Фаддея Булгарина, автор свободолюбивой комедии, на которой воспитывалось поколение революционеров, — и высокопоставленный царский чиновник, посланник в Персии. В пору цветения теории бесконфликтности, которая не очень-то церемонилась с историческими фактами, вопрос со «Смертью Вазир-Мухтара» решался просто: Тынянов-де искажил образ Грибоедова. Горький был о романе другого мнения и писал его автору: «Грибоедов замечателен, хотя я и не ожидал встретить его таким. Но Вы показали его так убедительно, что, должно быть, он таков и был».

«Смерть Вазир-Мухтара» А. Белинков анализирует вдумчиво и обстоятельно. Цель этого анализа — не вознести и не разнести роман Ю. Тынянова, а понять его и объяснить.

А. Белинков говорит, что роман Ю. Тынянова написан не о том, что можно быть одновременно великим писателем и дурным человеком или что «гений и злодейство» совместимы, а о том, как роковая власть самовластья убивает великого человека и великого писателя. «Смерть Вазир-Мухтара» — это суд не над Грибоедовым, а суд самого Грибоедова над своим временем, над бесчеловечной системой бесчеловечных обстоятельств, которая сначала сломала и сломила его, а потом послала на бессмысленную и жестокую смерть. «Все, что происходит с Грибоедовым, — пишет А. Белинков, — мало связано с качествами его характера. Все связано с качествами времени. И это для Тынянова особенно важно, потому что для него человек лишь точка приложения исторических сил».

Человек этот не жалкий приспособленец, замаливающий перед властями предержавшими свои декабристские грехи и делающий бурную карьеру, а «могучая личность,

которую могут победить могучие обстоятельства». Человек способностей государственных, деятельный и энергичный, Грибоедов в тягчайших условиях последекабристской эпохи мучительно ищет пути общественного служения. И ошибочно думает, что, прикоснувшись к власти и став полномочным министром, он сумеет использовать самодержавную государственную машину для осуществления прогрессивных общественных преобразований. За эту ошибку он платит дорого — литературой, любовью, жизнью. Самодержавному государству нужны не честные и мыслящие люди, а слепые и лакействующие исполнители. Грибоедов хочет быть полезным родине, а вынужден служить самовластью. Он гибнет сначала как писатель, а потом как человек. Вазир-Мухтар не может написать второго «Горя от ума», а автор прославленной комедии не мог бы делать то, что делает Вазир-Мухтар. Когда Грибоедов понимает это, его убивают.

Анализируя «Смерть Вазир-Мухтара», А. Белинков увидел в романе Ю. Тынянова не компрометицию великого писателя, а исследование человека через его время. Тем самым Ю. Тынянов объяснил Грибоедова и обвинил его время. Тем самым Ю. Тынянов показал, что уничтоженное революцией царское самодержавие должно было быть уничтожено, что это не каприз, а веление истории.

Высоко оценивая роман Ю. Тынянова, А. Белинков все же упрекает его в недостатке оптимизма. Констатируя, что «писатель смотрит на время своего повествования глазами современника событий», он утверждает, что «самая уязвимая предпосылка романа — это его историческая замкнутость и бесперспективность». Встав на точку зрения современника событий, Тынянов, по мнению А. Белинкова, отказывается от учета опыта истории. Настоящее описано так, как будто на нем все кончается, как будто за ним не идет будущее. В итоге — фатальная обреченность. Трагедия не оптимистическая, а безысходная.

То, что А. Белинков верно передает атмосферу тыняновского романа, не подлежит ни малейшему сомнению. Но вряд ли правильно квалифицировать это как «самую уязвимую предпосылку романа», вряд ли

правомочно требовать от него большего оптимизма.

Конечно, верно, что в эпохи реакции бывает не только реакция. Но трагедия человека, живущего в эпоху реакции, не становится от этого оптимистической. Оптимизм возникает, очевидно, не просто от сознания того, что за настоящим идет будущее, и даже не от сознания того, что за плохим настоящим идет хорошее будущее. Если бы это было так, на свете существовали бы только трагедии оптимистические и никакие другие. Человечество движется поступательно — это мы твердо знаем. Оптимизм возникает тогда, когда человек делает то, что он может и должен делать, когда он не уповает на будущее, которое все само решит, а это будущее своими руками приближает. Безысходность трагедии Грибоедова не в том, что он гибнет (Кюхля тоже гибнет, но гибнет за дело, которое он не мог не совершить и которое вытекает из ясного понимания им своего нравственного долга и своих гражданских обязанностей), а в том, что, сломленный и раздавленный самодержавной действительностью, он гибнет за дело, чуждое ему. Трагедия Грибоедова в том, что порвалась связь времен, что он не живет, а доживает, что декабристы уже разгромлены, а новое революционное поколение еще не подросло. Это в книге А. Белинкова, вопреки утверждению об оптимизме, не только показано, но и доказано.

Можно оспаривать некоторые мысли автора, можно не принимать некоторых его оценок (мне, например, нравится анализ «Пушкина», я согласен с оценкой «Восковой персоны» и «Подпоручика Киж», но мне трудно присоединиться к тому суровому приговору, который вынесен «Малолетнему Витушишникову»), но даже там, где с А. Белинковым не соглашаешься, читаешь его книгу с большим интересом. Потому что у него нет легковесного упрощения сложных проблем, потому что у него нет «проходных кусков», потому что его книга написана дельно, умно, талантливо.

Книга А. Белинкова хороша и тем, что она объясняет творчество Ю. Тынянова, и тем, что она показывает не только возможности критики, но и ее реальные успехи.

**Л. ЛЕВИЦКИЙ.**

## С БОЛЬЮ — О ЧЕЛОВЕКЕ

Артур Миллер. Пьесы. «Искусство». М. 1960. 387 стр.

Если бы Артур Миллер написал книгу о себе, о внешних событиях своей жизни, получилась бы излюбленная американская история успеха. Ее можно было бы назвать так, как драматург озаглавил свою первую пьесу: «Человек, которому очень везло». В самом деле, сын бедного иммигранта из Европы, сравнительно недолго посчитавшись по Америке в поисках заработка, стал богатым человеком, всемирно известным писателем.

А между тем главные «события» жизни писателя — его книги — очень горькие, их пронизывает боль о человеке, который рожден быть свободным и прекрасным и которого Миллер видит скованным, униженным, оскорбленным. Недаром мысль о литературе как профессии впервые пришла ему в голову, когда он прочитал «Братьев Кармазовых».

В издательстве «Искусство» вышел сборник пьес Артура Миллера. Эти пьесы — «Все мои сыновья», «Смерть коммивояжера», «Суровое испытание», «Вид с моста» — ранее публиковались у нас и ставились на сценах советских театров. Собранные вместе, они позволяют еще раз вернуться к некоторым общим проблемам творческого пути писателя.

Миллер отстаивает искусство социальной драмы и в своих произведениях и в своих теоретических статьях (кстати, непонятно, почему лучшие из них не включены в однотомник).

Особенно занимает драматурга диалектика притяжения и отталкивания социального и индивидуального в человеке, связи между сутью человека, заложенными в нем возможностями — и теми «одежками», теми формами человеческого поведения, что обусловлены средой и эпохой.

В «Смерти коммивояжера» (1948) эти «одежки» — национальные, социальные, исторические — ощущаются, пожалуй, наиболее для Миллера конкретно. Судьба Вилли Ломена, коммивояжера крупной нью-йоркской фирмы, — это судьба американца середины XX столетия, судьба маленького человека. Трагическая история человека, прожившего всю жизнь в иллюзорном мире и к закату своему с ужасом обнаружившего, что он никому не нужен: фирма выбра-

сывает его за ненужностью, в сыновьях он обманулся. Ломен совершенно одинок, и оставить ему на земле нечего. Он решает покончить с собой, и этот выход тоже очень конкретно мотивирован: его семья получит страховку. Мертвый, он стоит двадцать тысяч долларов — гораздо дороже, чем живой.

В «Смерти коммивояжера» раскрывается трагический конфликт между видимостью и сущностью, иллюзиями и действительностью, ценой человека — тем, что можно из него «выжать», — и истинно человеческой ценностью.

В этой драме очевидна беспощадность критического реализма, ненависть Миллера ко всяким утешительным иллюзиям (эту особенность произведения интересно анализирует Н. Берковский в статье «Защита жизни», «Театр», № 7, 1959). Однако этой темой далеко не исчерпывается суть драмы Миллера.

Биф, младший сын Вилли, стремящийся хоть один раз высказать отцу всю правду о себе и о семье Ломенов, кричит: «Таких, как я, тринадцать на дюжину, да и таких, как ты, не меньше!» Биф не грешит против истины — так действительно буржуазное общество относится к маленькому человеку. Отец отвечает Бифу: «Ложь! Таких, как мы, не тринадцать на дюжину! Я — Вилли Ломен, а ты Биф Ломен!»

Вилли не верит сыну, потому что убежден: он, Вилли Ломен, так же как его сын Биф, исключительны, они выше и лучше многочисленных людишек, которых действительно «тринадцать на дюжину». Это опять хвастовство, фанаберия, утверждение тех самых иллюзий, что очень дорого стоили Вилли.

Но в этих словах есть и иной, гораздо более глубокий смысл, неразрывно связанный с основой драмы.

В эпоху империализма, когда стало возможным массовое уничтожение людей на войне, когда фашисты провозгласили глубочайшее презрение к человеку и многие отличались друг от друга лишь лагерным номером, нашитым на полосатую куртку, Миллер утверждает абсолютную ценность всякой, не только великой или героической, любой человеческой жизни — в данном случае жизни Вилли Ломена, утверждает глу-

бокое доверие и уважение к каждой жизни, к каждой человеческой судьбе. Искру человечности художник сумел открыть и в маленьком несчастном торговце. Тоньше всех это чувствует жена Вилли, Линда. «Я не говорю, что твой отец такой уж необыкновенный человек. Вилли Ломен не нажил больших денег. О нем никогда не писали в газетах. У него не самый легкий на свете характер... Но он человек, и сейчас с ним творится что-то ужасное».

«Одежки» Вилли Ломена, ракушки, налипшие на бока, приросли к нему. Биф пытается отодрать их, открыть глаза отцу, пробовать пелену иллюзий. Это не только очень трудно, это и очень больно. Это невозможно сделать без крови, не содрвав кожи. И когда наконец Вилли трезво взглянул на себя, он уже не может жить. Здесь глубоко схваченный трагический конфликт, здесь и мучительная скорбь о заблуждающемся человеке, который расстается с иллюзиями только ценой жизни (последнюю иллюзию — о Бифе, о том, что жизнь мальчика резко изменится после получения страховки, — Вилли так и уносит с собой).

Человечность, просвечивающая сквозь жалкое существование Вилли Ломена, отнюдь не абстрактна. «Все, что мне надо, это немножко досок и душевный покой», — говорит он Линде. Он мастер, он умеет и любит плотничать, возделывать сад, ухаживать за растениями. В тот ужасный момент, когда приходит к нему прозрение, он в полной темноте еще сажает морковь на жалком кусочке своей земли...

Драма открывается и завершается мелодией, исполняемой на флейте. Проникнутая светлой грустью в начале, «она мила, незамысловата, поет о граве, о небесном просторе, о листве»; в конце, в сцене реквиема, она становится торжественно-трагической. Это не просто музыкальное сопровождение, создающее или усиливающее настроение. Все детали драмы значимы. Отец Вилли Ломена действительно делал флейты и продавал их, объезжая страну в фургоне. Вилли унаследовал некоторые лучшие черты старой Америки — Америки переселенцев, пионеров, завоевывающих Дальний Запад, черты людей, все умевших делать своими руками.

«Смерть коммивояжера» заставляет не только плакать или смеяться, возмущаться или радоваться; драма Миллера — интеллектуальная драма — учит понимать жизнь

или по крайней мере задавать вопросы. При этом автору тесно в рамках традиционной драмы, тесно, как маленькому домику Ломенов среди нависших каменных громад. Ему явно хочется вмешаться, высказаться, прокомментировать, проклясть или восславить. И потому разрастаются ремарки, становясь порою самостоятельным элементом пьесы; ремарки обращаются уже не просто к актерам или режиссеру, но и непосредственно к читателю.

В «Смерти коммивояжера» прошлое, настоящее и будущее тесно переплетены, взаимодействуют не только во времени, но и в пространстве. То, что было, вместе с тем и есть, существует где-то рядом, определяет и сегодняшнее.

Очень стойким в зарубежной литературе представлением о человеке как о существе, случайно брошенном в мир, существе без прошлого и будущего, Миллер противопоставляет гуманистическую концепцию человека, жизнь которого не начинается рождением и не кончается смертью, жизнь которого связана с предшествующими и последующими поколениями.

Бен — давно умерший брат Вилли — появляется на сцене, участвует в действии, комментирует происходящее. Он вел себя как хищник, последовал закону джунглей и преуспел. Однако Бен не только хрестоматийный образец удачливого американца. Он и воплощение прошлого, воплощение той старой Америки, где Вилли ищет ответа на все мучащие его вопросы. Недаром именно с Беном обсуждает Вилли вопрос о самоубийстве.

В образе Бена Миллер показывает американское прошлое в его истинном свете, то есть в его противоречивости. Да, первые поселенцы — люди, жившие на так называемом «фронтире», на движущейся, ими отодвигаемой границе девственных лесов и цивилизации, — были людьми сильными, смелыми, независимыми. Брат Вилли мог с полным правом гордо сказать о себе: «Я — Бен Ломен». Но те же люди границы были и хищниками и неумными индивидуалистами, жестокими собственниками.

Бена давно нет в живых. Общение Вилли и Бена иллюзорно. Но вместе с тем это и не просто иллюзия, ибо какие-то очень важные, сокровенные связи с Беном живут в душе Вилли.

«Смерть коммивояжера» принесла автору заслуженную мировую славу. Но замеча-

тельная особенность Миллера-художника состоит в той постоянной неудовлетворенности собой, которой обладают и его любимые герои. Он должен, ему внутренне необходимо «перешагивать через самого себя».

В драме «Суровое испытание» (1952) Миллер ищет иных способов художественного выражения. История об «охоте за ведьмами» в маленьком городке Сейлеме штата Массачусетс в конце семнадцатого века прозвучала в 1952 году как нельзя более своевременно и, так сказать, лирично, ибо и самим Миллером «заинтересовалась» комиссия по расследованию антиамериканской деятельности.

В своих статьях о драме Миллер назвал свой стиль абстрактным реализмом. Это определение нуждается в различных оговорках, но нечто существенное здесь все же схвачено. Художник стремится к обобщениям, к сведению пестрого и противоречивого жизненного опыта к неким простейшим и наиболее важным элементам.

В сейлемском процессе над ведьмами Миллера интересует не столько особое, исторически преходящее, сколько общее, одинаково свойственное и семнадцатому и двадцатому столетиям.

Не случайно Ануй создал драму о Жанне д'Арк, Брехт — о Галилее, Миллер — о сейлемском процессе. Писателей середины двадцатого века, современников второй мировой войны и фашизма во всех его разновидностях не может не волновать мысль о том, как раньше вели себя люди в моменты суровых испытаний, перед лицом инквизиции, как отстаивали свои убеждения, как противились массовому психозу.

Миллер и здесь ведет свою тему, свою мелодию. Трезвый реалист, он беспощадно исследует, так сказать, самый процесс лишения человека совести, процесс разложения, растления. Показывает, что именно кроется за религиозной демагогией, исследуя экономические основы «охоты за ведьмами» — ссоры из-за земли, из-за выгонов, из-за коров.

Однако он видит и иное — стойкость человека в суровых испытаниях. Обессиленный пытками и издевательствами, Джон Проктор оказывается сильнее своих палачей, он преодолевает страх смерти. Почему Проктор не хочет подписать ложных показаний, «признать» свою связь с дьяволом? Его судьба в руках людей бессовестных, он твердо знает, что судить его они не имеют

никакого морального права. Но он не может пойти ни на малейшие сделки с совестью, ибо высшей человечности ложь противопоказана. Его религиозные современники говорили в таких случаях о спасении души, однако Проктор мало верил пасторам...

«Разве пепел и прах могут стать знаменем?» — спрашивает достопочтенный Хейл, «кающийся» охотник за ведьмами. Этот вопрос можно сформулировать и по-иному: стоило ли Джону Проктору терпеть страшные муки, идти на смерть, если через двести пятьдесят лет продолжают действовать и преуспевать мракобесы, подобные тем, что его убили?

Своей драмой Миллер отвечает на эти вопросы утвердительно. Пепел и прах могут стать знаменем. Пусть не легок и не прямой путь к человеческому счастью, путь через муки и виселицы, сомнения и отступления. Но гибель людей, сражающихся против зла и несправедливости, никогда не бывает напрасной. Именно в этой борьбе проявляется все лучшее, заложенное в человеке.

В каждом произведении Миллера содержится зерно последующего, но переход от одного к другому не плавен, а конфликтен. Творческий путь Миллера не последовательное восхождение, а именно путь, прокладываемый по целине, с зигзагами и возвращениями. При этом любое «возвращение» — неизбежная, органически присущая художнику часть пути.

В двух пьесах, не связанных сюжетно, но объединенных одной книжной обложкой (в первом американском издании), — «Воспоминание о двух понедельниках»<sup>1</sup> и «Вид с моста» (1955) — Миллер продолжает свои творческие поиски, но, на наш взгляд, «Вид с моста» принадлежит все же к зигзагам пути, органически ему присущим, но все же к отступлениям писателя.

Откуда происходит зло в мире? Почему неплохой человек, грузчик Эдди Карбоне, становится предателем, совершает подлость? В «Виде с моста» Миллера прежде всего занимает диалектика добра и зла, их взаимосвязь. И здесь поступки человека обусловлены эпохой и средой, хотя и в меньшей мере, чем в предшествующих пьесах. Ведь вопрос о предательстве весьма и

<sup>1</sup> Эта пьеса поставлена сейчас Большим драматическим театром в Ленинграде.

весьма злободневен для Америки пятидесятих годов.

Безрассудная страсть Эдди Карбоне, страсть к племяннице (воспитаннице, юной Кэтрин), ревность к счастливому сопернику (беспаспортному иммигранту Родольфо) толкают его на подлость. Это происходит не потому, что главная мысль пьесы, как утверждает Г. Шербина в журнале «Театральная жизнь», — мысль «о звериной природе человека».

Здесь больше, чем в какой-либо иной пьесе Миллера, изображена противоречивость природы человека. Драматург не удовлетворяется просветительской верой в то, что человек всегда прекрасен от рождения, но искажен, испорчен тем, что наносят среда и эпоха.

Но верная мысль о противоречивости природы человека несколько абсолютизируется писателем.

При этом поступок Эдди мотивирован конкретно — исторически и социально. Эдди не старается превзойти своего соперника в глазах Кэтрин, не вызывает его на дуэль, не убивает его — он звонит по телефону-автомату в полицейское управление и трусливо доносит. Подлый поступок такого характера возможен только в определенной общественной обстановке.

И в этой пьесе драматург стремится к обобщениям. Отсюда поэтическая речь, которая впервые звучит у Миллера. Автор как бы хочет высшую человеческую сущность и выразить иначе, в ином, торжественном, поэтическом строе. Адвокат Алфиери, произносящий стихи, играет роль античного хора. Он заранее предвидит то, что случится, он судит происходящее перед зрителем, он проводит многочисленные исторические параллели, представляя судьбу Эдди как этап в бесконечном развитии рода человеческого. Очень любопытная экспериментально, пьеса «Вид с моста» дает, на наш взгляд, меньше художественное наслаждение, чем другие пьесы Артура Миллера, ибо в ней ощущается известная заданность, риторичность, искусственность приема, связанные, может быть, и с некоторой абстрактностью замысла.

Сейчас — после пятилетней творческой паузы — Миллер вернулся к прозе (в 1945 году был опубликован первый роман писателя — «Фокус»). Правда, это проза особого рода. В 1961 году на экраны США вышел фильм «Неприкаянные» по сценарию

Миллера, и одновременно была издана под тем же названием книга — «не роман, не пьеса, не сценарий».

Герои этого своеобразного киноромана «Неприкаянные» — ковбои штата Невада — живут той жизнью, о которой только мечтал Биф Ломен в «Смерти коммивояжера»: ранчо, лошади, работа на вольном воздухе.

Один американский критик заметил, что Миллер сделал для ковбоев то же, что Хемингуэй — для матадоров. Вернее было бы сказать, что ковбои для Миллера оказались тем же, чем матадоры для Хемингуэя, — оба писателя искали в современной жизни людей естественных, не искаленных цивилизацией, личностей, а не роботов.

Как и матадоры Хемингуэя, ковбои Миллера знаменуют героическую и горько-бесплодную попытку уйти от стандартизации и законов буржуазного общества и стать людьми, отличающимися от безликих геней, вырабатываемых этим обществом. Да, герои этой книги — «последние настоящие люди на земле». Однако, как раскрывается в ходе действия, они неприкаянные, неподходящие, потерянные. Они как будто и вырвались из-под власти каменных коробок, что нависли над маленьким домиком Вилли Ломена, но и на просторах Невады, оказывается, действуют те же законы, что и в больших городах. И там уже не так важны личные качества — храбрость, стойкость: мустангов ловят механизированные ковбои при помощи самолета-загонщика и грузовика, а потом их продают скупщикам. Тот же бизнес и те же последствия для человека.

Ковбои — такие же индивидуалисты, что и жители больших городов. Потому столь необычна для них Розлин, героиня книги. Самый ценный ее дар — «великое чувство связи» (то самое чувство, которое Крис Келлер в пьесе «Все мои сыновья» принес с фронта). Ковбой Гвидо говорит:

«Ты как будто сцеплена со всеми. С кем бы что бы ни произошло, это происходит с тобой. Это благословение.

Розлин, смеясь:

— Люди говорят, что просто я нервная.

— Если бы в мире не было таких «нервных» людей, мы все продолжали бы питаться человечесиной».

Реалист Миллер показывает, что прекрасный, естественный человек, свободный ковбой — иллюзия «К черту их всех, — кричит один из ковбоев, Гей. — Они изменили все.

Изменили все вокруг. Они пропитали все кровью, превратили все в сделки и деньги. Я это знаю и ты это знаешь. Мы набрасываем лассо на мечту, на иллюзию».

Это верно, но это только часть правды. Ведь ковбой для Миллера — это и символ мечты, это то представление о нравственном идеале, которое не может умереть, ибо в нем — для Миллера, как и для сотен тысяч его соотечественников, — нечто необыкновенно важное, коренящееся в национальной истории и в национальном характере.

В своем выступлении о роли интеллигенции в современном мире (отрывки из этого выступления опубликованы в журнале «За рубежом» от 18 марта 1961 года) Миллер утверждает, что особенности интеллигентства заключаются не в том, что он читает много книг и не занимается физическим трудом. Истинный интеллигент должен уметь отличать и должен научить других отличать иллюзии от реальности, видимость — от сущности, чтобы уметь проникать в глубь, до самого корня, явлений. В современном мире это чрезвычайно сложная задача.

Трагичность положения Миллера, как и многих художников буржуазного мира, состоит в том, что, беспощадно вскрывая противоречия современной действительности, он не видит выхода из них, отвергает путь революционной борьбы, недоверчиво относится к коммунизму.

Стремясь проникнуть в суть явлений, Миллер видит своего современника в очагах страха и невежества, нетерпимости и вражды, корысти и безличия и беспощадно изображает все это в своих книгах.

Но вместе с тем писатель видит человека, достойного лучшей участи, имеющего право на счастье. И тогда, когда он всего лишь маленький, заблуждающийся торговец Вилли Ломен; и тогда, когда он незадачливый, неприкаянный ковбой; и тем более, когда он борется за свободу — прекрасный, достойный украсить землю Джон Проктор.

Основа оптимизма, который пробивается из книг Миллера сквозь ужас и трагедию, — умение провидеть этого человека в сегодняшней Америке. И своими книгами помочь ему прийти.

Р. ОРЛОВА.

★

### Политика и наука

## ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

С. Ковалев. Коммунистическое воспитание трудящихся. Редактор Л. Ашеко. Соцэргиз. М. 1960. 527 стр.

Близится день, когда будет обнародован знаменательный документ нашей эпохи: проект новой программы КПСС. XXII съезд партии призван обсудить и принять его.

Более сорока лет назад, на VIII съезде партии, когда принималась ныне действующая программа, В. И. Ленин в заключительном слове по докладу о партийной программе говорил: «Мы на марксистской программе воспитали партию пролетариата, и так же надо воспитать те десятки миллионов трудящихся, которые у нас есть».

Воспитание миллионов строителей социализма в духе партийной программы было решающим условием победы социализма. Коммунистическое воспитание всего народа — одно из главных условий победы коммунизма.

За прошедшие десятилетия в советском обществе накоплен огромный практический опыт по воспитанию трудящихся, однако в

области теоретического обобщения этого опыта сделано еще мало. Поэтому выход в свет монографии С. Ковалева «Коммунистическое воспитание трудящихся» — заметное и отрадное явление.

В книге материал рассматривается широко — автор начинает свой труд обзором домарксовской теории воспитания и заканчивает характеристикой деятельности нашей партии в области воспитания. Заслуживает одобрения попытка осветить ряд очень важных и вместе с тем сложных проблем — таких, например, как причины живучести пережитков капитализма в сознании советских людей.

Основательно и подробно исследует С. Ковалев всю систему «приводных ремней», какими партия связывается с массами, решая задачи коммунистического воспитания. Интересны мысли о воспитательной роли хозяйственно-организаторской деятельности Советского государства. С полным основанием

автор утверждает: «Умение или неумение директора, начальника цеха, мастера поставить... воспитательную работу в процессе трудовой деятельности людей в решающей степени определяет боеспособность коллектива завода, цеха, участка, бригады».

Несомненный интерес представляет историческая часть монографии, рассматривающая пути и средства воспитания трудящихся в переходный период, страницы, где рассказывается о культурной резолюции, а также факты, характеризующие строительство социализма в странах народной демократии.

В книге есть много верных теоретических обобщений, автором привлечен весьма обширный современный материал. Словом, книга своевременна, нужна, полезна. И все же... когда закрыта последняя из полутысячи страниц, чувства полного удовлетворения от прочитанного не наступает. Почему? Вот об этом, думается, и стоит здесь сказать в интересах дела прямо, без обиняков.

Автор излагает и иной раз критикует те или иные точки зрения в области коммунистического воспитания, которые существуют в нашей литературе, но делает это, к сожалению, в обезличенной и бесстрастной форме. В книге нет ни одного имени — ни тех, с кем С. Ковалев спорит, ни тех, с которыми он соглашается.

Избегая прямой, открытой полемики, автор неизбежно спускается к описательности. Так обстоит дело, в частности, в главе, посвященной моральным проблемам. Здесь С. Ковалев пошел по пути авторов, чьи брошюры либо перегружены фактами и иллюстрациями, почерпнутыми из периодической прессы, либо испещрены давно наскучившими сентенциями, назиданиями и изречениями вроде следующего: «Скромность — антипод высокомерия, зазнайству, хвастовству». В основном в духе отвлеченной проповеди излагаются в книге и такие проблемы, как перестройка нашего быта, семейные отношения, всестороннее развитие личности.

Автор утверждает, что оптимизм, присущий советским людям, избавляет их от «мучительных» раздумий о «смысле жизни». Но это упрощение. Да, нам ясны перспективы нашего развития, известны законы строительства нового общества, но значит ли это, что советскому человеку с рождения известны ответы на все вопросы, которые возникают и будут всегда возникать в нашей

жизни? Вместе с тем оптимизм советского человека ничего общего не имеет с бездумным бодрячеством. Советскому человеку свойственна самая жизненная, самая необходимая для движения вперед неудовлетворенность собой, творческая неудовлетворенность достигнутым, как бы оно велико ни было.

Понятна та колоссальная роль, которую призвано сыграть эстетическое воспитание. Но вместо убедительного и проблемного разговора на эту тему автор ограничился всего лишь несколькими страничками, которые он отвел опять-таки для рассуждений «вообще» — о культурно-воспитательном значении художественной литературы, кино, театра, музыки, изобразительного искусства. Вот что говорится в книге об эстетическом воспитании: «Такое чувство прекрасного, овладевшее массами народа, становится великой силой в борьбе за преодоление отрицательных явлений во всех сферах жизни, начиная от грязи в квартирах, в общественных местах до ликвидации безвкусицы в архитектуре, в художественном творчестве, до неприимности к недостойному поведению некоторых людей».

Спору нет, борьба с грязью в квартирах, в общественных местах — немаловажная задача. Но несравненно более трудным и сложным является очищение человеческих душ от пережитков капитализма. Способствовать этому призвано и эстетическое воспитание. Оно не должно ограничиваться преодолением и ликвидацией отрицательного. Основная его цель — пробуждение и утверждение в человеке бескорыстной любви к добру, истине, красоте.

Неправильно противопоставляя понятия «формирование» и «воспитание», С. Ковалев к тому же недооценивает роль и значение самовоспитания. Автору следовало подчеркнуть, что воспитание — это диалектическое единство объективного и субъективного. Воспитание воли, формирование характера и вообще всестороннее развитие личности невозможны без того, что в этике называется нравственным совершенствованием личности.

На одном из совещаний по вопросам этики ленинградский рабочий П. Г. Мазня, подводя итоги деятельности своей бригады коммунистического труда, справедливо отметил: «У нас выработалось новое чувство долга перед коллективом, что способствует нашему моральному самовоспитанию».

С. Ковалев подвергает критике слова Гер-

берта Спенсера, утверждавшего еще в прошлом веке, что «нет такой политической алхимии, при помощи которой возможно было бы превратить свинцовые инстинкты в золотые нравы». Теория неизменности природы человека, справедливо указывает С. Ковалев, состояла и состоит на вооружении антикоммунизма. Наша социалистическая действительность окончательно ее опровергла. Это признают честные люди за рубежом. Недавно в «Правде» американский публицист Альберт Кан писал: «Сегодня вопрос о том, можно ли изменить природу человека, уже не вызывает больше дискуссий. Сама жизнь дала неоспоримый ответ на него. Ибо те, у кого есть глаза, чтобы смотреть, отчетливо и ясно видят: то, что в течение долгого времени называлось «природой человека», изменилось в Советском Союзе. В этой стране в процессе преобразования общества человек изменяет самого себя. Человек нового склада шагает ныне по земле».

Каждый член нашего общества прилагает свою волю ко всему доброму, чему его учит партия, сама жизнь. Воспитание человека будущего предполагает превращение требований морали в неотъемлемую часть личных убеждений, в черты характера. Это невозможно без борьбы с собственными недостатками, без умения вырабатывать свои принципы, без того, чтобы прежде всего думать не о том, кем быть, а о том, каким быть.

Почему в пролетарской среде сохраняются частнособственнические взгляды? Почему в некоторых зарубежных странах значительная часть рабочего класса идет за реформистами, находится под влиянием буржуазной идеологии? Разбирая эти вопросы, С. Ковалев критикует точку зрения тех, кто, как он пишет, «относительную живучесть старой идеологии среди известной части пролетариата объясняют только идеологическим влиянием буржуазии». Но сам он приходит к умалению этого влияния, недооценивая гигантский аппарат лжи и обмана, которым располагает буржуазия для обработки масс.

В книге говорится: «Заправилы империализма расписываются в своей полной беспомощности в борьбе за «умы людей», они ничего не могут противопоставить победному шествию великого марксистско-ленинского учения. Тщетны их старания «изобрести» какую-либо привлекательную для народных масс «доктрину», так как реакционный от-

живший строй не может породить прогрессивной идеологии».

Прогрессивную идеологию породить капитализм, конечно, не может. Но расписываться в своей полной беспомощности он пока не собирается. Напротив, империалисты усиливают идеологическую борьбу всеми им доступными способами и средствами.

Нельзя игнорировать и новейшие методы пропаганды, применяемые в капиталистических странах. К ним относятся насквозь лживые провокационные доктрины «человеческих отношений», «идеологии социального партнерства», движения «морального перевооружения». В США насчитывается не менее пятисот фирм, занимающихся вопросами «человеческих отношений». Во всех университетах и колледжах введены специальные курсы, исследующие проблемы «воспитания» широких масс.

Историческое Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих партий подчеркивает необходимость решительного наступления на идеологическом фронте. «Успехам социализма,— говорится в Заявлении,— класс эксплуататоров противопоставляет все более активную идейную обработку масс, старается удержать их в духовном плену буржуазной идеологии». Пережитки капитализма в сознании людей сохраняются в течение длительного времени и после установления социалистического строя. Вот почему развертывание огромной всесторонней деятельности партии по воспитанию масс является необходимым условием построения коммунизма.

У нас должно резко увеличиться количество и улучшиться качество работ, посвященных проблемам коммунистического воспитания и отвечающих требованиям жизни. Миллионы членов бригад коммунистического труда довольно отчетливо понимают, что значит по-коммунистически работать, но многие из них слабо представляют себе, что значит по-коммунистически жить, каким должен быть человек будущего. Помочь им разобраться в этом — прямой долг наших публицистов и философов.

Немало людей считает, что наше семейное право некоторыми своими сторонами вступило в противоречие с моралью. Много споров вызывает будущее такой функции семьи, как воспитание детей. Каковы пределы вмешательства общества, коллектива в личную жизнь? В каком направлении должны раз-

виваться общественные формы самодеятельности, самоуправления?

Все эти проблемы волнуют широкие массы. И это понятно, потому что от принципиального их решения зависит, насколько успешно будет идти наша подготовка к вступлению в коммунистическое завтра. К сожалению, эти и другие вопросы, взятые из длинного списка, составленного нашей сегодняшней жизнью, не получили должного отражения в книге.

И все же сделанные здесь критические замечания не умаляют значения того боль-

шого труда, который проделал автор монографии. Они скорее свидетельствуют о том, какие сложные, трудные, жизненно важные проблемы затронуты в книге.

Величайший всемирно-исторический опыт КПСС по воспитанию масс ждет новых и новых исследований. Жизнь властно требует, чтобы смелее ставились и решались новые вопросы теории и практики коммунистического воспитания.

**И. МИНДЛИН,**

*кандидат исторических наук.*

★

## ПОДВИЖНИКИ КНИГИ

**И. Д. Сытин. Жизнь для книги. Из истории книги и издательского дела в России. Составление и подготовка текста А. З. Окорокова. Редакторы Д. Крупин, М. Деревянкина. Госполитиздат. М. 1960. 280 стр.**

**Н. М. Рассудовская. Издатель Ф. Ф. Павленков (1839—1900). Очерк жизни и деятельности. Редактор К. В. Кудряшов. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1960. 108 стр.**

**И**стория русской книжной торговли и русских книгоиздательств еще не написана. И не потому, что ее некому написать или, может быть, отсутствуют интересные для этого материалы. Нет, она не написана потому, что, как мне кажется, до сих пор существует еще некоторая недооценка самых понятней «книгопродавец» и «книгоиздатель».

Разумеется, в эти слова мы вкладываем теперь иной, новый, социалистический смысл. Но можно ли по-настоящему оценить эти новые понятия, если о понятиях старых представления пока весьма смутны и узнать о них, по сути дела, негде?

Торговля книгами — это не торговля колбасой, а производство книг — это не производство велосипедов. И колбаса и велосипеды могут быть только либо хорошими, либо плохими. Книги же еще могут быть или вредными, или полезными.

Книгоиздатель и книгопродавец — в первую очередь пропагандисты культуры и знаний. В том, конечно, случае, если книги, которые они производят и продают, способствуют развитию культуры и знаний. Теоретически может быть и наоборот. Кстати, ведь неспроста в пушкинские годы министра народного просвещения С. Уварова называли «министром погашения и помрачения просвещения».

Я убежден, что пропагандистские приемы и тех и других книгоиздателей и книгопро-

давцев нужно тщательно изучать. В особенности тех, опыт которых может пригодиться нашей новой, социалистической культуре. Уверен, что многих ошибок советских книгоиздательств и организаций, ведающих книготорговлей, могло не произойти, если бы опыт прошлого был основательно изучен.

История книгоиздательства и книжной торговли в России — весьма поучительная и заслуживающая изучения история. В ней были настоящие подвижники книжного дела, отдавшие жизнь пропаганде культуры и знаний.

Что мы знаем, например, о просветителе XVIII века Николае Ивановиче Новикове? Если еще существуют книги о нем как о сатирике и борце за просвещение, то о его издательских и книгопродавецких приемах нет почти ничего.

Об Александре Филипповиче Смирдине, который, по выражению В. Г. Белинского, создал целый «смирдинский период русской словесности» и о котором этот великий критик и публицист писал: «Нужно ли говорить, какое великое влияние на успехи литературы может иногда иметь книгопродавец-издатель?» — о нем у нас нет сводной большой работы. Существует едва ли не единственная брошюра, написанная в 1957 году, к столетию смерти Смирдина. Даже я сам, автор этой брошюры, не могу ее рекомендовать как пособие для изуче-

ния всей многогранной деятельности этого издателя и книгопродавца пушкинской поры.

Кстати, в своей «юбилейной» брошюре о Смирдине я имел документальные основания сообщить, что «постановлением Ленинградского Совета депутатов трудящихся на доме, где была его книжная лавка, устанавливается мемориальная доска».

Пользуюсь случаем объявить результаты: за четыре года, протекавшие со дня юбилея, обещанная мемориальная доска еще не установлена. Молодые люди проходят сегодня мимо продуктового магазина на Невском и не знают, что именно об этом помещении на Невском писал Пушкин:

К Смирдину как ни зайдешь,—  
Ничего не купишь.  
Иль Сенковского найдешь,  
Иль в Булгарина наступишь.

В пушкинское время книжная лавка Смирдина была своеобразным «клубом писателей и поэтов». Неплохо было бы там, где ныне расположился продуктовый магазин, устроить книжную лавку. Для этого даже не потребуется особых расходов: можно просто обменяться помещениями с любой книжной лавкой на Невском же проспекте. Это было бы своеобразным памятником замечательному русскому книгоиздателю, а Ленинград обогатился бы еще одной достопримечательностью.

Заслуживает внимания более поздний книгоиздатель Н. П. Поляков, деятельность которого относится к семидесятым годам прошлого века. О нем нет, как мне кажется, даже отдельной брошюры. А между тем имя его как издателя стоит на первом томе «Капитала» Карла Маркса, впервые изданном в России в 1872 году. Книги, издаваемые Поляковым, не раз привлекали внимание царской цензуры. Сочинения В. В. Берви (Флеровского), «История рационализма в Европе» Уильяма Лекки, собрания сочинений Свифта, Дидро, Лассалья, Радищева, напечатанные Поляковым, не вышли за порог типографий, в которых они были напечатаны. Но, несмотря на это, издатель упорно продолжал свою просветительскую деятельность.

Можно было бы продолжить список русских «подвижников книги», все еще оставленных нами без внимания. Нет книг, посвященных В. С. Солякову, Н. А. Рубаки-

ну, К. Т. Солдатенкову, М. и С. Сабашниковым и многим другим.

Но есть ли смысл перечислять то, чего нет, и не лучше ли отметить то немногое, что стало в последнее время появляться (на затронутую тему) на нашем книжном рынке?

Пока это действительно очень немного: всего две книги, требующие сегодня внимания, как посвященные «книжникам-подвижникам». Это изданная Всесоюзной книжной палатой работа Н. М. Рассудовской об издатель-просветителе Ф. Ф. Павленкове и долгожданные «Записки» И. Д. Сытина, выпущенные Госполитиздатом. Появление этих книг — большое событие для всех интересующихся историей русской книги.

Издательская деятельность Флорентия Федоровича Павленкова (1839—1900) неоднократно привлекала внимание В. Г. Короленко, Н. А. Рубакина, Х. Д. Алчевской и других.

Офицер-артиллерист, автор некоторых теоретических работ по артиллерийскому делу, Ф. Ф. Павленков в 1860 году вошел в кружок «чернышевцев», последователей Н. Г. Чернышевского, изучавших в кружке его произведения.

Огромной популярностью среди передовой революционной молодежи пользовался в то время писатель-публицист Д. И. Писарев. Смело можно сказать, что безмерно увлекшийся им Павленков решил посвятить себя изданию его сочинений. Выйдя в 1866 году в отставку, он со своим компаньоном М. П. Наденным купил книжный магазин у редактора-издателя народнической «Недели» П. А. Гайдебурова. Первые пробные издательские шаги Павленкова были удачны, и его мечта — издать произведения Писарева — была уже на пороге к осуществлению.

Четвертого апреля 1866 года раздался выстрел Каракозова, и напуганное царское правительство усилило репрессии. Были запрещены «Современник» и «Русское слово». Заключены в Петропавловку Чернышевский и Писарев. Это не остановило Павленкова, и в апреле же 1866 года первая часть сочинений Писарева вышла в свет в количестве трех тысяч экземпляров.

Появление второй части его сочинений вызвало скандал, и Павленков был привлечен к суду. Флорентий Федорович защи-

шался на процессе сам — и настолько мастерски, что был оправдан. Однако деятельность его стала предметом внимания охранки.

В 1868 году Писарев трагически погиб, и Павленкова как организатора похорон его, как человека, говорившего на могиле писателя речи «возбудительного» порядка, арестовали. Просидев около года в крепости, он был выслан в Вятскую губернию.

Десятилетняя ссылка, тюрьмы не сломили духа издателя. Руководя издаека, Павленков сумел добиться расцвета своего издательского дела. Иногда он вырывался тайно в Петербург, причем обставлял эти свои отлучки настолько остроумно, что читать о них чрезвычайно любопытно. Будучи в ссылке, Павленков задумал выпуск серии «Замечательные люди», издание прославившего его впоследствии однотомного Энциклопедического словаря и многое другое.

Ф. Ф. Павленков издавал учебную литературу с расчетом на пригодность ее и для самообразования. Он сам был переводчиком и составителем многих научно-популярных книг.

В бытность в ссылке Флорентий Федорович начал издавать сборники «Вятская незабудка», прошумевшие на всю Россию разоблачением злоупотреблений местных провинциальных сатрапов. Как издатель Павленков боролся за общедоступность и удешевление книг, нередко сам выполняя должность и редактора и корректора. Его издательская деятельность по распространению идей революционных демократов и просветителей в значительной мере шла навстречу стремлению русских марксистов, во главе с В. И. Лениным, направить легальных деятелей на распашку той нови, которую засеют потом социал-демократические агитаторы. Павленков издал свыше шестисот названий книг тиражом около трех миллионов экземпляров; в числе этих книг — «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса, сочинения В. Г. Белинского. Было подготовлено издание сочинений А. И. Герцена.

Н. А. Рубакин называл Павленкова «героем книги», отмечая крайнюю личную скромность в жизни: никаких потребностей, кроме служения своему делу. Накопленное им состояние, все до последней копейки, было завещано на организацию двух тысяч

народных читален и библиотек на селе. Несмотря на противодействие властей этой идее покойного издателя, организованные за счет Павленкова библиотеки сделали свое дело и, по словам Н. А. Рубакина, «наплодили немало читателей в самых глухих углах».

Обо всем этом подробно, живо и увлекательно рассказала Н. М. Рассудовская в книге «Издатель Ф. Ф. Павленков». Остается пожалеть, что двухтысячный тираж брошюры и в малой степени не удовлетворит массового читателя, интересующегося историей книги. Всесоюзной книжной палате следует переиздать эту работу, может быть с учетом более массового адреса ее предназначения. Вся серия популярных брошюр «Деятели книги», издаваемая Всесоюзной книжной палатой, чрезвычайно нужна и полезна и должна отвечать потребностям значительно более широкого круга читателей, чем только библиографы и книговеды.

Это продиктует и большой тираж книг, издаваемых в этой серии, а следовательно, и значительно лучшее их внешнее оформление. Греха таить нечего, книга о Ф. Ф. Павленкове издана бедновато.

В 1866 году из села Гнездникова Костромской губернии деревенским мальчишкой четырнадцати лет от роду, с ржаной лепешкой за пазухой, в лыковых лапоточках на ногах, притопал в Москву будущий миллионер, владелец крупнейшей в России типографии, издатель множества книг, газет и журналов, человек, имя которого потом знал весь мир, — Иван Дмитриевич Сытин.

Его биография — это отнюдь не биография американского миллионера, которую так любят показывать голливудские кинематографисты. Никакого пути «от чистильщика сапог до собственника яхты» И. Д. Сытин не проходил. Не было у него в жизни ни крупного выигрыша в лотерею, ни хитроумной спекуляции с женитьбой на дочери богача, ни свалившегося с неба наследства американского дядюшки. Ничего этого не было. Был только труд, приобретенная русская смекалка и точная цель в жизни: дать народу дешевую, хорошую книгу.

Приобщившись к книжному делу «с мальчиков» в лавке П. Шарапова, тор-

говца лубочным «печатным товаром», Иван Дмитриевич быстро разведал секрет его обогащения. Да и «секрет» тот был прост: Шарапов и ему подобные поставляли рабочим окраинам и деревням грошовые, аляповатые песенники, сонники, «оракулы», «божественные картинки» вроде «трех отроков в печи огненной» и прочую дребедень, дающую огромную прибыль.

Немеркнувшее значение всей деятельности И. Д. Сытина заключается в том, что он стремился заменить эту печатную макулатуру сочинениями Гоголя, Пушкина, Толстого, Чехова и других замечательных русских писателей. Заменить пресловутого и отнюдь не подлинно народного «Бову-королевича» дешевыми, доступными изданиями Народной, Военной, Детской энциклопедий, популярными, интересно написанными брошюрами по истории, географии и другим наукам.

Время в России тогда еще было таким, что не читатели искали книгу, а книга искала читателей и пробивала себе дорогу к ним. Помочь хорошей книге пойти по этому нелегкому пути было жизненной задачей И. Д. Сытина.

Не все у него отвечало только этой благородной цели. В условиях капиталистического общества во многом приходилось и ему поступать по пословице «С волками жить — по-волчьи выть». Но даже то, что все же таки удалось совершить этому издателю-просветителю, ставит его имя рядом со Смирдиным, Павленковым и другими.

Свою книгу воспоминаний Иван Дмитриевич назвал весьма скромно: «Страницы пережитого». Госполитиздат, напечатавший эту книгу, правильно сделал, назвав ее: «Жизнь для книги». Этим подчеркнуто значение не зря прожитой автором жизни. Горький говорил, что книга — «самое удивительное чудо из всех чудес, созданных человеком». Как это прекрасно — жить, помогая чуду!

В конце книги собраны высказывания Горького, Бунина, Куприна, Рубакина, Тихонова, художников Сурикова, Нестерова и многих других деятелей литературы и искусства. В этих отзывах воздается должное более чем полувековой издательской деятельности Сытина. Его издательство существовало до 1924 года.

Не так уж часто случается, чтобы капиталисту старого, дореволюционного времени Советское государство назначило

персональную пенсию. И. Д. Сытин был именно таким капиталистом.

Как же написана «Жизнь для книги»? Как всякая книга «о своей жизни», она интересна лишь в том случае, если жизнь эта сама по себе интересна, полна событиями, встречами, делами. Жизнь И. Д. Сытина была именно такой жизнью, а поэтому и повесть о ней — интересная повесть.

Когда в 1922 году Иван Дмитриевич впервые принес свою книгу в Госиздат, Д. А. Фурманов, работавший там политредактором, воскликнул: «Как это все интересно, хоть роман пиши!..»

По разным причинам (пропала рукопись — об этом рассказывает Н. Накоряков в предисловии к книге) воспоминания И. Д. Сытина появились на свет только сейчас. И воспоминания его действительно интересны — как роман.

Издана книга блистательно. Переплет, бумага, суперобложка, иллюстрации, цветные вклады — все это на очень высоком уровне полиграфического производства.

Дело в том, что «волею судеб» книга Сытина печаталась в типографии, которая когда-то была собственностью автора. Разумеется, ее сегодняшняя техническая оснащенность не идет ни в какое сравнение с временем, когда она была «сытинской». И типография, по-видимому, решила «помянуть» бывшего своего владельца, и «помянуть» хорошо: так самому Ивану Дмитриевичу в его годы книгу напечатать было бы невозможно. В особенности если принять во внимание стотысячный гираж!

Всесоюзная книжная палата и Госполитиздат сделали приятный подарок советским книголюбам, число которых растет с каждым днем. Истинный книголюб интересуется не только содержанием книги (кто же спорит, что это стоит на первом месте?!), но и самой книгой. Его волнует, как она напечатана, как переплетена, как иллюстрирована.

В книге любят не только ее автора, но и людей, ее делающих: печатников, художников, фабрику, сработавшую бумагу для книги, книжную лавку, ее продающую...

Или не любят. Иногда любят только автора, но не любят издателя его книги. Или наоборот. А надо, чтоб любили всех! Книга — это оркестр, все инструменты в котором должны звучать гармонично,

чтобы ни один не фальшивил. Только тогда и получается то самое «чудо», о котором говорил Максим Горький.

И надо преодолеть некоторую робость наших издательств в создании книг по истории книги, по истории издательств и людей, которых можно именовать «книж-

никами-подвижниками». Честное слово, на такие книги есть спрос. Издательства наши просто еще не попробовали это делать. Было бы хорошо, если бы они о советских книголюбях думали чуточку лучше.

Ннк. СМИРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ.

★

## ДНЕВНИК МАТЕРИ

Марцьянна Fornalska. Pamiętnik matki. „Książka i Wiedza“. Warszawa. 1960  
(Марцианна Форнальская. Дневник матери. Издательство «Книга и знание». Варшава. 1960).

Эту книгу нельзя читать без волнения, она поистине необыкновенна. Необыкновенна и история ее создания.

«Свой дневник я начала писать в 1951 году,— сообщает автор книги.— Тяжкое это было писание... У меня нет никакого образования, читать научилась еще ребенком, в доме родителей, в деревне, и то только по-печатному; писать же почти совсем не умею, всегда подписывалась крестиками... Время, в которое я жила, и жизнь моя были сложными, и я подумала, что хорошо бы оставить своей внучке дневник о старом времени, о двух пережитых мною войнах. Я считала, что внучка должна знать, как жилось при старом режиме, в темноте и невежестве, каким несчастьем были войны и как люди боролись за новую жизнь, за новый строй, за строй, в котором мы живем сейчас».

Автор «Дневника» — Марцианна Форнальская, ныне почти девяностолетняя женщина, польская коммунистка. Она мать Малгожаты Форнальской — одной из основательниц Польской рабочей партии. Воспоминания охватывают большой исторический период. Первые детские впечатления относятся к восьмидесятым годам прошлого столетия, а заканчивается книга 1945 годом — освобождением Варшавы и приходом на польскую землю новой жизни.

На долю Марцианны Форнальской выпало множество несчастий и страданий. Она родилась в семье бедняка, только-только освободившегося от крепостной зависимости. Пришла пора — и отец, не спросив согласия дочери, выдал ее замуж за малоземельного крестьянина.

Огромного труда стоило Марцианне накормить и одеть своих шестерых детей, выучить и воспитать их.

Началась первая мировая война. В числе польских беженцев Форнальская и ее семья оказались в Царицыне. Здесь их застали революционные события 1917 года.

Всем сердцем восприняли мать и старшие дети — Малгожата и Олесь — весть о свержении власти богачей в России. Они впервые услышали имя вождя пролетарской революции Ленина, которое стало для них синонимом правды. Вскоре Малгожата, Олесь и Марцианна вступили в Социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы. Мать расписалась на своем партийном билете крестиками. С этих пор семья Форнальских накрепко связала свою судьбу с делом пролетарской революции в России и Польше. Малгожата и Олесь ушли в Красную гвардию, Феля и мать получили партийное задание — работать в польском детском доме. И так, деля с русским народом все горести и радости трудных лет революции, семья Форнальских встретила 1919 год, когда открылась возможность вернуться на родину.

Польша была как будто прежней, и в то же время она стала чужой. К тому же польское правительство объявило мобилизацию для войны против Советской России.

Форнальские рассказывали своим землякам правду о русском народе и Октябрьской революции. По вечерам в их доме собиралось много крестьян. Собрания эти не прошли бесследно. Молодые парни из деревни Зюлков на Люблинщине решили не идти в армию, не воевать против советских людей. В соседних деревнях узнали об этом и тоже начали скрываться от призыва. Правительство вынуждено было прислать в этот повят войска для наведения порядка.

Феля, Малгожата, Олесь включились в активную работу подпольных организаций

Коммунистической партии Польши. Не раз они побывали в тюрьмах польской дефензивы; случалось, что они не виделись годами,— выходя на свободу, узнавали, что их близкие еще в тюрьме или снова осуждены на длительный срок.

Марцианна Форнальская помогала Малгожате в распространении нелегальной литературы. Однажды к ним на квартиру явилась с обыском полиция, были найдены листовки. Марцианна была арестована и долго просидела в Люблинской следственной тюрьме. После освобождения она вместе с младшим сыном, Стасем, по решению руководства КПП была переброшена через советско-польскую границу и поселилась в Минске.

В своей книге Марцианна Форнальская не раз обращается к русскому народу — ведь целых тридцать лет она провела в России. Достойной отповедью польским буржуазным националистам, старавшимся разжечь ненависть к «москалям», звучат эти страницы. В годы первой мировой и гражданской войн Форнальским дважды пришлось проделать долгий путь в глубь России и обратно в Польшу. Теплыми словами вспоминает Марцианна Форнальская русских людей, которые не раз помогали им в тяжелую минуту.

«Из года в год росло социалистическое государство, каких до сих пор никто не знал,— пишет Форнальская, свидетельница первых советских пятилеток.— Трудности были огромные, казалось, преодолеть их было невозможно. И все же год от года люди жили все счастливее. С благодарностью вспоминаю я, полька, какой заботой были окружены мы, поляки, и наши дети в трудных послевоенных условиях. Никто не чувствовал себя чужим, оторванным от родины. У нас были школы, где преподавание велось на польском языке, клубы и работа; там все чувствовали себя братьями. Условия были тяжелыми, но все знали, что это временные трудности, что все вместе мы идем к единой цели: завоевать счастье для всех».

Марцианна Форнальская оказалась надолго разлученной со своими детьми. Лишь изредка им удавалось приезжать в СССР — лечиться после тюрем, набираться новых сил и знаний для дальнейшей борьбы.

«...Дерево выращивает свои плоды не для себя,— размышляла мать.— Земля растит плоды и цветы не для себя, а на пользу лю-

дям. Так и дети мои выросли не для меня, а для людей, которые их окружают, и для них они творят добро, им помогают стать счастливыми — подобно цветам и плодам земли, приносящим счастье и радость».

Рассказу о Малгожате Форнальской в книге отведено особое место. Уже в ранние детские и юношеские годы она была серьезной, сосредоточенной, сердцем откликающейся на любое достойное дело.

В начале тридцатых годов Малгожата приехала в Минск. Ей предстояло подлечить легкие после нескольких лет, проведенных в тюрьме.

Вскоре партия направила ее на учебу в Москву, в институт имени Крупской, а затем в школу марксизма-ленинизма имени Ленина. Этот приезд принес ей не только встречу с матерью, но и личное счастье: она стала женой товарища по борьбе — Болеслава Берута. Через несколько лет, снова уезжая в Польшу по заданию партии, Малгожата оставила матери на попечение внучку Оленьку.

И снова годы подпольной работы, снова тюрьма, на этот раз ненадолго: началась война между фашистской Германией и Польшей. До нападения гитлеровцев на Советский Союз Малгожата Форнальская с семьей жила и работала в Западной Белоруссии.

В последний раз ее дочь Оленька и Марцианна Форнальская простились с Малгожатой на трамвайной остановке в суровой военной Москве. Польские коммунисты собирали силы для борьбы, и Малгожате предстояло сыграть немалую роль в восстановлении оборванных связей, в доставке литературы и сружия, в организации активных групп сопротивления — всего того, что на конспиративном языке именовалось коротким словом «техника». Малгожата Форнальская стала одним из первых членов Центрального Комитета Польской рабочей партии, образовавшейся в январе 1942 года. Она погибла на боевом посту — была расстреляна гестаповцами в 1944 году.

А в далеком Иванове, в интернациональном детском доме, Оленька и Марцианна Форнальская ждали от Малгожаты хороших вестей: уже был освобожден Люблин — первый клочок родной польской земли. Марцианна аерила в возвращение дочери до тех пор, пока вскоре сама не увидела развалины Варшавы.

«О матери! — страстным призывом звучат

заключительные строки книги.— Я оплакиваю не только своих детей, из которых один лежит где-то здесь под развалинами, а другой, может, живьем сожжен в печи крематория; я оплакиваю и ваших детей, которых вы потеряли, так же как и я. И есть лишь одно утешение для наших изболевшихся сердец: никогда больше не допустить этого кошмара, этого самого боль-

шого человеческого несчастья — никогда больше не допустить войны!»

«Дневник» Марцианны Форнальской адресован в первую очередь молодому поколению. Хорошо, что эту искреннюю, содержательную книгу, перевод которой выпускает Издательство иностранной литературы, смогут прочесть советские читатели.

А. МЕЛЬНИКОВ.

★

## ЧЕСТНОСТЬ СЛУЖИТ КОМПАСОМ

Грэм Грин. Путешествие без карты. Перевод с английского Е. М. Голышевой и Б. Р. Изакова. Редакторы С. Н. Кумкес, Ф. П. Протасов. Географгиз. М. 1961. 232 стр.

Неожиданность — вот, пожалуй, первое впечатление от этой книги. Очень уж она далека по своему жанру от известных нам романов Грэма Грина «Тихий американец», «Наш человек в Гаване» и других.

Примерно четверть века назад Грэм Грин совершил увлекательное путешествие по странам Западной Африки. Через дебри тропических лесов, пешком прошел он районы, еще не нанесенные на карту, и даже побывал там, где до него никогда не ступала нога европейца.

Так родилось это своеобразное произведение, в котором непритязательный дневник путешественника сочетается с тонкими художественными зарисовками.

Однако четверть века — срок, достаточно большой и для жизни книги. Не устарела ли она за это время?

Нет! «Путешествие без карты» звучит исключительно современно. И не только оттого, что действие его развивается в местах нынешних бурных политических событий. Книга говорит о многих причинах возникновения этих событий.

Писатель рисует страшные по своей жестокой стандартности портреты колонизаторов. Среди них золотоскатели, агенты пароходных компаний, торговцы, инженеры — они приехали только для того, чтобы добыть деньги, их отношение к «проклятым черномазым» совершенно цинично. Нажива — главное, ради чего живут здесь белые люди. «Все, что было уродливого во Фритауне, — пишет Грэм Грин, — принадлежало Европе — лавки, церкви, правительственные здания, обе гостиницы. Все, что здесь было красивого, принадлежало Африке».

Правдивые слова! Они определяют отно-

шение автора к чудовишным нравам, насаждаемым в колониях.

Полное страданий, нищенское существование африканских народов вызывает сочувствие писателя. Саркастически говорит он о тех, кто жалуется, что негры их не любят, что негры неблагодарны. А за что, собственно, должны они быть благодарны? За колониальный произвол? За нищету? За болезни, с которыми не ведется никакой борьбы? Ведь все это — прямое порождение жесточайшей системы угнетения.

«Цивилизация означает здесь эксплуатацию, — пишет Грин. — Мы принесли им новые болезни и ослабили их сопротивляемость старым... Что касается Сьерра-Леоне, то цивилизация выразилась здесь в железной дороге до Пендембу и в возросшем экспорте кокосовых орехов; но она воплотилась и в концерне «Леверс», диктовавшем свои цены, и в длинной стойке бара «Гранд-отель», и в шести пенсах за день тяжелого труда».

С сердечным теплом отзывается автор книги об африканцах — жителях маленькой общины в лесной пустыне. «Говорят, что любовь изобрели в Европе трубадуры, но вот здесь она жила, свободная от всех прикрас цивилизации. Они были ласковы с детьми (мне редко доводилось слышать, чтобы ребенок плакал, разве что при виде белого лица, и я ни разу не заметил, чтобы детей били), они были ласковы друг с другом, но в то же время не навязчивы, они не кричали, не скандалили... И это были те самые люди, о которых мошенники и торгаши с Берега говорили, будто им нельзя верить! «Черномазый всегда подведет!» — повторяли они. Напрасно я позже твердил

им, что ни разу не заметил ни одного нечестного поступка ни со стороны своих слуг, ни со стороны носильщиков или деревенских жителей; я встречал с их стороны только предупредительность, доброту и бескорыстие, которых никогда бы не нашел или по крайней мере не надеялся найти в Европе. Меня поражало, что я могу спокойно путешествовать в стране, где нет никакой полиции».

Язвительно замечает Грин по адресу европейцев, утверждавших, что негру никогда не следует доверять: обычно после этих слов они опорожняли стакан виски и отправлялись в свои лавки, чтобы надуть покупателей по всем правилам коммерции.

В равной мере не обеляет Грин ни своих соотечественников, ни американских, ни французских и прочих «благотетелей» негритянского населения. В сатирической, а порой гротесковой форме он показывает их сущность без «фиговых листков», во всей неприглядности.

Вот абориген Фритауна, некий англичанин по кличке Папаша. Беспобудный пьяница, он кичится тем, что его знает весь город. Пьяным ведет он автомобиль в негритянский квартал, чтобы доказать там свою известность. «Кто я такой, черная образина?» — обращается Папаша к полицейскому-негру. Тот в перепуге шарахается: этого белого господина побаиваются даже полицейские. Только встреченная на улице проститутка на вопрос: «Ты знаешь, кто я?» — отвечает без колебаний: «Папаша!», что вызывает его нескрываемую радость.

А вот миссис Кроуп — вдова американского миссионера. Втридорога продала она путешественнику старый фонарь, валявшийся на складе миссии. В своем саду американка содержит кобру, которой ежедневно скармливает живую курицу, чтобы полюбоваться, как змея живьем проглатывает птицу. Вдова миссионера обычно путешествует в комфортабельном паланкине, который несут восемнадцать негров. Миссис Кроуп относится к ним, как к вьючным животным: десятичасовой переход она считает сущим пустяком.

Грэм Грин приводит многие примеры грубо корыстного и в то же время глубоко невежественного отношения колониалистов к

своим владениям. Даже карта британского генерального штаба «вполне откровенно оповещала о своем невежестве»: большая часть Либерийской республики была показана на ней в виде белого пятна с бахромой названий вдоль границы и несколькими пунктирными линиями, обозначающими предполагаемые русла рек.

Другую карту выпустило военное министерство Соединенных Штатов. В ней, по словам автора книги, есть даже какая-то лихость, свидетельствующая о необузданной фантазии ее составителей. Если английская карта довольствуется белым пятном, то американская заполняет его надписью, набранной крупным шрифтом: «Людоеды».

Не следует думать, что Грин в своей книге задался целью разоблачать колониализм. Однако как искренний, большой художник он не мог не рассказать правдиво обо всем наблюдаемом. Честность служила ему компасом в «Путешествии без карты». Именно поэтому столь сильно проявляются демократические и гуманистические тенденции в его дневнике.

Увиденное в Африке, бесспорно, оказало существенное влияние на последующее творчество писателя. «Путешествие без карты» явилось своего рода прелюдией к будущим произведениям о «холодных» и «грязных» войнах, затеваемых империалистическими державами. Правда, путевые, во многом лишь беглые записи не претендуют на обобщения, возможные в большом художественном произведении. Процесс их «созревания» потребовал длительного времени.

Насколько были сильны африканские впечатления, можно судить по тому, как уже с первых страниц дневника разительно меняется характер мыслей, чувств и поступков путешественника. И хотя Грин не приходит к политическим выводам, которые напрашиваются сами собой, под конец своего путешествия он покидает позицию стороннего наблюдателя и с мужественной честностью переоценивает буржуазные понятия о добре и зле.

Географиз отлично сделал, дав возможность советскому читателю ознакомиться с книгой Грэма Грина.

**А. ТАЛАНОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**СССР В ЦИФРАХ В 1960 ГОДУ.** Краткий статистический сборник. Госстатиздат. М. 1961. 381 стр. Цена 56 к.

Эта книга содержит важнейшие статистические сведения о населении и территории страны, о развитии народного хозяйства СССР и союзных республик за период 1913—1960 годов. В ней отражены успехи советского народа в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, капитального строительства, культуры. Один из разделов посвящен росту материального благосостояния народа.

Вот некоторые выразительные данные, приведенные в сборнике. С 1913 по 1960 год выпуск промышленной продукции в СССР возрос в сорок пять раз. Колоссальный скачок! Он недоступен ни одной капиталистической стране. В США за этот же период выпуск продукции возрос всего лишь в пять раз с небольшим.

Поучительна таблица, показывающая место, занимаемое промышленностью СССР в Европе и во всем мире. С четвертых—шестых мест, которые Россия занимала в Европе по ряду важнейших отраслей промышленного производства, Советский Союз давно перешел на первое место в Европе и второе в мире. По углю и железной руде мы вышли уже на первое место в мире.

«Статистика,— писал В. И. Ленин,— была в капиталистическом обществе предметом исключительного ведения «казенных людей» или узких специалистов,— мы должны понести ее в массы...» Эту задачу призван выполнить и «Краткий статистический сборник».

**КОЛОКОЛ.** Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Вольная русская типография. 1857—1867. Лондон—Женева. Факсимильное издание. Издательство Академии наук СССР. Выпуск первый. М. 1960. 256 стр. Цена 1 р. 35 к.

Более ста лет назад, первого июля 1857 года, произошло событие, ставшее знаменательной вехой в истории русской культуры и русского освободительного движения. В этот день в Лондоне вышел первый номер «Колокола», первой подлинно свободной, подлинно революционной и подлинно демократической русской газеты. Родилась вольная русская пресса. «Рабы молчание было нарушено» (В. И. Ленин).

«Везде, во всем, всегда быть со стороны волн — против насилия, со стороны разума — против предрассудков, со стороны науки — против изуверства, со стороны развивающихся народов — против отстающих правительств» — этим свободолюбивым заветам, провозглашенным в первом номере газеты, А. И. Герцен и Н. П. Огарев оставались верны на протяжении десятилетнего существования «Колокола».

Первые номера «Колокола» были составлены исключительно А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. Но уже в пятом листе редакция сообщала: «Мы получили за прошлый месяц ворох писем, сердце обливается кровью и кипит бессильным негодованием, читая, что у нас делается под спудом». И «Колокол» публикует эти письма, в которых разоблачается самодержавный строй царской России. Из этих писем выросло два приложения к газете — листок «Под суд!» и журнал «Общее вече».

Но значение «Колокола» не столько в обличении отдельных фактов произвола и беззаконий, сколько в систематической борьбе против самодержавия, против рабских условий существования русского народа.

«Колокол» стал трибуной революционной России. На его страницах перепечатывались прокламации тайного революционного общества «Земля и воля», издание «Великорусс», на его страницах увидело свет знаменитое письмо «Русского человека», которое звало «Русь к топору».

Замечательный памятник русской общественной мысли и русского освободительного движения никогда не перенздался и давно стал библиографической редкостью.

Предпринятое Академией наук СССР факсимильное переиздание «Колокола» включает все 245 номеров газеты и приложения к ней — «Под суд!» и «Общее вече».

Издание, состоящее из одиннадцати выпусков, осуществляется под научным руководством академика М. В. Нечкиной и снабжено историко-археографическим предисловием и указателем. Все выпуски выйдут в течение 1961—1962 годов. Вышел уже из печати первый выпуск — комплект газеты за 1857—1858 годы (№№ 1—33). Предисловие написано академиком М. В. Нечкиной.

Выпускаемое издание явится ценнейшим пособием для исследователя русской исто-

рии, историка русской философии и экономической мысли, литературоведа, журналиста, учителя истории и литературы, студента-гуманитара, для каждого, кто занимается и интересуется историей русской культуры и историей русского революционного движения.

**ИСТОРИЯ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.** В трех томах. Издательство Академии наук СССР. М. Т. I. 1958. 724 стр. Цена 2 р. 82 к. Т. II. 1960. 636 стр. Цена 2 р. 50 к. Т. III. 1961. 864 стр. Цена 3 р. 40 к.

Коллективом сотрудников Института мировой литературы имени Горького закончен фундаментальный труд — «История русской советской литературы». Издание это состоит из трех томов объемом каждый в шестьдесят—семьдесят печатных листов. Здесь представлено развитие советской литературы за сорок лет — с 1917 года по 1957 год.

Каждый том «Истории русской советской литературы» открывается большой главой, в которой дана характеристика литературного процесса данного периода, рассмотрены наиболее важные для изучаемого момента теоретические и конкретно-исторические проблемы. Вслед за ней идут монографические главы о наиболее крупных писателях. Всего таких глав во всех трех томах сорок три. Во второй части каждого тома под общей рубрикой «Материалы и хроника» идут регулярные разделы: «Зарубежные связи советской литературы», «Литературные журналы» и «Хроника литературной жизни» за сорок лет.

Вступительная глава к первому тому и общее руководство всей работой принадлежит члену-корреспонденту АН СССР Л. И. Тимофееву. В написании «Истории» приняли участие литературоведы старшего поколения — Б. Михайловский, Л. Поляк, А. Богуславский, В. Щербина, К. Зелинский, А. Дементьев, Н. Венгров. Наряду с ними трудились молодые критики и литературоведы: Г. Трефилова, А. Снявский, А. Меньшутин, Н. Дикущина, У. Гуральник, В. Диев и другие.

Первый том «Истории» посвящен периоду с 1917 года по 1929 год. В лагерь революции переходят лидеры символизма, крупнейшие поэты — Блок и Брюсов. После краткого пребывания в эмиграции на родину возвращается Алексей Толстой. Продолжают трудиться представители старой литературной гвардии — Сергеев-Ценский и Вересаев. Крупнейшие художники века — Горький и Маяковский — возглавляют новую литературу. Вливаются кадры писателей необычного склада — они рождены иной эпохой, и весь их талант отдан новому миру. Во вступительной главе первого тома показан сложный и противоречивый процесс становления молодой социалистической литературы, поисков нового художественного метода, борьбы различных точек зрения и течений, поступательный ход развития революционного искусства. В последующих за вступительной главой монографиях о

творчестве Горького, Маяковского, Блока, Брюсова, Есенина, Багрицкого, Всеволода Иванова и других крупных художников конкретизируются особенности литературного процесса и отдельных творческих индивидуальностей.

Второй том посвящен литературе тридцатых годов. Это время, когда завершаются такие всемирно известные произведения, как «Жизнь Клима Самгина» и «Егор Булычов и другие» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Хождение по мукам» и «Петр I» Алексея Толстого, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Люди из захолустья» Александра Малышкина, «Педагогическая поэма» Антона Макаренко. В этот период творческий метод новой литературы — социалистический реализм — столь убедительным образом доказал свою силу, жизнеспособность, свои преимущества, что к нему обращается подавляющее большинство писателей. Авторы второго тома «Истории» на широком литературном материале показывают, как укрепляются в новой литературе идеи социалистического гуманизма, как благородные идеалы свободного человека-творца, преобразующего мир и самого себя, вдохновляют писателей самых разных творческих манер и направлений. В монографических главах о Шолохове, Алексее Толстом, Николае Островском, Антоне Макаренко, Александре Малышкине, Илье Ильфе и Евгении Петрове, Михаиле Кольцове, Николае Есееве и ряде других писателей раскрывается исключительное творческое богатство и многообразие художников социалистического реализма.

Мирное развитие Советского Союза было прервано нападением гитлеровского фашизма. Годы войны — это годы сражающейся советской литературы. Сотни писателей ушли на фронт, двести семьдесят пять из них погибли в боях за свободу и независимость Родины. В третьем томе «Истории» дана характеристика сурового и героического военного четырехлетия в истории советской литературы (1941—1945). Другая большая глава этого тома посвящена процессам послевоенной литературы. Изложение тут доведено до 1957 года.

Монографические главы последнего тома посвящены таким известным художникам, как прозаики Эренбург, Фадеев, Леонов, Паустовский и Пришвин, поэты Твардовский, Тихонов, Сельвинский, и ряду других мастеров литературы.

Характерной особенностью новой «Истории» является еще и то, что в ней последовательно рассматривается развитие советской литературы для детей, творчество Аркадия Гайдара, Самуила Маршака, Корнея Чуковского и других.

Подготовленная Институтом мировой литературы и выпущенная Издательством Академии наук СССР, «История русской советской литературы» при всех возможных недочетах и упущениях этого издания — значительное явление в культурной жизни страны.

**Н. БОГДАНОВ, Б. ВЯЗЕМСКИЙ.** Справочник журналиста. Лениздат. 1961. 672 стр. Цена 1 р. 21 к.

По своему содержанию справочник универсален, и широка тематика оправдывает его назначение. Читатель найдет здесь данные об истории марксистской печати, об основных принципах нашей прессы, формах и методах партийного руководства печатью, рабселькоровском движении, творческих организациях журналистов. Обстоятелен обзор советских газет и журналов. В разделах, посвященных книжным издательствам, Телеграфному агентству СССР, радиовещанию, телевидению, сосредоточены наиболее важные справочные сведения о структуре, характере деятельности этих учреждений.

Главное содержание книги — основы редакционной работы и полиграфии. Авторы знакомят читателя с жанрами литературных и изобразительных материалов, с процессом редактирования, подготовкой оригинала к набору, макетированием, версткой, корректурой. Немало места отведено типографскому делу, полиграфической технике.

В конце книги приведен краткий словарь, в котором даны наиболее часто употребляемые профессиональные термины и понятия, сведения о дореволюционной, советской и зарубежной печати.

**РУССКАЯ САТИРА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКОВ.** Гослитиздат. М.—Л. 1960. 731 стр. Цена 1 р. 22 к.

«Мы можем с полным основанием утверждать, что передовая русская литература сыграла поистине огромную роль в подготовке социалистической революции в России. Немалая заслуга принадлежит в этом деле сатире. От обличения частных зол и недостатков к раскрытию несправедливости крепостного рабства и абсолютистской тирании и от обличения самодержавия к постановке вопроса о несовершенстве всего классового общества, всего собственнического мира, к обоснованию революции и социализма — таков сложный идейный путь развития передовой русской сатиры...» — пишет в своей вступительной статье к книге Л. Плоткин.

Именно эти принципы положены в основу создания данного сборника (составители Л. А. Плоткин и Н. И. Тотубалин).

Русская сатира исключительно богата. Имена Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Чехова принадлежат всему миру. Однако созданное ими далеко не обнимает всего замечательного наследия русской сатиры.

Сборник открывается сатирой декабристов: К. Рыльева, А. Бестужева, В. Раевского, В. Кюхельбекера и других. Большой раздел знакомит нас с произведениями поэтов — современников Пушкина: Д. Давыдова, Е. Баратынского, А. Полежаева, П. Вяземского и других. Отдельными разделами представлены произведения поэтов-петрашевцев и замечательное наследие революционных демократов (сатирические

стихотворения Н. Огарева, М. Михайлова, Н. Добролюбова, поэтов «искровцев»).

Приведены также произведения поэтов и писателей XIX — начала XX века, в творчестве которых сатира занимала важное место, — А. К. Толстого, Л. Трефолева, П. Засодимского, В. Гаршина, В. Короленко, Л. Андреева.

Специальные разделы посвящены сатире периода революции 1905 года и периоду первой мировой войны. Здесь представлены публикации отрывков из десятков юмористических журналов тех лет.

Книга завершается революционными баснями Демьяна Бедного и сатирическими гимнами Маяковского.

Сборник снабжен хорошо составленным справочным аппаратом.

**БОРИС ПОЛЕВОЙ.** Ближе и далеко. «Советский писатель». М. 1960. 334 стр. Цена 46 к.

«Никогда еще слова «советский человек» не звучали так гордо на всех языках земли, как сегодня», — пишет в предисловии к своей новой книге «Ближе и далеко» Борис Полевой. Автор отобрал из дневников последних лет записи «о днях, когда доводилось ощущать это с наибольшей полнотой».

Летом 1958 года Б. Полевой был в Аргентине. И там, вдали от Родины, он и его спутники нашли много друзей. Автор описывает свои встречи с аргентинскими рабочими, актерами, художниками, общественными деятелями, студентами. Однажды Б. Полевого пригласили прочитать лекцию о советской литературе в университете Буэнос-Айреса. «Зал был набит, как автобус в час, когда смена возвращается с работы», — пишет Б. Полевой. Сюда пришли не только студенты, но и много рабочих. Вопросы сыпались, «как горох из решета».

Всюду, где бы ни появлялись советские люди: на улицах городов и в частных домах, в залах музеев и на «виллах нищеты» — в жилищах, сколоченных из кусков ржавого железа и ящиков, — всюду они встречали проявление неподдельного интереса к своей великой Родине.

В разделах книги «Дыхание семилетки» и «Ангарские записи» Б. Полевой рассказывает о событиях, происходящих на советской земле, о встречах с советскими тружениками.

Книга иллюстрирована рисунками О. Верейского и А. Лурье.

**А. И. ХАЙЛОВ.** Михаил Пришвин. Творческий путь. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1960. 163 стр. Цена 78 к.

Писатель и путешественник, знаток русского языка, мыслитель, человек, для которого искусство стало «поведением», — таким предстает перед нами Михаил Пришвин на страницах этой книги. А. И. Хайлов вдумчиво исследует творческий путь писателя, показывает неразрывную связь научно-этнографических очерков Пришвина и его повестей, рассказов, лирических циклов.

Очень интересен анализ романтической поэмы в прозе «Жень-шень», где А. Хайлов

раскрывает особенности лирической прозы М. Пришвина. Эти же черты его творчества исследователь находит и в полюбившихся советскому читателю поэтических миниатюрах «Фаселия» и «Лесная капель». Настоячиво подчеркивая своеобразную лирическую окрашенность прозы М. Пришвина, А. Хайлов пишет, что трудно назвать в нашей литературе писателя, который мог бы, как Пришвин, в дневниках своих сказать: «И эпос есть не что иное, как скрытая лирика».

Подробно рассматривается в книге мало исследованное военное и послевоенное творчество писателя: «Повесть нашего времени», «Кладовая солнца» и особенно повесть-сказка «Корабельная чаша», которая явилась как бы итогом долгих жизненных раздумий писателя о природе и человеке, счастье и правде.

А. Хайлов широко использует дневниковые записи и высказывания М. Пришвина, помогая читателю представить себе глубокий и сложный внутренний мир писателя-философа, его творческие поиски.

Интересна и проходящая через всю книгу полемика автора с другими работами о М. Пришвине, и впервые собранная так полно библиография критических исследований о нем.

**АНТ. ЛАДИНСКИЙ.** В дни Каракаллы. Роман. «Советский писатель». М. 1961. 459 стр. Цена 78 к.

Советскому читателю Ант. Ладинский известен как автор романа «Когда пал Херсонес», изданного у нас после возвращения писателя на Родину из тридцатипятилетней эмиграции.

Вслед за первым вышел в свет еще один исторический роман недавно скончавшегося писателя: «В дни Каракаллы». В нем впервые в нашей литературе показана жизнь Рима III века, исторические события той поры: борьба Рима за торговые пути в Индию, мятеж в легионах, столкновение Востока и Запада, распространение христианства, появление предков славян в Центральной Европе.

Повествование ведется от имени юного героя, сына сарматского земледельца, который по воле случая проделывает удивительное путешествие, охватывающее почти полностью границы римского мира, по крайней мере все его восточные владения, оказывается в самом Риме, вступает в общение с купцами, разбойниками, христианами проповедниками, рабами и сенаторами, легионерами и банкирами; его другом-покровителем оказывается поэт Вергилиан, передовой, думающий человек своего времени, ищущий в беседах с философами смысл человеческого существования; дважды удается видеть и слышать сарматскому писцу-scribe императора Каракаллу.

Одно из главных мест в книге занимает лирическая линия: любовь римского поэта и бродячей египетской танцовщицы.

Это было время, когда в жизни великого Рима, границы которого простирались от Евфрата до Британии, появились признаки

упадка. Автор раскрывает ущербные явления, появившиеся в римском обществе, — ослабление чувства гражданской доблести, господство скептицизма, цинизма в философской и политической мысли, — начавшиеся задолго, почти за два века до падения Рима.

Книга Ант. Ладинского написана выразительно и поэтично. Она показывает блестящее знание первоисточников и представляет значительный интерес, особенно для многих наших молодых читателей.

**РАБИНДРАНАТ ТАГОР.** Био-библиографический указатель. Составитель Л. А. Стрижевская. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1961. 175 стр. Цена 41 к.

В мае этого года во всем мире широко отмечалось столетие со дня рождения великого индийского писателя Рабиндраната Тагора.

Среди многих интересных исследований о Р. Тагоре, выпущенных в последнее время, большой интерес представляет подготовленная Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы библиография работ Р. Тагора.

Библиографический справочник о Р. Тагоре, этот «путеводитель» по громадному литературному наследию писателя, — большое и важное дело. Аналогичным трудом занимались многие индийские, а также английские и американские литературоведы. Но, к сожалению, эти издания носили крайне выборочный характер — некоторые из них, например, учитывали только его произведения на бенгальском языке, другие же, наоборот, на английском.

Новая библиография значительно полнее. В нее включены как литературно-художественные, так и философские, публицистические работы Р. Тагора, написанные на бенгальском и английском языках. Как указывается в предисловии, при составлении библиографии принимались во внимание не только фонды крупнейших библиотек нашей страны, но и материалы, присланные университетом Вишвабхарати в Индии и Британским музеем в Лондоне.

Как свидетельствует книга, произведения Р. Тагора переведены на семнадцать языков народов Советского Союза.

**М. Г. ГАЗЕ-РАПОПОРТ.** Автоматы и живые организмы. Моделирование поведения живых организмов. М. 1961. 224 стр. Цена 36 к.

Одна из важных частей кибернетики — моделирование биологических процессов, в частности моделирование поведения живых организмов. Сложные задачи, которые при этом возникают, лежат на стыке математических, технических и биологических наук. Поэтому эта проблема привлекает внимание широкого круга людей различных специальностей.

Первые главы книги содержат краткую историю создания моделей — от несложных автоматических устройств, известных еще в глубокой древности, до известных меха-

нических роботов, имитирующих поведение человека, а также моделей живых организмов, построенных с учетом последних достижений электроники и телемеханики.

Затем автор рассказывает о моделировании памяти и условных рефлексов, что привело к конструированию быстродействующих вычислительных машин. Моделирование различных функций живых организмов приобретает особенно большое значение в тех отраслях промышленности, где требования безопасности и облегчения условий труда делают необходимым передачу ряда сложных функций управления и контроля автоматическим и телемеханическим устройствам.

**А. С. ИСАЕВ.** *От самобеглой коляски до «ЗИЛ-111» (Из истории автомобиля).* «Московский рабочий». 1961. 170 стр. Цена 42 к.

Каково прошлое автомобиля, как создавалась и развивалась в Советском Союзе автомобильная промышленность, каковы перспективы ее роста в текущей семилетке? На эти вопросы и призвана ответить настоящая книга. Она написана по материалам фондов, архива и экспозиционного отдела Политехнического музея и содержит много интересных сведений.

Автор начинает свой рассказ с описания «самобеглых колясок» замечательных русских изобретателей Л. Шамшуренкова и И. Кулибина, знакомит с работами создателей электробусов И. Романова и В. Шуберского. Читатель узнает о конструкциях первых русских автомобилей с двигателем внутреннего сгорания О. Костовича, Б. Луцкого и других, о безуспешных попытках наладить производство автомобилей в дореволюционной России.

Основное внимание в книге уделено автомобилестроению в СССР. От первого грузового автомобиля «АМО-Ф-15» до мощного сорокатонного «МАЗ-530», от легкового малолитражного автомобиля «НАМИ-1» до автомобиля высшего класса «ЗИЛ-111» — таков путь советской автомобильной промышленности. Автор рассказывает об особенностях конструкций автомобилей производства Московского, Горьковского, Яро-

славского, Минского, Уральского автозаводов. Специальная глава посвящена перспективным маркам советских автомобилей, выпускаемых в текущей семилетке.

Книгу оживляет большое количество фотоиллюстраций. Многие из них, особенно воспроизводящие конструкции XVIII—XIX веков, автомобили первой трети XX века, представляют значительный интерес.

**МАКС ПОЛЯНОВСКИЙ.** *Повесть о юной разведчице.* Госполитиздат. М. 1961. 128 стр. Цена 14 к.

Эпиграфом к этой книге взяты слова Юлиуса Фучика: «Не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас... Помните, не было безымянных героев!»

В августе 1942 года в оккупированную гитлеровцами Белоруссию была заброшена с воздуха московская студентка, отлично владевшая немецким языком. Ее снабдили паспортом на имя Татьяны Климантович, уроженки Витебска. Около двух лет юная разведчица выполняла трудные боевые задания — добывала информацию, передавала ее по радио в Москву, в штаб фронта. Она участвовала в диверсиях, успешно вела пропаганду среди войск противника... Тая погибла за три недели до освобождения Минска во время боя партизан с гитлеровцами.

Лишь в конце книги читатель узнает, что отважная разведчица была дочерью венгерского коммуниста Иштвана Бауэра, участника революции 1919 года, комиссара правительства Советской Венгрии. После разгрома революции Бауэр оказался в Советском Союзе. Он женился на Екатерине Федоровой, участнице гражданской войны. Их дочь Тая училась в московской школе имени К. Либкнехта, где преподавание велось на немецком языке. Весной 1941 года Тая Бауэр поступила на исторический факультет МГУ. По велению сердца комсомолка отправилась в тыл врага, чтобы помочь Советской Армии освободить родную землю от оккупантов. Материал для книги собран автором в Москве, Белоруссии и в Венгрии.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Л. Володин, О. Орестов.** Трудные дни Конго. Политический репортаж. 192 стр. Цена 17 к.

**М. Давыдов.** Александр Дмитриевич Цюруна. 104 стр. Цена 12 к.

**О тех, кто не работает, а ест.** Фельетоны, сатирические рассказы, стихи. 136 стр. Цена 24 к.

**Партия большевиков в революции 1905—1907 гг.** Документы и материалы. 468 стр. Цена 82 к.

**Потомки Корчагина.** 144 стр. Цена 16 к.  
**В. Сиденко.** Ангола в огне. 31 стр. Цена 3 к.

**Советский Союз — искренний друг народов Африки.** 168 стр. Цена 15 к.

**Я. Стецюк.** Сердце не умирает. Документальная повесть. Перевод с украинского. 136 стр. Цена 17 к.

**Марчелла и Маурицио Феррара.** Репортаж об одной забастовке. Перевод с итальянского. 64 стр. Цена 8 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Н. Астафьева.** Гордость. Стихи. 112 стр. Цена 12 к.

**М. Бенкер.** О поэтах. Литературно-критические статьи. 72 стр. Цена 33 к.

**К. Борута.** Тяжелые памятники. Повесть. Перевод с литовского. 264 стр. Цена 48 к.

**Р. Братунь.** Дорогою песни. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 88 стр. Цена 11 к.

**А. Горелов.** Очерки о русских писателях. 668 стр. Цена 1 р. 45 к.

**День поэзии 1961.** 304 стр. Цена 50 к.

**О. Дриз.** Вершина лета. Стихи. Перевод с еврейского. 92 стр. Цена 11 к.

**В. Кетлинская.** Иначе жить не стоит. Роман. 719 стр. Цена 1 р. 34 к.

**С. Колдунов, М. Яхонтова.** Рязанские самоцветы. Исторический роман. 438 стр. Цена 76 к.

**В. Колумб.** Живая вода. Стихи. Перевод с марийского. 68 стр. Цена 9 к.

**М. Кольцов.** Писатель в газете. Выступления, статьи, заметки. 140 стр. Цена 33 к.

**Н. Костенко.** Молдавские напевы. Стихи. Перевод с молдавского. 80 стр. Цена 14 к.

**Г. Коцюба.** Дорогой борьбы. Роман и рассказы. Перевод с украинского. 388 стр. Цена 68 к.

**Ф. Кривин.** В стране вещей. Басни-сказки. 216 стр. Цена 23 к.

**М. Лебанидзе.** Зеленая песня. Стихи. Перевод с грузинского. 72 стр. Цена 15 к.

**Д. Терещенко.** Я верю. Стихи. 100 стр. Цена 13 к.

**Б. Тимофеев.** Шипы и розы. Сатирические стихи. 140 стр. Цена 17 к.

**Б. Хабьрыис.** Разговор по душам. Стихи. Перевод с якутского. 64 стр. Цена 7 к.

**С. Цимбал.** Евгений Шварц. Критико-биографический очерк. 272 стр. 42 к.

**А. Чекуолис.** Далеко в Баренцевом море. Рассказы. Перевод с литовского. 208 стр. Цена 21 к.

**А. Яшин.** Совесть. Лирические стихи. 124 стр. Цена 14 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Григол Абашидзе.** Стихотворения и поэмы. Перевод с грузинского. 223 стр. Цена 39 к.

**Вилли Бредель.** Отцы. Роман. Перевод с немецкого. 416 стр. Цена 80 к.

**А. Гнатюк-Данильчук.** Рабиндранат Тагор. Критико-биографический очерк. 163 стр. Цена 22 к.

**Радое Доманович.** Сатира и юмор. Перевод с сербо-хорватского. 287 стр. Цена 68 к.

**А. Егоров.** О реакционной сущности современной буржуазной эстетики. 307 стр. Цена 81 к.

**Эрнесто Кастро.** Островитяне. Роман. Перевод с испанского. 291 стр. Цена 62 к.

**Ноях Лурье.** Лесная тишина. Избранные повести и рассказы. Перевод с еврейского. 455 стр. Цена 86 к.

**Андрей Лупан.** Стихи. Перевод с молдавского. 183 стр. Цена 37 к.

**Хуан Мануэль.** Граф Луканор. Перевод с испанского. 207 стр. Цена 26 к.

**Максим Рыльский.** Поэзия Тараса Шевченко. 71 стр. Цена 8 к.

**Карлис Скалбе.** Сказки. Перевод с латышского. 302 стр. Цена 36 к.

**Ярослав Смеляков.** Стихи. 207 стр. Цена 39 к.

**Современная арабская проза.** Перевод с арабского. 366 стр. Цена 73 к.

**Дашцэвэгийн Сэнгээ.** Годубь. Стихи и поэмы. Перевод с монгольского. 95 стр. Цена 16 к.

**С. Урбан.** Повесть о Вико. 255 стр. Цена 42 к.

**Абуль Фарадж.** Книга занимательных историй. Перевод с сирийского. 294 стр. Цена 40 к.

**А. Цвейг.** Спор об унтере Грише. Роман. Перевод с немецкого. 455 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Корней Чуковский.** Стихи. 175 стр. Цена 35 к.

**В. Щербина.** Актуальные проблемы современного литературоведения. 472 стр. Цена 1 р. 20 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Георгий Блок.** Пути науки (совсем рядом с грядущим). Очерки. 304 стр. Цена 60 к.

**Сильвия Маджи Бонфанти.** Переулок Солнца. Повесть. Перевод с итальянского. 175 стр. Цена 33 к.

**М. Васильев, К. Станюкович.** В мире семи стихий. 252 стр. Цена 59 к.

**Тадеуш Конвицкий.** Дыра в небе. Роман. Перевод с польского. 352 стр. Цена 85 к.

**Д. Кыюсаи.** Скажи смерти «нет!» Роман. Перевод с английского. 408 стр. Цена 95 к.

**Андрей Островский.** С днем рождения, год Гай! Очерки. 77 стр. Цена 7 к.

**А. Рапохин.** Молодое поколение интернационалистов. 176 стр. Цена 15 к.  
**В. Силантьев.** Фог рассеивается. Очерки. 176 стр. Цена 25 к.  
**В. Смилга.** Очевидное? Нет, еще неизведанное... 352 стр. Цена 60 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**И. А. Бернштейн.** Творческий путь Марии Пуймановой. 264 стр. Цена 70 к.  
**Горький и зарубежная литература.** 276 стр. Цена 1 р.  
**С. А. Далин.** Военно-государственный монополистический капитализм в США. 352 стр. Цена 1 р. 33 к.  
**Дневник П. А. Валуева,** министра внутренних дел. В двух томах Том I. 1861--1864 423 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы 1959 г.** 459 стр. Цена 2 р. 56 к.  
**И. С. Нарский.** Современный позитивизм. Критический очерк. 424 стр. Цена 1 р. 55 к.  
**А. М. Некрич.** Война, которую назвали «странной». 160 стр. Цена 24 к.  
**Ю. А. Орлов.** В мире древних животных. 192 стр. Цена 1 р.  
**Пути развития современного советского романа.** 363 стр. Цена 1 р. 43 к.  
**А. Д. Сухов.** Социальные и гносеологические корни религии. 140 стр. Цена 41 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**О. Бибер.** Таинственная Каффа. 146 стр. Цена 37 к.  
**Р. С. Гиляревский, В. С. Гривнин.** Определитель языков мира по письменностям. 303 стр. Цена 80 к.  
**С. Марнова.** Поэтическое творчество Го Можо. 99 стр. Цена 32 к.  
**З. Г. Османова.** М. Горький и литература Ирана. 147 стр. Цена 40 к.  
**Современная арабская поэзия.** 178 стр. Цена 35 к.  
**Рабиндранат Тагор — друг Советского Союза.** 207 стр. Цена 70 к.  
**А. М. Хазанов.** Сомалийская республика 147 стр. Цена 30 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Мигель Анхель Астуриас.** Уик-энд в Гватемале. Рассказы. Перевод с испанского. 237 стр. Цена 63 к.  
**Говард Бенкер и Алвин Босков.** Современная социологическая теория и ее преемственности и изменения. Перевод с английского. 895 стр. Цена 3 р. 91 к.  
**Гао Юнь-лань.** По ту сторону пролива. Роман. Перевод с китайского. 295 стр. Цена 95 к.

**Альберт Кан.** Заговор против мира. Перевод с английского. 263 стр. Цена 65 к.  
**Джек Линдсей.** Твой дом. Роман. Перевод с английского. 397 стр. Цена 1 р. 19 к.  
**Ричард Олдингтон.** Прощайте, воспоминания. Рассказы. Перевод с английского. 395 стр. Цена 1 р. 18 к.  
**Эрих Мария Ремарк.** Черный обелиск. Роман. Перевод с немецкого. 416 стр. Цена 1 р. 27 к.  
**Блас Рока.** Куба — свободная территория Америки. Доклад на VIII Национальной ассамблее Народно-социалистической партии Кубы. Перевод с испанского. 150 стр. Цена 30 к.  
**Жюль Руа.** Алжирская война. Перевод с французского. 130 стр. Цена 23 к.  
**Магда Сабо.** Скажите Жофике. Роман. Перевод с венгерского. 263 стр. Цена 70 к.  
**Иосио Сига.** Портреты деятелей революционного движения Японии. Перевод с японского. 278 стр. Цена 70 к.

## ПРОФИЗДАТ

**А. Пластинин.** Повесть о председателе завкома. 136 стр. Цена 16 к.  
**Н. Д. Сенинаева.** Охрана здоровья рабочих на предприятии. 88 стр. Цена 10 к.  
**А. Семенов.** Заводская трехлетка культуры. 64 стр. Цена 7 к.  
**А. Слепухин.** Общественный смотр резервов производства. 112 стр. Цена 15 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Т. Архипов.** У реки Лудзинки. Роман. 504 стр. Цена 90 к.  
**Виктор Баныкин.** Ведовый мальчишка. Повесть. 108 стр. Цена 19 к.  
**П. Вершигора.** Партизанская любовь. Рассказы. 112 стр. Цена 11 к.  
**Александр Раскин.** Как папа был маленьким. Повесть. 56 стр. Цена 19 к.  
**Вл. Харитонов.** Россия — Родина моя. Стихи. 232 стр. Цена 49 к.

## ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**А. И. Пак.** В списках спасенных нет. Повесть. 117 стр. Цена 35 к.  
**В пороховом дыму.** Воспоминания участников гражданской войны. 246 стр. Цена 47 к.

## ПРИМОРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Г. Г. Халилецкий.** Служба Солнца. Очерки. 120 стр. Цена 17 к.  
**Л. Шинкарев.** Находка. Очерки. 171 стр. Цена 40 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), Б. Г. Закс (ответственный секретарь), А. И. Кондратович (зам. главного редактора), А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин

Редакция: Москва Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются

Сдано в набор 24.V 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 26.VI 1961 г.  
 А 05697. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум л.—24,66 печ. л. Тираж 87.300.  
 Зак. 999.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

Со следующей, 8-й книги  
журнал «Новый мир»  
начнет печатать

роман  
Константина Федина

## «КОСТЕР»

(заключительная часть трилогии,  
первую и вторую части которой составляют романы  
«Первые радости» и «Необыкновенное лето»)

★